

ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

||
5
||

НОВОБЫИ МИР

||
1984
||

5



1984



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 5

Май, 1984 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
НАБАТ — Расул Гамзатов (перевел с аварского Яков Козловский), Виктор Боков, Борис Крохин, стихи	3
ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ — Ворошениный жар, повесть	6
НАБАТ — Борис Олейник (перевел с украинского Лев Смирнов), Джубан Муддагалиев (перевел с казахского Вл. Савельев), Александр Николаев, Сергей Поделков, Павел Машканцев, Владимир Бут, Александр Корнев, Владимир Цыбин, Леонид Решетников, стихи	76
АРМЕН ЗУРАБОВ — «Камо. Напомнить мне!», роман	86
НАБАТ — Владимир Соколов, Михаил Найдич, Сибгат Хаким (перевел с татарского Равиль Бухараев), Иван Петрухин, Юлия Друнина, стихи	129
ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО — Будьласков, рассказ	133
ПЮНТЕР ГРАСС — Местная анестезия, роман. Перевела с немецкого Л. Черная	142
ПУБЛИЦИСТИКА	
В. ЕМЕЛЬЯНОВ — Особая опасность	174
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
АНДРЕЙ НИКИТИН — Испытание «Словом...»	182
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
СЕЙФУЛЛА АСАДУЛЛАЕВ — Леонид Леонов: «Мы родились не для войны...»	207
СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ — 50	
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Событие небывалое	214
МИРСАИД МИРШАКАР — Идеи Первого съезда живут и работают	218
В. ЛИТВИНОВ — Шолоховские уроки. Над страницами «Донских рассказов»	222

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	Стр
<i>Литература и искусство</i>	239
Дм. Молдавский. Люди, жаждущие мира.	
Лев Озеров. Время. Жизнь. Песня.	
Виктор Шкловский. По следам Льва Толстого.	
В. И. Кулешов. Над пушкинскими страницами.	
<i>Политика и наука</i>	255
С. Десятков. Правда истории.	
В. Буров. Патриот и интернационалист.	
А. Кондратович. Когда прошлое оживает.	
А. Грунт. Последние месяцы Временного правительства.	
КОРОТКО О КНИГАХ:	
А. Коган.— До последней минуты.. ♦	
Константин Ваншенкин.— Александр Коренев. Взморье.	
Стихи ♦	
Юрий Хромов.— Валерий Винокуров, Борис Шурделин. Наша с тобой «Звезда». Роман. ♦	
М. Шаталин.— В. И. Баранов, А. Г. Бочаров, Ю. И. Суровцев.	
Литературно-художественная критика. ♦	
Ю. А. Трифонов.— Евгений Евтушенко. Война — это антикультура. ♦	267
ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ ФИЛИППОВНЫ ЕЛИСЕЕВОЙ	271
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

По традиции страницы майского номера журнала в честь Дня Победы посвящаются произведениям о Великой Отечественной войне, о трудном пути советского народа в те годы.

Продолжая эту традицию, редакция подготовила настоящий номер с учетом нынешней напряженной борьбы за мир. Напоминая о победе в войне, о тяжелых испытаниях, через которые шел советский народ к освобождению от фашистов своей земли и многих стран Европы, писатели бьют в набат, призывая народы встать на защиту мира от новых поджигателей войны.

НАБАТ



РАСУЛ ГАМЗАТОВ

Память

Отрывок из поэмы «Общий хлеб»

Я нелегкое время вчеканивал в стих,
И любовью и долгом влеком.
Испеченного веком из судеб людских
Хлеба общего вкус мне знаком.

Неба общего
 дороги мне облака,
Солнца огненный шар в вышине.
Помню: возраст приблизился мой к сорока,
А еще — все пишу о войне.

Если б сделал из сердца я магнитофон,
То на нем бы прокручивать смог,
Возвращаясь домой из далеких сторон,
Ленты пройденных мною дорог.

Голос послевоенных
 мне слышался лет
У своих и чужих рубежей.
Еще бредил в кровавых бинтах лазарет,
Ждали жены убитых мужей.

Был вчерашний солдат,
 что вернулся с войны,
Еще дымом боев окружен.
Среди ночи проснувшись в объятьях жены,
Сам не знал он — то явь или сон?

Еще майской грозы принимался раскат
Им за пушечный залп неспроста.
Развернулись дороги как свитки утрат,
За верстою чернела верста.

От приморских степей до заоблачных мест
Ни один не сочтет грамотей
Вслед войне — всех не вышедших замуж невест,
Не родившихся в мире детей.

И меня упрекнула скорбящая мать:
— В отчем доме ты стал лишь гостить.
Павших братьев твоих мне одной вспоминать
Не давай, пока буду я жить.

Забываются дни, но рождают они
 Череду долгопамятных лет.
 И с горами сливаются лица родни,
 И погибшим забвения нет.

Я мальчишкой по крышам аульским летал,
 Став поэтом, кружил по земле.
 И покоится видевший виды кинжал
 Над моим изголовьем в чехле.

Век бы жил я в горах,
 поклоняясь седым
 Их вершинам.

Вот дома опять.
 Ах, как сладостен горской пекарни мне дым,
 И до неба — рукою подать.

Льется свет по ночам из мерцающих чаш,
 Колыбели плывут в тишине.
 Начеку,
 словно мира спасенного страж, —
 Наша память о прошлой войне.

Перевел с аварского ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ.

ВИКТОР БОКОВ

В долине смерти. Под Дуклой

В долине смерти тишина и мир.
 Война давно попряталась в траншеи.
 Марс не справляет свой кровавый пир
 И орден не вешает на шею.

Он вычеркнут отныне из богов,
 Какой он бог, когда в крови и дыме!
 И столько у него теперь врагов,
 Что вряд ли он и голову подымет.

Два кладбища остались от него —
 От первой мировой и от последней,
 Два кладбища и больше ничего,
 Но вот беда — у Марса есть наследник.

Сегодня он зовется дядя Сэм,
 Размахивает бомбою нейтронной,
 Он угрожает — это ясно всем —
 Планете всей, единой и огромной.

Что ни война, то новые кресты,
 Что ни война, то новые могилы.
 И выводы мои — они просты:
 Объединим скорее наши силы.

И доброй волей счастье оградим,
 Чтоб род людской нигде не прекратился.
 Развеем довоенный этот дым,
 Чтоб он в военный дым не превратился!

БОРИС КРОНИН**Сорок первый**

Рассыпавшаяся медь оркестра
над вздрагивающей мостовой,
и вдоль толпы, притихшей, пестрой,
идет сурово пыльный строй.

Тогда мальчишкам представлялась
война как славная игра.
Но нам бойцы не улыбались —
всё шли к вокзалу до утра.

Был сорок первый с летом знойным.
Кресты бумажек на окне.
Считали все: как прошлым войнам,
недолго этой быть войне.

Но, опрокинув все расчеты,
продлились страшные года.
В недетских утонув заботах,
умчалось детство навсегда.

И в памяти лишь медь оркестра
над вздрагивающей мостовой,
и вдоль толпы, притихшей, пестрой,
идет сурово пыльный строй.

Хатынь

Звонят колокола Хатыни,
скорбя и плача день и ночь.
Печалью прошлое нахлынет,
и в горле ком не превозмочь.

Старик ребенка неживого
на бронзовых руках простер.
Навек окаменело слово,
в глазах навек застыл укор.

Удар! И звон, глухой и долгий,
минувшего тревожный зов.
То голоса, что здесь умолкли,
вселились в медь колоколов.

А жизнь шумит вокруг Хатыни,
И снова буйствует весна.
Здесь гарью пахнет и поныне,
здесь не окончилась война...



ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ

★

ВОРОШЕННЫЙ ЖАР

Повесть

Неворошенный жар под пеплом лежит...

Пословица.

Глава первая

1

И вот мы во Ржеве. Посреди улицы. Какая странная, неправдоподобная минута.

Дым ползет из-за бесформенной груды развалин, полузанесенных снегом. Надо всем бессмертная водонапорная башня. С нее садили немцы, по ней били мы, она все еще цела.

Перестрелка отдалилась. Гарь. Пороховой дым. Запах войны. И щемящее чувство безопасности. Близко, на путях, сопит бронепоезд. Мглистый ранний вечер. Пустынно во всю глубину разрушенного, сожженного города. Только белые саперы в маскхалатах медленно прощупывают улицы черными миноискателями.

На этот раз не было великих боев, танковых побоищ. Противник сдал город, не принял сражения, отступил, прикрывая отход главных сил арьергардными частями. Но что ж с того? Что ж с того, когда семнадцать месяцев пути назад сюда, во Ржев, когда каждый метр к нему и даже топтание на месте вымощены крестной мукой.

Наша армия заняла Ржев 3 марта 1943 года. Перед тем как войскам выступить, наш командарм расположил свой НП среди стволов в березовой роще. Командарм маялся в нерешительности. О Ржев столько раз разбивалось наше наступление, и сейчас, после победы в Сталинграде, когда все внимание Москвы приковано сюда, он не мог просчитаться и медлил. Ему нужны были гарантии, что на этот раз заговоренный Ржев поддается, будет взят.

Командарм был красивый человек, черноволосый, с крупными чертами лица, похож на грека, возможно, греком и был. На нем лежал романтический отсвет Испании, где он начинал вторую мировую.

В его манере иногда бывало и нечто светское, выпадавшее из общего тона. В часы затишья он, случалось, прохаживался в накинутой на плечи бурке, со стеклом в руке, явно искал успеха у штабных женщин, был с ними галантен, наступателен и великодушен, если терпел поражение. По правде сказать, он был какой-то залетной птицей.

Прежний командующий, бритый наголо, круглоголовый, в танкистском комбинезоне, был грубоват, прот, терпеть не мог в армии

женщин, почему-то называл их кефалиями, я об этом когда-то упоминала, и, если проводывал о связи командира с женщиной, обрушивался на него с бранью. Его непримиримая угроза: «Кефалишь?!» — долго помнилась в армии. Но казалось — тот был самобытней, смекалистей, надежней. То был «солдатский генерал». Но его от нас забрали, перебросили в Сталинград. Армия воевала под началом другого человека.

Контрольный язык, которого захватили наши разведчики, оставался тут же на НП в землянке. Препровождая немца по роще в блиндаж командующего, ему завязывали глаза. Хоть такое и предписывалось инструкцией, но не придерживались, а тут и вовсе было проформой — немец прижился у нас на НП, пообвык и хорошо знал, куда его ведут. Он стал неременной принадлежностью этого НП, об него испытывалась стойкость нерешительности командующего. Он опять и опять принимался передопрашивать пленного. Я переводила, и очень старательно, потому что угадывала, что командарм понимает язык пленного. Он вообще был образованнее, чем выказывал. Глаза его под скачущими черными бровями сверкали любознательностью. Состав его жизненных сил был многообразен.

Как бы там ни было, сколько ни мусоль вопрос, из ответа пленного выходило, что медлить нельзя: немцы эвакуируют Ржев, и наша артиллерия будет разить пустоту, и соприкосновение с противником будет утеряно. Вот что грозило. А войска стояли наготове, ждали приказа наступать.

Все разрешилось ночным звонком Сталина. Он позвонил и спросил у командарма, скоро ли тот возьмет Ржев. Ржевский выступ, нацеленный противником на Москву, постоянно беспокоил Ставку. И командарм (легко вообразить себе его волнение, и дрожь торжественности в голосе, и подавляемый страх, и взлет готовности) ответил: «Товарищ Главкомандующий, завтра же буду докладывать вам из Ржева» — и двинул войска.

Помню канонаду во мгле начинающегося дня. Отчаянную канонаду накопившей мощи артиллерии. Молчаливую подтянутость всех. Отрешенность. Топтание с ноги на ногу на снегу перед получением задания. Пар дыхания, клубящийся у лиц. По-бабьи смятое лицо связного Подречного, стянутое опущенными концами ушанки, и неизменное его выражение доброты и всполошенности.

Мне, переводчику, велено находиться в наступающей дивизии.

Какую-то часть пути мы с Подречным исхитрились катить в санках, возивших тут до войны фининспектора по налогам. Подречный правил. Ветер. Снег мело накрест: слева направо и справа налево. Столбы полевой связи, казалось, перебежали дорогу, падая в снег. Город Ржев, изувеченный, несенный снарядами, выжженный, разбомбленный, прямо перед нами.

«Наблюдательный пункт дивизии. Начальник штаба подполковник Родионов — голая куполообразная голова. Яркие и неподвижные черты лица. Руки с усилием отделяются от туловища — перед ними телефонный аппарат, они крутят его, встряхивают. И ровный голос Родионова докладывает, требует, выпрашивает, грозит. Смолкает. И опять наваливается наше общее оцепенение ожидания» — это я записала тогда в своей тетрадке.

Но вот взвизгивает дверь блиндажа, вваливается связной командира полка в белом маскировочном халате, неуклюжий, как снежная баба. И к нему — рывок окаменелого тела Родионова. Связной копается у себя на груди: завязки маскхалата, телогрейка, гимнастерка... Из-под всего, из самого нутра извлекает сложенную вчетверо бумажку, снег на его капюшоне тает, стекает по лицу.

Родионов нетерпеливо разворачивает первое донесение: «Очищаем город от автоматчиков. Штаб полка разместился Калининская ул., 128».

Ходуном в груди — свершилось!

«Дорогая наша Лена! Сколько прошло лет, а тот день во всех подробностях... Я увидел Вас на улице города...»

«Дорогой Валентин Владимирович! Вы позвали идти пить чай на бронепоезд. С чего не пошла, не помню. Жалею. Во Ржеве, в первый вечер, на том отчаянном изрешеченном бронепоезде выпить кружку горячего кипятка — как было бы памятно сейчас».

А еще жалею, жалею горько и непоправимо, что не написала ему тогда, а говорю лишь теперь навсегда ушедшему: «Вас я помню и вспоминаю часто все, что связано с вами. И знаете, больше всего даже не храбрый ваш бросок на бронепоезде, а то, что вы, член Военного совета армии, а до того, в тридцатые годы, работник агитпропа МК, считали возможным говорить нам, что чтите Мейерхольда».

Но вот пишу: «Я — во Ржеве». Написала эту фразу и робею. До этого рубежа я иду многие годы, теряя одного за другим тех, кто разделит бы со мной смятение и ответственность повторного вступления в тот Ржев.

2

Во втором донесении от вступившего в Ржев командира полка сказано: «Жители согнаны в церковь. Церковь заколочена, вокруг заминировано»...

Что это было, я вникла потом, через много лет, вернувшись в Ржев и отыскав людей, что пережили заточение в церкви, ужас ожидания мученической смерти.

А тогда они, освободившись, разбрелись, скрылись. Город был мертв. «Город был мертв», — подтверждают увидевшие его тогда. И это ошибочно. Город не бывает мертв. Что-то скрытно для глаз копошится, цепляется за жизнь, гибнет, истлевает, цепенеет, проклевывается. И как ни отчаянно разрушен он, все же не дотла.

Одноэтажный, дореволюционный, купеческий, добротной кладки дом. По фасаду трещина, угол разворотило снарядом.

В доме резанули глаз белоснежные, накрахмаленные кружева: подзоры, накидки, занавеси в проеме дверей, на окнах. Пылающий начищенной медью самовар... Домовито. Белые в розах чашки, полоскательница, сахарница, подносы, подстаканники.

Можно было напороться, входя, на все что угодно вплоть до окоченевшего трупа — людей убивал голод, снаряды; их пристреливали. Но чтоб белоснежные кружева в гибнущем в пекле войны городе — дико, непостижимо. Кто-то неукоснительно, усердно справляя тут свой военный фарт. Так оно и было. Здесь жил бургомистр. Когда ударил сюда наш снаряд, бургомистр остался цел и невредим. Он лежал в тифу. Он завернулся в одеяло и ушел в тифозном жару за немцами. В доме никого не было.

Чем пахнет в блиндажах противника, я знала, а чем пахнет быт недавнего бухгалтер пивзавода — бургомистра фронтowego города, не нюхала. Еще держалось в доме тепло, сочился приятный печной дух, витиеватая вьюшка свисала на цепочке.

Что в доме был тифозный больной, мы внимания не обратили. Но то, что он ушел в тифу, в бреду и, дремучий, кашлатый, завернутый в одеяло, где-то на железнодорожных разбитых путях дожидается поезда — это от меня почему-то не отходило.

3

Когда-то в разговоре с Твардовским (обсуждались замечания по моему рассказу) я говорила, что Ржев — одна из самых кровоточащих ран войны. Нет другого города на нашей земле, где все связалось в такой жестокий узел — семнадцать месяцев не только оккупации, но и тягчайший фронт. Голод. Насилие оккупантов. Изуверство предательства. Осатаневшие немцы-фронтовики. Страшный лагерь советских военнопленных. И город — под беспощадным обстрелом своих, под бомбами днем и ночью.

В запале я неожиданно извлекла со дна души какие-то, должно быть, убедительные слова (захочешь повторить — не сможешь). Твардовский молча проницательно слушал — это ведь он написал бесмертное «Я убит подо Ржевом», — сказал с подъемом и требовательно: «Вот так прямо и напишите. Толстой в «Войне и мире» писал прямо... Почему бы и вам не написать?»

Пример Толстого не облегчал моей задачи. Но дописав кое-что из высказанного тогда в разговоре, я вернула рукопись в редакцию. Твардовский распорядился сдать рассказ снова в набор. Он не отступался, если рещал печатать вещь.

Там был приведен подлинный эпизод.

Женщина, отрезанная в оккупированном Ржеве от своих детей, остававшихся в деревне у матери, перешла линию фронта на нашу сторону. В родной деревне эту женщину до войны невзлюбили: ее муж в городе работал, а ей не с ним жить, а тут, в деревне, милее, слаще, привольнее на отшибе соломенной вдовушкой в бессовестный загул ударяться. А что теперь, застрыв у мужа в городе, она в материнской тревоге, рискуя быть подстреленной и с той и с этой стороны, пустилась с белым платочком в руке на огненные заслоны войны — к своим детям, односельчан не смягчило. Было им известно: ее законный служил немцам, в городской управе он начальник транспортного отдела. И взалкали мщения ей.

Жене изменника родины грозил арест. Но чтоб искупить вину мужа, ей было предложено послужить родине, вернуться в Ржев, склонить и мужа к искуплению — пусть он добудет схему минирования немцами города на случай их отхода, предотвратит жертвы. Идти она не хотела, ведь это — от детей, назад, сквозь огонь, к нелюбимому мужу, к немцам. Но не было у нее выхода, и пошла. На том обрывается ее доля в рассказе.

И вот в Ржеве по пустынной улице мимо нас по снегу темной кучкой проковыляли узники немецкой городской тюрьмы. Кто-то волок салазки с сидевшим на них больным мужчиной — начальником транспортного отдела городской управы. Его жена, вернувшись от нас, была схвачена немцами и сгинула неизвестно где и как. А он, заподозренный, брошен в тюрьму.

4

Во второе лето войны Михаил Луконин писал мне в письме из действующей армии: придет ли для нас такое время, когда мы станем следить не за самолетами, а за порхающей бабочкой и цветок в траве не покажется нам кровью?

Все, что не война, скрылось от нас, перекрыто войной.

А недавно в новом цветном фильме о войне я увидела нестерпимо красочный, пышный, красивый мир природы. Но на фронте природа отвернулась от нас. Оставались только ее стихии: снег, распутица, жара, дождь. Мы переставали различать ее краски, подробности. Война была для нас (во всяком случае на ржевской земле) черно-белая.

И черно-белым был взятый зимой Ржев. Черно-белой была в кружевах берлога бургомистра.

Ко времени взятия Ржева я осталась единственной переводчицей в штабе армии. Другая переводчица уехала на родину, в Сибирь — рожать. А надобность в переводе прибавилась. Здесь была неметчина: бумаги городского делопроизводства, комендатуры, личные удостоверения жителей... Многое из того, что за пределами чисто войсковых задач. Сюда, в дом бургомистра, меня то и дело вызывали.

Все семнадцать месяцев борьбы за Ржев, все траты духа и крови, весь порядок и хаос войны и ее повседневность знали великую цель — изгнать врага с нашей земли. Для нас это значило — вернуть Ржев. Мы ринулись в оставленный врагом измордованный город, не ведая, что движемся навстречу ангелам и бесам, вывернувшимся из преисподней войны.

Таинственное приникание к черно-белой бездне. Таким было мое ощущение в том Ржеве. Едва ли сходное испытывал капитан Калашников, по мирной профессии газетчик из Сталинграда. Для него этот Ржев — всего лишь небольшой филиал состоявшейся предварительно в его городе большой победы. В известном смысле так оно и было — немцы после Сталинграда вынуждены были оставить Ржев под угрозой окружения. Но Ржев — это нечто совсем, совсем особое. И здесь впервые война стала предъявлять нам то, что заглотала.

В доме бургомистра я увидела Алмазова.

Недомерок, в буром треухе, наползающем на обмякшее лицо, рот застыл в корче.

В городе все, что хоть чуть копошилось, подавало признаки жизни, — все возопило: А л м а з о в!

Он работал в немецкой комендатуре. Выслеживал, выискивал, сгнаивал свои жертвы. Он же вламывался в немощный рыночный круг, отбирал последнее.

В доме мартовский проливной свет — на выскобленные добела, незатоптанные половицы. Дрожание солнечного столба и изнуряющий душу мрак — Алмазов.

Капитан Калашников, немного развинченный победой, подступающий к нему: «Предатель!»

Перекошенный рот Алмазова. Не то взвояет в истерике, не то стравит через губу: «А-а, какого еще лешего!»

Шуршание — свояченица бургомистра, бесшумно проникшая в дом, снует серой мышью, сноровисто обирает кружева. Старший лейтенант из политотдела, не поднимая головы спиной ко всем корпевший за столом над немецкими инструкциями, дернулся от дел, обернувшись, и тоже: «Предатель?!»

Бесцельность вопроса, уличения. Предателю надо иметь что предавать: совесть ли, родину, друзей. Он неохватнее, сложнее. А Алмазов весь сполна здесь, в первородности зла. Не будь оккупации, как-то на свой лад неопознанно прожил бы. Окороченный. А тут — звездные часы неукротимого бесовства.

Старший лейтенант вдруг отделился от венского стула, неуклюже сунулся в проем за кружевную занавеску. Чего это он туда забился?

Я не знала раньше этого человека и не запомнила, как он выглядел до того. Из-за занавески он вышел со стертым, помертвевшим лицом.

Неподвижная, набухающая кошмаром минута.

Что пережил он, стоя за занавеской? Лихорадочное: избегнуть, уйти, не признать? Возможно. И все же то был миг собирания опешившей души.

— Братец! — тихо охнул, признав, Алмазов. Руки заметались, сдвинул со лба треух, невнятно забормотал.

А тот ни с места, окаменел как перед неотвратимым роком. И мгновенное обретение Алмазовым себя. Как страшно оно. С угодливостью: «Родимый!» — выпячивая кривые губы. В глазах вожделиние: пропадая, подцепил напоследок жертву — сводного братца, — поволок за собой и его судьбу.

Замешательство. Такая тишина, что секунды, кажется, тикают в висках.

5

«...В общем, под вечер, когда запад бывает багряным, иногда все же посмотрите туда, там рождается и начинается Волга, там Ржев, от Ржева начинается край красивых голубоглазых людей (не все, конечно, но многие), и идет этот край туда, к Новгороду. Край, где двадцать пять лет назад бушевала война, — писал мне незнакомый человек Ф. С. Мазин, прочитавший мои рассказы о боях на ржевской земле. — А к концу зимы 42-го г. в Ржеве уже улицы трудно было различать, ходили все в любом направлении, не признавая переулков, как в пустыне какой идешь, огни трубы торчат, а дома также выделялись как-то местами, которые уцелели.

А до войны Ржев утопал в садах, и птиц было несметно, а небо чистое над тобой, потому что ждешь своего запущенного голубя или не зевай, если чужой показался, а когда смеркалось, то по улицам везде на лавочках сидевшая молодежь пела под гитару, очень любили песни в Ржеве. А зимой на Волге были кулачные бои — тот и этот берег Волги сходились на льду стенкой, — и так до 39-го года, когда ребята ушли на финскую, с той поры — конец. И был еще аэроклуб, и мы, мальчишки, конечно, мечтали летать. Все было. А многие жители не могли покинуть свой родной город и были в нем даже тогда, когда не было уже ни птиц, ни кошек, огни бомбежки, снаряды, голод и тиф».

6

Кто-то снаружи пнул входную в дом дверь. Тяжелые шаги в сенях, и с напором распахнулась дверь, ведущая сюда, к нам. Огромного роста человек, дико одетый: немецкая офицерская шапка, куртка. Стал в дверях, ногу в немецкой бурке — на порог, плечом упершись в косяк, — картинно и жутко.

— Вот вернулся, — осипло сказал не сразу.

Калашников с ходу возбужденно:

— Курганов?!

— Так точно. Я — Курганов. — Большое, темное, изрубленное шрамами лицо, без преувеличения сказать — страшное.

Воцарилось такое напряжение, что само собой отринуты, поблекли, иссякли Алмазов вместе с его обмершим братом.

— Вот так. — Калашников просиял от своей быстрой догадки. — Курганов, значит. — Зашарил по карманам кисет с табаком. — Дверь-то затвори, не май месяц...

Тут как раз вошел в дом майор Левшин из разведотдела.

— Курганов, — кивнув на него, засиял снова Калашников.

Окинув взглядом стоявшего в простенке между дверью и шкафом Курганова, потом капитана Калашникова с его лоснящимися тщеславием круглыми глазами, майор смахнул искажившую было лицо досаду на него, что ни серьезности, ни профессионализма, и попросил оставить его вдвоем с пришедшим Кургановым.

А было так: летом бежал из Ржевского лагеря военнопленный — перешел линию фронта к нам. Заросший, растерзанный, в грязной нательной рубашке — гимнастерку содрали с него полицаи. На гру-

ди в ключьях рубашки — орден Красного Знамени. Хранил его под подкладкой в сапоге и сейчас привинтил. Сомкнул задники сгнивших, трухлявых сапог — беспомощно осекся, не мог вскинуть руку к непокрытой голове, прохрипел, пересиливая грохот пальбы, первому, кто подбежал к нему: «Подполковник, летчик... Был сбит над Ржевом... Сегодня бежал...»

Кто такой? Как сумел убежать? Почему живой?

И в глазах летчика страдание прозревающего: линию отчуждения перейти еще труднее, чем линию огня.

Бежать ему помог лагерный полицаи Курганов. Пленных ежедневно отправляли под конвоем на передний край укреплять немецкую оборону. Кого ранят, немцы добивали, и никто не пересчитывал возвратившихся. Курганов предупредил летчика, что ночью на работах поставит его в подходящее место, отвлечет внимание немцев и полицаев. И пусть он уходит обратно к своим.

Этот случай произошел до того, как мы стали побеждать, когда отступники, предатели, казалось, могли бы прикинуть, что пора искупать вину. Был разгар успешного наступления немцев на юге, судьба нашей родины была в опасности, и здесь у нас, под Ржевом, было крайне напряженно, ждали их удара отсюда на Москву. В этих условиях лицо, устройшее побег пленного летчика, не могло не заинтересовать. Был снаряжен «перебежчик» — молоденький солдат. Ему было задано, оказавшись в лагере, пользуясь доверием (перебежчик) полицаев, колготиться вблизи Курганова, понаблюдать его и, изловчившись, остаться с глазу на глаз с ним, сказать следующее: «Дядя Ваня, армейская разведка вступает с тобой в связь». От летчика было известно: кое-кто из приближенных к Курганову пленных, из тех, что помоложе, зовут его дядя Ваня.

Дошел ли тот «перебежчик», сумел ли выполнить задание — неизвестно. Обратной связи не было. Да и линия фронта стала к тому времени сплошной — не протиснешься.

И вот — сам Курганов. И не с повинной головой, а вроде как свой к своим. В немецкой-то форме?

7

— Что ж такое, по-вашему, был этот Курганов? — спрашиваю через двадцать пять лет военного хирурга Георгия Ивановича Земскова (мы съехались в Ржев на юбилей освобождения города).

Мне бы, наверное, самой и не узнать Георгия Ивановича. У него теперь тучное крестьянское лицо — так бывает, что с возрастом в человеке отчетливо проступает коренное. И весь он раздался вширь. А тогда-то это был высокого роста, изможденный человек с заросшим щетиной лицом. По мере того как он приближался, что-то в его облике властно оповещало о мужестве, благородстве, достоинстве.

Это ведь теперь многое известно о сопротивлении в лагерях смерти, а тогда-то и понаслышке мы едва что знали, и чтоб вот так воочию...

Когда Левшин пожелал остаться с Кургановым наедине, я, выйдя на улицу, увидела приближавшегося сюда человека в длинном пальто, прихрамывающего. Это был Земсков. Он только-только выбрался из туннеля под водокачкой, где скрывался, бежав из лагеря военнопленных вместе с двумя товарищами — членами созданной им в лагере подпольной группы. Те оба ушли в запасной полк, а Земсков не смог.

— Я поранил ногу, не особо, уже после, когда выбрались мы из туннеля. Мина жახнула неподалеку. Уж не помню, кто указал мне, где штаб. Вот как раз тогда пришкандыбал.

— А вел он себя грубо в лагере? — Я опять о Курганове.

— А как он мог вести себя, по-вашему, ведь если и конспирация... Но это мои соображения, можно сказать, нынешние. Он меня

вызвал. Являюсь в землянку: сидит за столом выпивший. Накурено, ничего не видно. Всем, кто был, приказал выйти.

«Что вы хотите, господин начальник?»

«Я хочу, чтобы ты выпил шнапсу. У меня к тебе разговор есть».

«Посмотрите на меня, Иван Григорьевич, я человек истощенный, причем переболевший тифом, я — бессильный человек».

«Пей!» — Курганов взревел, стукнул кулаком по столу.

Я немножко совсем выпил и стал закусывать хлебом с колбасой. Я недоверие к нему имел.

«Когда ты убежишь?»

Это меня испугало. У нас уже решение на этот счет состоялось. Февраль. Уже разгромлены немцы под Сталинградом. Отсюда откачнутся, а лагерь — угонят. Надо уходить.

Говорю ему: «Я за лагерь-то выйти не могу. Снег глубокий во круг. У меня и в уме нет. Зима. Я после болезни. Погибну».

«Пойдешь к Левшину и Митину. Привет, скажешь, от дяди Вани».

«Куда же я пойду? Кто это такие?»

Он стал плакать. Ну, думаю, пьяный. Он лег на стол и уснул.

Я пришел к своим товарищам. Надо уходить. Курганов знает. Кто-то продал.

Курганов плакал. Перепоручал свой привет, не надеясь вырваться. Сам же с немецким комендантом и офицерами гнал военнопленных на запад. Но вот в пути бежал, вернулся. Сам принес привет, свою голову тому самому майору Левшину, к которому поручал Земскову идти с приветом от него.

— Выходит, — сказал Георгий Иванович, — я тогда вошел в дом чуть ли не следом за ним. «Здравствуйте», — отозвался майор, что вел разговор с Кургановым. «Ты чего ж не сказал тогда, что уходишь?» — спросил Курганов. «Я, знаете, Иван Григорьевич, я не должен вам говорить. Я вас знаю как полиция». Он закурил. Он курящий человек.

8

Вскоре тут же после освобождения Ржева направлялась в Москву полуторка за рулонами бумаги, за копиркой, конвертами и всякой канцелярской всячиной, без которой, оказалось, не обходится война. Я попросилась съездить повидаться с родными, только что вернувшимся из Сибири, из эвакуации. Мне разрешили, а точнее — поощрили этой поездкой.

Штаб Западного фронта стоял за Подольском, и с нашего участка войны путь к нему шел через Москву. И уж коль снаряжалась за какой-либо надобностью машина в Москву, что случалось редко, то находились дела, чтоб заодно ей ехать до штаба фронта.

И на этот раз на первом контрольно-пропускном пункте машину задержали, водителю вручено было новое предписание прибыть без задержки в штаб фронта, а на обратном пути взять в Москве груз. И в пустой кузов подсажены двое. Один из них Курганов. Другой — сопровождающий его старшина-сверхсрочник, до войны служил на границе, там принял первый бой. Он не очень молод, но ловкий, веселый, отлично плясавший, если случалось где, под гармонь.

Отъехали порядочно. Стук по крыше кабины: «Стой!» Стали, вышли из кабины. Старшина уже спрыгнул. Курганов тяжело спустился из кузова. В немецкой форме, огромный — шархнешься, увидев.

Вблизи на месте прежних колхозных служб все было покорежено, и старшина послал водителя натаскать сюда кое-какие обломки. Сам от Курганова — ни на шаг.

Сложили сообща костер, плеснули бензина из канистры — огонь занялся.

— Давай сушишь, грейся! — старшина Курганову.

Подкатили к костру бревно, уселись. Курганов вытянул ноги к огню. От серых немецких бурок повалил пар.

Мы сидели на бревне, все четверо подряд, молча, без разговоров. Огонь нас сблизил.

Уже гуще темнело. С размятого большака съехали на проселок, полуторка кувыркалась с боку на бок — как уж их там, в кузове, перекатывало, — водитель, подсвечивая подфарниками, вытянул к селению. Еще держалась вечерняя белесость неба, на его фоне чернели избы. Водитель вышел, стукнул в ставень и, не дожидаясь отклика, поднялся на крыльцо, взялся за щеколду. Я вошла за ним. В избе на лавках сидели несколько женщин. Искрила лучина.

О, этот особый уют вечерних посиделок в войну, когда не привычка, не досуг — стягивала друг к другу вьюга войны, чтоб не поврозь — в куче — терпеть, пережидать. Неспешный разговор о том о сем, короткие, бедные новости, лукавое привычное, а то и скабрзное слово, смешок и вздохи, тютюканье ребенка, а то и затрещина тому, кто постарше, живое печное тепло, потрескивание лучины — всё, не зная того о себе, наперекор бедствию, скорбям, лихолетью.

— Переждем у вас ночь, — не спросил, известил водитель; отказов мы не ведали, хоть и далеко фронт передвинулся отсюда, а все подчинены ему.

— Так и напугать недолго. Отвычны. Нас-то военные давно покинули. — Женщины зашевелились, стали поправлять платки на себе, обстреляли ласковыми глазами неказистого малого — водителя, усердствовали: защитнику, мол, всегда рады, — и меня с любопытством оглядели. А хозяйка, сучившая нить, выжидательно, без радушия что-то соображала, надкусила нитку и так с ниткой в зубах обмерла — в избу старшина пропустил вперед себя Курганова.

Оторопь. Кто-то ахнул:

— Хриц!

— Русский! — хрипло, испитым голосом сказал Курганов.

Половицы под ним оседали — махина, вольно прошел по избе, сел у печки.

Женщины стушевались, еще немного побыли молча... В недоумении гуртом двинулись к двери.

Хозяйка так и не вышла из замешательства. Не мудрено. Странная мы были компания.

Водитель забрался спать на полати. Я улеглась на лавке, завернувшись в полушубок. Напротив по ту сторону стола, сидя на лавке, перебивали ночь эти двое. Лучина давно прогорела. На столе в плошке, залитой бензином, зажжен фитиль, дрожащий огонек подсвечивал их снизу.

Я избегала смотреть на посеченное шрамами и в рытвинах, крупное, смуглое лицо Курганова. За Кургановым — обрыв, мрак, какие-то темные вины. Но вот не остался под защитой немцев, бежал, вернулся, пришел сам. Это потом только узнается: посланный им назад к нам с выполненным заданием — с важными для нас разведанными — тот молодецкий «перебежчик» не дошел, убит при переходе линии фронта.

Кто и как решит теперь судьбу Курганова? Что перетянет — вина или заслуга? И получит ли он возможность доказать, оправдаться, искупить, наконец?

Зато смотреть на подсвеченное огоньком лицо старшины было успокоительно. Оно у него какое-то опрятное, с общевойсковым, можно сказать, выражением добросовестности и солдатского долга, и черты лица небольшие, как раз в меру, ничего в них затейливого. Растопырив на столе локти, он уперся кулаками в скулы, клевал носом.

Курганов курил заветку — старшина отсыпал ему махорки, — закашливался гулко, простуженно, сплевывал на пол, наклонясь. И тогда его тень, качавшуюся на бревнах стены, сволакивало вниз. Сказал громко, мрачно, надтреснутым голосом:

— Да ты спи, старшина. Не сбегу я.

Был разгар мартовского яркого дня, когда мы в Москве въехали на улицу «Правды» в первый налево тупик, где и сейчас, замыкая его, стоит дом под тем же номером один дробь два, тогда цвета бурой кирпичной кладки. Я выскочила из кабины, промелькнувшие улицы, родные места — все было для меня невнятно. Я была захвачена волнением от предстоящей сейчас встречи с близкими, для них внезапной. Мы не виделись больше полутора лет войны.

Я взялась за борт, поднялась, встав на колесо. На дне кузова, зарыв в солому обутые в бурки ноги, сидел Курганов, с ним рядом — старшина.

— Пойдемте, погреемся, — сказала я Курганову, может, и скорманно. В доме были пожилые люди, потерявшие на фронте единственного сына, убитого осенью на юге. Человек в немецкой форме не мог не ошарашить жестоко.

Старшина охотно откликнулся, он не прочь был погреться, еще предстоял немалый путь, а отсесть от Курганова в кабину не имел права.

Курганов посмотрел мутно, щелочками затравленных глаз, мотнул головой:

— Не пойду.

Я снова позвала.

— Пошли, а то еще ехать и ехать. Погреемся, — сказал старшина. Окоченевший, прибитый Курганов вдруг зло и властно цыкнул:

— Вези куда надо!

Полуторка развернулась и выехала со двора.

9

Два дня — это мало и много. Дома с родными, на улицах, на спектакле в театре, осажденном жаждущей зрелищ безбилетной публикой, в институте, где сложены громоздкие дымящие печи и бродят тощие и бойкие, недоделающие студенты, в горячке встреч, объятий, восклицаний — нигде не оставляла меня болезненная растравленность своей чужеродностью всему тут. Уже ни к какому быту, я чувствовала, что неприложима, кроме быта войны.

Полуторка вернулась из Подольска, из штаба фронта. Старшина, когда «сдавал», как он выразился, Курганова, тот застонал и горько укорил напоследок:

— Эх, старшина, что ж ты не сказал, куда везешь!

Куда же он его там сдавал?

Пройдет много лет, прежде чем я что-либо узнаю о Курганове.

В Ветошном переулке на складе водитель получал по накладным рулоны сероватой писчей бумаги и рулоны оберточной на конверты, чернила, сургуч, клей. Они со старшиной расторопно загружали полуторку. Когда с этим было покончено, мы забралась в кузов, подняли откинутый задний борт, уселись на всю эту канцелярию войны, и я развернула замотанные в теплое, еще не совсем остывшие картофелины, что мне дали дома в дорогу.

Мы сидели в кузове, на верхотуре, макали в соль картошку. Я была уже в пути обратно домой, на фронт, в свою армию, и чув-

ство потерянности отступало вместе со всей странной, забытой мной, нестерпимо почужевшей жизнью города.

«Вот когда читаешь про Ленинград, как там было написано на стенах. Эта стена наиболее опасна при артобстреле,— написал мне в письме все тот же незнакомый Ф. С. Мазин.— А в Ржеве мало было таких высоких стен, и не было таких властей, чтобы позаботиться писать, и прятаться было не за что, большинство домов деревянные были, и за какую стену прятаться и не знали. бомбы летели кругом, а снаряды из-за Волги летели. Но тогда никто на наших за это не обижался, потому что все понимали, война есть война, и откуда нашим знать, кто там где сидит. Все ждали своих, и у каждого был кто-нибудь в армии.

Мне что понравилось в Вашей книге, так то, что Вы в войну, находясь на высоте положения, все же при штабе армии, не теряли взгляда человека на топчущее войной окружающее.

А до войны я семилетку не кончил, ушел в ремесленное училище, и было мне тогда 14 и 15 лет во время нахождения немецких войск в Ржеве.

В 43 г. в начале января я был ранен в правую ногу. Через год нога зажила. После войны я работал на строительстве Сталинградской ГЭС механиком 2-го участка, а потом переехал в Москву и работаю в СМУ.

А точнее меня Вам никто не расскажет о Ржеве, который отделяла тогда от наших войск, где Вы в то время находились, сильно укрепленная фронтовая линия немцев.

Вот так бывает. Какие будут вопросы, пишите».

Не дожидаясь вопросов, Мазин слал письмо за письмом, вспоминая разные случаи из пережитого и виденного, горячо и настойчиво призывая меня написать о Ржеве тех дней и наставляя, как мне следует писать.

«Название можно бы дать «Тайны Ржева». А еще хорошо бы дать вот такое очень удачное заглавие к рассказу подходящему: «Жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда». Или вот так: «А мать сыночка никогда...» А то, что я тогда летом писал Вам о названии книги, так я ведь просто поделился своим мнением, с Вами, не на людях и не где-нибудь».

«Или вот еще что. Среди немецких солдат было распространено при разговоре с населением такое выражение: «Капут машинка», если не ладилось с мотоциклом, зажигалкой, и о живом организме тоже — то, если чихнет, пальцем ткнет в нос себе: капут машинка!

Неподалеку от нас во дворе стояла кухня и мы, несколько мальчишек с консервными банками, где-нибудь притаившись, ждали и, когда закончат с котелками подходить солдаты к кухне, подходили, и бывало так, что немец наливал кому доставалось этого густого супа. Пока там не стала работать девушка, та носила с собой бигон на полведра, повар наливал в него что оставалось, и нам не стало доставаться. Так мальчишка 12 лет, он жил в том доме, где кухня, он хотел ее отвадить, унижить. Сидит он на своем заборе и играет на губной гармошке, а она вышла, и он ей вдогонку при поваре тоненьким голосочком:

Вас костэт, Нинка,
дайнэ капут машинка?¹

Слова этого куплета обычно мальчишки старались пропеть в адрес тех девушек, которые гуляли с немцами, на мотив «Итальянская крестьянка», который немцы тогда играли на губных гармошках».

¹ На ломаном немецком: что стоит, Нинка, твоя капут машинка?

«Жил я в 150 м от Казанского кладбища. За полтора года фронта многих мальчишек, которых я знал тогда, не стало. Некоторые из-за своей неосторожности были подорваны, другие попадали или под сильный обстрел, или бомбардировки, или с голоду...».

«Так вот, летом 1942 г., когда бомбили наши самолеты Ржев всю ночь подряд, одна партия самолетов улетает, другая прилетает, вынужден был и я бежать в тот подвал под Казанской церковью. Там под церковью был хороший подвал с массивными железными дверями, были прямые попадания в церковь снарядами тяжелыми, но до подвала не достало и он уцелел во время войны. Так вот, в самый подвал я не пошел, а остановился там на ступеньках около двери и немного приоткрыл ее. Смотрю, там много старушек верующих и на разные голоса кто шепотом, кто вполголоса шепчут молитвы: «Царица небесная, пресвятая богородица, прости ты мою душу грешную. Царица небесная, прости ты мое согрешение». А наверху все кругом горело и трудно было дышать от всякой гари, и почти не переставая колыхалась земля.

Я стоял, слушал и думал, а почему же они обращаются к царице небесной, а не к самому богу. Потом подумал, богородица, может, она мать бога. Хотел у кого-нибудь после у них спросить об этом, но к концу войны этих старушек уже никого не стало».

Глава вторая

1

Я вернулась из Москвы после двухдневной побывки снова во Ржев. И вроде заново увидела его.

Господи, это же мой город, сметенный боями за него, полузанесенный снегом. Сражение, поглотившее сотни тысяч солдат, не знало пощады к человеческим очагам, не ведало ни в чем неправоты и никакой другой ответственности и назначения как только — победить.

Сражение — путь к цели — динамично, властно, яро. Сама история преопределила его. А отвечать за все немцам.

И цель достигнута — Ржев наш. Короткая остановка в пути. Заминка. Выходит, победа статична — не расшвыривает на ходу, не сбрасывает, не переступает, — стягивает все в узел. И стоишь с перевернутой душой, в ответе за все.

Земсков залечивал ногу в расположившемся здесь медсанбате. Оттуда его вызывали в дом бургомистра. Изнуренное лицо его с запавшими щеками, скуластое, с твердо очерченным ртом приковывало меня. Он был прост, достоверен, и его мужественность проста, природна, чиста — ни жеста в ней, ни натужности.

Иногда я встречалась взглядом с его серыми, сосредоточенными и прямо смотревшими глазами и цепенела от охватывавшего меня порыва прислониться к его плечу, так притягательна была надежность, угадываемая в этом человеке, одетом в темное пальто, придававшее ему чуждый в глазах освободителей облик, словно ему надлежало оставаться лишь в том, чем наделила его армия, хотя от всего армейского уцелела на нем в плену одна нательная рубашка.

Фронт продвинулся на запад. Во Ржеве было тихо; тревожно пахло мартовским, рыхлым, подтаивавшим в солнечные часы снегом. Уходила зима. И с нею целая эпоха народной жизни с ее великим самоотречением. Да, что-то кончалось, начиналось что-то другое, душа войны менялась. Томила беспредельность жизни ли, войны, и, как в Москве, подкрадывалось горьковатое чувство одиночества.

Позже Земсков снова воевал, был ведущим хирургом медсанбата, награжден тремя орденами, в отставку вышел только недавно. А тогда его проверяли. Почему оказался в плену?

— То, что вы в душе имели, что вы — человек, эти честные свои переживания не всякому вывернешь, — вспоминая, рассказывал он мне, когда мы встретились через много лет, как я упоминала, на юбилее освобождения Ржева. — Под Смоленском, возле города Белый. В лесу мы. Еще много людей в лесу. Раненые. Командир медсанбата погиб — на дороге разбили машину.

«Все уходят, — шепчет ординатор, присланный новым командиром. — К вечеру надо вам уходить».

«Кто же все? Люди ранены, как бросить!»

Потом, уже после плена, пройдя через все мытарства, столкнулся на фронтовой дороге с тем человеком, который заменял тогда павшего командира.

«Как вам не стыдно, вы бросили нас, сколько раненых!»

Не всякие командиры были на своем месте. Если б я думал о спасении своей шкуры, я бы тоже мог уйти. А что бы я сказал людям? Чем я помог им там, среди лесов? Может, не так уж много. Кого перевязал, кому что. А как я мог их бросить...

Войска были, техника. Все истинные желания воина, чтобы быть честным в бою, его готовность на жертвенный бой — всего этого было недостаточно. Нужна была организаторская сила.

Мы присоединились к кавалерийскому полку. Командир полка был еще на месте. Мы посчитали, что с ним выйдем. Он велел прорубить чащу — дорогу, по которой вывезти орудия. А их всего три было на конной упряжке. Начали с вечера. Думали, часа за два-три, а потратили из-за трех орудий, которые бы лучше бросить, всю ночь до утра. Значит, оставили выход на вечер.

Истинное, а не лживое впечатление осталось у меня обо всех окруженных. Никто не хотел сдаваться. Голодные, где-то вокруг Оленина, в лесах, грибы ели, ягоды, искали яйца птички, ели. В каждом окруженном я видел честного воина. Они готовы были пожертвовать жизнью, но идти только к своим. Я говорил вам, к этому командиру кавполка стали все примыкать. Он хотел, но, может, он был неопытен, он молод был. Упустил время. Ночь ушла. А немцы начали нападать, расчленять.

Все раздробилось на мелкие части, и организацию очень трудно было восстановить. Под обстрелом разбегаются.

Я был старшим по званию. У меня компас, карта. «За мной, без разговоров! Задний следит позади. Если что, ударьте меня по руке, но ни слова». Натолкнулись на заставу. Ракета вверх. Это мы знаем: будьте добры, на землю. А как она упала, она немцев ослепила — бегите! Лесом ночью нельзя идти. А лесом — днем, видим, куда наступить, чтобы не такой треск.

Под обстрелом оказались в реке. Сапоги, брюки на мне, а гимнастерку снял — документы в ней, — держу над водой. Поначалу тихо. Немцы нас до середины реки подпустили и открыли огонь. Тут глубоко. Тут нас завертело. Кто спасся, выбрался. Группа все таяла.

Так нас двое осталось на семнадцатый день окружения.

Вышли на опушку. Рано. Туман. Петухи поют. Деревня маленькая. Тихо, как будто немцев нет. Ползком мы проползли к деревне, метров двести. Тихо. Деревянный крайний дом, рубленый, сосновый, а внизу выпилено два венца — для чего? — наподобие амбразур. Мы влезли в эти дырки. Дальше идти не решились. Думаем, побудем. Пол над нами разохшийся, щелястый, видно в щели, что там, над нами. Вошел мужчина, высокий, слазил в печку, достал себе что-то покушать и ушел. Мы ожидаем, что будет дальше. Вошла женщина, солидная, лет пятидесяти пяти. Мы почему-то решились:

«Мамаша! Немцев нету?»

Она завертела головой, запричитала испуганно:

«Кто тут? Да кто, господи, тут?»

«Тише! Мы только спросить, мамаша. Мы у вас в подполе. Сейчас уйдем».

«Ай, батюшки! Так у нас же немцы». И с воплем выбежала.

Немцы где-то во дворе у них спали. Тотчас окружили дом. Они: «Выходите!» Автомат в амбразуру. Деться некуда, вышли. Народ стал сходитьсь. И хозяйка тут, суетится, старается людям сказать, что не по ее вине, что она не причастна. И какой-то мужчина таких же пожилых лет, косой, видно, жизнь его так истерзала, что он — раб. Подошел:

«Пане хорошие, не бойтесь».

А то мы сами не знаем, какие они.

Они нас держали, может, полчаса, может, побольше. Две женщины стоят, не уходят. И конвоиры говорят нам: марш. И из деревни. Куда, что, мы не знаем.

Слышу окрик — женский голос. Две женщины. Они попросили разрешение подойти. Руки под фартуком. Немцы разрешили. Они дали нам хлеб — по буханке — и заплакали. Немцы тут же: «Weg! (Прочь!)».

Привели нас в соседнее село, чистенький дом. Один прошел в дом, другой с нами остался. Вышел немец, оказывается, комендант. Ввели. Переводчик: «Раздеться догола». Что-то искали. На гимнастерках искали следы орденов. Вернули. У нас только по гимнастерке. Вернее, у меня и ее не было. Утонула с документами в реке.

Когда нас вывели на улицу, девочка, лет пятнадцати, кажется, Маруся, вышла и моет посуду.

Мы на бревна присели. Немцы-конвоиры с нами. Вышел переводчик. Мой второй спрашивает: «Нас что, расстреляют?»

Мне так обидно показалось, зачем он спрашивает, — что уж, за душой ничего не осталось?

«Ха-ха-ха, Маруся, их что, расстреляют?»

Она заревела, бросила мыть: «Я что, этим занимаюсь!».

Тут легковая машина. Уехал комендант. «В отпуск, в Германию. Ваше счастье», — переводчик говорит.

Подошла крытая брезентом машина: кирки, лопаты. Куда же нас? Минут через десять остановилась машина — под брезент впили еще двоих, чумазых. «Куда нас везут? Нас вчера в баню посадили».

Судьба есть судьба. Впечатление, что отвезут и расстреляют.

Привезли нас в Ржевский лагерь. Сначала через мяло полиции, тумачи, побои, в лучшем случае — в спину тычок, а то и по уху.

Мало-мальски что-то похожее на добротное отбирали, оставляли в одном белье. У нас уже ничего не было. У меня была летняя гимнастерка, порванная в лесу. Простите, я в одной бельевой рубаше был. Гимнастерка у меня утонула. Держал над водой, чтоб документы вцелели. А как немцы накрыли огнем, тут нас завертело.

Внутренняя картина лагеря, образно выражаясь, — это ад, переполненный страданиями. Среди лагеря — виселица как страшлище: две петли качаются, готовы принять нагрузку. В мое прибытие в лагере было военнопленных до двадцати тысяч. Это на территории товарного двора — там около квадратного километра.

Люди, измученные, голодные, загрязненные, с открытыми ранами на теле, больше лежали на земле. Среди них и трупы лежали.

Кто не лежит, слоняются голодные, обессиленные, натываются на полицаев. У тех наломанные на болоте сырые палки. что гнутся хорошо, но не ломаются. Лупят, пока она как мочало. Слышатся пронизывающие до боли страдальческие крики избиваемых. Была там яма, видимо, раньше помой выливали, потому что там грязь всякая и кислота. Изобьют, иной раз и бросят в яму. И помочь не мо-

гут люди. Только когда уйдут полицаи, кое-кто подойдет, поможет выгнать.

Был врач. Еврей. Он подходит к одному, другому: «Я молдаванин».

Зачем ты говоришь всем?

Потом подходит: «Я переводить буду».

Ого, куда ты попал. На третий день он пропал.

Раз в сутки — баланда из древесной муки и нечищеного, невымытого картофеля. Все двигались, некоторые ползли к кухне за получением порции.

Какая ни плохая баланда, а покушать вам ее не во что. Банку вам никто не доверит. Есть такие дельцы, что он вам даст банку, с тем чтобы вы взяли, он сегодня-завтра будет за вас есть, а там вам отдаст.

В лучшем случае ржавая консервная банка или просто черепок от разбитого горшка, некоторые пользовались рваной обувью или лоскутом кожи от обуви. Другие подставляли свои пригоршни, обжигаясь, глотали баланду.

А при раздаче баланды особо свирепствовали немцы и полицаи. Потехи ради избивали пленных.

Привезли мороженую картошку, воз высыпали на землю и смотрят, как живые скелеты набросились на нее, сырую едят. Гогочут и из автомата по ним. Опять жертвы.

Вода. Впрягутся в бочку пленные. За водой на Волгу. А сколько воды нужно! Врасхват. Не можно без воды.

Большими группами ночью гоняли на передовую. Укрепляли, рыли окопы. Об этом вы слышали. Сегодня наши нарушат, завтра — поправлять. Они хотели не своими руками поправлять. Все, кто уходил, знали, что гибель неминуемая. Раненых они не приводили оттуда, кого ранило с нашей, советской стороны, немцы добивали, чтобы не видели те, кто завтра пойдет.

В лагерь возвращались только целые.

Смерть от мучений и издевательств быстро подкатывалась к каждому, к тому же ужасные кровавые поносы и тиф уносили с земли сынов России.

Зимой в снег, в сугроб сунут, занесет, и все. Летом копали канаву вдоль проволочного заграждения, складывали трупы штабелями, откопанную землю на трупы. И его такая участь, который забрасывает. Но долг есть долг — пока зарыть своего товарища. Кто хоронил, через день или позже они тоже умирали, и их закапывали другие. Так бесконечно рылась канава...

Жуткое было положение. Каждый знал, что погибнет, да хоть с голоду, страдания невыносимые, а не шли во власовскую и в полицаи.

2

Листаю старые записи тех дней, когда мы вступили во Ржев. Начало марта 1943-го: «Небо и снег одинаково молочно-серые, слились. Только в одном месте небо продырявлено — мерцает свет и видно, как клубятся облака. Но вот заволокло и там, небо недвижимо сплошь».

И еще в тот же день. Помечен час — 17.50: «Светло, с какой-то примесью сумерек. День пасмурный, небо ватное».

А сбоку на полях той тетрадки: «Земсков». И опять: «Георгий Иванович Земсков».

Что это вдруг далось мне тогда, все небо да небо — от внезапной тишины, что ли. По земле, по снегу надо было ходить со вниманием, глядя под ноги, — повсюду вспорото воронками от бомб и снарядов. Тут и там щиты: «Не проверено от мин. Держитесь левой стороны!», «Разминировано», «Внимание! Осторожно на спуске к Волге».

Несмелые дымки снизу — из подвалов, землянок. Редко кому повезло, чтоб дом сохранился или хоть угол какой от него остался. Немцы, отступая, жгли, взрывали все, что еще уцелело. Но только мы заняли город, уже на другой день из ближних деревень, из лесу люди стали возвращаться на пепелище. Продирались из немецкого тыла назад, сюда, те из угнанных, кто смог бежать.

Селятся все больше в немецких «бунках», что по окраинам и у Городского леса,— здесь страшное побоище с самой осени и всю зиму. Обгоревшие танки, опрокинутые грузовики, вздернутые вкривь и вкось черные стволы орудий. Останки врезавшихся в землю самолетов. Разметанные каски, клочья одежды. На корявом, схваченном солнцем, почерневшем от гари снегу — изжелченные потеки крови. И по всему полю из-под осевшего снега или поверх него — вразброс и вместе вповалку — искромсанные, окаменевшие солдаты.

Из областного центра Калинина поезд довозит до Городского леса, дальше железнодорожное полотно взрвано. Назначенные властью на работу в освобожденный город одиночки, сойдя с поезда, бредут потрясенно по Городскому лесу по указанной им тропе. «Не сворачивайте! Здесь мины!», «Идите по тропе!», «Будьте осторожны! Слева от вас противотанковые мины!»

Дымят немецкие «бунки». Женщины, заматанные в платки, сунувшись наружу набрать снегу в немецкие котелки, зачарованно смотрят, как эти свежие люди, приезжие, идут, сняв шапки, с непокрытой головой, как встают на колени у скопища побитых, убогих, заледневших, неприбранных солдат. Женщины стоят, стынут с пустыми котелками в руках. Иссохшие от страданий, все до дна выплавкавшие глаза заволакивает — не иссяк колодец души.

Тогда на тропе, ведущей от Городского леса, кто-то сказал:

— Они отдали свои недожитые жизни за освобождение Ржева! Вечная им слава!

В статике тех победных дней, в смолкшем, распахнутом пространстве, не иссеченном теперь боями, стали возникать незнакомые до того фигуры — хоть полуживые, хоть смотреть больно, а все же из-под немцев. «Братья и сестры на временно оккупированной врагом территории!» — обращались к ним наши листовки.

Годом раньше в деревне, переходившей из рук в руки, женщина с иступленным, темным лицом сказала: «Мы тринадцать дён были у немца». Сказала и чем-то незримо отделила себя от нас — знает что-то, чего мы не знаем. Какой-то опыт у нее, превышающий наш. Так то тринадцать дён. А тут почти полтора года.

— Ведь была возможность отправить нас в Башкирию, — сказала мне одна женщина. — Когда мы хватились, дошли до Торопецкого тракта, глядим — танки, свастика...

Одни б ушли пешком, другие, может, не решились бы — с детьми, со стариками, — от своих стен, огородов. Ну а после, сколько ни саботируй, погонят дулами автоматов, плетками снег расчищать, или на кирпичный завод замурованный в печах кирпич доставать, или из тюремного белья шить им маскхалаты. Их власть, их сила.

Как только не исхитрились вывернуться — с риском, да каким! — и нередко удавалось, хотя за работу все же то талоны на льняное семя дадут или банку супа из костяной муки («Сейчас у всех желудки от нее больные. Режет. Нолевая кислотность»). А то постирать белье принесут. Девчонки пели: «Шелковый синий платочек немец принес постирать. Мыла брусочек, хлеба кусочек и котелок облизать».

Ведь в оккупации человеку хоть чего-то поесть надо, матерям детей накормить. Голод — медленная, мученическая смерть.

А мы думать забыли, что жизнь имеет свои изначальные неодолимые свойства и запросы, свою какую-никакую меру.

Какая еще из себя жизнь, когда кругом — одна война, и надо подыматься в атаку, может, победить и все же пасть, как те, что легли на всем пути к Ржеву.

С высоты их заслуженной вечной славы и вечной горечи за их недолгую жизнь ощутим ли трагический хаос палимого войной города?.. Труден перепад — не осилить. Да и замешкаться нет возможности: «Вперед, воин! Гони врага с нашей земли!»

Сам невоющий люд чтит превыше всего муки воинов, не примеривает к ним свои испытания. Войну воспринимают просто как злую напасть, неумолимый рок. И все праведные муки войны — на полях сражений, а их собственные — издержки ее.

И даже та женщина, сетовавшая — а это было редкостью, — что не призвали уходить, когда оставляли наши войска город и еще можно бы успеть, сказала о пережитых бомбежках:

— От немца обидно погибнуть, от своих — нет! Даже не страшно. Ждали своих. Ждали очень. Только одно было желание: скорей бы! Терпели. И ждали. «Значит, верили во что-то...» — сказал Земсков.

3

— Вы вошли, Георгий Иванович. Я тогда переводила трофейный приказ. Вы спросили, не помешаете ли...

— Как же, помню. Вы любезно заверили, что нет, не помешаю.

— Еще и свояченица бургомистра тут была. Принесла какой-то помятый самовар взамен, а тот, сияющий, — он все еще стоял на столе в окружении стаканов в подстаканниках, как при хозяевах, — взяла. Она так и застряла с ним, прижав к животу, на вас уставилась.

— Ну, не помню. Возможно, узнала. Я вам говорил, в городе не было ни одного врача. Время от времени меня направляли из лагеря к больному. Так что доводилось ходить по городу с спиной или с немецким охранником. Ну, и население узнавало меня.

— Вы спросили, не могу ли я вам дать листок бумаги.

— Да, я решил тогда изложить письменно...

— Я как раз закончила перевод. И мне надо было отнести его начальнику разведотдела. Я поднялась, но мне показалось, что вы что-то хотите сказать...

— Сказать? Да если и собирался, разве упомнишь. Столько лет. Ну а сожалел, что лишаюсь вашего присутствия, это, наверно, так. Я, знаете, в вашем присутствии чувствовал за собой что-то свершенное, что оно в действительности было.

— Я, Георгий Иванович, относилась почтительно к вам.

— Да, доверие ваше я чувствовал. А в моем положении дорого...

Я промолчала. В каком же таком положении? Разве мог кто-либо усомниться в подлинности того, о чем говорил, что представлял собой Земсков. И ведь уже была откопана в указанном им месте — в лагерьной уборной — черная бутылка с засунутыми в нее протоколами заседаний подпольной группы.

Мне казалось все счастливо завершенным. Человек остался верен себе и еще — героически возвысился, пронесся в зловещем плену в чистоте свою стойкую, верную душу, и увлек за собой других, не дал свалиться в пропасть тьмы.

Так с чего же эта появившаяся угрюмость в глазах?

4

Из писем Ф. С. Мазина.

«...«Издалека Волга, течет моя Волга...». И в том издалека верхним городом на Волге, неподалеку от жемчужины России озера Селигер и Валдайских ключей, откуда начинается Волга, был старинный

русский город Ржев, утопающий в зелени сагов и раскинувшийся по обеим сторонам Волги... Вот, может быть, подойдет такое начало для Вашей книги о Ржеве.

Но, конечно, я это просто набросал без всякой обработки. Вообще, такое начало чем хорошо, что сразу всем известно, где происходит действие, и оно широко».

«В один из вечеров майских 1942 г. я пошел посмотреть на берег Волги, что там творится. Волга все же тянула меня. До войны в теплое время всегда можно было видеть прогуливающих людей по обоим крутым берегам. И вот я пошел на высокий берег. Прогуливались немцы, группами, громко разговаривали. Кто-то играл на губной гармошке нашу песню про Степана Разина, и немцы пели: «Вольга, Вольга, мутэр майнэ!».

А по большому извозу около Казанской церкви спускается к Волге упряжка из двух лошадей с короткими хвостами и телега с бочкой, на телеге сидит немец, едет за водой. И мне вспоминается только что перед войной просмотренный кинофильм «Волга-Волга», где поет артистка Любовь Орлова в роли Дуни: «Не видать им красавицы Волги и не пить им из Волги воды». Я пошел домой».

«Когда пришли немцы в Ржев, они привели на Волгу 14 человек, повесили каждому на грудь фанеру с надписью «Коммунист», 7 человек привели на один берег около самой воды, а 7 человек на другой берег и расстреляли и 3 дня не давали их убирать. Это было около деревянного моста, так как железный мост был взорван нами при отходе».

По этому деревянному мосту я как-то проходил в 42-м, в апреле, когда шел лед, по нему ходили немцы с баграми и смотрели, что слышит с верховья. Если плыл мертвец, если он немец, то они его вытаскивали, а если плыл наш солдат, то толкали багром и отправляли дальше вниз по течению. Так, я видел, они подтянули багром какого-то голого, немного приподняли его багром, посмотрели, что на груди нет у него металлического жетона с адресом его дома, и толкнули дальше. Он был рыжий, лишь небольшие волосы прорезались, подстрижен недавно наголо, видно, наш солдат, плыл он оттуда, от Ножкино».

«А на работу собирали так: утром по улице проходит жандарм или двое, на груди у жандарма была такая металлическая в виде полумесяца белая бляха и на ней написано «фельдгендармери» (полевая жандармерия). Заходят в дом, если кого застанут из трудоспособных, то выгоняют плеткой на работу и на сборный пункт. Ведут с оружием».

«Когда наши отходили, то подожгли продовольтвенные склады, продукты сгорели, а соль осталась, немного только обгорела сверху. И вот жители натаскали соли по нескольку пудов, начали ходить менять ее на хлеб в район станции Ново-Дугино, это туда, к Вязьме. Меняли пуд соли за два пуда ржи. Два раза ходил туда и я... Так вот, туда надо идти 80 км, пуд соли на себе, и обратно — 80 и с грузом в два пуда. Так что трудоспособные, спортивные люди шли на такой марш ради спасения своих родственников».

«Но вот еще что. Я вот знал каких дураков в Ржеве до войны или у которых с головой было не в порядке, во время оккупации немцами их всех перестреляли. Не так чтобы собрали их куда, а где попало».

Потом немцы не любили еще урогов. Я знал такого одного, его звали Петька Криворотый. Он до войны где-то работал, он был не дурак, но у него лицо было такое очень глинное и рот очень набок».

Он когда смотрит на кого, немного страшно становится. Был он такой высокий и как будто женатый. Жил он в маслозаводских домах, еще у него было прозвище Акула. Так его тоже расстреляли».

«Много можно еще чего написать про Ржев. Я пишу вкратце, а если что надо будет описать подробно, то опишу.

Можете даже написать мою фамилию, за правильность своих показаний я ручаюсь, иначе с какими глазами я мог бы приехать в Ржев к своим землякам. Вы, конечно, представляете».

«Роман писать необязательно, можно написать и действительное произведение. А романы ведь кто читает, кому все равно, что читать, было это в действительности или не было...

Люди после войны жаждали настоящих событий, каждому хотелось увидеть что-то знакомое. Событий хватало, и люди хотели с ними встретиться на страницах книг.

...Появись на лотках где-нибудь новая книга, как прогавца быстро обступают, Вы и сами это замечали, все ищут какой-то истины».

5

Когда Земсков, войдя в дом бургомистра, попросил у меня листок бумаги, он перед тем, поздоровавшись коротким наклоном головы, снял заношенную матерчатую шапку со свалывшимся меховым козырьком, непроизвольно подчеркивая, что обращается к женщине. И, обращаясь, смотрел прямодушно, всем скуластым лицом сразу.

В длиннополом, грубошерстном черном пальто с чьего-то плеча, с этой странной шапкой в руках, в темном ежике волос, едва отрастающих после тифа,— кто он? Прошло несколько дней освобождения. Уже не военнопленный-врач, не руководитель подпольной группы, не гражданский. Человек без статуса в унифицированном мире войны. Ни документов, утонувших в реке, ни шинели, ни оружия.

Он сел к столу, шапку — в сторону от себя, на свободный стул. Взялся было за ручку, обмакнул в невыливайку, но тут же отложил ручку. Тер пальцы — отогревал, а может, тянул время, колебался. Большими ладонями провел по лицу, словно стер угрюмость. Взглянул светло и с решительностью принялся писать.

Из чего ткется, какой невидимой нитью возникающая загадочно связь, когда внезапно проникаешься человеческой близостью, чутким откликом — в глухомани многолюдья, где вроде все свои и никого близкого.

Земсков сосредоточенно писал. Локоть левой руки упирался в стол, ладонь распластана по ежику волос.

Мне нужно было отнести переведенные документы.

Я нехотя поднялась. Заметив, Георгий Иванович встал, большой, в громоздком пальто, что-то потянулся сказать, может, показалось. Я смутилась, встретившись с его застенчивым взглядом. Он был открыто огорчен, что ухожу.

И ответно во мне — колотьба сердца. А притом говорю, да так просто:

— Я туда и назад, Георгий Иванович! Вернусь, будем чай пить. И сухари у меня есть.

Кубанку на голову. Размахиваю полушубком, с трудом попадая в рукава, и выхожу, не зная, что не вернусь больше.

Снег шлепал большими мокрыми хлопьями. Может, в последний раз такой. Было безветрено, а воздух резкий — по-особому проникающий, знобящий предвестьем весны. На душе грустновато, ласково, странно, взволнованно — все сразу.

«Мины! Идите только по тропе».

Я спешила. Тишина. Оцепенение. Слышно — прогревают мотор машины. Тропа привела меня куда надо. Где дымок, побиваемый снежными хлопьями, рассеивался, и был спуск в подвал. Дверь — прямо в гулкое, большое, чадное пространство. По низкому потолку ползают розовые дымки в отсветах огня — горят фитили, воткнутые в снарядные гильзы. На полу солома, затолкнутая к стене, слежалая.

На железной койке расстелена карта, над ней, тыча пальцами, курия, сплевывая на пол, совещаются командиры. Пригнувшиеся к карте спины перетянуты крест-накрест портупейями.

Я не вернулась в дом бургомистра не по своей воле. Был приказ — немедленно сняться. Снова вбирала война — не сидеть же в отбитом городе. Кончились неспешные дни в Ржеве. Впереди нас ждали бои, весенняя хлябь, бездорожье, непролазные болота, напивавшиеся снегом, большая вода, бомбы, рушащиеся переправы...

Полуторка осторожно поползла по указанному стрелками, но заметенному пути. Снег перестал. Он присыпал измученный, весь в корчах развалин город. Было безлюдно. Тишина. Возле сада Грацинского цела виселица — два столба соединены поверху прибитой оглоблей, качаются петли. На старинной приземистой часовенке плакат — «Мы возродим тебя, Ржев!».

Мы покидали город. Было 12 марта — девятый день его освобождения.

В доме бургомистра Земсков что-то писал. Пройдут годы и годы, прежде чем мы с ним встретимся, а тот исписанный им листок можно будет вызволить из архива.

Выехали на Торопецкий тракт, и машина набрала скорость, нас встряхивало в кузове, хлестал в лицо ветер....

Мы ехали навстречу неведомому, ощущая гул войны, ее тягу и гон; было беспечно, весело, жутко и привычно.

Глава третья

1

Когда после войны я стала писать, Ржев снова приблизился, и пережитое на пути к нему было единственное, о чем я и могла-то писать. Ничто, ни штурм Берлина — апофеоз войны, ни причастность в дни падения третьей империи к значительным историческим событиям, не заслонило, не увело.

Что ж такое Ржев, эта неизжитая боль? Он являлся из тоски по пережитому в ином, чем обычная жизнь, измерении — в гуще общей беды, падений, непостижимых взлетов.

Почему так тянет в это ненастье войны? Во мрак? Но в том мраке призывны, негасимы мерцающие огоньки света. Назад к ним бережно пробиваешься сквозь толщу повседневности.

Через семнадцать мирных, послевоенных лет я поехала в Ржев тем маршрутом, каким в феврале сорок второго с предписанием добиралась на фронт, замерзая в кузове полуторки. То был кружной путь через Калинин, незадолго перед тем освобожденный, — на прямых к Ржеву дорогах тогда залегал фронт.

На этот раз, приехав в Калинин, я отправилась в краеведческий музей. Здесь была временная экспозиция «Отечественная война 1812 года» — в тот год нас отделяло от нее сто пятьдесят лет. По соседству кривичи и другие племена представлены в вещественной памяти своего пребывания на земле. О второй Отечественной войне ничего не было. Только стенд «Герои Советского Союза — наши земляки». Список имен и фотопортреты. Напротив точно такой же стенд — «Наши маяки». Это те, кто в ту пору был передовиками труда.

— Мы увязываем,— пояснила сотрудница музея,— что путь к мирному труду лежал через войну. Вот ее героиня. А условия для проявления героизма есть повсюду, и вот они — маяки. Это экспозиция совхоза «Семилетка».

Я почувствовала, как чугунная плита наваливается, погребая память о том, что составляет историю и душу народной жизни. А когда к какому-то «летию» будут делать экспозицию «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.», память о ней угаснет, материальные предметы занесет землей и будет все так же тускло, официально и безбытно, как представленная сейчас здесь экспозиция к стопятидесятилетней годовщине.

Где же наши простреленные, слинявшие под дождями, вытрепаные на ветрах знамена, закопченные котелки, плащ-палатки, солдатские обмотки длиной в версту, где наша винтовка образца 1891-го, где здешние карты-километровки, морзянки, сухари, которые размачивали в луже, где бирки смертные, нательные?..

В смутной дали времен будет ли какой археолог так же трудолюбив и удачлив, как тот, кто раскопал орудия труда, утварь, украшения кривичей, оставивших в земле здесь след десятивековой давности, и извлечет ли он из земли наши изделия из нестойкого материала военного времени — экспонаты материальной культуры второй мировой войны, самой чудовищной из всех, что были, и все же не безбытной?

Но в большом музее в столице области, чьим именем был назван целый фронт — Калининский, — ни единый экспонат не напоминал о войне. А в маленьком любительском музее в заштатном городке этой области есть пара огромных соломенных бот. Только одна деталь из быта противника, а как много она рассказывает. И то, как самонадеянно полагали немцы в четыре недели управиться с войной и не позаботились о теплом обмундировании. И то, как все пошло по-иному и в придачу грянула ранняя свирепая русская зима. И то, как в эти спешно сплетенные из соломы боты враг вставлял свой вражеский сапог и шел в боевое охранение или на пост, злобясь, пугаясь, несчастно замерзая.

Я оцепенело стою у стенда героев. Под портретами чаще две даты — рождения и гибели. Милое лицо парнишки — младший сержант-разведчик Иванов Николай Иванович, 1923—1943. Смотрю на черту между датами, на эту цезуру между началом и концом, на краткий выдох.

2

С тех пор как в преддверии двадцатилетия Победы пробудилась стихия народной памяти о пережитом, она нашла отклик, обозначения: и трогающие душу и формальные знаки. Но тут уж как удастся и что привносится порой со стороны в то сложное и простое, чем была война. В Калининском музее преобразился, собрано и сделано многое, чтобы поведать посетителям о минувшей войне.

У меня тоже есть свой небольшой музей, или точнее — архив. Мои записи в дни войны, на ходу и более поздние наброски по памяти, записанные рассказы жителей о пережитом, письма, дневники, документы.

Назвавшись именем этого города и кое-что опубликовав, я стала получать от неизвестных мне корреспондентов письма о далеких ли днях детства во Ржеве или об участии в боях за него. Или о том, что было, когда Ржев находился под оккупацией, — об этом рассказ Ф. С. Мазин более чем в сорока письмах.

Городской музей, и редакция газеты, и радио, и «штаб туристов»

пересылали мне стекавшиеся к ним материалы с заботой, чтобы голоса, события, судьба города в войну не остались забыты.

С годами мне чаще приходит в голову, что я, видимо, должна позаботиться о судьбе собравшегося у меня архива — может, посчастливится сдать его на хранение с навязчивой мыслью: когда-нибудь им плодотворнее меня воспользуется будущий исследователь. Но натолкнется ли он на мой архив раньше, чем тот станет добычей мышей, плесени, глена? Выходит, я могу поручить его пока лишь одному человеку. Как это, быть может, ни покажется нескромным, этот человек — я сама. И я продолжаю свое архивное повествование, его главный герой — месиво войны, в котором побывала и я, ныне архивариус своего архива.

3

Мне надо было ехать от Калинина на Старицу, а из Старицы на Ржев, как это было в первую военную зиму. Но в Калинине меня заверили, что отрезок дороги Старица — Ржев до того ухабистый, рытвинный, что, случается, автобус, взяв здорового пассажира, доставляет к месту больного. Нашлись сами пострадавшие, подтвердившие, что все так и есть. По изнеженности мирного времени я поддалась и вечером села в поезд, отправлявшийся из Калинина в Ржев, что искажало мой ретроспективный путь к сражавшемуся под Ржевом фронту. Этот отрезок железной дороги тогда не действовал, перерезанный врагом. Я оказалась одна в купе. В соседнем — дверь раздвинута — двое железнодорожников играли в шахматы, громко объявляя ходы.

Я сидела в темноте. Разумно было бы поспать, не ведая, удастся ли по прибытии где приклонить голову на остаток ночи. Но сна не было и в помине, в душе не унималось — еду во Ржев!

Сполохи света били в купе, когда проезжали, не останавливаясь, какие-то станции. Ночные земли, незнакомые города, люди на освещенных платформах, а на иных остановках — удар в станционный колокол и вслед толчок трогającegoся поезда.

Торжок. Решетка фасонная у станции, огни города. Все удивительно, вся эта езда. И не было мне одиноко в эти ночные часы странствования за войной. Воспоминания, люди, ожившие голоса писем были со мной.

4

«Уважаемая радиовещательная редакция г. Калинина и области. Сообщаю вам следующее. Я гр-н Смирнов Виктор Михайлович, ныне И. В. О. В. II гр. пожизненно. Проживаю в д. Вильно Рязанцевского с/сов. Переяславль-Залесского р-на Ярославской области. Ежедневно слушаю ваше радиовещание из гор. Твери, ныне Калинина. Но у нас на Ярославщине большинство называют Тверь. Недавно я вам писал письмо, на которое вы в концерте по заявкам пели для меня песню. На Безымённой высоте. Я очень был доволен этим и товарищи по деревне, которые были в тот вечер у меня в посиделках. Вот и сегодня я слушал вашу передачу. Но то что мне трогает ваша г. Тверь-Калинин. Сообщаю если бы я в нем не был в вашем г. Твери. Не лежал бы в госпитале, а так же не был бы на защите вашей области. То я бы и писать не стал бы. Где не был туда и писать не надобно и не интересуется. Но где был в то время, когда там пахло открытой смертью и пороховой гарью. Туда и пишу, что там миня очень трогает. 1. Погорелово-Городище которое было сравнено с землей. Восстановлено ли оно!.. 2. город... в то время до первого штурма его, Красавец-Ликующий Ржев! До первого штурма г. Ржева он был очень красив и хорош и как будто-бы просил нас в то время, взять его таким, каким он нам

казался. Но при первом штурме взять мы его не смогли, т-к для нас был не подступим. И немец его сильно закрепил. А при втором его штурме, Красавец-Ликующий г. Ржев превратился в кучу щебня и камней. Так-же при втором его штурме над Ржевом встала темная ночь ожесточенного боя. И после чего Ржев был взят нами, но не город уже какой он нам казался. А так-же сравненный с землей как и Погорело-Городище, пос. Зубцово, вниз по Волге от Ржева, а так-же пос. Кировск. Этих мы брали с одного раза и легче. Но вот как с. Семеновское, тогда Кировского р-на было вашей Тверской области. Оно переходило 5-ть раз из рук в руки, в виду хорошего паникерского командования. И сколько было набито нашего брата в этом селе, целую неделю только считать надо было. А сколько брали деревень, поселков. Которые брали целиком, а большинство сожженные немцем. Т-к немец очень боялся ночами и жог гуртом дома. Т-к русские ходили ночью в наступления, а Немец днем. Еще вот помню в 7-и км от г. Ржева д. Осиповка очень большая деревня, которая переходила 2 раза из рук в руки и была тоже начисто сожгёна — Катюшей. Т-к из дер. его было очень трудно выбивать и пустили Катюшку. Она им и дала понять, как держаться за д. Осиповку. А больше всего миня задевает и интересует г. Тверь-Калинин и Ликующий-Красавец г. Ржев. Мне не верится, что Ржев встал и обратно стал жить. Что осталось от тогдашнего Ржева, то мне не верится, что его восстановили. Т-к подступы к нему были очень тяжелые для наших войск, со стороны д. Осиповка. А главное препятствие р. Волга и Ржев на горе на обеих сторонах реки.

Прошу прочитать и дослать это письмо во Ржев требующим — Туристам. Которые собирают сведения о своем городе. Но что творилось на вокзале г. Ржева в то время, когда его взяли при втором штурме, то и описать не могу. Но проще разбитый ящик в мелкие дребезги. А так-же не забуду, как мы на одной на улице Ржева нашли мешок с деньгами.

При концерте по заявкам прошу исполнить для миня какую-нибудь старинную песню. УТЕС!

Досвидание Жду
 Ответ
 (В. Смирнов)».

«Ликующий-Красавец». С хмельной, щедрой приподнятостью назван тот желанный, еще невредимый войной город, который вырывали друг у друга. Назван так с несовместимостью впечатлений: каким виделся издали город еще в спелых садах, манивший уютom человеческого жилья, теплом жизни, с тем мертвым, разрушенным освобожденным городом, засыпанным черным от пороха и гари снегом.

К этому письму, написанному на вырванных из тетради листках в линейку, приложен клочок бумажки: «Присылай-те денег на дорогу туда и обратно. Вот тогда-бы я вам порассказал-бы что здесь делалось в то время».

5

Поезд прибыл в два часа ночи. Во мне колотилось — приехала в Ржев...

Последний автобус. Я среди лиц и одежды двадцатилетней давности. Плюшевые жакеты, платки, треухи, хотя и не зима еще.

Набившиеся пассажиры утряслись кое-как под толчки и подпрыгивания автобуса. В теснотище за спиной у себя слышу — стиснутые в проходе бабки переговариваются домашними голосами:

- Летнее яблоко и вовсе не соблюлся.
- Все побито.
- Летось картошка жидкая была.

В гостинице, куда не я одна, вон сколько нас понаехало, кто-то успел получить место, а теперь — всё. Мест нет.

— Куда теперь?

— Как хошь понимай, куда идти ночевать.

— Ну и что, что стоишь, беда какая! А хоть и присядь, да на мягенькое.

— Эва куда я попала,— вздохнула, садясь, бабка.

Дежурная, выйдя из своей кабинки с окошечком, примирительно объявила:

— Чайник, надо думать, поспел уже.

И после того в вестибюле как-то само собой стало упорядочиваться. Хоть и ночь, из сумок повынимали кое-что съестное, кружки. Бодрый дяденька, кто приглашал чужую ему бабку присесть, щелкнул по оттопыренному карману ватного пиджака.

— Ездишь по городам, пихают куда-никуда. И потом как дурак. Выпить не с кем.

Он взял стакан, что стоял на столике при графине с водой, и, достав из кармана уже порядком початую бутылку, плеснул в него и вернулся, протянул бабке. Бабка с неловкости стала ворчливо отговариваться, что приехала, мол, по делам, много чего надо в магазинах купить.

— Что задумала, все купишь,— бездумно сказал он. И, немного еще подержав протянутый к ней стакан, добавил: — Я силком не спаиваю.— И опрокинул сам.

Подлил еще. И когда опять попробовал протянуть ей, она мотнула головой и взялась за стакан.

Дежурная принесла пышущий жаром чайник с запущенной в него заваркой и, все еще держа его в руке, оглядела меня и строго, хозяйски спросила, поскольку из-за отсутствия мест еще не давала нам заполнять бланки и не про всех нас ей на глаз все было ясно:

— Женщина! Кто вы такие будете? Откуда прибыли? Командированная или на каком поприще трудиться у нас думаете?

Я, подойдя к ней, подождала, пока она опустит чайник на тарелку, на которой перед тем стоял графин с водой, и объяснила ей, что второй раз попадаю в Ржев. А что первый раз я была здесь 3 марта 1943 года.

Поскольку во Ржеве не найти человека, которого упоминание этой даты — дня освобождения города от немцев — могло бы оставить равнодушным, я была тут же обеспечена ее фаянсовой кружкой и карамельками в придачу и обществом самой дежурной. Она села со мной рядом в вестибюле, и тут же я узнала, что звать ее Анастасия Ивановна, что она была на фронте писарем, потом связисткой. По ранению в госпитале восемь месяцев провела.

Бабка, которой поднесли водки, насупившись, молча моргала. Ее собутыльник, понадеявшийся, видно, сыскать в ней собеседницу, укорил:

— Ну что, язык не ворочается?

Она, отвернувшись в нашу сторону, все такая же насупленная, громко оповестила, обращаясь к дежурной:

— Я — веселая. Выпила для праздника.

Но дежурной не до нее было. Ее захлестывало свое.

— Разум мой, можно сказать, за войну остановился на точке замерзания. Не развивалась, хоть мне и было уже двадцать три...— поделилась она тем, о чем сама с твердостью уже давно про себя решила.

Мне таких наблюдений не доводилось слышать. Обычно о жизни на войне, о себе на фронте вспоминают по-другому, и я приникла со вниманием.

Под утро нашлась для меня койка в общем номере. А позже, днем, и отдельная комната. Но еще до того как перейти в нее, я, подремав на койке, поднялась и отправилась в город.

Дежурная Анастасия Ивановна еще не сменилась. Она высунула из окошечка замотанную платком голову. И когда я подошла, она без «здравствуйте», будто и не прекращался начатый ею ночной разговор:

— Я, знаете, вот что.— Бессонные часы добавили ей возбужденности, хотя голос опал и она его натуживала.— Я, когда демобилизовалась,— хочу во Ржев, и всё тут, а что найду — думала ли? Деревня наша на большаке. Война на нее навалилась. Подъезжаю: деревня — как общипанная курица. А хлеб — вспоминать тяжело — какой-то зелено-черный, из него какие-то листья торчат. Да и не хлеб это. Из чего пекли, бог знает. И ничего-ничего нет. Одна кошка полудохлая.

— Пожалели, что поехали?

Она помотала устало головой в толстом платке.

— Нет же. Брошен камень обрастет мхом. Кое-как стали жить. Вот и я поняла, что приехала, куда метила. Что обрасту здесь воспоминаниями. Ехала в глубь времени, за войной, и война сама тут меня за подол хватает.

Я вышла из гостиницы.

6

Мазин писал:

«Когда сразу же после войны я пошел учиться в Ржеве в вечернюю школу, то интересный вид был у этой школы. Помещалась она в уцелевшем кусочке большой каменной двухэтажной средней школы. И вот этот кусочек — среди каменных развалин вокруг, а напротив окон через дорогу хвостом кверху, наполовину обломившись, врезавшись в землю, был ИЛ-2. Выйдешь на перемене — кругом насколько хватает глаз одни развалины и груды кирпичей».

Таким и мне запомнился Ржев, другим его не знала.

За порогом гостиницы был незнакомый город.

Вблизи дома попроще: то совсем приземистые, то в два этажа — отстроены заново или восстановлены. Это, можно сказать, еще старый Ржев.

Дальше за рекой, где самый центр, единственный уцелевший дом — это банк, он выстроен еще в конце прошлого века. Вокруг солидные современные здания учреждений и жилые новостройки. «Большой у нас теперь город, весь новый», — охотно говорят.

Неизменна только Волга. Где-то вверху, сбиваясь капля по капле в непряткий ручеек, что напITYвается, держа путь через озера, и становится рекой, принимающей притоки, она окрепшая течет посреди Ржева — первого в ее верховье города.

Я ее тогда видела закованной льдом. Теперь она текла по-осеннему несуетно, плавно, неостановимо. С высокого берега, глядя на Волгу, я чувствовала, как в душе угмонилось, и было так покойно, живоительно смотреть на реку и отстраненно, будто никогда по ней не плыли снесенные в Волгу ее притоком Сишкой со страшного, кровавого побоища у Ножкина трупы воевавших солдат.

Поднимаясь от реки, женщины на коромыслах несли ведра с волжской водой и скрывались в лабиринтах белых пятиэтажных новостроек.

Старожилы ни водопроводную, ни из колонок воду не берут на чай, пьют только волжскую. И ветхие старухи, те хоть с трудом, но доберутся к Волге и тащатся с водой назад к себе. «Чайпить», — говорят здесь слитно, как одно слово. «Водохлебы» — издавна прозывали ржевтян. Чаепитие было особым ритуалом в Ржеве, и до войны пили непременно из круто кипящего самовара.

Мне помнится свояченица бургомистра, ее серое, пожухлое лицо с покладистым выражением, не из жадности утаскивала тогда большой нарядный самовар — из неукротимого усердия быта.

Здесь на берегу, над крутизной, под смыкающимися кронами старых берез и тополей был городской сад. Вечерами зажигались разноцветные фонарики. В беседке над обрывом духовой оркестр играл популярные вальсы. Теперь здесь, на месте вековых деревьев, молодые посадки — еще совсем слабые деревца. От новых скамеечек торчат только столбики, сиденья сорваны. «Это не свои безобразничают,— считают горожане,— пришлые. Свой город любят».

На другом берегу, в самом центре города, в саду Грацинского на танцплощадке когда-то познакомились родители Мазина. Там он сам шестнадцатилетний, еще хромающий после ранения, потерявший за время оккупации мать, бабушку, тетку, упоенно танцевал под духовой оркестр железнодорожников в первую весну освобождения города, в 1943 году.

«Танцевали те, у кого война не отобрала жизнь»,— написал он мне.

Глава четвертая

1

Хожу. По сторонам почти не озираюсь, хочу вникнуть в войну — досмотреть, дослышать, узнать то, чего тогда здесь не смогла, не успела. Записываю.

Андреевская А. С.:

— Вперлись когда, сперва ели, пировали, выхоленные, на губных гармошках играют, веселятся: открыли ворота на Москву!

А тут уже — комендатура, сделали перепись населения. От восемнадцати и выше являться на отметку. Пошли расстрелы, виселицы. Страшно выходить на реку по воду. Запасы пищи исчезали. На бойню ходили за костями и отходами, чем раньше свиней кормили. Ходили в деревня менять. А немцы отбирали вещи, вывозили себе на родину, раскапывали ямы, где жители хоть что свое спрятали.

Летом-весной кушали лебеду, крапиву, выкапывали клубни замерзшей картошки, оставшиеся с осени сорок первого. Людей в городе становилось все меньше, умирали от голода и тифа. И вот началось бедствие — стали людей угонять на запад. Пошли эшелоны. Нас под конвоем привели на станцию Ржев, выдали по буханке хлеба с опилками на семью, посадили в товарные вагоны, закрыли и повезли неизвестно куда. В вагонах было темно, крик, стон, плач...

Анна Григорьевна Кузьмина:

— Я перед тем стала полы мыть, самовар начищать — готовиться к приходу русских. Неужели мы доживем? Муж: «Это ты не к добру начищаешь!».

Ввалились трое немцев или четверо. Как схватил стул — и об стол, о стекло. Вон! Муж ни в какую. Уж совсем наставил на него левый пистолет. Я кричу: «Отец!» — он много постарше меня. «Хуже одевайся! Хуже одевайся!» — он оберегал дочку, чтобы незаметнее была она. И она худое пальтишко надела. И сам кое-как. Я ему потом в храме один платок отдала. Только успели с печки семена взять — мешок. На семена мы жить начинали потом. И с детьми вышли. А они уже порохом дом обкладывают. Сожгли. Два дня не достоял, не выжил.

Люди бланк вывезят на доме «Tifus», так спокойнее, не заходят немцы. И у соседней бланк. Она укусом лицо намазала — больная. «В тифу»,— говорит. Немец: «Застрелю!» Притаскивает корыто. «Тащи ее!» — мужу приказывает. Он тащит. Нас вместе погнало. Она бы хотела встать, муж истощен. Но немец до самого храма провожает.

Храм весь набили народом. Холодно. Стекла все в церкви побивши. Я мужу один платок отдала. «Бабушка с бородой», — ребяташки смеются в храме. А тут слышим — заколачивают снаружи двери.

Фаина Крочак:

— «Дайте воды! Дайте воды!» Часовой в окно швырнет комок снега. Пососать всем хочется.

Жандармы два раза приходили, искали какую-то женщину. Сказали: «Завтра — конец». Мы и ждали все, что конец. Кучами тащат они свое имущество — сжигают. Взрывы страшные. Пожарную каланчу взорвали, по крыше церкви сыплется. Прощаются. Стоны.

Лена:

— Я была в забвении. Меня на возвышении посадили. «Мама, меня не буди, когда будут взрывать».

Анна Григорьевна Кузьмина:

— Все взрывалось, взрывалось. В храме стонут. Кричат. Кто обнимается. Прощаются с жизнью. «С жизнью расстанемся! С жизнью расстанемся!»

Тихо, тихо стало. Часа три — тихо. Смотрят в окно. Идут в белых халатах. И красные звездочки.

Это было воскресенье. Обнимались, целовались. Слезы и плач. Очень торжественно. Воскресли из мертвых. Это — Воскресение.

Таисия Струнина:

— Вот русские идут! Да какие же это русские! Плакаты немецкие по всей улице Коммуны: семеро идут, у седьмого только винтовка — русская армия. А вот немецкая — до зубов все. И за семнадцать месяцев нам внушили. А тут идут — у каждого автомат.

И еще одна бабушка, чье имя не знаю:

— Русские! Живьем. Идут... Все шинеля заколоневши. Сапоги все во льду. Очень все во льду, прямо жуть одна...

2

По преданию, в ожесточенных боях с осадившими Ржев войсками пана Лисовского в 1613 году, рвавшего захватить кремль на высоком берегу Волги, жители стояли насмерть. И пересохший впоследствии ручеек, а тогда живо стремившийся к Волге по площади, где в наши дни базар, «потек кровью». Жители, спасенные от иноземных захватчиков, возвели на том ручье часовню. Так закрепилась память о тех днях и жертвах. И спустя полтора столетия, когда город обстраивался по плану, главную улицу нарекли Большой Спасской, помня про то спасение от врага. Это и есть нынешняя улица Коммуны, на которой, кстати сказать, стоит гостиница.

По этой улице продвигались 3 марта 1943 года солдаты капитана Метелева, они первыми ворвались в город и преследовали отступавшего врага.

На их пути была та церковь, куда немцы перед отступлением согнали всех жителей, кого не сумели, не успели угнать, кто еще был во Ржеве жив. — чтобы уничтожить их. Заколотили дверь. Заминировали подступы. Подготовились взорвать.

Спасение приближалось по улице Коммуны, по бывшей Спасской. Церковь стоит как раз на улице Калинина, где в доме 128 расположился штаб нашего полка, о чем дано было знать в дивизии первым донесением. А вторым: «Население согнано в церковь. Церковь заколочена. Вокруг заминировано. Разминировать».

Надо бы эти лаконичные солдатские слова высечь на камне церковной стены. Здесь — последние часы ржевской трагедии. Апокалиптической.

Последние люди Ржева должны были погибнуть в церкви насильственной, мученической смертью за то, что не оставили свой город. Спасение явилось в белом халате, красной звездочке, в «заколоневшей» шинели...

3

Улица Гагарина, 68. Небольшой деревянный дом. Анна Григорьевна Кузьмина, ее муж Федор Матвеевич, ныне староверческий церковный староста. Во время службы в церкви стоит за свечным ящиком.

Большой торжественный иконостас в красном углу.

Старик Федор Матвеевич ослабел, лежит в зале на постели поверх одеяла в одежде и в валенках, высунутых между железными прутьями кровати.

Это глядя на него в храме, ребятышки смеялись: «Бабушка с бородой». Борода большая, клочкастая. Уж какая ни есть. Грех прикоснуться к ней ножницами.

Анна Григорьевна заметно моложе, лицо худенькое, смуглое, подвижное. На ней аккуратная вязаная кофточка, легкий платок в разводах на голове. Она только с работы из яслей. Доверчиво ведет меня на кухню, соединенную с залой проемом. Наливает по тарелкам горячих щей, ставит на стол, накрытый клеенкой.

Я слегка приторможена, ведь попала к истым староверам, как же поганить их посуду. Они всегда отличали себя от прочих и замкнуты были и верой и предрассудками. А теперь вот подупало. Нет той строгости. Две одинаковые глубокие тарелки с зеленой окаемочкой перед нами. Хоть к этой присядь, хоть к той — нет в доме для иноверца отдельной посуды, как бывало.

— Я очень верующая, — сказала Анна Григорьевна. — Конечно, говорят, что бога нет. Но бог мне очень помогал. Я пришла менять к знакомой в деревню. «Партизанка!» — немец на меня. «Милушка, что теперь будет тебе и что мне будет?» — обмерла знакомая. Передвигаться запрещено. За самовольное передвижение драли, расстреливали как партизан. «Ты же меня знаешь, — говорю, — и я тебя знаю». Я пошла к коменданту, все рассказала. Напустился: «Вы должны были взять пропуск». «Разве дадут пропуск? Не дадут. Так и так с голоду умирать». Отпустил на первый раз. Бог мне помог.

В войну детей сберегла, но старшего, Асика, Александра, шестнадцати лет, угнали немцы. И вот после войны горе одно за другим.

— Отец! — окликнула она. — Асик утонул в сорок шестом году? Это он тогда только вернулся, на проверке был. А еще сынок — Герик, Георгий, в войну он двухгодовалый скелетик. Говорили: «Все равно похоронишь. У него уже все в мохе». Выходила. А после войны, одиннадцать лет ему уже было, с соседским мальчишкой снаряд нашли — подорвался. Отец ему: «Сначала садись по-русски читай, потом будешь по-славянски». «Ну дед, молись и молись. Каждый день. Когда ж и погулять ему?» И вот как я была за это наказана. Он когда стал одеваться, у меня такая скорбь на душе. «Не ходи, Герик!» Все пальчики ему перецеловала. Ему осколком порвало сонную артерию. Это Толик, соседский, разорвал снаряд.

Помолчала. Сказала тихо, доверчиво:

— Грехи наши горят и сгорают страданиями. Терпение надо. Муж говорит: коснеть в скорби по отошедшим — язычество и безбожие. Надо, говорит, верить в промысел божий... А душа от боли замирает, сколько переживаний, прямо ужас! Из какого только железа **сделаны**.

Ржев природно поделен надвое Волгой. И эту поделенность в прежние времена закрепляла веронетерпимость. На левобережной Князь-Федоровской, ныне Советской, стороне преобладали никонианцы, на правой, Князь-Димитровской, почти сплошь были старообрядцы. На правой же стороне, названной после революции Красноармейской, стоит та церковь, в которую немцы напоследок загнали всех жителей, кого обнаружили в городе. Спасены были люди, и церковь уцелела, что где было порушено, восстановили. Эта Покровская церковь,— справедливо было бы именовать ее «спасенных мучеников» — старообрядческая, единственная действующая во всем прежде многоглавом Ржеве. И никонианцы за неимением своей поневоле молятся в этой церкви, совершают требы под их, старообрядцев, тягучее, монотонное пение, выстаивают и всенощные и обедни, хоть и без того благочестия, как бывало в своей — православной.

Какие силы, какие характеры веками вовлечены были в непримиримую вражду расколовшейся церкви. И ведь как неравны были условия борьбы для гонимой и мирскими и официальными церковными властями старообрядческой массы. И во все времена самые грозные наказания за соращение в раскол. Надо ж было войнам и революциям все так перетряхнуть, смешать, утеснить, чтобы никонианцам не на свою почву перетянуть тех, а переступить, уступить, оказаться хоть по внешней видимости и вынужденно, а все же перетянутыми к ним, старообрядцам.

Глянули б на такое положение прежние отцы — ревнители ржевской православной церкви. Стерпят ли они в своих темных могилах? Не перевернется ли известный в свое время здешний соборный протоиерей Матвей Константиновский, лютей преследователь старообрядцев, добившийся от правительства закрытия главной старообрядческой молельни в Москве на Рогожском кладбище?

О нем незатухающая злая память в поколениях старообрядцев, да и у всех, кого оторопь берет при мысли о сожженном втором томе «Мертвых душ». В ржевском музее довелось мне услышать о словах Гоголя:

«В воскресенье был у обедни, слушал проповедь отца Матвея о свете и тьме... Пойду к отцу Матвею, что-то будет... Говорил он об усилиях дьявола против него и о раскольниках».

«Что-то будет»...

А было вот что: «Я воспротивился публикации этих тетрадей, даже просил уничтожить» — осталось свидетельство сказанного Матвеем Константиновским.

Что ни копни, чего ни коснись, все как-то переплетается в старом городе с его наслоениями, связями, корнями, и без этой переплетенности, а то и сплавленности не понять, не доискаться, что и как тут было в последнюю войну.

С Покровской церковью связано еще одно событие.

Летом 1942 года во время большого нашего наступления на Ржев до нас, на ту, на нашу сторону фронта, дошло, что в городе расстрелян немцами священник. Помню, говорили, что он молился: «Спаси, господи, воинов Красной Армии». Патриотизм теснимых советской властью священников был тогда новью в военном лихолетье.

Оказывается, действительно был тот священник патриотом и призывал молиться за наших воинов. А схвачен был немцами вот при каких обстоятельствах. На его беду, Покровская церковь, где был его приход, построена в начале нашего века, когда старообрядцам уже дозволялось возводить колокольню. Наши самолеты налетели, и на ту

колокольню влез священник, услышав, что бомбят Казанскую церковь, чтоб самому посмотреть на разор и пожар. Немцы схватили его, посчитав, что священник с колокольни подает сигналы Красной Армии, и тут же расстреляли как партизана. В церковной ограде, обнесенная деревянной решеткой, его могила — горит не угасая лампада.

5

На улице Коммуны православные старухи, отстояв обедню, ждут своего тракториста, он привез их из ближней деревни в город в Покровскую церковь и должен доставить обратно, но куда-то укатил.

— Вот мы яво ждем.

Они в плюшевых жакетах или в пальто, а поверх еще завернуты в шали, как называют здесь тяжелые теплые большие платки, на ногах чesанки с галошами, вроде бы рановато, но в открытом прицепе холодно и в нетопленном храме настоишься, ноги застудишь.

Старухи опираются на палки, сумрачны — все еще в небудничной духовной сосредоточенности. Переговариваются неторопливо, веско:

— Мы приберемся, а уж после нас-то...

— Да уж, молодых осталось всего ничего.

— Земля умрет.

Да, они сознают значимость своей прожитой жизни, эти не щадившие себя на всем пути старые женщины, свою причастность общей судьбе...

Но тракториста все нет, и ругают его «фулиганом».

— Перетаскивали мешки с зерном на себе. А теперь им, молодым (и, значит, «фулигану»-трактористу), два килограмма тяжело, за них машина тащит.

И он, может, кульки сушек сейчас в прицеп складывает или колбасу где выстаивает.

— Ну то ведь праздник, — кто-то примирительно.

В затянувшемся ожидании, в разгорячившихся разговорах что-то сникало, злоба дня протиснулась.

— О, и то теперь хлебушка одного неохота. Заелись. Уж теперь-то грешить нечего об етим.

— Теперь только бы дожить без войны. Только бы без ей.

Бодрая старуха лет восьмидесяти похвалялась своим новым пальто.

— Заработаешь, по доходу и расход делаешь, — лукаво сообщила мне, вроде она все еще при деле. Отвернула полу, приглашая меня пощупать атласную подкладку, и вдохновенно сказала: — Не знаем, кого уж благодарить, бога или власть, за то, что в кредит теперь стали...

В городе легкая предпраздничная кутерьма, развешивают флаги, плакаты и портреты к 7 ноября. Снуют с сумками женщины по магазинам. Где-то здесь был дом бургомистра, но все так изменилось, что мне не отыскать. Спешно подновляют кое-где фасады общественных зданий. Угловой дом, свежевыкрашенный в оранжевый цвет; по стене, не сдаваясь ни времени, ни покраске, проступает: «Ударим по врагу огнем и трудом!» Это лозунг из тех наших дней на уцелевшем Чертовом доме — ЧД, как здесь принято называть сокращенно.

Говорят, выстроивший его купец обманул нанятых рабочих, не заплатил, как было положено, и они по-своему рассчитались с ним — запрятали на чердаке пустые бутылки, и в ветреную погоду оттуда неслись стоны, пугавшие прохожих. Люди избегали приближаться к этому Чертову дому. После революции дом перестраивали для нужд общественной столовой, очистили чердак от обнаруженных битых бутылок. Стоны прекратились, а название прилипчиво. В войну здесь, в Чертовом доме, была немецкая комендатура. Теперь снова столовая. «Все путные дома посбивало, а этот, чертов, хоть ты что, даже угла

нигде не отбило», — ругаются женщины, выволакивая из столовой пьяных мужей.

В ресторане, единственном в городе, постелили розовые праздничные скатерти. За длинным столом посредине зала гуляют женщины и с ними одна старуха — кажется, это бригада с льночесальной фабрики. На столе батарея пивных бутылок. Старуха канючит: «Мне бы сто грамм». Но отмахиваются и не удовлетворяют.

Сбоку от меня за столиком двое мужчин степенно переговариваются:

— Сын женат. Жена не особо общественная. Наряды на уме.

— Они теперь по-другому живут. Мы с совестью жили. Они этого не понимают.

— Мне, бывало, удивлялись. Позднее четырех не вставал. Безо всякого всего, сколько надо, столько делал. Домой придешь, свалишься.

Зал наполняется, нарастает гул, взрываются громкие возгласы.

— Красенького возьмем для жен!

— Они беленького хлобыстают.

Подошли двое, ищут место. И ко мне:

— Можно с вами сесть, в содружестве наций?

Неглупое лицо, просесть, жесткие виски, щупловат. С ним моложавый, с незлым лицом, лысый, а на лысом темени красный узел рубцов — от ранения. Жалуетса, что ему холодно.

— Мерзнет тот, у кого мало движения в крови. Скорость ее не обеспечивается, так ведь? — призывает меня первый.

Сходил к буфетной стойке за водкой, пивом и конфеты на тарелочке принес, на них лысый отреагировал с раздражением: «Возьмешь своим ребятам». Тот: «И ты». «Мои перебьются». Какой-то напряг денежный.

— Рассчитались? — первый спрашивает. И заказывает горячие блюда малюсенькой официантке Рите с паклей осветленных добела волос — как в театральном парике она.

И еще раньше чем официантка вынырнула из-за кадки с огромным фикусом, неся тарелки с жареной печенкой, и раньше чем громкоговоритель на стене дозвона «Девятого вала» Айвазовского окончил передачу из Москвы со стадиона, где милиция в этот час была приведена к торжественной присяге — впрочем, особо не прислушивались, — в нарастающем, разрозненном, громком говоре зала, в ярых выкриках установилось что-то общее. Война. Этот пласт жизни здесь еще так близок. Бессвязные воспоминания, толки о ней, все о ней, или нет — о себе на ней.

— На фронте я все прошел от корочки до корочки, — сказал лысый, раненный в темя, подливая мне водки в рюмку. И замкнулся.

— Гляди, наёршился. — Его напарник чокнулся о мою рюмку, выпил и, откинувшись раздольно на спинку стула, с веселой осатанелостью заговорил о своем немце: — Я ему вызвездил, дал понять!

— Чего говорите? — чей-то выкрик ему.

— Ничаво! Мы промеж себя.

Здесь друг друга знают: это работники баз, торговых точек, шоферы. Официантка Рита время от времени возмущенно, и все напрасно, призывает к тишине; наотрез крутнув головой в пакле волос, отказывается брать заказ у человека, не снявшего в гардеробе пальто. А он распаивается, давая понять ей — из бани, в чистой нательной рубашке под пальто.

Здоровый дяденька без шеи, крутой затылок примкнут прямо к тяжелой спине, тупой подбородок вздернут, мотая кулачищами в воздухе, громоподобным голосом пересилил всех:

— Против нас кто ни шел, погибнет, это в писании сказано!

В двери возникает милиционер — низкорослый, кургузый. Обходит свой участок в предпраздничной городской смутности. Застревает в

проеме открытой двери, оглядывая зал. Да тут, похоже, скоро что-нибудь назреет. Постоит-постоит и уйдет пока дальше своим маршрутом по участку. Но вернется.

Там за столиком заспорили:

— А как, если война опять?

И тот, бесшейный, гоготнул:

— Меня-то не возьмут, меня на племя оставят.

Приверженность к тем схваткам, одолению, огню, смертям и мукам, от которых победа так и не дала отшатнуться, опомниться. Все это сидит внутри покореженно-воинственно-опально и взрывается темными порывами.

Вечером в центре города иллюминация. Тем гуще темнота окраины, как отойдешь немного. В том краю, где глубокий овраг, а за ним на крутизне Казанское кладбище, издалека в крошечной темени неизменно горят светлячками лампы на старовечерских могилах.

Глава пятая

1

С родины Курганова, бывшего полицая в лагере военнопленных, получен ответ на запрос о нем. На официальном бланке райкома партии:

«...По сообщению председателя Крюковского сельского совета тов. Шумеева, тов. Курганов И. Г. умер лет 13 тому назад в больнице города Хабаровска.

Имеется сын и вторая жена, первая от него отказалась, но где они живут, неизвестно.

Есть адрес его брата — Курганова Якова Григорьевича, возможно, он знает о них более подробно, чем жители села Крюково.

Если разыщете жену и сына Курганова, то прошу сообщить Крюковскому с/совету для сведения.

С уважением
секретарь Глебовского райкома КПСС
Н. Жарков».

Из колхоза «Расцвет» от брата Курганова:

«В первый год войны мы получали от брата вести, а потом не стало слышно. И вот конец войне. Люди празднуют День Победы. А брата так и не слышно. Года шли, а мы не получаем никаких известий от него. А потом решили подать в розыск. Начали искать мы Ваню в 1951 году. В 1953 году в марте месяце нам сообщили, что Курганов Иван Григорьевич проживает в Хабаровске. Написали туда письмо, он написал нам ответ. Писал, что лежит в госпитале, но вы, мол, не волнуйтесь, со мной все в порядке, немножко приболел. А через некоторое время высылает деньги и пишет: мама, выезжай ко мне. Наша мать собралась и поехала. А оказывается, он был сильно ранен, через то он не хотел показываться домой. Когда мама приехала к нему в Хабаровск, он был дома. Но мама не могла его узнать, он был ранен в лицо. У него лицо все было пошито, кожу брали с руки и ноги. И еще у него было плохо с головой. Но все равно он до последних дней работал с солдатами. И вот когда мама приехала, ему стало совсем плохо, и его отправили в госпиталь. Неделю лежал он там и умер. Мама, сильно убитая горем, не могла узнать, где и когда он был ранен. После того как Ваня был похоронен, мама вернулась домой. А сейчас и мамы нет в живых.

Да еще забыл вам сообщить, что в документах Вани нашли адрес жены его и сына, но оказывается, что они тоже не знали, где он находится.

Вот и все, что я могу Вам сообщить.

Если Вы просите адреса его жены и сына, точные адреса я написать не смогу. Адрес жены: г. Керки Туркменской ССР, а улицу и но-

мер дома забыл. А за сына я только знаю, что он проживает в г. Саратове.

Вот и все, что я могу Вам сообщить. Я Вас очень прошу, если что узнаете о брате, напишите, пожалуйста, нам, ведь ничего о нем не знаем...»

Окончилась земная доля Курганова. С тех пор как, бежав от немцев, он вернулся во Ржев в штаб нашей армии, он прожил еще десять лет. Как прожил? Что с ним было в эти годы? Где, при каких обстоятельствах он так тяжело изранен? На это ответа нет. Удастся ли прояснить, или он унес с собой в могилу неразгаданную свою злую судьбу?

Выславший мне эти письма И. Васильев писал: «Сейчас ищу еще родственников и документы Курганова. Если мои изыскания будут в какой-то мере Вам полезны, пожалуйста, пишите. 16.10.66».

Писатель Иван Афанасьевич Васильев — в те шестидесятые годы собственный корреспондент «Калининской правды» во Ржеве — подвижнически шел по следам минувших здесь, на этой земле, событий и писал о них. Канувшие люди, забытые судьбы, факты, документы — он неумолимо, кропотливо разыскивал. Без его своевременных усилий ценные свидетельства могло бесследно унести быстротечное время.

«И еще извините, если я допустил бестактность — дал Ваш адрес Земскову, врачу, что организовал подпольную ячейку в лагере военнопленных. Он хочет Вам написать, — сообщил И. Васильев. — Кстати, мне удалось прочитать протоколы заседаний их ячейки. Могу прислать, если интересуется Вас...»

Я ждала, но от Земскова письма не было. А если бы и написал, то как бы и не мне вовсе, а некоему адресату, не мог он знать, что я и есть та переводчица, которой он с тех давних пор так глубоко памятен. До нашей встречи оставалось еще два года.

2

А Мазин продолжал посылать свои письма-воспоминания.

«Так вот, впервые увидел я немцев на Старицком шоссе недалеко от Ржева. Кроме мотоциклистов ехали на велосипедах цельными большими колоннами, ехали не очень быстро и не очень тихо и о чем-то все оживленно переговаривались, были они все красивые, какие-то отборные. Я подумал: что это их таких заставило, что им здесь так важно, может быть, важнее жизни, что их заставило оставить свои семьи, оставить свои точные станки, которые я до войны видел на заводе, когда наше ремесленное училище водили на экскурсию. Оставить свою Германию, для многих, может быть, навсегда, и двинуться сюда, навстречу холодам и русским дорогам, навстречу многому неизвестному здесь, в этой стране, и навстречу многому неизвестному, что их здесь ждет. Зачем им все это?»

И так я шел в Ржев, уже вечерело, нужно было до наступления темноты быть дома, и мы торопились, а колонны все шли и шли...».

«В то время у наших не было дизельных машин, у немцев же все грузовые машины были дизельные, так что ни карбюраторов, ни ручкояткой заводить не надо было. В этом было их преимущество, бензин им не был нужен для грузовых автомашин, работали на солярке. Да и танки у них были дизельные».

«Вы пишете, что я хорошо запомнил минувшее о войне, да, я многое запомнил до мельчайших подробностей. Потом ведь все люди разные на запоминание, вот если взять двух людей, хотя бы у нас на работе, и показать им одно и то же явление или вещь и сказать: ну, что вы можете сказать об этом? — то один может почти ничего

в этом не увидеть и сказать об этом несколько общих слов, а другой в этом же самом может увидеть столько, что может об этом написать цельную книгу».

«Когда они ехали к Москве, у них у всех были противогазы — такие жестяные цилиндрические банки с гофрированной поверхностью, а когда отступали от Москвы в Ржев, то противогазов у многих уже не было — повывбрасывали».

«Увидя офицера, сразу все вскакивали, вытягивали руки и выкрикивали «хайль Гитлер!». У них получалось — хаитле! На их лицах не чувствовалось никакой другой мысли, будто бы в данный момент для них ничего другого на земле не существует, кроме этого офицера, перед которым они стоят. У нас, например, отдаёт солдат честь офицеру, но на лице и в глазах чувствуется какая-то другая мысль. Потом каблуками своих ботинок и сапог они очень щелкали, метров за 100 слышно. В Ржеве кое-кто из мужского населения ходил тогда в таких ботинках, их просто было купить, или немцы, уезжая, бросали. Так я увидел, что каблуки наборные из чистой спиртовой кожи, а на основании каблука, на набойку у всех сделана железная подкова во круг всего каблука, так что на таких каблуках очень удобно на этой железной подкове повертываться».

«Я Вам писал, как немцам доставалось под их рождество 41-го года. Они только что отступили от Москвы, их набилось сюда, в Ржев, по слухам, тысяч сто. Одежда помятая, сами обросшие, в первую очередь снимали рубашки и начинали бить своих насекомых, так как они были тогда завшивленные. Ржев был окружен нашими таким большим кольцом. Ж-г была перерезана где-то около Вязьмы, им доставляли продовольствие на самолетах Ю-52. Приземлялись днем на военном аэродроме в Ржеве около Городского леса, так было весь январь и немного больше. Условия у них тогда были тяжелые, но зубы по утрам чистили. Потом у них еще уделялось внимание витаминам, зимой 41—42 г. немцы получали такие фруктовые таблетки палочками... Не знаю, как у Вас тогда было и чему уделялось внимание».

Я видел один на один такого немца, звали его Фриц, он был с усиками, такой темноволосый, среднего роста. Тогда зимой он обвел рукой вокруг шеи, поднял руку вверх и сказал, что надо тех, кто затеял эту войну, повесить и им уехать отсюда в Германию. Этот старый немец был, наверное, солдатом в первой мировой войне».

«У немцев с передовой женщины спрашивали: «Ну как там, пан?» Немец говорил: «О, matka, ни гут, никарошо, кальт (холодно), русский зольдат цан-царап германский зольдат»...»

«У нас они тоже стояли. По вечерам эти немцы садились за стол, подогревали в лежанке солдатский плоский котелок, ставили его посреди стола и около каждого ставили крышечку, которая завинчивает фляжку, и понемногу наливали в эти крышечки шнапс и пили, а горбоносенький такой немец Карл играл на гитаре и пел, пели и они все. А гитара эта висела на стене, она была гядина, того, который, я Вам писал, был в авиации и всю войну летал их бомбить. А этот Карл-гитарист настроил его гитару на свой лаг, и они часто под нее пели. Выйдешь, бывало, в коридор вечером, кругом зарево, на окраинах трещат пулеметы, рвутся гранаты, идут бои. Ржев окружен, а они сидят за столом и под гитару поют».

«Кого-то ждали. Немецкие солдаты полагали — Гитлера. И слух такой по Ржеву. Со дня на день ждали. Он должен был приехать, поднимать здесь их солдатский дух. Им тут тяжело доставалось от наших. От одной Катюши им спасения не было. А Ржев они называ-

ли — ворота на Москву. И сдать его — это ворота открыть на Берлин. Большую часть населения города пригнали на военный аэродром около Городского леса для расчистки снега. Там был и я, на этом аэродроме. Там стояли Ю-52 трехмоторные транспортные, полужансенные снегом, на фонарях кабин сидели летчики и что-то ремонтировали.

А как потом было известно, как будто прилетел Гитлер. Осадное положение в то время было, везде стояли патрули».

«От немцев, приезжавших из отпуска из Германии, у которых Англия разбомбила родных, впервые я от них услышал тогда слово *egal* — все равно. Теперь, они говорили, им все равно».

«А был случай, не помню, писал я Вам или нет, при мне немец сказал моей бабушке, что, если война еще протянется, он сам себя застрелит, и так приставил автомат к себе дулом. Потом опустил его и стал кутать голову в бабий платок. А бабушка ему: «Куда ж вы в такой мороз? Пойдите к русским сдаться, они вас не тронут...».

3

Многие западные корреспонденты стремились после войны съездить в Ржев, увидеть этот город, разгадать его загадку.

Что же такое здесь было в войну? Что за невиданное по протяженности — семнадцать месяцев — неотступное сражение за этот город? Почему верховным командованием обеих воюющих сторон этой точке на необъятной карте войны придавалось такое чрезвычайное значение? Почему именно Ржев был объявлен немцами «непреступной линией фюрера»? Почему именно сюда, в Ржев, нацелился, как распространялось в немецких войсках, прибыть Гитлер? Что должен был символизировать этот приезд, сорванный сталинградским поражением? Что это за город, борясь за который полегло здесь несметно людей?

Западным корреспондентам хотелось найти ключ к разгадке всех этих «почему», побывав во Ржеве. Набивались съездить. Но не обломилось, как принято сейчас выражаться в прогрессивной прозе.

При освобождении Ржева, помню, как прибыли западные корреспонденты. Американец был в крытой стеганой персидской шубе, приобретенной им по пути сюда в Иране. Лейбористка из Англии — в нашей солдатской ушанке. Тогда им показали, что случилось со Ржевом по вине немцев. А позже, должно быть, не было смысла предоставлять обозрению чужеземцев бедствия войны, уже отодвинутой годами, пока заново в муках возрождался город. И корреспондентам отказывали.

Но вот наконец через двадцать лет один удачливый корреспондент из ФРГ получает разрешение отправиться в Ржев. Он представляет издающуюся в Гамбурге газету под названием «Die Welt» («Мир» в значении свет, вселенная). Выходит, для всего мира подробный очерк о поездке во Ржев, с фотографиями, представляет насыщенный, или, вероятнее, сенсационный, интерес.

Найнц Шеве, «Поездка во Ржев» («Die Welt», Гамбург, 4 декабря 1965 года):

«Пахнет жареной картошкой. На вокзале в Ржеве меня встречает Сергей Иванович, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны. Пожатие его руки похоже на тиски. Это та самая рука, которая должна была уничтожить Гитлера.

В начале 1943 года, когда, как говорили, Гитлер должен был быть во Ржеве, Сергей Иванович добровольно стал командиром особого отряда.

А теперь ветеран Ржева заказал для своего немецкого гостя комнату в гостинице и столик в столовой № 10. Он приглашает меня на обильный, феодальный ужин».

Принимавший гостя бывший партизан, а тогда уже редактор городской газеты Сергей Иванович Б. своей рукой народного мстителя, предназначенной осуществить казнь тирана, разливал армянский коньяк.

«Город Ржев старше Мюнхена или Москвы... — пишет в очерке Ше-ве. — 150 лет тому назад не дошел до Ржева Наполеон. Город на Волге был защищен огненными рубежами. Но то, что упустила война тогда, было с лихвой наверстано...

Маленькому городу в сердце России судьбой было дано стать стратегически важным. Армии двух больших народов насмерть бились за узловой железнодорожный пункт между Москвой, Вязьмой и Новгородом. В боях под Ржевом погибло... столько немецких солдат, сколько, например, жителей в Котбусе или Ингольштадте».

Едет сюда корреспондент противника. Этот старорусский город для немцев не чужая земля.

Корреспондент старается лояльно и рассудочно членить все, что фиксирует глаз, слышит ухо, — этот мир жизни, осиливший «непобедимую» германскую армию. «Миру» важен каждый штрих, каждая деталь. Его корреспондент попал туда, где самая толща народной русской жизни. Но может ли он проникнуть в нее?

Еще полно экзотики. Тяжелые самосвалы и крестьянские телеги. «По улицам еще ездят лохматые лошади. Некоторые из них даже запряжены в бензобак с надписью: «Осторожно! Огнеопасно!». Около дорожных знаков для автоводителей висят знаки для конного транспорта. Можно встретить и быков, запряженных в повозки».

«Здесь писал свою «Грозу» и «Бесприданницу» Александр Островский... — сообщает Найнц Ше-ве. — В прошлом веке жизнь Ржева определяли несколько богатых купеческих семей... Здесь царила строгая патриархальная система. Простые люди низко склонялись, когда мимо проходил богач. Остатки этого ощутимы и сейчас: в поезде во Ржев один старый крестьянин смиренно спросил меня, разрешу ли я ему пройти мимо меня».

Это одна из редких в очерке попыток осмысления увиденного. Но не поддается она заезженному человеку. Невдомек ему, что тот «старый крестьянин» с благодушной предосторожностью подвыпившего одолен был сомнением, справится ли он с препятствием в виде ненашенских высунутых в проход ног, перешагнет их или подавит. А что «смирно» — так то проявление народной вежливости, иной раз и от лукавого. И покладистость та обманчива и имеет выворотную сторону. Это невозможно чужому понять, что просто слегка винился выпивший человек, хоть перед встречным-поперечным, тем паче не нашим, да хоть перед миром. Так и угодил м и р у на обозрение.

«Упитанные официантки», невиданной консистенции суп, который едят в одной с ним столовой пять девушек и два милиционера («...жидкость с капустой, мясом и сметаной, сдобренная сверх того жиром»), детсады, «три немецкие пушки» перед музеем в бывшей церкви и внутри в музее — мундир обер-лейтенанта пехоты с Железным крестом. «Ядреные девицы и полные колхозницы тащат недельный запас хлеба в корзинах или сетках. Как они справляются с хлебом, упакованным таким образом, да еще везут запеленатого ребенка — совершенно непонятно!» Новые крупные предприятия и жилые дома; «женщины, несущие ведра с водой на деревянном ярме» (слова «коромысло» у немцев нет, как и самого коромысла); «женщины, стирающие белье на берегу Волги». Стоимость железнодорожного билета Москва — Ржев около четырех рублей, что в пересчете всего лишь восемнадцать марок. Удивительная контактность пассажиров. «Во время путешествия русские ведут себя как одна семья. Делят хлеб с соседом. В сумерки в поезде бывает чай, который сервирует проводница. В вагоне некоторые громко храпят. Кто-то ест домашнюю кол-»

басу, приправленную пряностями, и предлагает мне. А к ней — бокал вина, вероятно, из буфета».

Неубранные кое-где поля. Раскисшие дороги. Десятилетний план строительства. Ухабистые мостовые. Крупные предприятия. Женщины, работающие на строительстве улиц. Новые вокзалы. Петушок — излюбленная игра в карты. Приветливость. Клубы. Самосвалы. И опять лохматые лошади.

Когда все окончательно смешалось, тут позарез нужен бы Гоголь, единственно кто мог своим художественным гением воссоздать небывальщину русской жизни. Но он уже упомянут корреспондентом, почерпнувшим кое-что в музее: «Гоголь в конце своего творческого периода тоже прибыл в Ржев. Нигде не найдешь такой подлинной России, как здесь, в верхнем течении Волги, в бывшей Тверской губернии».

Свой отчет о поездке Найнц Шеве справедливо завершает: «Ржев с его историей является городом, в котором старая и новая Россия еще ощущима». Но это, пожалуй, и все. Ответы на вопросы не найдены. Ржев по-прежнему загадка для Запада.

4

— Взгляните на старинный герб Ржева — лев на красном поле. Это символ непреклонности в борьбе с иноземными захватчиками.

Гул истории слышится мне во Ржеве...

— Так-так,— кивает на мое признание директор ржевского музея Николай Михайлович Вишняков, замечательный знаток и собиратель истории своего края.— И неудивительно. Имеющий уши да слышит.

Николай Михайлович был одним из руководителей горисполкома, когда поднимали Ржев из руин. Но из ближних лет мы уходим с ним все дальше в глубь истории.

— Ржев — один из очагов староверческой мысли,— говорит он.

Я знала, что в давние времена сюда, на ржевские земли, в скиты уходили от преследований церковной и монаршей власти люди, которых ругательски называли раскольниками. Они же себя — «скитскими общежителами», неотступниками от истинной веры, старого обряда, не признавшими нововведений патриарха Никона — «Никона еретика, адова пса,— как называл его Аввакум,— злейша и лютейша паче всех других еретик, иже быша под небесем».

Их сжигали как еретиков, заточали, забивали кнутами, изгоняли в необжитые места. Их мученичеством крепла и распространялась по Руси старая вера. Не уступали, не молились за царя, что значило бы возносить молитвы богу в поддержку царства антихристово, меченно-го орлом о двух, как только дьявол, главах.

Староверы сражались в рядах пугачевцев, с тех пор оружия в руки не брали, не сражались с властью, не бунтовали и не давали повода Истории приметить их, «пассивных», на поверхности. Ушли в себя, в свой духовный мир.

Такой образ поведения напутственно изложен к тому времени в послании одного из пастырей: «Аще требует враг злата — дадите; аще ризу — дадите; аще почести — дадите; аще веру хочет отъяти — мужайтесь всячески... Мы в последнее время живем — и потому всяку дань даем просящему, дабы не предал враг на муку или бы не заточил в неизвестное место».

Теперь нужда: не за веру погибнуть, как то было раньше, а выжить ради нее. Потому — отдай все, что вымогает слуга антихристов, чтобы избегнуть мук и уничтожения, чтобы изгнанием и заточением враг не развеял староверцев-«общежителей».

Отдай все, оставь себе твердую веру, свой духовный мир — только в этом и нуждаешься ты в преддверии конца. «Мы в последнее время живем...»

Ожидание конца света, пока что задержавшегося, все еще было крепью их веры. И если установления властей искажали духовные начала их жизни, тут они выстаивали, «мужались всячески».

Проходили годы, века, но все не слышался глас архангельской трубы с вестью о наступившем конце света.

Раскольники распадалась на толки, иные толки утрачивали былую непримиримость, принимали черты, более близкие православной церкви. Другие оставались все так же враждебны ей, хотя жестокость обоюдной вражды немного смягчалась. Но во всех напластованиях эпох, формировавших здесь, на ржевской земле, черты народного характера, присутствует пласт векового выстаивания староверов всем тяжким гонениям, устойчивость, приверженность «общежителем» своим поселениям.

Корреспондент ФРГ сообщает в очерке число умерших в войну от голода и убитых ржевитян. Но он не задается вопросом, почему голодающие, гибнущие в огне войны жители всячески сопротивлялись, считая это наихудшим злом, насильственному угону в немецкие тылы, в места, где было бы им безопаснее — отдаленнее от линии огня? Почему они не подпали под немцев, не подчинились немецким приказам, неумолимой, безжалостной силе и до последнего часа своего не расставались с городом?

Ответить нелегко. Такие здесь были люди, в Ржеве, неподатливые, сохранившие свой духовный склад. В дни военной разрухи они с глубокой непримиримостью к вторгшемуся врагу, с бунтарским — пусть не всегда внешне вырвавшимся — неподчинением его воле держались за свой рушащийся, горящий город как за духовный, национальный, человеческий очаг.

Из писем Ф. С. Мазина.

«Вообще, в трудные моменты жизни можно лучше узнать лицо человека.

Один раз в начале ноября 41 г. из лагеря военнопленных на нашу улицу пришел, прихрамывая, один наш пленный, лет 44, с сумкой, и ходил по домам и собирал хлеб. А там по домам ходили 2 эсэсовца, они вывели его из дома, повели в лагерь, а по дороге между лагерем и Полевой ул. один выстрелил ему в голову. Услышав выстрел, я побежал туда, а там уже прибежали какие-то женщины и Тася, молодая тетка моя, была там, и вот Тася все кричала немцам тем вдогонку: «Паразиты!» и т. п. и, что-то грозя, махала руками в сторону тех немцев, а немцы те быстро ушли. А на этом месте собралась целая толпа жителей около валявшегося пленного, и они долго стояли, ругались и кричали на тех немцев-эсэсовцев».

«А то, что наши разведчики были в городе, говорят те факты, что наша авиация имела точные попадания в важные объекты, сверху ничем не приметные. Так например, летом 42 г. днем налетело 27 двухмоторных бомбардировщиков наших на стадион «Локомотив», где у немцев были большие запасы бензина глубоко в земле, и тяжелыми бомбами и зажигательными бомбами было все это разрушено и поожжено, в небо почти целый день взлетали белые фонтаны и рвались в воздухе. Потом как-то только что пришел ночью эшелон со снарядами на станцию Ржев-II, и утром уже сразу ни с того ни с сего прямо на этот эшелон налетела авиация и разбомбила его».

«До войны в Ржеве молодежь была охвачена желанием летать. На высокой колокольне была парашютная вышка, и все прыгали с нее с парашютом, пока ее зачем-то не разрушили.

Когда перед войной хоронили на старообрядческом кладбище

Степана Попова, тогда погибшего на учебных полетах, то в тот день к их дому пришло много курсантов аэроклуба, и они сидели напротив их дома и вели беседу об авиации, так они тогда говорили, что авиация и вообще летать — это как картежная игра, раз полетал, и еще захочется.

Потом я иногда вспоминал, что вот это тогда сидели те, кому предстояло в эту войну вести трудные воздушные сражения».

«В войну в Ржеве молодежь складывала песни, я слышал такую песню о погибшем летчике-лейтенанте:

Там, на левом берегу,
Береге за Волгою,
Был убит за Родину
Парень молодой.
Только ветер волосы развевает русые
На обломках машины боевой.

Пели на мотив «Вышел в степь донецкую парень молодой»...

«А мой дядя, я Вам писал, всю войну летал и бомбил немцев. Он перед войной отслужил кадровую, но не пришлось ему вернуться домой, потому что сразу — война. Он спрашивал меня о своей сестре Тасе, которая кричала на эсэсовца «паразит!», и о своей матери — моей бабушке. Я жил с ними, я видел, как вечерами они гадали на картах, жив ли он, и долго, молча смотрели, нагнувшись к коптилке, и раз было так, что лица их как-то прояснились — жив. Кстати, бабушка очень не любила, чтобы дома кто-нибудь ругался, «не смей черкаться в доме, слышишь!» — такой строгий вид я никогда у нее не видел. На вид она была всегда такая миловидная старушка, с таким овальным лицом и всегда добрыми глазами. Ни одного нищего перед войной она не пропускала, чтобы что-нибудь ему не дать, даже и в войну, если у нее что было, хоть немного, старалась дать нищим хоть что-нибудь».

«Немец, если он солдат, а не офицер, обращался к другому солдату — камрад. Между прочим, были такие старухи в Ржеве, когда за чем-нибудь к ним обращались, тоже называли камрад, думали, что так это и надо. Много старух ходило нищих и, если увидит перед окном в доме сидит немец, спрашивали у него: «Камрад, дай бр о т ц у кусочек». «Вас (что), вас, matka?» Брот — это у немцев хлеб, так нищие старухи говорили по-своему: «Хлебца — б р о т ц а дай,— и покажут пальцем одной руки посередине ладоны другой,— кусочек дай, милок». Один какой. может, даст кусочек, другой: «Вег (прочь), matka!» А если старуха не уходит, кричит: «Раус (вон!)» Старухи знали, что после этого слова надо уже уходить».

«А Тася до войны работала телефонисткой на коммутаторе на льночесальной фабрике. Она тоже не успела уехать, потому что телефоны работали до последнего времени, до самого прихода немцев. У нее были такие синие глаза, все засматривались. Убило ее 12 августа 1942 г. вот при каких обстоятельствах. Утром она говорит своей матери — моей бабушке: «Сегодня мне приснился сон, хоронила маленькую девочку». А бабушка и говорит: «Ну, так за ночь мало ли чего приснится». Потом Тася говорит: «Вроде сейчас не стреляют, потише, пойду, схожу получу семя льняное». А семя это давали за то, что работали зимой на снегу. И она пошла. А пока шла, начался обстрел. И тут какая-то девочка бежала по улице, она взяла ее на руки и через дорогу стала переносить к бомбоубежищу около Чертова дома, и как раз на середине дороги ее убило, а девочка осталась жива.

Она была всегда хороший человек. Она из старинного хорошего рода, в Ржеве ее многие знали, и кто знал ее, все уважали. Свое

человечество она показала и в последние минуты жизни, спасая незнакомую девочку».

«Еще мне хочется отметить, что для более резкого охарактеризования некоторых можно пользоваться и вот какими словами.

Вот, например, тех, кто стрелял в пленного, можно назвать — ничтожество.

После описания какого-нибудь тяжелого случая на войне можно употребить слова — к черту бы эту войну, или — такую войну».

«Когда я в то лето писал гяге в Ржев о его сестре, о Тасе, то он прислал мне письмо, в котором писал:

«Наша Тася — легенда с синими глазами»...»

Глава шестая

1

Юбилей. Двадцать пять лет освобождения города. Мы съехались кто откуда, из разных городов, каждый на свой лад связан с Ржевом и вместе — войной. Военнослужащие и бывшие военачальники, разведчики, партизаны.

Мне сказали — здесь военврач Земсков. Я не ждала. Не взволновалась, скорее удивилась — вот так, значит, через столько лет, — и по моей просьбе указали на него. Я уже писала: мне б самой, наверное, не узнать. Не мудрено — миновало двадцать пять лет. Мне помнилось изнуренное, с запавшими щеками, скуластое лицо. С годами лицо его стало массивным, и за крупными скулами терялись серые глаза, смотревшие сосредоточенно и прямодушно.

Были торжественные собрания, банкет, общегородской митинг на площади. Все свободное время мы не расставались. Может, он был рад мне, помнящей его в тот сокровенный час его жизни, когда, бежав из лагеря, скрывавшийся семнадцать дней в туннеле под водокачкой, он, прихрамывая — ранен осколком разорвавшейся немецкой мины, — шел в наш штаб.

Но временами мне казалось, что нас сковывает какая-то недоговоренность. Да и не какая-то. А определенная — мы в последний раз виделись в доме бургомистра, когда я, не простившись, ушла отнести документы, пообещав тут же вернуться. И не вернулась. Но затеять разговор, объяснить, как оно получилось, казалось неуместным, даже нелепым — все давно унеслось в прорву времени, кому же приспичит помнить тот день, тот дом, тот самовар, из которого мы так и не напились чаю. Это в моей памяти все застревает.

Земсков незадолго перед тем вышел в отставку в звании подполковника и теперь преподавал в медицинском училище.

Мы ходили по улицам нынешнего города, а в сущности, блуждали каждый в своем прошлом.

Опять — март. Тот март и этот.

На солнечной стороне улицы вытаивает на кровлях снег до плешивин. Свисают сосульки. Еще не дружный звон — тоненькое треньканье капель. На тротуаре лоснятся, подтаивая, островки наледи. А на теневой стороне под утоптаным снегом — кора льда. Скользко.

— Сам себе не веришь, что ты во Ржеве, — сказал Земсков.

— Где-то тут ведь был дом бургомистра. Не пойму где. Может, не ориентируюсь?

Он молча отвел от себя рукой, ничего не ответив, и сунул тяжелую ладонь обратно в карман пальто. Перчаток не надевал.

Сказал:

— Все же Ржев... Ну пусть не тот самый, конечно, весь заново отстроен. Но на той же земле...

Тяжело опираясь на палку, шла навстречу пожилая женщина, переламываясь с боку на бок, — нога на протезе. Мы расступились и продолжали стоять, когда она уже свернула за угол.

— А тогда-то, в зиму сорок третьего, Ржев весь в снегу, не пройдешь, только тропы кое-где. — Земсков заговорил, наклонив ко мне голову в черной кроличьей ушанке, надвинутой низко на лоб. — Меня иной раз и без конвоя к больному посылали, врача в городе не было. А идешь — куда? — Он обвел рукой тот невидимый Ржев. — Нигде ни живого. Чувствуешь, дымком тянет — гляди вниз. Сверху-то никого. В подвалах или где поглубже — люди. Затаились. И следов нет. Не выходят. Сголодались. Чем они питались, я уж понятия не имею. Снегом кругом замело — это уже была маскировка. Куда немец пойдет, если кругом снег. Умирили с голоду. Все условия уже были нечеловеческими. Он знает, что в городе смерть его неизбежна, но не уходит. Хуже всего людям казалось оставить свой город. Вот какой народ. Ведь если бы искали, где лучше, не надо было немцам под конвоем гнать, расстреливать...

Мы вошли в кафе «Звездочка». Оно переоборудовано к юбилею из столовой № 10, где, по словам корреспондента из ФРГ, его угощал «феодалным» ужином бывший партизан. Старый гардеробщик с веселой обходительностью принял у нас пальто и шапки. Мы сели за столик у окна, задрапированного сверкающим белизной новым тюлем. В обеденное меню можно было и не заглядывать — здесь принимали гостей города как могли хорошо. Земсков заказал вино, молча разлил.

— За встречу, — сказала я неуверенно.

— Выходит так.

Он был напряжен. На его лбу оставался рубец от шапки. Лоб набряк от напряжения, оттянув валики надглазий, и серые глаза открылись, смотрели на меня прямо и отчужденно.

— Я тогда ждал вас, — четко сказал он. — Сколько только мог. Уже, помню, смеркаться стало. Мне пора было обратно в медсанбат, я еще тогда ведь залечивал ногу. Вас все не было. Я изложил то, что считал своим долгом, на листке, что вы мне дали. Мне оставалось отнести его Калашникову...

Я почувствовала, как память моя тяжелеет, опускается вглубь, туда, где, оседая, маются, затаившись, вины. И этот белый тюль на окнах, как в доме бургомистра.

— Я, Георгий Иванович, не смогла вернуться... Приказ был сняться, и даже не было возможности добежать обратно сказать...

Ах, не был он ни гибок, ни изощрен, ни эластичен, и все, что жизнь причиняла ему, не во взвеси, не в обрывках бродило в нем — срасталось с ним капитально.

— Борщ стынет.

Он не обратил внимания. О чем-то задумался. Заговорил не спеша:

— Когда ото Ржева ехали мы на Подольск, заночевали у старушки. Она обрадовалась, что мы у нее. Рада, что пришли свои войска. — Видно, это сбереженное воспоминание согрело, и лицо его помягчело. — Мы не открываемся, что мы пока на проверке. «Что мне с обувью делать?» — полный подпол у нее немецких сапог и ботинок. Свой пришли, и она рада все отдать, что сохранилось у ней.

— Это вас-то на проверку?

— И к лучшему. Там разом разобрались и на фронт меня вернули. А с Калашниковым понять друг друга трудно...

— Так что же Калашников?

Земсков доел остывший борщ, поднял темную, не поддавшуюся седине голову.

Мне вспомнился Калашников. Внушительного роста, рыхлые округлые плечи, верткая жидкая шея. Лицо не злое, неприметное, беспечальное.

— Бывают такого кроткого ума люди,— с великодушием натуры крупной, неподточенной сказал Земсков.

«Вы были членом партии?»

«Да. В первые же дни войны я вступил кандидатом. Я считал себя обязанным к этим действиям...»

Глаза Калашникова, легкие, безмускульные, замирают, не пыливый — стоячий взгляд. Заминка.

«И где же ваш партбилет?»

«Я говорил: он был в кармане гимнастерки. Я ее снял, когда мы переплывали, чтоб не замочить документы. Посреди реки завертело, когда немцы накрыли нас огнем,— гимнастерка утонула...»

В плен попал не раненым, в сознании. А не отстреливался, не покончил с собой. Был безоружный? Пистолет тоже утонул? Одно к одному.

В таких невыгодных обстоятельствах своим «кротким» — недалеким — умом Калашников разбирался проворнее.

Война много чего ему доверила — не по его скудному духу. Но он не отягощен ответственностью. А сердце сослепа ничего не подсказывало о человеке.

Но вот ведь что-то Земсков организовывал в лагере, возглавлял. А поручал кто ему? Никто. Он ведь то в плен, а то — в герои. Самозванцем. Да в чудном пальто, без шинели, без оружия...

Много кое-чего непонятного, досель неизвестного притянула за собой здешняя победа. Еще не все обмозговано кем надо, и не постичь самому. Довоенный опыт газетного репортера ему не в помощь. Калашников нуждается понизить, умалить Земскова — тогда и понятнее, и охватнее, и заминки нет. Его глаза оживают, круглеют, действуют, лихорадят тщеславием власти. И искренним любопытством.

«Только четыре раза порезали немецкую связь? А ведь вы больше чем четыре раза выходили из лагеря без конвоя».

А у Земскова и по сей день в его сильном лице, в серых глазах детское упрямство бесхитростности. И от недоверия замкнется. Ведь ощущал себя, что скрывать, героем. А вслух только одно:

«Так что же, не приходится мне дальше служить?»

«Как знать...»

И ведь не то чтобы злой человек, а потерзать может, ни света, ни тепла в сердце, и пристегнется через всю жизнь по пятам за Земсковым, как ходит кривда за правдой. Но об этом еще впереди.

К нашему столику подсел человек с очень прямой спиной и с празднично-печальным лицом. корректно одетый — в черном костюме, с белой манишкой. Когда-то он был помначштаба полка по связи и хотя принял почетное приглашение прибыть на юбилей, но сам, видно, не настолько был привержен памяти о войне, чтобы томиться без дела уже третьи сутки. Он вдруг смущенно и самолюбиво покраснел, почувствовав, что помешал нам, и, пружиня пальцами о крышку стола, легко оттолкнувшись, поднялся и стоя еще долго, настойчиво приглашал нас приехать в Псков, где под его началом облэнерго, суля свозить в сохранившиеся пещеры с настоящими, живыми монахами. Закурил, оглядывая зал: два генерала и другие незнакомые ему люди, прибывшие на празднество, сидели за соседними столиками. Он отошел в поисках свободного места.

— Вы о Курганове спрашивали,— заговорил Георгий Иванович.— Последний раз я его видел, когда были на проверке в штабе фронта в Подольске. Мы с ним в приемной ожидали вызова на разговор, или, если хотите, на допрос все же. Курганов очень изменился, сидел

с лицом убитым, почерневшим, да и маялся, должно быть, как человек, повседневно до того пьющий. Он был подавлен. И, согласитесь, было с чего. Полицай лагерный... Но он сказал мне тогда с запальчивостью: «Мы свое задание выполнили. Наша совесть чиста». Я промолчал. Что он имел в виду, говоря так о себе, я не знал. Совесть моя не была запятнана. Но задание я не получал. А о его задании мне неизвестно было.

Время от времени подходила крепкая, коренастая официантка в накрахмаленной кружевной наколке на голове по случаю праздника, суматошно шмыгая бровями, ощупывая всей кожей темени, не сползла ли наколка, что-то ставила на стол, уносила тарелки.

Никто больше не мешал, не подсаживался, видели — людям надо дать поговорить.

Земсков откинулся на спинку стула, лоб его разгладился. Нет, ничего не пролегло между тем и этим Земсковым, кроме череды лет с их внешними приметам. А с годами ему идет и широкая грудь и даже тучность, они как бы под стать его человеческой весомости. Говорил он с небольшой одышкой. О лагере военнопленных тут, в Ржеве, о страданиях истязаемых людей.

— Человек от голода перестает понимать окружающее... Его существование для него незаметно. Теряет себя...

Большого не сказал из душевного целомудрия.

— Вот хоть и сколько лет прошло... А все об этом... — наклонившись над столом, с доверием взглянул открывшимися серыми глазами. — Трудно откопнуть от себя...

Мы помолчали, и так, будто у нас был навык молчания вместе. Таящееся в нас прошлое окрепло.

Но есть же край, есть же немощь человеческая и вот есть же что-то высшее, что светит, одолевая мрак и в земном аду, в невыносимой скорби.

Ох, капитан Калашников, капитан Калашников, такое непоштучно — сколько раз порезаны телефонные провода немцев? — это непрактичный дух человеческий поднимался в невыносимых обстоятельствах, в смертной обреченности плоти и перед лицом непреодолимого.

— Вы о чем? — бережно спросил Георгий Иванович, нарушая тишину нашего молчания.

— Вспомнила, как увидела вас.

Он шел прихрамывая, в длиннополом темном пальто. Пустынной улицей, по черному снегу; было в нем что-то апостольское...

2

— Тогдашним начальником полиции был по лагерному прозвищу Борзой. Это был не человек — злой пес, зверь. Он издевался над пленными. Смерть его не миновала: немцы похоронили его на территории лагеря с почестями в отдельную могилу и березовый крест ему поставили. А на второй день немцы обнаружили на кресте приклеенный листок — это наша подпольная организация ему наклеила проклятие:

Ты предатель, мучитель мерзкий,
Изменник Родины в могилу ушел один.
За предательство Родины в награду от фашистов
Осиновый кол ты получил.

Этот березовый крест в наших глазах все равно что осиновый кол был. Да и в деревне у нас в старое еще время говорили: «Вовкулака осиновым колом пробивать надо».

Я не поняла.

— Это кто человеческое подобие утратил, обернулся волком, или собакой, или каким страшилищем — вовкулак.

Георгий Иванович водил ладонью по голове, щурился, напряженно собираясь, вслушиваясь в воспоминания;

Мы погибаем за Родину, общее дело,
 В братской могиле обретем мы уют,
 Народ найдет к нам дорогу,
 На могилу друзья придут,
 Венок положат, цветы посадят,
 В книгу почета занесут.
 Тебя, предатель ненавистный,
 Народ не вспомнит, друзей у тебя нет,
 И никто на могилу к тебе не придет.
 Фашистская награда — осиновый кол —
 На могиле сгниет.
 Могила твоя как предателя
 Чертополохом и бурьяном зарастет.

Немцы рыскали, искали авторов, но найти им ничего не удалось. По тому, как волновался он, вспоминая, запинаясь, проглатывая слова и все же помня наизусть, было понятно, что он сам сочинитель этого проклятия.

— Заметил я в лагере нового полицая. Нам стало известно, что он был советским командиром. Это некто Иван Курганов. Кстати, мне пришлось лично выслушать его правосудие. Наступили холода. Сарай с тесовым покрытием. Каждому охота туда пролезть. И полицай лупят. Зверство. Я не выдержал: «Что тут за палачи!» Я протиснулся внутрь. Полицай за мной, но потерял меня. Я поделился с одним, что сидел чинил ботинок: это я крикнул. Может, это он меня предал. На другой день полицай за мной пришел. Здоровенный. Раза два ударил он меня: «Я хоть сегодня, хоть завтра буду твоим палачом». Повел. Пульмановский вагон остался от заготзерна. Это, оказывается, штаб полиции. Смеются, издеваются надо мной. Пришел Курганов. Велел всем уйти. Только остался тот полицай, что привел меня. «Ну, как это ты так над полицейскими?» Сделал мне допрос. Я сказал: я думал, это наши пленные. «Полиция защищает интересы пленных. На этот раз мы вас прощаем. Но будьте дисциплинированы». Начал читать мне мораль, что вести себя в лагере нужно послушно, уважать полицию, никогда не прекословить и помогать ей.

Тот полицейский даже зубами скрипел. Так хотел расправиться со мной. А за вагоном ждали полицейские, шуметь начали: дескать, таких нужно вешать. Это у них на практике до того так и было. И скажу вам, не всякий трус может быть палачом, но негодяй — может. Курганов, отпуская меня, сказал одному из полицейских, чтобы тот проводил меня до сарая. Потом я понял, что это было сделано для того, чтобы оградить меня от произвола других полицейских. Я был поражен снисхождением лагерного полицая, раньше такого ожидать не приходилось, меня обязательно уничтожили бы... Да он не избивал пленных, больше пугал, вел себя на посту начальника полиции по отношению к пленным хорошо...

3

В гостиничном номере крашенный пол устлан истоптанными плетеными половиками, застойный, вязкий запах их мешался с щиплющей глаза и ноздри масляной краской лоснящихся стен. Железная кровать. Подзор. По-домашнему взбитые пухло подушки ловко усажены углом одна на другую и — под накидку с прошвой, как здесь называют кружева. От этой провинциальной простоты, опрятности на душе стало тихо, спокойно. Я переобулась — скинула сапоги и прошлась по твердому половику в домашних туфлях. Притянуло к окну. За окном был темный вечер. Ни души. Тусклое небо. Напротив над низкой черной крышей высветлена его сизая кромка. Покачивало фонарь, и на черных прямоугольниках окон мелькали легкие блики, блестела заледенелая колея на проезжей части, подрагивало под фонарем молоденькое деревцо. А чуть по сторонам от фонаря, податливо отступая в тень, улица терялась, будто заповедная, и я расстро-

ганно чувствовала свою связь с ней и признательность кому-то за эти минуты проникновенной слитности со всякой земной малостью.

Но вот на улице все замерло, ничто не шелохнется, повалил снег.

Я задернула занавеску, села оцепенело к столу. И стало вдруг странно, затерянно в глухом, замкнутом помещении с бедно и нагло выкрашенными смутно-синим нежилым цветом стенами, раковиной с облупленной по дну эмалью и недеющему краном.

Я предпочла бы, отвернув пикейное покрывало, улечься в рыхлую, уютную постель, но передо мной на столе была папка, врученная Иваном Васильевым,— его переписка в поисках следов судьбы Курганова.

Я зажгла настольную лампу, погасила верхний свет. Стены померкли. Комната затаилась. Все как-то откачнулось. Высветилась лишь на столе под лампой — папка судьбы.

4

«31.X.66 г. Отдел милиции Керкинского райисполкома Турк. ССР.— И. Васильеву.

На Ваш запрос от 16 октября 1966 года. Сообщаю, что гражданка Курганова проживает в гор. Керки по фамилии Тугакова Мелания Давыдовна, ул. Разина, 7».

След второй жены, если она в самом деле была — о ней упомянуто в сообщении председателя сельсовета с родины Курганова,— затерялся. Первая жена сразу же откликнулась из города Керки.

Я взяла в руки конверт с ее письмом, выпала фотография: Курганов в прежнего образца гимнастерке, какие были у нас до сорок третьего года, с подворотничком, на петлицах три кубаря — старший лейтенант Красной Армии. Зачесанные назад волосы распадаются надо лбом; над широкими бровями дуги морщин, глубоко залегшие к переносице. В лице все крупно: крупные, сумрачные, напряженные глаза, большие прижатые уши, носище с тяжелыми крыльями, под ним широкий желобок к крупному, извилистому, жесткому рту. Что таит это лицо? Смутно. То ли темные силы, до поры не пробужденные, то ли истовость понимания, в чем грех, в чем спасение.

«Адресный стол мне вручил Ваше письмо 27.X.66 г. Вы заинтересованы моим покойным мужем и хотите уточнить что с ним было в 1943 г. Что я знаю я Вам все опишу. Мой муж кадровик погранвойск. На фронт он пошел 30 июня 1941 г. Я получила от него письмо с г. Муромск, где их формировали. Это вскором времени как их отправили. Да я не написала его звания, он был старший лейтенант. И до 1944 г. по октябрь м-ц о нем ничего не знала. В 1944 г. в октябре м-ц он мне прислал телеграмму с г. Кисловодск. В телеграми пишет выезжай немедленно я тяжело болен. Эту телеграмму он мне прислал с госпиталя, номер этого госпиталя я сейчас не помню. Я с сыном тут же выехала. Ну Курганов И. Г. находился в госпитале 6 месяцев до нашего приезда. Сослов Курганова я узнала, что он был в плену и бежал с плена. его ранили при побеге и его подобрала партизаны безсознания. В партизанском отряде его лечили. А под Витебском его опять ранили, и доставили самолетом в г. Кисловодск куда он нас вызвал, я с ним была 3 месяца, он был сильно т. е. тяжело раниный, сильно была разбита челюсть, легкие были прострелены, в голове были осколки, рука была прострелена, и был ранен в ногу, общем всего изрешетили. Курганов И. Г. находился в госпитале около двух лет, война кончилась, он ище был в госпитале и нам с сыном прислал телеграмму с днем победы. 1945 г. примерно в сентябре я получила письмо от него уже с г. Еревань. Он нам писал, что находится в г. Еревани. Ждет назначения, и как только получит назначения, и приедет за нами. Адреса он с г. Еревань в письме не писал. И это было последнее письмо. Я очень долго ждала,

3 года, и потом объявила всесоюзные розыски, но мне розыски так и не нашли его».

Он не был откровенен с женой, и в ее изложении не понять, что и как с ним было.

«В 1950 г. в январе он мне сам прислал телеграмму,— пишет дальше жена.— Вот ее содержания, выезжайте сыном г. Хабаровск 2-й улица Запарина, № 84, квартиру номер забыла. Ну мы сразу не поехали, Вы сами должны понять, что я женщина и мать своему сыну, столько лет не знать, что было с ним, и вдруг сламя голову бросится на первый его зов. Между нами в письмах была перепалка, я спрашивала где ты был столько время, а он мне в своих письмах отвечал, когда приедешь все узнаешь. Ну так я и не знала, что было с ним эти 4 года».

Все же спустя еще четыре года, в 1954 году, она решила поехать к нему в Хабаровск, «и вот судьба не сулила хорошего, я не успела выехать, мне прислали письмо, что он умер. Как Вы думаете, это мне было легко все это пережить, я думала, что я сойду сума, ну пережила. Я ради сына не могла сразу поехать к нему, боялась за его воспитания, боялась, что Курганов заберет его из училища, он был против, чтобы сын был военный. А мне очень трудно было добиться, чтобы моего сына приняли в Суворовское училище МВД. Ну я тогда добилась своей цели и думала, что мой сын меня не забудет. Ну я ошиблась, я сыну сейчас не нужна, у него своя семья, а я лишняя. Он мне даже письма не хатит написать. Он сейчас работает в Саратове в милиции старший лейтенант».

Во втором письме она просит выслушать ее обиду и помочь: соседка в ссоре сломала ей руку, а суды не принимают иск и нет на соседку управы.

«Вы пишете, чтобы я поточнее написала о своем муже И. Г. Курганове. Поверьте мне, я ничего не могу дополнить то, что я Вам написала. И. Г. Курганов был очень скуп на рассказы, о себе он мало говорил что он когда мог делать. Я точно не знаю где его ранили, под Витебском, или подо Ржевом. Мне помнится, что под Витебском, оттуда его доставили в Кисловодск. А где он был до своего ранения, точно я не могу сказать, был ли он в партизанах или в легулярной части. До того как он попал в плен, он был разведчиком. Я знаю это от фронтовиков которые 1942—43 годах возвращались с фронта. Я в 1943 г. сама писала. Был ответ, что Курганов И. Г. был. А где он существенного ничего не прислали. И. Г. Курганов мне говорил при каких обстоятельствах его забрали в плен. При выполнении задания его ранили, и он потерял сознание. А где это происходило, я не знаю. Иван Афанасьевич, не обижайтесь на меня, что я так мало знаю за своего любимого мужа. Я ему посвятила всю свою жизнь, я осталась с 26 лет как началась война, и я замуж не выходила. Извените меня за откровенность».

Вот я Вам все описала, что сохранилось в моей памяти. Писем нет, фото я Вам высылаю, и есть уменя Грамота И. Г. Курганова, я Вам ее тоже вышлю, ну прошу мне вернуть, это все, что осталось мне на память».

Стертая на сгибах, погрызенная мышами грамота:

«Товарищ Курганов И. Г. Командование отряда в ознаменование 1 мая 1935 г. за исключительно добросовестную работу награждает Вас настоящей грамотой и объявляет благодарность. И выражает уверенность, что Вы своей дальнейшей работой еще активнее будете бороться за лучшие показатели учебы и службы в отряде.

Н-к Пограничного отряда
Пом. Н-ка отряда».

На этом все обрывается. Больше ни письма, ни сведений о Курганове. Смутная, злая, трагическая судьба.

Я погасила свет, легла. Раздались по-ночному вкрадчивые мужские шаги в коридоре, тихий стук в дверь, что напротив, сиплый, нетрезвый голос ломился: «Отвори! Кому говорят! По-людски просят!» Дверь не отперли. И как-то безучастно увещевая себя: «Ну и падала...» — человек пошел прочь, матерясь и шаркая башмаками.

Я долго лежала без сна. В просвет занавесок текла белесая ночь. На столе назойливо мерцал стеклянный графин с водой.

Глава седьмая

1

Утро в гостинице началось шумно, говорливо, бесцеремонно. Это было утро Большого праздника. В общей для всех умывальной под несколько кранов с колючей, ледяной водой подведен железный желоб, и всем от всех достаются брызги воды с обмылками, со стряхнутой с бритвы пеной, с клочьями зубной пасты.

Когда я возвращалась к себе, за поворотом коридора вдруг вспыхнули красные гвоздики. Это у дверей моего номера толпились школьники.

Красные гвоздики поместились в графине, ребята уселись на кровати, на диванчике и стульях, а кто и прямо на полу. Они смотрели на меня молча, протяженно, цепко, и я с неловкостью почувствовала, что для них я вовсе и не я, а некий символ. Но мы заговорили, и чувство неловкости исчезло. Это не те ребята, до которых не достучишься. Они и в генах и в пересказах родных несут в себе завещанную им память о жестокой войне. Когда они ушли, осталось ощущение чистосердечности прожитого с ними часа. В окно мне было видно, как они высыпали из гостиницы. В ушанках, вязаных шапочках с помпонами, в платочках...

У меня в архиве — детские сочинения. Я храню их. В 1943 году, когда война еще была в разгаре, ребята, потеряв в оккупации два года обучения, вернувшись в школу, в Ржев, написали о пережитом. Они были не старше тех, что приходили ко мне в гостиницу. Но прошло двадцать пять лет, и кое-кому из этих те доводятся, возможно, родителями.

А тогда-то:

«Это было в дер. Шандалово Ржевского района. В избе, где нас приютили хозяева, расположились на ночлег фашистские бандиты. Среди ночи мой брат 6-ти лет настойчиво что-то все просил у матери. Он даже плакал, нарушая покой фашистских извергов. Они взяли моего брата, увели за сарай и там расстреляли».

Ученица Колчанова.

«Когда немцы заняли город, они начали проявлять свою власть с того, что стали ходить и ездить по уцелевшим домам и отнимать у жителей все то, что кому понравится. А когда настала зима, они снимали теплые сапоги прямо с ног, где бы ты ни находился — на улице или на дороге вдали от жилья.

Однажды мы услышали крик. Я выскочил на улицу и увидел, что немцы бьют прикладами какого-то старика. Оказывается, старик шел за водой в валеных сапогах. И хоть сапоги его были уже старые, но немцы, увидев их, обрадовались и такой находке. Долго стаскивали они сапоги с сопротивлявшегося старика. Сдернули они сапоги с дедушки и пошли, посмеиваясь над ним, своей подлой дорогой. Старик в одних портянках побежал по снегу. Он подбежал к нашему дому. Мы впустили его в квартиру, дали ему носки и лапти, и дедушка пошел к себе. «Хуже всякого лишения это терпеть унижения от проклятых собак», — говорил дедушка».

Хренов Владимир, ученик 4 класса.

«Напишу еще один случай в Ржеве. Однажды рано утром я пошла за водой, в это время гнали наших пленных. Голодные пленные хватили гнилые кочерыжки, а за это их били палками и прикладами. У меня в кармане была лепешка. Я дала одному бойцу. Немецкий патруль прикладом ударил бойца, и боец упал. Я от такого зверского поступка бросилась бежать».

А. Новикова, ученица 4 класса.

«В сентябре 1942 года, когда наши войска начали приближаться к Ржеву, по приказу комендатуры все население с Советской стороны обязано было немедленно выселиться. Народ не хотел идти. Их били плетками, прикладами, выгоняли насильно из домов, сажали на машины и увозили в Германию. Так был увезен и мой отец. Где он теперь? Что с ним? Жив ли? Мы с мамой ушли в деревню. Там староста собирал на работу на немцев. Один колхозник, наш сосед, однажды на вызов старосты не вышел на работу: он сказал, что болен. Староста вызвал полицейского, который явился с плеткой. Колхозник опять отказался выйти на работу. Тогда собранные вооруженные полицейские согнали весь наш народ на улицу. Привели больного и приказали ему лечь на принесенную скамейку. Тот отказался. Ему связали руки, раздели, привязали к скамейке и на глазах народа плетью хлестали 25 раз. Он уже не мог стоять. Отвязали его. Его свезли в немецкий штаб, там снова пороли. Скоро его из штаба куда-то увезли накрытого. Мы больше не видели этого колхозника».

Иванов Павел, ученик 6 класса.

«Мы жили в деревне Тимофеево. Немцы поймали моего дядю — брата папы. Дядя был комсомольцем. Фашисты повели его в комендатуру. Он ничего не ответил немецкому офицеру на допросе. Его отвели за сарай и там расстреляли, а труп закопали в снег. Бабушка моя пошла разыскивать тело своего сына, несмотря на запрещение. Долго потихоньку от немцев разрывала она везде снег и разыскивала милого сына. Но немцы об этом узнали. Они застрелили бабушку в тот момент, когда она своими старыми руками уже коснулась дорогой находки».

Кудрявцев Анатолий, ученик 4 «б» класса.

«У моего двоюродного брата — двенадцатилетнего мальчика — умерла тогда мать, отца убило бомбой, и он остался кормилец младших детей. Нечем кормить рты, и он решил утащить немного хлеба из немецкой машины. Немцы схватили его и произвели с ним жестокую расправу. Сначала его избили, потом посадили под пол на лед. Каждый день приходил комендант и приказывал своим солдатам давать мальчику десять розог утром, пять днем и десять вечером. Получая только сто грамм хлеба в день, отсидел он в подвале десять суток. Потом комендант решил, что не стоит «возиться» с русским щенком, и приказал мальчика повесить. Для повешения даны были 4 солдата, которые сначала избили его в сарае, а потом долго таскали его по навозной весенней талой луже. Когда тащили его вешать, не выдержал народ. Собравшиеся у сарая русские разгневанные люди кричали, плакали, грозили паразитам и с криком направились к сараю, у которого совершалась расправа. Услышав такой протест народа, явился комендант и приказал отпустить. Мы толпой бросились к нему. Он был настолько избит и окровавлен, что к нему нельзя было прикоснуться, а не только снять с него одежду. Пришлось все на нем разрезать. Мы не надеялись на его выздоровление».

Лапина Тамара, ученица 6 класса.

«Когда немцы были в Ржеве, они насильно выгоняли всех наших матерей на работу. Многим удавалось спрятаться. Но ведь нужна была вода и пища. Когда женщины выходили за водой, в них стре-

ляли из винтовок или автоматов. Один раз я видела, как убили сразу несколько женщин, вышедших за водой. Среди убитых была мать одного знакомого мне мальчика, Вити. Когда Витя увидел, что его мама убита и лежит на улице, он заплакал и побежал к ней. Но не пришлось ему добежать до мамы, он упал на камни пустой улицы, а не на труп мамы. В него выстрелил немец из винтовки».

Ковалева Галина, ученица 4 «б» класса.

«Я видал только ужасную смерть.

В январе 1942 г. в нашу квартиру пришел немец и стал выгонять на работу маму. Она отказалась. Немец со всей силы ударил ее прикладом по спине. Даже не охнув, мама упала навзничь. Мы заплакали, но тихо: в квартире находился немец. Мама поболела неделю и умерла. Остались мы с бабушкой. Через месяц после смерти мамы пошли мы с бабушкой в деревню искать продуктов, так как нам совсем было нечего есть. Достали мы немного ржи и семян. На обратном пути догнала нас женщина с мальчиком еще меньше меня, и мы все пошли вместе. Она несла за плечами картофель. У входа в город остановил немецкий солдат, который стал отнимать у той женщины ее дорогую ношу: она несла детям пищу. Немец схватил у нее мешок и бросил в снег. Мальчик бросился к мешку, лег на него и не хотел отдавать немцу. Но немец ударил мальчика по голове прикладом. Тот покотился мертвым. Обезумевшая мать набросилась на немца с кулаками. От выстрела врага из винтовки оборвалась жизнь этой несчастной женщины».

Меркурьев Виктор, ученик 4 «б» класса.

«Все на свете прощается, кроме памяти ложной и детского ужаса» — эти строки написаны еще в преддверии войны погибшим на ней молодым поэтом.

2

Все валили на площадь — на городской митинг. Впереди меня дядька тянул за веревку санки с мешком картошки; бабка, согнувшись, поддерживала мешок. У ворот рынка он раскатил санки, бросил ей: «Ну, базарь!» — а сам припустил к площади. Из ЧД, Чертова дома, на ходу запахиваясь, соскальзывали с обледенелых ступенек подкрепившиеся молодцы и степенные мужчины — и все туда же, на площадь. На старинной часоулке, что, уцелев, стояла двадцать пять лет назад одна среди руин с плакатом, звучавшим как заклятье: «Мы возродим тебя, Ржев!» — теперь кумачовая широкая опояска: «Слава героям, освободителям Ржева!» — и цифра «25».

Был лиловый, мартовский, снежный, рыхлый день. С трибуны председатель горисполкома зачитывал послание:

«Дорогие наши потомки, жители города Ржева и района, люди XXI века!

Мы не знаем ваших имен, мы никогда не увидим ваших лиц и не услышим вашего голоса. Но сегодня, 3 марта 1968 года, через многие десятилетия, отделяющие нас от ваших дней, мы решили обратиться к вам с этим посланием.

Пусть прозвучит оно для вас святым наказом нашего поколения.

...Тяжелые испытания выпали на долю города Ржева и района в годы Великой Отечественной войны.

Город был не только 17 месяцев в оккупации, но и был городом-фронтом.

Все эти месяцы советские войска вели ожесточенные, кровопролитные бои под Ржевом, прикрывая путь к столице нашей Родины — Москве...

Вы никогда не увидите того, что оставил нам после себя враг, во что превратил он старинный русский город Ржев.

В дымящихся руинах и развалинах лежал наш город.

Были разрушены все промышленные предприятия, железнодорожный узел, уничтожены школы, больницы, клубы, театры, сады и парки. Из 5 с половиной тысяч жилых домов осталось только около 300 полуразрушенных домиков на окраинах города.

Тысячи ни в чем не повинных людей погибли от голода, были расстреляны и замучены в лагерях. Многие тысячи угнаны на ка- торжные работы в фашистскую Германию. Из 60 тысяч человек, ко- торые проживали в городе, на день освобождения было 362 челове- ка. В районе 96 населенных пунктов стерто с лица земли...

Мы чествуем сегодня тех, кто освободил нашу землю.

Мы низко склоняем свои головы перед теми, кто отдал свои жизни в борьбе за мир и спокойствие нашего города.

В знак глубокой благодарности на самом красивом месте, на бе- регу Волги, воздвигнут величественный памятник в память героев Великой Отечественной войны.

Мы чествуем сегодня и тех, кто, отложив винтовки, взялся за мастерок и лопату, чтобы восстановить разрушенный город, села и деревни... дать людям свет, тепло и пищу.

...Из пепла, из руин и развалин встал наш родной Ржев.

Но помните, обязательно помните, чего стоило это вашим дале- ким предкам.

На развалинах, оставленных войной, они строили будущее, то будущее, в котором живете вы.

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ПОТОМКИ!

То, о чем мы рассказали вам, лишь малая доля... Мы передаем вам все, что сделано и завоевано нами...

Мы счастливы, что живем в это время...

И в то же время мы завидуем вам...

МИР И СЧАСТЬЕ ВАМ, ДОРОГИЕ ПОТОМКИ!

И дети, те, что приходили ко мне, и с ними еще и многие дру- гие, запели песню о том, каким прекрасным стал поднявшийся из ру- ин город, как далеко простираются его новые неоглядные улицы с новыми домами. И каждый куплет заканчивался:

И окоп свой солдату
Никак не сыскать.

Руководители города сошли с трибуны, за ними и мы все. Тор- жественная процессия с «Завещанием» двинулась под оркестр и щелканье фотоаппаратов к монументу в память Отечественной вой- ны. Опустили письмо в люк на постаменте, накрыли гранитной пли- той. На ней высечено:

«Вскрыть в 2068 году

Завещание

Потомкам-ржевителям

Дата закладки 3 марта 1968 г.»

День двадцатипятилетия освобождения города.

Медленно рассеивался народ. Площадь пустела.

Письма из моего архива...

«На вашу красную площадь нам был дан приказ ворваться ран- ним утром летнего месяца 1942 г. Это был получен приказ овладе- ния Ржевом. Комиссаром полка был капитан. Фамилию забыл. По национальности еврей. Он так довел приказ и был убежден, что го- род будет взят. Мы должны нашим танковым полком быть первыми.

Нас поддерживало в наступлении много других частей. Сбор всех машин полка на красной площади во Ржеве. Когда шла артподготовка, мы стояли на танках и смотрели, что делается в городе. Мы находились в 5—8 км от города на возвышенности, около деревни на Б. Или Бабушкино, или Бабино, забыл. Чтобы была карта, все вспомнил бы. Перед атакой два «мессера» летали над самыми башнями. Комиссар по радио подбадривает. Это последние немецкие вздохи за Ржев. Тут дан сигнал в бой. Комиссар дает команду на повышенных скоростях за мной на красную площадь во Ржев. Он первый, за ним мой танк. Не успели упасть последние снаряды артподготовки, как мы были на окраине города. Поступает команда не отставать, следовать за ним. Начали продвигаться к центру города. Двигались разными скоростями. Дорога была завалена кирпичом, охвачена пожарами. Поступает команда: мы молодцы, приказ выполнили, говорит по радио комиссар. Когда мы опомнились, нас прибыло только две машины. Начали связываться со штабом, не получилось. В танкошлемах множество разных команд, ничово нельзя разобрать. Я Сокол, Я Волга, Я Хмара, Я Сирень. Вас не слышно. Минут 7—8 постояли на вашей красной площади. Комиссар дает команду, возвращаемся к окраине города поднять пехоту. Когда были в городе, не видели живой души. А что представляла ваша красная площадь, так то описать трудно. Завалена грудами кирпичей, несколько сбитых снарядами деревьев и кусок железного забора возле скверика. У нескольких больших зданий уцелевшие только подвальные сооружения. Когда мы возвращались на окраину, тут происходил ужасный бой. 7—8 танков нашего полка горело в ложбине. Крупное соединение немцев с леса открыло ужасный огонь, отрезало пехоту от танков, танки подожгли. Пехота отошла, израсходовав боекомплект по немцам. Я с комиссаром с боем в душе возвращались на исходные позиции. Комиссар ехал впереди, я немного сзади правее. Пушки были направлены в сторону леса, хотя стрелять было нечем. Вдруг я заметил, что башня с комиссарова танка склонилась и танк окутан облаком дыма и пыли. Свой танк я развернул правее. И заметил, как Самоходная пушка немцев, сделав прямой выстрел, прячется в котлован. Я предупредил экипаж своего танка, что держитесь, иду на таран. Набираю максимальную скорость и направляю свою машину на Самоходку. Мне удалось заметить, что два человека расчета возились возле затвора, а офицер-немец стоял сзади и махал руками. Секунда и мой Т-34 накрыл пушку и расчет. Резкий толчок, я на другой стороне котлована. Когда я подъехал к комиссару, он и башенный стрелок были убиты. Машина могла двигаться самостоятельно. Где и кто хоронил героя комиссара, я не знаю. Ну где-то в этих местах. Героя комиссара нужно найти. Ржев должен комиссара знать.

По прибытии на исходный рубеж начали сколачивать ударную группу. И в 2—3 часа дня начался 2 штурм города. Пройдя небольшое расстояние, прошел большой ливень. Наша группа танков засела в болоте, группа легких танков залита полностью. 4 часа сидели в машинах по плечи в воде. Только перестал дождь, немецкие самолеты 17—18 штук начали бомбить. Когда были сброшены бомбы, вода ушла в воронки, я завел свою машину, начал движение назад, выскочил на более твердое место и при помощи тросов вытащил еще 3 танка... Прошу вспомнить танкистов моей части, погибших на Калининской, Ржевской и Великолукской земле:

1. Ст. лейтенант Рогозин Николай, командир танкового взвода. С Кавказа.

2. Докутько Николай, сержант, командир башни моего танка. Из Минска.

Должны быть живые:

1. Анохин Иван, командир танковой роты, капитан, уроженец с г. Орел.

2. Рябичкин Александр, радист моего танка Т-34.

3. Борисов Николай, ком. башни, сержант, с г. Новосибирск.

4. Новожилов Сергей с г. Вологда...

На етим кончаю воспоминания о боях на ржевской земле.

Остаюсь Кривошея Петр Тимофеевич, 1922 г. р. Воспитывался в детдоме. В данный период работаю старшим радиотехником Бышевского радиоузла, Фастовского р-на, Киевской обл. Имею 3 сына».

«Я хочу, чтобы мне поверили, что 153 стрелковая дивизия и наш истребительный противотанковый артдивизион, в котором я был до конца войны, которые сформированы на Ржевской земле и в основном из тех людей, что воевали за город Ржев, прошла большой, славный путь от г. Ржев аж до г. Кенигсберга у Восточной Пруссии, до Балтийского моря, и нигде больше я не видел такой территории земли, чтобы так была полита кровью, усеяна трупами людей, как Ржевская земля. Об этом нужно помнить, знать и никогда не забывать.

Дубина Иван Трофимович».

«В боях за освобождение Ржева погибли все командиры стрелковых рот и взводов. Тяжело были ранены командир 965 сп майор Ковердяев, комиссар полка батальонный комиссар Грушин.

Я дошел до Берлина, но равных боев, которые были под Ржевом, не было.

Майор запаса Поплавский, бывший помнач штаба 965-й сп».

«Дорогие товарищи, разрешите вас уведомить, что я гр-н участник отечественной войны советской армии, служил в стрелковой дивизии 274-й и был на передовой линии под городом Ржевом, стояли в обороне на бывшем старом аэродроме возле реки Волги и задерживали натиск врага и делали натиск на врага до 3 марта 1943 года. А в 8 час. пошли в наступление через реку Волгу освобождать Ржев.

...Миня интересует такой вопрос, проживают кто-нибудь из граждан, каких мы освободили из церкви в гор. Ржеве, то пусть не поставят в труд сообщить мне, как ихняя сложилась жизнь в дальнейшем после нашего их освобождения, по нижеследующему адресу: Калининская область, гор. Белый, ул. Коллективная, дом № 6, Иванову Василию Никитичу, дорогие товарищи жду с нетерпением ваши отзовы.

Сотоварищеским приветом я инвалид отечественной войны к вам: Иванов. 2. II. 1966 года».

4

Банкетные столы были составлены, как водится, буквой «П». И на главных местах — «отцы города», руководство обкома, генералы.

— За тех, кто мужественно сражался и пал на ржевской земле.

Мы выпили стоя, в тишине, и в какой раз за эти дни дрогнуло во мне, отозвалось горьким волнением.

— За воинов — освободителей города.

— Старинный верхневолжский город... Город, стоящий на перекрестке истории... — начал свой тост секретарь обкома. — Он долгое время был точкой приложения военных сил... Выпала честь защищать подступы к Москве... Ржевская исконно русская земля прославилась ратными и трудовыми подвигами... Ржев вернул славу крупного железнодорожного узла страны...

За ним поднимались другие. Напротив наискосок — Георгий Иванович Земсков. Глаза то прячутся за тугими скулами, то при малейшем

наклоне головы — открыты. И вижу — он-то весь бугрится, не прилаживается к громкому застолью. С ним рядом — Черновский, бывший председатель горисполкома. Треугольник лица, погашенного, иссиня-черного. А ведь еще недавно он выглядел по-другому. В прежние приезды в Ржев я заходила к нему в горисполком. Он слыл среди населения человеком, преданным городу. Ему верили. Но случилось — влюбился. Жена пожаловалась в обком. Его сняли, отозвали в Калинин, взыскали за «аморалку» и доверили лишь областное курортное управление. Ни любимого города, ни дела, ни той женщины. Разлученный, порушенный человек. Инфаркт. Он взял слово, поднявшись. Подрагивал бокал в руке.

— ...Были одинокие трубы буржоек, торчащие из земли. Вот что лишь было... Низкий поклон тем, кто, не щадя себя, в тяжелейших условиях поднимал из руин город...

И голос немного вибрировал, и, может, оттого смолкла брякотня ножами, вилками, слушали в тишине. Он закончил, неожиданно срываясь в восклицание:

— Да значит же что-то немалое Ржев для людей, если его именем называются! — И сед, не глянув в мою сторону, хотя меня он имел в виду.

Заиграл оркестр. Вышла из-за стола жена почетного гражданина города — для многих здесь он Ваня, Ванюша, коренной ржевитянин, и родня вся здесь. А он — Герой Советского Союза, генерал в штабе Ленинградского военного округа. Прибыл на праздник, бодрый, красивый, свой. Нарядная, броская женщина, она, раскинув руки, скользнула в танце на пустую середину зала, сколотые слегка на затылке волосы распались по спине. И она здесь своя, Тома. Когда-то сюда, на отбитое у врага пепелище, юный комбат свез к матери свою беременную подружку, санинструктора, и ушел воевать на запад. Прижилась.

Выходили танцевать пары, потанцуют и вернутся к столу. А она неумно, расточительно отдавалась собственному танцу, пластично, словно бы в дреме, а то вдруг порывисто и выделялась несообразностью солидного номера, красиво сидящим на ней костюмом, статностью и не усмиренным годами азартом гульбы.

Земскова уже не было на месте, я не заметила, как он поднялся, ушел. Оркестр играл, и все больше людей танцевало.

— А мы? — спросил мой сосед.

— Не, — я покачала головой.

Я вспомнила: Мазин писал, как в первую весну освобождения на танцплощадке среди развалин молодежь до упаду танцевала. Но то все другое, все другое.

— Так не будем танцевать? — Лицо у соседа твердое, ноздрястое, черные щетинистые брови в пол-лба. Ну цыган.

— Не будем.

От звуков вальса, круженья пар я сильнее чувствовала сдавленность в груди. Ржев — непроходящая боль. Не отвяжется.

Явились в зал пионеры в белых рубашках и кумачовых галстуках. Оркестр смолк. Тома рухнула на стул. Ребята под аккордеон исполнили настойчивым речитативом:

Именем жизни клянемся:
То, что отцы не достроили,
Достроим мы.
То, что отцы не допели,
Мы допоем.

Мой сосед усмехнулся, шевельнул щетинистыми бровями.

— Выходит, нам пора уступать? — спросила я.

И мы рассмеялись, освобождая места за столом пионерам.

Глава восьмая

1

«И окоп свой солдату никак не сыскать»...

Так оно и есть. Но только в пределах городских окраин. А дальше, где весной на опушках тихих роц заливаются соловьи и повсюду нежно цветут ландыши, где на замерших улицах спаленных войной деревень, безвозвратно погашенных вековых человеческих очагов, бойко налаживается тощий березняк, и на заброшенные поля, прежде ржаные, пшеничные, льняные и клеверные, наступает лес, и лиловеют острова вереска, и он кустится еще и по моховым здесь болотам, и густыми зарослями в сосновых борах, где на полянках у пеньков и под листочками иван-чая присыпано земляникой, и на холмах и на склонах частых здесь оврагов — везде незарубцевавшаяся земля. В этом завораживающем красотой мире того гляди ухнешь в заросшую кустарником траншею, то нарвешься на колючую проволоку или свалишься в воронку, оступишься в мелкий солдатский окопчик с выпроставшейся со дна молодой ольхой. Так что солдату тут свой окоп пока что еще сыскать можно. Поверх в траве — простреленные каски, осколки ржавого металла, мины, необезвреженные тоже. А копнет лопата, резанет плуг — покажутся кости убитых. На них — вся здешняя земля.

Юными паломниками на места нашей боевой славы предводительствует в Ржеве клуб туристов «Компас». К нему обращаются издалека то с просьбой разыскать могилу погибшего здесь на фронте отца, мужа, брата, то разузнать адрес пощаженного войной однополчанина. Председатель клуба, молодой энергичный паренек, и сам шлет во все концы любознательные запросы о том о сем, иной раз и докучливые.

«Здравствуйте, товарищ председатель Столяров! — отвечает ему Л. Берсенев из Харькова. — Письмо я Ваше получил, на которое сразу же даю ответ. Вы интересуетесь нашим ржевским партизанским отрядом... Отряд наш немцам делал большую неприятность, они за нами охотились, как кошка за мышем...

Дорогой тов. Столяров, мы песни тогда не пели, разговаривали вполголоса. Не было даже возможности побриться, потому что ни у кого не было бритвы. Мне тогда было еще 17 с половиной лет, но я был похож на старика. Вот наш тов. Громов, командир отряда, ругал нас за то, что нечем было бриться, говорит, немцы уже знали, если не брыт, значит партизан.

На этом заканчиваю. С большой просьбой разыскать Яковлева Василия Ник., с которым мы остались вдвоем со всего отряда живы.

Привет Вашему клубу и всем путешественникам».

2

Путешественники — юные туристы, следопыты, отыскивающие захоронения воинов, паломники по местам отшумевших боев, уйдут в походы, когда сойдет снег и земля подсохнет.

А сейчас все еще зимний день начала марта. В воздухе кружатся легкие снежинки. Из-за белесой пелены вырываются и стелются по небу длинные рыжие лучи. Дышится глубоко, полно. Мы с Земсковым отправляемся к неведомому здешним следопытам объекту. Промятой в снегу тропкой спускаемся по крутому склону к Волге. Вислоухая озабоченная собака с прижатым хвостом обогнала нас. Снизу навстречу тяжело поднималась пожилая женщина с багровым лицом, в теплом платке и плюшевом ватном жакете, несла на коромысле бельевые корзины со скрученным в жгуты, мокрым, подмерзшим бельем. Истая ржевлянка не посчитает белье выстиранным, без того чтоб не выполоскать его в Волге, а зимой так в проруби.

Георгий Иванович пригнулся, закатал одну и другую штанины. Мы

сошли с тропки, и он повел в обход больших сугробов, оступаясь в снег на ослабевшем насте. Я в сапогах за ним — в его след. Он остановился, обернувшись, попросил с натугой, чтоб обождала здесь, не шла дальше, — как бы не заплутал! Он был настойчив и растерян. Пошел вниз, неуклюже ковыляя, не выбирая, куда ступить понадежнее, топя ноги в снегу и с трудом выворачивая. Какое-то еще время он был виден, потом скрылся с глаз. Отыщется ли то, что так важно его памяти?

Было тут совсем безлюдно. Небойкий городской гул остался где-то наверху, над нами. Все еще кружило редкие снежинки, а молоденькие деревца, вставшие здесь по склону берега взамен старых, истребленных войной, пошатывало, и взмахами легких голых ветвей они, строя хивая снег, словно отбивались от порывов ветра, отстаивая себя.

Застряв на месте в невнятности ожидания, я вдруг почти что мистически ощутила, как перетекает время, то давнее в это нынешнее, а может, и наоборот. Но только единым потоком оно неукротимо устремляется к какому-то неизбежному итогу и ухнет в неразличимую косматость, что зовется то ли вечностью, то ли небытием. Этот внезапно наступающий удар, разверзший бездну, я испытала первый раз еще в юности и потом подвергалась его беспощадности, но только не на фронте, там реальность смерти разгоняла всякие фантазии на ее счет. И вот сейчас вдруг... Может, зря вызвалась пойти с Земсковым за его прошлыми. Очертить бы меловой круг, замкнуться в нем, не впускать ни духов воспоминания, ни лютую косматость без образа, без подобия чему бы то ни было. Быть. Ни в том, ни в этом, ни в неизбежном конечном времени, а только сейчас быть. В этот миг жизни.

Послышалось, Георгий Иванович звал меня. Он показался из-за сугроба, энергично поманил рукой, и меня вытолкнуло из оцепенения, я засуетилась, задвигалась и с готовностью пошла, пошла вниз по склону берега, ухая по край голенища в снег, вырываясь из наваждения.

Георгий Иванович дышал натужно, будто поднялся на гору, а не вниз спустился. Лицо его налилось бурым цветом от волнения. Я опять шла за ним, видела его круглую спину в темно-сером драповом пальто и побуревший загривок под низко насаженной на голову черной меховой шапкой и чувствовала — его сковало волнение. Привел. Из-под снега торчали на весу концы бревен, заваливших люк. Тут, у самой Волги, под обрывом, была взорванная водокачка, от нее под землей отходил туннель. В этом туннеле Земсков с товарищами, бежав из лагеря, скрылись семнадцать суток до прихода Красной Армии.

Георгий Иванович снял шапку, вытер скомканным платком вспотевший лоб, пересеченный рубцом от шапки, и снова надел ее. Хотел заговорить, но перехватило горло, махнул большой ладонью. Это потом, вспоминая, как, не надеясь уже найти, нашел этот заваленный спуск в туннель, как немного посбивал башмаком снег, как мы с ним стояли тут, скажет о себе: «Ведь при всей сдержанности пробили слезы».

Здесь был последний рубеж пережитого. И какой! Отодвинулось все: взорванный немецкий состав с боеприпасами, когда, работая на разгрузке под бомбежкой, подпольщики находчиво качнули по рельсам стоявший отдельно на путях загоревшийся вагон — и прямо на тот состав; и смертный приговор изменнику, выходявшему на передний край агитировать красноармейцев сдаваться в плен, суля райские условия лагеря; порезанная связь врага, война с немецкой лагерной охраной, с палачами; и советские листовки, тайно проносимые в лагерь, когда выходил за проволоку к больным; и поддержка духа у отчаявшихся, обессилевших; и каждодневная его упорная агитация среди пленных не идти во власовцы; и лечебная помощь им какая только возможна; и тайные заседания впятером в темной полуразвалившейся землянке при коптилке — подпольной группы, верных товарищей, готовых с ним бороться и умереть.

Все захлестнуло сейчас хлынувшим светом — Ефросинья Кузьминична Богданова!

Мы стояли у самой Волги. На протолоченных по белой зимней реке тропинках возникали черные движущиеся точки — пешеходы. Женщина везла на санках ребенка. На том берегу неподвижны лошадь, крестьянские сани, оставленные возчиком.

Я спросила:

— Какая она из себя?

Георгий Иванович светло, как двадцать пять лет назад, взглянул на меня.

— Вы о Ефросинье Кузьминичне? Очень обаятельная женщина, мать троих детей. И с прекрасной открытой душой.

Он все оглядывался, не смиряясь, что нет тут, над нами, над водокачкой, заветного домика, где жила семья Богдановых, ведь тогда-то уцелел он, а все же куда-то подевался, может, растащен. И с расстроенной волнением душой опять и опять вглядывался, не возникнет ли по волшебству тот домик среди обметанных снегом деревьев и кустов, и опять молча смотрел на Волгу и если заговаривал, то охотнее о чем-либо попутном, незначущем, подавляя волнение.

— Там (это в тогдашнем Ржеве) была одна старая-старая сивая лошаденка, чья уж она, кажется, главы города, она чуть идет, а все-таки лошадь, — говорил, заметив на том берегу лошадь, впряженную в сани. — Одна только во всем городе оставалась. Нечем кормить ее. Солому находили, а с соломы жить не будет. Я даже не знаю ее последствия, этой лошади.

А того, что сейчас накатило, взбудоражило, не касался. Но в другое время он мне рассказывал об этом, и я перескажу здесь, пока мы стоим молча и доносится в тишине перестук колес на железной дороге. Георгий Иванович греет руки в карманах пальто, никаких снежинок нет больше, в воздухе едва уловимо, а в небе отчетливее разлит сиреневый свет, какой бывает только в эти дни года.

3

Однажды на территорию лагеря удалось пройти какому-то гражданскому человеку. В городе не было врачей, и он добился разрешения обратиться за помощью к военнопленному доктору, страдая зубной болью. Удалить зуб было нечем, инструментов не было. Георгий Иванович обработал дупло, заложил болеутоляющее. Незнакомец поблагодарил, не спешил уходить, дождался, когда полицейский вышел из сарая, где был медпункт, стал спрашивать: «Как вы здесь?» «Как сами видите». Тот достал из кармана, протянул пачку махорки, сказал: постарается еще прийти. И чем-нибудь помочь. А если что на уме, располагайте, мол. Георгий Иванович разговаривал осмотрительно, упирал на нужду в медикаментах и что без инструментов плохо. И все.

Тот кратенько рассказал о себе, кто он есть, где живет и чем занимается. Он Богданов Илларион Игнатьевич, до войны был механиком на водокачке городской, там и живет, рядом с водокачкой. Теперь немцы заставили его обжигать древесный уголь.

Земсков отнес товарищам махорку — сам некурящий, — поделился таким нерядовым событием, но и смутным впечатлением от пришельца извне. Можно ли довериться, не прощупывает ли их, не опасен ли. А ведь как нужна была связь за пределами лагеря, в городе.

Через неделю Богданов снова пришел, добившись пропуска в лагерь и разрешения, чтобы врач на дому осмотрел его тяжело заболевшую дочку.

Сунули немца-конвоира — сопровождать. Пошли. Конвоир остался на улице, в дом, где больная, войти не решился. Немцы боялись тифа. Георгий Иванович прошел за Богдановым через сени в квартиру и тут увидел его жену — Ефросинью Кузьминичну.

Встречаются такие лица у русских женщин, что взглянешь — и весь без остатка доверишься. Такое лицо было у Ефросиньи Кузьминичны.

Девочка Богдановых, звали ее Лиза, тяжело болела воспалением легких, и Земсков навещал ее под конвоем. Дом был на краю города, около разрушенной водокачки, вот тут, под крутым берегом, у самой Волги.

С того первого дня как увидел Ефросинью Кузьминичну, «расположился доверием», началась дружба, поделился не таясь, начистоту. Богдановы стали помогать подпольщикам и чем могли съестным, и сведениями о положении на фронтах, передавали листовки, которые над городом сбрасывали советские самолеты.

Передали за проволоку листовку о разгроме немецких войск под Сталинградом.

— Мы пустили ее по верным рукам, содержание ее молниеносно стало известно всему лагерю. Нельзя себе представить, как радовались пленные, это было неопишное торжество, лагерь ожил как никогда. Полицейские чувствовали себя над пропастью, приготовленной самим себе, немцы взрывали все в городе. Мы понимали, что они уйдут, но ведь угонят лагерь. Необходимо бежать. Но где найти человека, который с риском для жизни согласился бы спрятать, приютить нас?..

Но в одно из посещений Богдановых Ефросинья Кузьминична сама сказала: «Мы говорили с мужем и решили: если вам нужно будет сделать побег, мы вас скроем».

Я спросил: «А если нас несколько человек придет?»

«Ну что ж, что-нибудь сделаем».

Искренность их была настолько велика, они готовы были разделить с нами все.

Уже стали вывозить пленных в неизвестном направлении. В землянку к нам пришел переводчик за мной и Михаилом Щекиным, фельдшером, моим первым помощником по подпольной работе, — вызывает комендант лагеря. Пришли мы в комендатуру, нас встретил немец-комендант, высокий и худой, приблизился к нам, как лиса к жертве, сказал переводчику несколько слов. Содержание сказанного мы поняли, но молчим. Переводчик передал, что освободительная русская армия нуждается в медицинских специалистах, вы как хирург ей очень нужны, вам и вашему фельдшеру надлежит немедленно написать заявление о добровольном вступлении в освободительную армию. Кончив, переводчик ждал ответа. Я понял все и отвечаю: «Я русский человек, к тому же пожилой (к этому времени я отпустил такую бороду, что мне можно было дать лет шестьдесят), воевать против русских, своих братьев, не буду». Комендант, выслушав перевод, взбесился, начал кричать. Переводчик обратился к Щекину, стоявшему позади меня. «Вот как старший ответил, я тоже так скажу, как он». Это дословно его ответ. И добавил: «Притом я чуть хожу после болезни». Это верно, Щекин чуть двигался после тифа, а вернее сказать — ходить не мог. Из комендатуры нас с угрозой выгнали. Нужно принимать меры к побегу. Но что делать с Михаилом Щекиным, он бежать не может, очень слаб, увязнет и не вылезет из снега, одежда плохая, замерзнет, вернее погибнет от холода.

Вечером этого же дня Георгия Ивановича вызвал полицейский Курганов. Это в тот раз он и спросил: «Когда ты убежишь?» И испугал своим вопросом: значит, просочилось к нему о подготавливаемом побеге. Положение казалось угрожающим.

Лагерь по углам и по территории охраняли немцы в белых тулупах.

Ночь оказалась хорошей, укрыла от глаз охраны. В одном месте разъединили проволоку. Земсков с товарищами ушли ночью, в пургу, когда трудно было что-нибудь впереди себя увидеть.

Ушли трое, двое остались. Остался Щекин, которого нельзя было

взять с собой. Он еще не оправился от тифа. Остался Миша Смирнов, он заявил, что возьмет на себя заботу о сохранении Щекина.

— Пришли мы к Богдановым. Илларион Игнатьевич укрыл нас во взорванной немцами водокачке, в туннеле главного отвода. Ефросинья Кузьминична выстирала наше белье. Кормили нас они раз в сутки. Принесут нам ночью, в метель, чтобы след замело, в ведре что-то горячее, чем сами располагали, опустят, мы были очень довольные. Туннель уходил в гору. Тут и главная канализационная труба и водонапорные трубы. Там в глубине мы были. Кое-какие продукты были заготовлены, но холод в туннеле страшный. Всякое рунье они нам дали. И земля в глубине какое-то тепло дает. Что делать — так на холоде и были.

Полиция и немцы разыскивали повсюду беглецов. К Богдановым был подослан служивший в немецкой комендатуре изменник и провокатор Алмазов, от которого страдал и содрогался весь город. Ничего не добившись, он привел немцев, и начался допрос. Даже маленькую девочку спрашивали: «А может, ты, девочка, видела этого дядю, что приходил лечить тебя?» Но и она ничего не сказала. Алмазов жил поблизости от Богдановых, он знал про это убежище под водокачкой, там семья Богдановых пряталась от бомбежки. И он после обыска в доме повел немцев на водокачку. Богдановы сказали, что водокачка минирована, и немцы не полезли.

— Жизнь в подземелье для нас и для Богдановых на поверхности была связана каждую минуту со смертью. Удивительно было мужество этих людей — пойти на это, рискуя не только своей жизнью, но и жизнью детей. Они знали, что им грозит расстрел. Видимо, такой силы была обида на захватчиков, что все силы, чтобы помочь, отдали. Они не могли думать о своей участи, видя такие муки всех. Я скажу, что, кроме кучки негодяев, весь народ наш стойкий. Это и дало победу. Ведь всегда поделаться последним, хоть детей полно — вы сами говорили, — а это большой пример.

Спустя три дня настигла беда. Немцы насильно угоняли население из Ржева. Объявлен приказ: кто останется в городе — расстрел. Илларион Игнатьевич Богданов — он спустился с тяжелой вестью по ступенькам вниз, в туннель, к нижнему люку, который выходил к Волге, — сказал: «Только что ушли полицейские. «Если вы с семьей не придете в такой-то час на площадь, расстреляем вас с семьей всей». Мы вынуждены уходить... Мы вам оставим что можем...»

— И мы остались в промерзшем туннеле в плачевном состоянии, или, вернее, обреченном.

4

На площади мужчин отделили от женщин и детей, погнали двумя группами.

Ефросинья Кузьминична только до леса дошла, успела сказать мужу: «Я вернусь, там люди погибнут». Он одобрил. «Я сбегу, вернусь. Ждите дома».

Ефросинья Кузьминична со старшим сыном Митей, тринадцати лет, везя на санках больную дочку шести лет и младшего мальчика, мужественно повернула назад к дому, шла на немецкие заслоны с одним паролем: «Киндер кранке!» («Дети больны!»). Пропустили. Но дальше в городе пробирались скрытно знакомыми дворами. Пришли к себе домой ночью, дала знать «узникам» — вернулась, они не оставлены. Ждала Иллариона Игнатьевича с часу на час. Но не дождалась — не вернулся. Одна с тремя детьми и с тремя беглецами в подземелье. Кругом белая пустыня, все занесено снегом. Высунуться на улицу страшно. Приказ: кого из жителей обнаружат в городе — расстрелять на месте. Ефросинья Кузьминична от всех этих переживаний совсем ослабела. Заботиться о пропитании всех пришлось старшему мальчику, подростку Мите.

От водокачки он пробирался траншеями до того места, где раньше был детсад, а дальше ползком к помойкам. Рылся в отбросах немецкой кухни. И однажды его схватил немец, офицер, подтащил к стенке, навел на него пистолет. Но в этот миг разорвался шрапнельный снаряд. Вскрикнув: «„Кагуша“!»—немец повалился на землю. «Катюши» навели панику на немцев. И хотя то не она ударила, Мите удалось скрыться, пока немец опомнился от испуга.

Как-то раз Митя долго отсутствовал, и встревоженная Ефросинья Кузьминична, заперев детей, навесив снаружи замок, пошла его искать. В ее отсутствие полицейский сбил замок, увидев детей, спросил: «Где matka?» Девочка ответила, что не знает. Полицейский предупредил шестилетнюю, что, если в следующий раз их застанет, перестреляет. «Так и скажи matke».

С того раза, когда она сказала военнопленному доктору, лечившему ее дочку: «Если вам будет нужно сделать побег, мы вас скроем», ее детей вместе с ней каждый миг подстерегала гибель. День тянулся бесконечно. Только нарастающий гул наступления наших войск пробуждал в душе надежду.

Ефросинья Кузьминична делилась с «узниками» последним и, когда ночью носила им ведро с болтушкой, выходила через окно по доскам, чтобы не остался след. Митя стоял на страже.

А немцы усилили поиски сбежавших военнопленных. Опять подключился Алмазов, немецкая ищейка; он выслеживал, предавал. На нем кровь многих ржевлян. Это тот самый Алмазов, я его потом видела, после освобождения города, задержанного, в доме бургомистра в те минуты, когда его узнал брат.

Явившись снова к Ефросинье Кузьминичне, приступил: «Слышала, что из лагеря пленных сбежал тот врач, что лечил вашу дочку? Это хорошо. А то у меня от партизан есть задание доставить им этого врача, они очень нуждаются, много раненых. Как найти его? Может, знаете, где он?» «Пошел ты к черту со своим доктором!» «Может, он придет к вам, ведь вы не заплатили ему за лечение, а он теперь нуждается...»

Ефросинья Кузьминична на хитрость этого предателя ответила, что знать не знает, не до этих беглецов, да еще какая может быть плата, заплатить нечем, в семье горе, угнали от детей отца, кормить их нечем.

Алмазов на этом не успокоился, подсылал свою дочку выведать у Лизы, дочки Ефросиньи Кузьминичны. Маленькая Лиза ничего той не сказала.

— Вот в какой опасности находились они. Можно ли забыть своих спасителей! Преданность этих людей настолько велика, что они взяли на себя ответственность укрыть у себя сбежавших пленных, не испугались, для них всякие угрозы и смерть не страшны. Такие это люди.

Такой он, Земсков, человек. Крепкой, неразменной жизни. В самых пагубных для жизни обстоятельствах он выпрямлял людей, заражал силой духа. Существовая под игом насилия, встретившись с Земсковым, так и е люди обретали страсть к добру.

И стоя с ним на берегу у люка разрушенной водокачки, я снова чувствовала пафос жизни, нераспад ее и верность, без них нет для меня ни полноты жизни, ни смысла, ни поэзии.

«Здравствуйте, уважаемый Георгий Иванович! Я вполне уверен в том, что Вы не знаете, от кого получили письмо. Наверяд ли вспомнишь мальчишку, которому в 1943 г. было каких-нибудь 13 лет, а с тех пор прошло уже 12 лет. Однако я каждый год, отмечая 3-е марта, вспоминаю Вас. Так и должно быть: хороших людей всегда вспоми-

нают добрым словом. Когда-то Вы оставили нашей семье свой адрес, который затерялся. Я помнил, что до войны Вы жили в Ташкенте, и поэтому решил разыскать Вас, узнав через адресный стол адрес. Знаете, меня очень интересует судьба людей, которых я встречал в те суровые дни и которым оказывал скромную помощь в борьбе с врагом. Да, я пишу, а возможно, Вы еще не вспомнили, где и когда это было. Это было в г. Ржеве. На берегу Волги стоял домик. Думаю, все стало ясно. Знаете, Георгий Иванович, я до сих пор не знаю, как Вы попали к нам. Знаю только, что Вы спасли моей сестре жизнь, и очень благодарен Вам. Возможно, Вас немного интересует судьба нашей семьи».

Этот звонкий голос в письме принадлежит сыну Ефросиньи Кузьминичны Мите.

Георгий Иванович приложил немало труда, чтобы разыскать своих спасителей, но все было тщетно до получения этого письма.

Семья осталась надолго без отца, ничего о нем не зная. Когда Иллариона Игнатьевича угнали, он бежал, чтобы вернуться в Ржев, но был тяжело ранен. Его подобрала жителя и укрывали до прихода наших частей. Только через год он разыскал семью, и Ефросинья Кузьминична перебралась с детьми в Оршу, где Иллариона Игнатьевича оставили восстанавливать водоснабжение.

Неведомые герои, они поступали самоотреченно, не помышляя о признании. Вот и в письмах их сын Дмитрий спустя столько лет благодарит за спасенную сестру и ни слова об опасности, какой подвергалась семья Богдановых, спасая бежавших пленных.

«Я после школы поступил в военно-морское училище, которое должен в этом году окончить. Сестра окончила 10 классов, брат учится в 9-м, отец работает в водоснабжении, мать по хозяйству. Мать и отец тоже часто вспоминают Вас, Георгий Иванович! Я бы очень хотел, если это не затруднит Вас, чтобы Вы написали подробно о себе все, что сможете: куда Вы уехали от нас, ведь Вы же были ранены, когда вернулись домой, где работаете сейчас, напишите о своей семье».

Через несколько лет, отвечая на присланный из Ржева запрос, он писал:

«...И вот 2-е марта 1943 г. Весь вечер и ночь немцы отступали. Взорвали мост через Волгу. Сплошное море огня. Мы с матерью стояли на окне и смотрели на сполохи и зарево огня. «Может, уйдем в туннель, сынок?» — говорит мать, а я как старший принимаю решение остаться «наверху». К утру все стихло. Обычно мать топила печь, чтобы не было видно дыма, еще до рассвета, а я караулил, как бы кто не пришел. И вдруг я вижу — за окном промелькнули фигуры. Мелькнула мысль — видимо, в последний раз немцы пришли, а может, провокаторы, которые появлялись не однажды. Медленно открылась дверь. На меня уставилось дуло автомата. Жить осталось недолго. Медленно поднимаю голову и под маскхалатом вижу нашу родную красную звездочку. Кричу: «Мам, наши пришли!» Мать легла в постели (она видела, как под окном промелькнули фигуры, и поспешно легла, будто больная), а перед ней, как всегда, куча пузырьков с «лекарствами». Она хотела встать, но ноги подкосились. Как позже выяснилось, это были наши разведчики. Они сказали: «Ничего, мамаша, наши пришли», а «мамаше» было... 32 года. Действительно, выглядела она старухой. Когда ушли наши разведчики, мать говорит: «Смотри, не говори, кто у нас спрятан, а то, может, опять какие проходимцы».

Вышел на улицу, и надо же быть такому кощунству: на доме Алмазова висит красный флаг. С Ржева-1 через Волгу двинулись наши войска, остановился штаб, т. к. все в городе было минировано. Вылезли наши узники. Это незабываемая картина. Взрослые мужчины, по-

росшие щетиной, плачут и целуются с солдатами. После этого Георгий Ив. пошел с нач. штаба в город за какими-то документами, которые были им спрятаны, попали на мину, Георгий Ив. был ранен, лежал у нас. Наши войска продолжали наступление. В это время откуда-то появился Алмазов, он, конечно, не ожидал, что кто-то остался в живых. По старой полицейской привычке зашел в комнату и спросил: «А это кто у вас лежит?» Георгий Иванович ответил: «Алмазов, твое время окончилось». После этого Алмазов, говорили, исчез из города. Дальнейшая судьба Георгия Ивановича и остальных вам известна.. Много пережито, многое видено, но ничто не забыто. И может, многие помнят погибших, кто остался жив. Конечно, хотелось бы узнать о людях, в какой-то мере соприкасавшихся с ржевитами, находившимися между двух огней».

— Мертвый, казалось, город,— вспоминает Земсков.— Глухой. А душа человеческая теплится.

Я не видела Ефросинью Кузьминичну. А в архивном деле только ее слабый, неверный след. Упоминается она в связи с Алмазовым.

«Вопрос к Богдановой Ефросинье Кузьминичне:

Что Вам известно об Алмазове?

Ответ — Алмазов работал в городской комендатуре, но не знаю, кем там он являлся.

Алмазов пользовался у немцев большим авторитетом и с местным населением делал, что хотел. Он ходил на базар и отбирал там у населения продукты и вещи. Вместе с немцами производил аресты мирных жителей, выполнял их задания. Немцы за это ему щедро платили. Он имел скот, лошадь и много хлеба, постоянно был пьян, несколько раз показывал нам золотые часы, золотую цепочку с золотым крестом, имел он золотые монеты старой чеканки. Где он их брал, мне неизвестно. Он часто называл нас дураками и говорил, что он при германской власти живет хорошо, пьет водку и ест досыта хлеба. Будет советская власть, он тоже будет водку пить».

Протокольная запись? Всего-то? Это кто не знает, что на листочке том свело свет и тьму, величие и низость.

6

Ржев. Поезда из Москвы, Риги встречает плакат: «Слава освободителям Ржева!» Здесь неподалеку от путей на месте довоенных складов заготзерна была зона лагеря военнопленных площадью в квадратный километр. Сейчас здесь хлебоприемный пункт и будет мелькомбинат. Тощий, строгий, добросовестный начальник охраны Михаил Иванович водит меня по территории. Если тут были какие землянки пленных, давно завалились, поскольку деревьяшки все выбрали, сейчас следов их нет. Типовые склады заготзерна, довоенные — тесовые, крытые толем, их не осталось. Сейчас иные. Один вон похож, но под шифером. Из тех, кто помнит, как тут было, женщина — ржевская, воду сюда, в лагерь, возила. Ближайший спуск к Волге — возле Казанского кладбища — больше километра. Везет бочку воды, заберет одного пленного, пристроит к себе или к кому еще, переоденет. Возила, пока ее не заметили полицейские, схватили. Она выжила, она и сейчас где-то возле Итомлина, слышал Михаил Иванович. Когда рыли траншеи для кабеля здесь, наткнулись на кости, башмаки. Копать стали водоем для противопожарных целей — кости, кости...

Стоим молча. Я пришла сюда одна, без Земскова, он уехал — ему пора было на работу, на занятия в медицинское училище. Озираюсь в душевном оцепенении на этом трагическом, страшном клочке земли. Ничто не свидетельствует о том, что здесь было.

Деятельные гудки паровозов. Возгласы мальчишек, на коньках гоняющих клюшками шайбу. Скворечники на шестах и деревьях. Ве-

сельные деревянные домики. Жизнь. Но почему же в городе, где так чтут память о пережитом в войну, жизнь беспамятна к этой земле, вобравшей немислимые страдания тысяч погребенных здесь людей? Я вспомнила, как в своем проклинании умершего предателя и палача подпольщики в лагере — а вернее всего, сам Земсков — писали, что могила его «чертополохом и бурьяном зарастет». «Тебя, предатель ненавистный, народ не вспомнит, друзей у тебя нет». И с какой верой писались бесхитростные эти слова: «Мы погибам за Родину, общее дело, в братской могиле обретем мы уют. Народ найдет к нам дорогу, на могилу друзья придут, венок положат, цветы посадят, в книгу почета занесут».

А мы? Бог мой, ниobelиска, ницветка, ни вдоха скорби, ни долга. Ведь так душа нашей памяти чертополохом зарастет.

Мы чтим героев ратного подвига, а память о мучениках, жертвах порой бестрепетно отторгнута, сокрушая нравственность и благородство, обедняя отечественную историю.

Здесь в земле погребены верные сыновья отечества, непримиримые к врагу, избравшие мученическую смерть, не отступив, отвергнув избавление от мук ценой предательства, страдальцы и подвижники духа, жертвы фашистского злодейства.

7

Уже подходило к концу это повествование, когда писатель Вячеслав Кондратьев, зная, о чем я пишу, передал мне страницы рукописи, присланной ему незадолго до своей смерти бывшей разведчицей Анастасией Ивановной Кольцовой. В группе разведчиц она переходила линию фронта на нашем участке. Девушки были схвачены немцами и брошены в лагерь военнопленных в Ржеве.

Она пишет: «Когда меня вернули после тифа в основной лагерь, там уже был новый полицейский, Иван Курганов, я его хорошо запомнила, смуглый, похой на восточного уроженца, высокий, подтянутый, голос сильный. Вскоре он начал посещать наш барак и в основном подходил и задерживался в нашем углу, где мы, знавшие друг друга, держались отдельно.

Но разговор у нас не получался. Больше говорил Курганов. Рассказывал о положении на фронтах, о том, что вчера наши танки ворвались в город Ржев, но были отбиты. Больше всего удивляло то, что это была правда, которую подтверждали и подпольные листовки. Курганов сам иногда приносил нам листовки, принес однажды и газету «Правда». Нашу, советскую, настоящую «Правду»!

Вопрос вставал: кто же он, Курганов?

Слушая его, принимая от него листовки, старались показать полное безразличие ко всему этому, а когда он уходил, мы тайно от других с жадностью читали листовки, обсуждали и плакали. Плакали слезами радости и надежды. Позже он стал нам передавать и пищу, иногда это было полбуханки эрзац-хлеба, иногда это был котелок перловой или гороховой каши. Все это делилось между своими девчатами по горсточке. Чувствовалось, что Курганов окружил себя доверенными людьми. Другие женщины, арестованные по неизвестным нам причинам, косились на нас за связь с полицейским, но нас связывало с ним то главное, чего они не могли знать, — духовная поддержка через листовки и другие источники о положении на фронтах.

Кроме того, нам очень хотелось раскрыть его: кто же он, Курганов?

Приходил Курганов к нам всегда вечером, когда немцы из комендатуры уходили в город, там они жили. Однажды, уходя, он нам сказал:

«Ну, до свидания, девчата, пойду добровольцев лупить». Это так он называл «перебежчиков», для них был отдельный барак. «Вчера их бил».

Зато какая же злоба кипела у нас, когда приходилось видеть, как Курганов при встрече с комендантом лагеря фашистским майором, приветствуя его, вздрогнув и вытянувшись в струнку, выбрасывал вперед руку со словами «хайль Гитлер!».

Ну гад, предатель, думали мы.

И ненавидели его и искали пути больше узнать о нем.

Однажды, незадолго до эвакуации лагеря, Курганов нам сказал: «Завтра буду у своих, девчата». Мы начали просить его записать наши адреса и сообщить о нас, но он ответил, что о вас, девушки, будут знать где надо. Больше мы Курганова не видели, на завтра по лагерю прошел слух, что Курганов бежал, но схвачен фашистами и казнен».

А в конце рукописи такие строки:

«Иван Курганов, бывший полицай Ржевского концлагеря, после побега успешно вернулся в расположение наших войск, где продолжал нести службу.

В 1956 году умер вследствие перенесенных ранений».

Умер Курганов тремя годами раньше. Каким образом он «успешно» вернулся, я знаю. Но откуда известно разведчице о его дальнейшей судьбе?

Не спросишь. Ее нет в живых.

И. Васильев писал мне:

«Получил послужной список интересующего Вас человека. После лагеря он воевал, был тяжело ранен (1944 г.) и на фронт больше не вернулся. Значит, борьба в лагере ему была зачтена».

Что же за чл и ему? В чем заключалась его борьба, многого мы не знаем.

Из писем Ф. С. Мазина.

«На противоположном от деревни Ножкино берегу Волги, ближе к Ржеву, была здесь фронтовая зона, население отсюда было выселено из этих деревень, и там стояли целые поля нескошенной ржи, так вот жители Ржева, женщины, осенью 42 г. ходили туда и срезали со ржи колосья, приносили, обмолачивали дома, мололи муку. Несколько раз ходил с женщинами туда и я на этот сбор колосьев на поля около деревни Бурмусово. Если бы вот так взглянуть со стороны: фронтовая полоса, ржаное большое поле — что это за наступление, что это за странные люди в разноцветной одежде по всему полю? Около них проносятся со свистом и рвутся мины, взлетают фонтаны земли, люди перебегают, ложатся и опять встают. Но почему они не уходят с этого поля? Почему они никак не могут покинуть это поле?»

«Первое время в начале войны вот те немцы, которые тогда шли, были какие-то и ростом выше и сложением лучше, когда я впервые увидел немцев, создавалось впечатление, что как будто бы какое стадо гусей — в общем отборные. А потом уже не то совсем».

«Были немцы, которые, уезжая в Германию по ранению или еще почему, говорили гражданским, у которых они жили: «In Rußland ich noch werde nicht»²—«В Россию я больше не вернусь».

И тогда в Ржеве среди жителей была популярна такая поговорка: «Скоро все немцы: „Прощай, Русь, я к вам больше не вернусь“».

«Так вот, в конце ноября 42 г. в Ржеве начался голод, немцы из города никого не выпускали, на дорогах стояли патрули и воровали назад, кто пытался пройти в деревни и что-нибудь обменять на хлеб».

«Иногда вспоминаешь теперь, думаешь, какими гусями бросалось человечество, а после войны уже остается не то из мужского поколения. Какой-нибудь неважный мужчина, которому до войны цена 3 копейки, пользуясь положением, выходит за красивую женщину...».

² На ломаном немецком.

«Продолжаю описание о Ржеве. Эшелоны жителей отправляют на запад в обязательном порядке. В январе 43 г. с последним эшелонам поехали и мы. По одному нас выводили из церкви, где был сбор, около входа стоял немец полевой жандармерии с бляхой на груди, он доставал из ящика пакет с дустом, каждому высыпал его за воротник. В теплушках многие дети пообморозились. Довезли нас до города Слуцка в Белоруссии и там началась сортировка, кого куда.

С 17 лет, если не ранен, отправляли в Германию. Я был ранен в ногу и попал в городскую больницу. Остальных — женщин с детьми, стариков — в лагерь для беженцев (так нас там называли). За колючей проволокой.

В больнице в первые дни ко мне подошел главврач-хирург и говорит: у тебя есть кто еще там, в лагере? Я говорю: у нас там умерла на днях мать и остались двое детей, девочка около четырех лет и братишка 14 лет. Он тогда позвал одного рыжего мужика-возчика, дал ему пропуск и еще какую-то бумажку, и он поехал туда, в лагерь. В этот же день он их привез из лагеря и здоровых поместил рядом с моей койкой. Так и жили они со мной до тех пор, пока у меня зажила нога, а фамилия этому врачу была Мурашко. Звали его там — доктор Мурашко. В этой больнице лежало много детей из Ржева, обмороженных во время переезда в товарном эшелоне. Относились к нам в этой больнице белорусы очень хорошо. Большое спасибо медсестрам, врачам и санитаркам, которые очень много сделали, спасая жизни детей. Спасибо доктору Мурашко».

«В войну Вы, конечно, видели, как Ржев разбит, и вот с 43 года на эти камни стали приезжать из разных мест жители Ржева. Где они жили, было намного лучше и жизнь налаженнее. А приезжали на голые камни и груды развалин и начинали строить все сначала. Если Вы были тогда в Ржеве, в 43 г., то наш дом Вы наверняка видели на нашей улице, недалеко от Казанского кладбища, потому что вокруг него все дома пошибало, даже маленькие, а он такой большой остался цел, лишь кое-где у карнизов поободрало тогда обшивку да на крыше порвало железные листы, а вокруг дома все изрыто тяжелыми снарядами и авиабомбами».

«Сестренку 4-летнюю мы не оставили в Белоруссии просившим женщинам, привезли в Ржев — родственникам. А когда отец вернулся с войны, он женился и взял ее на воспитание.

В войну был случай, когда она босиком, в легоньком платьице играла во дворе, рядом разорвался тяжелый фугасный снаряд. Я думал, что ее контузило и она вырастет какой-нибудь душой. Но она выучилась и вот уже несколько лет работает эпидемиологом городской санэпидемстанции. Она третий раз замужем. Вот как бывает.

Я ее не осуждаю, пусть живет, как ей хочется, потому что в войну она осталась жива случайно, и я как вспоминаю, как я ее видел тогда летом в Ржеве стоящую на ногах в беленьком платьице и ужасно плачущую на фоне густого, черного, намного выше деревьев столба разорвавшегося снаряда и оседающих больших комьев земли, то, может быть, она в чем бывает виновата в своей семейной жизни, то, вспоминая это, какой кружащийся ад она перенесла в Ржеве, всякие осуждения ее с моей стороны отпадают. Пусть живет, как ей хочется.

Пока все».

Глава девятая

1

Сейчас я ненадолго перемещусь из Ржева на запад... Город Коломыя. Вертикаль старой ратуши. Могучие каштаны. Истертый торец мостовой. Архитектурные пласты: дома австрийских времен с башенками, террасами, переходами, с балконом по всему периметру

стен, стянутых с тыла угловым выступом, обращенным во внутренний двор; рациональных форм особняки — этот пласт более поздний, когда были под Польщиной, как говорят здесь; и новый пласт — коломыйские Черемушки.

Этот город — историческая столица Гуцульщины. Через год после освобождения Ржева, 23 марта 1944 года, Москва салютовала в честь освобождения Коломыи. Об этом памятная доска на доме горисполкома возле площади Героев. Памятник павшим в боях за Коломыю. Вечный огонь в память о безымянном солдате. В сквере ребячьи играют в салки, оступаясь в чашу, где бьет огонь. Молчаливый парнишка подбрасывает наломанные веточки, как в костер, — хоть и вечный, но и вечно притягательный огонь.

За сквером — Советская улица. Здесь в четырехквартирном доме под номером 17 живет человек, ради встречи с которым я приехала сюда, в Коломыю.

Георгий Иванович вступал в освобожденную Коломыю с войсками — так далеко он ушел за год от Ржева на запад. А потом и еще дальше. А вот окончательно осел здесь, вернувшись.

Почему же? Ведь коренной волжанин, родом из-под Самары. Оказывается, в здешних местах он пятнадцатилетним парнишкой прошел путь с бригадой Котовского.

— Я не ахти какой был вояка — молодой. Однако привыкал. Рвался к новой жизни. Отлучился из родного села, подался в добровольцы. Как только я первый раз увидел Котовского, я жил одухотворенный его видом, был сильный человек, бесстрашный, трудолюбивый. Когда он спал, я не знаю, он всегда первый появлялся. Вся бригада находилась под его волей, геройством... Командир Второго полка нашего Макаренко, он был убит, и другие командиры — все эти люди были примером нам.

Мы сидим за столом, покрытым гуцульской домотканой скатертью, в скромно обставленной комнате, то одни, то в присутствии красавицы дочери и крупной, под стать Земскову жены. Она помоложе его. В домашнем байковом платье с оголенными выше локтя белыми, мягкими руками. Нехотя присматривается ко мне, желая что-то понять, что не податливо ей, и оттого насуплена. И может, связь Георгия Ивановича с прошлым, уводящая его от семьи, ей не по нраву.

Мы не виделись с Георгием Ивановичем два года, после юбилея во Ржеве. Мне показалось, он похудел, скулы немного опали, не заслоняли глаз. Ему уже за шестьдесят, но он крепок, и волосы с годами все темнее, не побиты сединой.

Он звал в письмах приехать, а вот приехала — и разговориться что-то мешает нам. Георгий Иванович какой-то стиснутый. Может, давит семья, похоже, нелегкая. Каждодневный укор жены откровенно витает в комнате. Мог ведь в Коломые устроиться в бытовом отношении куда как лучше, а пренебрег. Осев здесь, впустил в эту квартиру жить посторонних людей, оставил для вызванной сюда семьи только две смежные комнаты и общую с чужими кухню.

Ну, значит, и любовь и дрязги — все как у каждого. А он — не каждый и не на все времена, на эпические, что вывывают из недр народной жизни эпические характеры. В повседневности, когда не востребованы ни самоотдача, ни глубинная энергия духа, его крупная натура пригнетена.

После гражданской надо было бы пойти учиться, считает он, а прислушался к чьему-то совету — вернулся в село. Затянуло, как он говорит, крестьянство. И лишь в зрелые годы понемногу стал учиться. Сначала на фельдшера. Со временем — уже основательно было за тридцать — окончил институт в Ташкенте. Хирург. Остался в Ташкенте работать. В Москве проходил специализацию при Институте Склифосовского, а тут как раз — война. По путевке военкомата отправился на фронт.

Вот мы и снова приблизились к Ржеву. И тут вскоре я пойму, почему Георгию Ивановичу не по себе, чем омрачен, подавлен он. Начал он вроде бы издалека:

— А ведь даже когда вы живете среди немцев, и то есть люди. Нельзя считать, что они поголовно изверги. Сидим мы раз в лагерной землянке, к нам повар присоединился. Пришел немец — парнишка лет девятнадцать. Повар был озлобленный на немцев, ему кулак показывает: «Если б ты мне на нашей стороне попался, я б тебя задом на печку — изжарил». А тот смеется. Может, он и не все понимал. «Ты так не демонстрируй», — говорим мы повару.

А дело вот в ком. В Канукове. Писаре. Его жену, тяжело при бомбежке раненную — разбило челюсть, — Земсков лечил.

— Он говорил мне, что выхода у него не было, пошел в писаря, чтобы не угнали — жена ранена, ее нельзя стронуть с места. Не посчитаются. Одно из двух: или угонят, или иди в писаря. И что никто в Ржеве не может сказать, чтобы он, Кануков, что-либо плохое сделал. Это так.

И вот тогда, в доме бургомистра, попросив у меня листок бумаги, Земсков посчитал своим долгом написать о Канукове. Сейчас он протянул мне копию с того листка, снятую им в ржевском архиве:

«Мы имели связь с писарем городской управы Кануковым Михаилом Васильевичем, через него мы приобрели рожь, готовым к побегу. Он нам сообщал о постепенном отходе немцев из Ржева, сообщил размещение батареи. Одна на Тверской ул., одна около маслозавода, одна... Было поручено одному из членов группы со всеми собранными нами для Красной Армии данными перейти линию фронта. Но его побег не удался.

Был такой случай, когда арестовали немцы механика лесопильного завода Волиневича Константина Максимовича за диверсионно-вредительскую деятельность. Волиневич был бы казнен, его выручил Кануков. Об этом случае мне рассказал сам Волиневич.

Кануков помогал людям скрыться, когда угоняли в Германию, — вычеркивал их фамилии из списка.

Кануков предлагал нам укрытие, он потом приходил к Богданову, когда мы были в туннеле, приносил продукты и одежду. Нам сообщал последние сведения».

Сошлось ли это свидетельство с судьбой Канукова? Неизвестно. А за Земсковым потянулось.

— «Как это вы осмелились с этим писарем!» Кое-кто хорохорился. Слепая осмотрительность. Когда вы в таком положении очутились, достаточно самого последнего кляузника — и все откликаются. А под защиту взять — это редкость. Нужно не просмотреть врага, но и не делать врага. Уж мне, что ли, не знать о предателях, полицаях, негодниках. Но коснулось, так ты сумей отличить одного от другого.

И потом, уже после войны, как начнут вникать, как да что было, уткнутся в тот исписанный Земсковым листок, где о Канукове, и опять: как это вы доверились писарю?

Недавно Калашников напечатал в ржевской газете статью о подпольной группе Земскова. Не умея представить себе тех условий, свисока своей ничем не омраченной биографии с газетно-репортерским навыком легко поучает тех мучеников полуживых, как и что им следовало бы делать тогда.

Так ничего и не понял, ни в чем не разобрался. Вялая душа, а прыток. Демонизм нравственного невежества питает недоверие, пошлость — роковые черты, стирающие грань между добром и злом.

— Долгий был разговор. Говорю, говорю, а сам понимаю, не перескажешь всего, и так словно запутался.

Георгий Иванович смотрел на меня просто, доверчиво, с болью в серых глазах.

Земсков, когда звал в письмах приехать, сулил мне поездки в гуцульские селения и сейчас был доволен, что я побывала в горах.

В медицинском училище заканчивались каникулы, начнется новый семестр. Георгий Иванович готовит свой курс. Он отодвинул тетрадь, слушая мой рассказ о старом мастере в гуцульском селе Космач, выстроившем дома и клуб. Сказал мне:

— Это очень много дает человеку, когда его признают нужным. А если нет, он гибнет от окружающей тишины. От бесполезности людям.

Дочери Земсковых не было с нами, она приезжала на выходные дни и вернулась в Ивано-Франковск. Мы пообедали втроем. Я все еще была под впечатлением поездки и встречи со старым мастером. В торжественный день, когда работа закончена и мастер сдает хозяину готовый дом, он надевает джумыря — шапку из барашка. Эту самую шапку надевали в дни важных событий и дед и отец его. И сам он венчался в ней и внук его тоже. У гуцулов старинные обычаи, поверья насыщены, бытуют в самом течении жизни. Они поэтичны и, думаю, потому нравственны, человечны. А может, и сохранились потому же.

Жена Земскова пододвинула к себе пустые тарелки, составила их горкой, полный локоть ее сполз со стола, оперся о колено, она привалилась щекой к ладони, угрюмо вслушивалась. По-своему истолковав мои слова, заговорила:

— Когда я училась, слово «доброта» было что-то такое... вроде осудительное. «А ты добренькая»... А теперь вот по-другому...

Верно она подметила. Откуда только эти нынешние перемены, из воздуха, что ли. Такая стихия.

— Может, это после зла. Ведь какое-то равновесие должно быть. — И неумышленно я брякнула: — Как, впрочем, и в семейной жизни.

Она вдруг одобрительно, широко, всей грудью рассмеялась, поскрипывал золотой зуб, густо-карие глаза молодо заблестели. Подхватила горку посуды, понесла на кухню. Она еще возвращалась, собирала со стола, сметала крошки...

А мы опять вернулись к Ржеву.

Мне хотелось узнать о судьбе Михаила Щекина, молодого помощника Земскова.

Он, не оправившийся от сыпного тифа, не мог передвигаться, бежать вместе с товарищами и прятаться в туннеле. Вынужден был оставаться в лагере. Взять на себя заботу о нем вызвался пятый член подпольной группы — Михаил Смирнов. В последнем протоколе подпольной группы есть лаконичная запись: «Больного 103 (конспиративный номер Щекина) передать под контроль 112» (конспиративный номер Смирнова). Этими словами готовность Смирнова позаботиться о товарище закреплялась как партийное поручение.

Что же дальше было с обоими?

Георгий Иванович положил передо мной на стол письма Щекина.

«Георгий Иванович, здравствуйте! Смутно представляю последний день, в который я вас видел, но зато хорошо помню слова, которые говорились нами друг другу в эти тревожные дни, быть может, в последний раз...

Как получилось, что я, больной, голодный, истощенный до невозможности, ежедневно битый прикладами и палками, понукаемый и называемый только русской свиньей, остался жив, пройдя тяжелый путь военнопленного солдата от Ржева до французских границ и обратно...»

«Каждую минуту со мной могли расправиться как с сыпнотифозным больным, пулю в лоб, и порядок.

Под страхом смерти я был в товарном вагоне с температурой, голодный, обессиленный, но под надежной защитой своего товарища Михаила. Наш общий товарищ облегчал мои страдания, доставлял мне горячего кипятку на станциях, согревал мое холодное, остывающее тело. Несколько дней он находился в госпитале военнопленных около меня, притворяясь больным, но потом был переведен в Смоленский лагерь...»

Остановлюсь здесь, чтобы запомнить достоинство верности и братства в группе Земскова. Но какой же он, Михаил Смирнов, как хотелось бы взглянуть на этого человека.

Щекин ответил мне: «Он никогда не терял присутствия духа. Опишу его внешность: среднего роста, круглолицый, при разговоре на лице улыбка, взгляд сосредоточенный, изучающий, слегка вприщур. Волосы светлые, голос мягкий. Лет ему тогда было около 30. Вспоминал о семье, о работе. Если не ошибаюсь, кончил он Калининский пединститут. У меня еще теплится надежда разыскать когда-нибудь его».

Разыщется ли? Это зло — камнем под ноги. Добро не лихо: бродит ó мир тихо.

«Все, что у нас зародилось во Ржеве, я стремился в дальнейшем развивать и выполнять свою клятву, данную в темной, полуразвалившейся землянке, под коптилкой, в присутствии своих верных друзей. Эту клятву и ваше, Георгий Иванович, доверие ко мне я помнил везде и всегда».

После войны Щекин окончил медицинский институт, вернулся в родной город Щигры.

Он писал и в Ржев и мне, вспоминая:

«Находясь в разрушенной землянке впятером, мы долгий период времени боялись поделиться своими мыслями, ожидая предательства.

Были мы в очень подавленном состоянии. Уже до Ржевского лагеря каждый из нас пережил много. Я был взят в плен в окружении в районе Нелидово 5 июля 1942 г. Раненые, избитые, полураздетые и без капли воды — шли в окружении фашистов. Шаг в сторону — смерть. Кто обессилен, стал отставать — пуля. Иногда немцы «забавлялись»: выстраивали несколько человек в затылок друг другу и стреляли, определяя пробойную силу пули.

Но однажды вечером голодные мы все сидели в томительном молчании и каждый был погружен в свои мысли. В лагере — штабеля трупов военнопленных, по которым ползали ожиревшие крысы, и мы, полуживые, думали о том, что и наш черед очень близок, что час приближается, только дана почему-то временная отсрочка, которая вот-вот кончится. И вот в такой вечер выступил вперед Георгий Иванович и сказал: «Мы живем вместе, мы русские, следовательно, наша основная цель — это продолжение борьбы даже здесь, в фашистских застенках. Я член партии. Если есть среди нас еще кто член партии, то прошу сказать об этом». Нашелся среди нас еще один член партии, Михаил Смирнов, до войны преподаватель истории, по национальности считал себя финном. Это он впоследствии спас меня, сопровождая. Я был комсомолец, Михаил Соломондин, москвич, рабочий, беспартийный. И также беспартийный Емполов Василий, колхозник из Челябинской области. Он был человек громадной физической силы. В плен попал в безнадежном состоянии. Был ранен осколком в живот и все-таки нашел в себе силы, вобрал внутренности, перевязал себя полотенцем. Рана начала гноиться, и врач Земсков в труднейших лагерных условиях решил сделать операцию. Операция прошла успешно.

И вот в тот вечер, когда к нам обратился Георгий Иванович, молчание было нарушено. Лед тронулся».

В человеке при всех обстоятельствах остается человеческое, лишен этого только негодяй. И стоя на том, Земсков отринул страх предательства и расплаты, призвал смятенных, растоптанных, искаженных пленом людей. И не лидерством, а всем составом своей нравственной природы воздействовал на людей. Не только на объединившихся вокруг него товарищей, но и на других пленных, тех, кому оказывал медицинскую помощь, кого убеждал не поддаваться немцам, не идти во врасовцы, и на «вольных», кто, случалось, соприкасался с ним, как несчастный Кануков, оказавшийся в писарях.

И вот — Богдановы. Под игом насилия яростнее тяга и отважнее готовность к добру. Но как возвышенна притом естественность их самоотдачи. Она — свет над горестной той землей.

Новь злосчастья истерзанного войной Ржева. Все накопленное войной по ту сторону фронта. В упор — досель невиданные обстоятельства и люди, испытавшие их — то, чего не испытали мы. Новая личина и новая суть. Нужен труд души и ума, чтобы постичь, осилить эту кромешную новь.

3

Земсков укоренился в Коломые, здесь вырастил двух дочек, стал дедом. Но сидим ли мы у него дома или он провожает меня в гостиницу по площади Героев, мимо вечного огня и по улицам, которым исторические напластования придают своеобразие, живость, тепло, направляемся ли в ратушу, где теперь медучилище и шестистам студентам-гуцулам Георгий Иванович преподает хирургию, — всюду память относит его в далекий Ржев. Там главный ступок всей прожитой жизни — страдания, борьбы и братства.

В Коломые Георгий Иванович однажды сказал мне:

— Ваш приезд — это незабываемые для меня дни. Вы продлили мою жизнь. Я снова чувствую себя героем.

Эти слова я с благодарностью судьбе, с волнением ношу с тех пор в себе. Больше мы не виделись, только время от времени писали друг другу, сначала чаще, потом реже — слали новогодние пожелания, поздравления с днем Победы. И так было до известия о его кончине прошлой весной.

В новом музее Ржева на видном месте — большой портрет Земскова, на широкой груди три боевых ордена, рядом юное, чистое, милое лицо красноармейца Михаила Щекина — таким он был до плена. И сообщение из газет о награждении за боевые заслуги орденом Красной Звезды участника сопротивления в фашистском концлагере.

Фотографии, оставленные музеем Калашниковым, не демонстрируются. Да ведь и не с чего.

4

Я заканчиваю. Пока все, как сказал бы Мазин. Я писала, надеясь освободиться от Ржева, избыть боль, распрощаться.

Прощай, Ржев — перекресток войны, перекресток истории, перекресток стратегически важных железных дорог. И людских судеб.

Из писем Ф. С. Мазина.

«Недавно дядя прислал мне письмо из Ржева и пишет, что ржевским беженцам теперь в Белоруссии, в Слуцке, сделана на том месте, где они лежат, братская могила. Это там, где был лагерь в войну, в 43 г. Там в лагере ржевских умерших складывали в воронку еще от

немецкой бомбы в первые дни войны. Вот на том месте теперь сделана братская могила. Там наша мать, ей было 37 лет».

«Незадолго до отступления наших войск из Ржева в 41 г. мы с мальчишками проходили по краю старообрядческого кладбища и видим, что наши военные хоронят своих солдат. Они торопились и не везде даже управлялись ставить дощечки с надписями, кто похоронен».

«Сообщаю Вам, что тот дом у нас в Ржеве, про который я Вам тогда писал, что он уцелел в войну, так вот этот дом недавно сгорел, и вот по какой причине.

Я Вам тогда писал про маленькую сестренку. Так вот, когда она выросла, я писал, что она была 3 раза замужем, а с третьим мужем живет вот уже сколько лет. Так вот этот третий муж у нее оказался порядочным пьяницей, она была на дежурстве на станции, не то в вечернюю, не то в дневную смену, и взяла с собой ребенка, а где там оставляет его, я не знаю, а он пришел со смены пьяным и или бросил окурков на половики, или оставил керосинку непогашенной, он и сам точно не помнит, только проснулся он, а все уже в огне.

Вот так мне сперва все описали родственники. Но сестренкин муж убивался, доказывал и даже плакал, что он был не пьяный и окурка не бросал, что он не виноват, и родственники с него вину сняли, засчитали, что пожар произошел по неизвестной причине. Ржев не Москва — слезам поверил».

«Высылаю из газеты заметку:

«Голубиный город» — так именовался в прошлом Ржев. Каких красавцев в городе выводили! Составляли они гордость русского голубеводства. Гитлеровцы разрушили Ржев, не пощадил и птиц. Существовал приказ, грозивший смертью тому, кто укрывал пернатых» («Правда»).

«Когда летом мне бывает возможность взять отпуск и ехать в Ржев, я стараюсь приехать в такой солнечный день под воскресенье рано утром. Хорошо в такой день подвезжать к Ржеву. Над городом в безоблачном небе теперь, как и до войны, кружатся стаи голубей — белых — высоко в небе, по-ржевски. И в такое утро передо мной встают два Ржева, два ржевских неба — военное, хмурое, с гарью пожарниц и мирное небо со стаями белоснежных голубей, то в такое утро хочется сказать:

*Пусть всегда будет небо
над Ржевом такое,
и голубиное и голубое».*

«Ну, вот, кажется, и все. Чем мог в материале о Ржеве, тем я Вам помог, это был мой долг как бывшего жителя своего любимого города, впрочем, 7 мая я уезжаю в Ржев на день Победы...»

А я уезжаю завтра на юбилей. Сорокалетие освобождения города. Значит — снова Ржев!



НАБАТ



БОРИС ОЛЕЙНИК

Встань и — гряди!

Волоком тянет хмары
В наши поля и степи...
Землю страшат пожары
Ярче сверхзвезд на небе.

С профилем адской птахи
Снова беда стальная
Тянется, сея страхи,
Межи границ сметая.

Тень ее все длиннее,
Смерть в сатанинском жесте...
Замерла тишь над нею,
Как на рассвете... в Бресте.

Покуда роса не застыла настом холодным,
Покуда слеза не сгорела в огне водородном —
Свой миг не проспй, крылато расправь свои плечи,
Солнцем в степи встань и — гряди, Человече!
Страх растопчи в мудрой своей отваге.
Из ножен — мечи, крещенные на рейхстаге!
Мир заслони от сатаны с Гудзона!
Встаньте, сыны! Бейте в набат стозвонный!

Наше дитя — планета
Спит в синеве, как в люльке.
Мир наш в эпоху ракеты
Стал меньше зернышка, люди!

Страх за спиною дышит,
Рви его злые сети!
Есть Человек — и выше
Нет никого на свете!

Мама, не плачьте, мама!
Встали мы — жарче магмы!
Правда сама — за нами,
Предков могилы — с нами!

Бог не спасет, конечно,
Мир от беды кромешной —
Ты, только ты, Человече,
Трижды святой и грешный!

Покуда земля не пропала в свинцовой метели,
 Покуда дитя не уснуло навек в колыбели —
 Свой миг не проспй, крылато расправь свои плечи,
 Солнцем в степи встань и гряди, Человече!
 Страх растопчи шагом миллионноратным.
 Из ножен — мечи, крещенные в сорок пятом!
 Жизни побег прикрой от гибели грудью!
 Встань, Человек! Встаньте за жизнь свою, люди!

Перевел с украинского ЛЕВ СМИРНОВ.

ДЖУБАН МУЛДАГАЛИЕВ

Красная книга

Нами Красная книга должна быть воспета:
 Зной и стужа врываются в нас что ни миг.
 Да к тому ж
 Будь хоть по сто сердец у поэтов,
 Все природе мы — связкою! — отдали б их.

Мы, поэты, на то не жалеем усилий,
 Чтобы жизнь на планете не знала границ.
 И чтоб в Красную книгу людей не вносили
 Никогда, как зверей, или рыб, или птиц.

Что ж, понятны народу поэты народа:
 У таланта с дерзаннями родственность есть.
 Человек — лишь ему даровала природа
 В этом мире и разум, и совесть, и честь.

Знаю, крови людской помогали пролиться
 И стрела, и горячий свинец, и клинок.
 Но в отличие от рыбы, и зверя, и птицы
 Человек до сих пор сохранять себя мог.

Человек — не его ли величество строго
 От вражды и коварства беречь мы должны?
 Так беречь, чтоб до самого крайнего срока
 Волосок его малый не знал седины.

Ничего и нигде нет Земли этой краше.
 Так давайте, чтоб стала бессмертной она,
 В нашу Красную книгу — в поэзию нашу
 Впишем самых достойных людей имена!

Юность моя

Куда вы мчите, годы, без возврата?
 Не прежний я на нынешней черте...
 Расспрашивает внук, стоящий рядом,
 Меня о давнем: как, когда и где?

А вправду, где же юности приметы?
 Как и когда их затерялся след?
 Сто с лишним лет
 Живу я в мире этом,
 Коль год войны считать за десять лет.

Твержу себе: в болота те взглядишь ты,
Где фронт Северо-Западный гремел,
В подлески Белоруссии и Ниссы,
В сады, что Одер нынешний надел.

Не скрылась юность —
Я рассеял юность,
Развеял в мире, словно горсть зерна.
И где хоть раз она земли коснулась,
Навек взошли свобода и весна.

Пора была мне с юностью проститься,
Хоть и тянулся я к ее огню.
Всему свой срок.
Но юности частицу
Я песни ради все еще храню.

Я всем доволен в жизни.
И не надо
За прошлое корить и в малом нас:
Мы щедро юность тратили когда-то —
Она в других продолжена сейчас.

Перевел с казахского ВЛ. САВЕЛЬЕВ.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВ

Жизнью я вознагражден

Да, я, конечно, постарел
с тех пор, как в сорок пятом, в марте,
сидел на кончиках тех стрел,
что на штабной столкнулись карте.
Но стал седым с тех самых пор,
когда на тихом полустанке
расстреливали мы в упор
и нас расстреливали танки.
Их было столько, что не счесть.
Трем нашим пушкам и солдатам
результативный счет три—шесть
не стал победным результатом.
В районе Гданьского шоссе,
в речной излучине на Висле
до одного солдаты все
стояли насмерть в полном смысле.
Над полем боя стлался дым,
когда солдат похоронили.
Тогда-то я и стал седым
в солдатской, в братской их могиле.
Хоть чудом я остался жив,
на представлении к награде
«Погиб героем. Сдать в архив» —
видна рука штабного дяди.
Прочтя фамилию свою
на светлой грани обелиска,
я понял вновь, как в том бою,
юнец, я был от смерти близко,
что жизнью я вознагражден,
что писарь не был виноватым,
когда меня причислил он

к героически павшим тем солдатам.
 Мне только кажется порой,
 что жизнь прожить мог на пять с плюсом,
 что мог погибнуть как герой.
 Не умереть бы жалким трусом.

В один момент, в единый миг

Команда: «Натянуть шнуры!»
 Перед тобой окопа бровка.
 И тишина. До той поры,
 когда рванет артподготовка.

И до сих пор я не постиг,
 как промелькнет в момент до боя,
 в один момент, в единый миг
 вся жизнь твоя перед тобою.
 И мать с отцом, и отчий дом,
 и лес, и золото пшеницы,
 и куст ракиты над прудом,
 и взгляд одной соученицы.
 Перрон, дымящий паровоз,
 ты с видом старого вояки
 смог успокоить мать от слез,
 а тут слеза в глазах собаки,
 о чем не мог поведать вслух,
 еще и веря и не веря,
 что интуиция, как нюх,
 как слух, обострена у зверя.
 Так мысли лезут на рожон,
 как пчелы в свой гудящий улей,
 когда не знаешь, что сражен
 ты наповал смертельной пулей.
 И в тот момент, в единый миг,
 как и в единый миг до боя,
 перед тобой твой дом возник,
 вся жизнь твоя перед тобою.
 Вокзал, шипящий паровоз,
 в глазах рябит от цвета хаки,
 и, кроме материнских слез,
 слеза в глазах твоей собаки.
 Об этом ты забыл давно,
 но вдруг сегодня ранней ранью
 ему исполниться дано,
 судьбы такому предсказанью.
 Прости-прощай и отчий дом,
 и деревце среди пшеницы,
 и различаемый с трудом
 размытый лик соученицы.
 И ты, уже не ученик,
 перед тобой окопа бровка,
 успел подумать в этот миг,
 о чем и думать-то неловко.
 Себя, я выдам твой секрет,
 и пожалеть была причина,
 что даже в девятнадцать лет
 знал меньше, чем любой
 мужчина.

И все. Конец. И ваших нет.

Могу свидетельствовать это,
поскольку в девятнадцать лет
вернулся чудом с того света.

СЕРГЕЙ ПОДЕЛКОВ

Бессонница

Жизнь возникает из огня —
так древние судили греки,
та ересь
будто западня,
и мне не вырваться вовеки.

Глаза сомкну —
и карусель
Земли
 врашается в сиянье,
и ночь садится на постель,
но белый свет слепящ в сознание.

Сон облаков. Рельефы вид,
перемежаются виденья:
полет орлана, бунт ракии,
лицо грозы, танцует кит,
и молния гюрзы искрит...
До третьих петухов томит
меня
бессонницы раденье.

Мысль зажжена.
И столько мет!
Опознаю поля и пуши,
и времени спиральный след
планеты, в космосе плывущей.

И космонавтом, отстранясь,
из пепельной беззвучной выси
бег шара, голубой окрас,
хребты
охватываю мыслью.

И думается мне извне
улыбчиво:
шар наш — рабочий,
он, как печной чугуи, в огне,
кипит, взрывается, хлопочет.

Нет-нет да вырвется беда,
издревле чрево клокотало:
палил Везувий города,
разламывался Кракатау...

И все же
жизнь — целебный зной.
с ней сердцу разве одиноко?
Я обнимаю шар земной,
повертываю шар земной,

читаю с дрожью шар земной
от Балтики до Ориноко.

Вот мысли заостренный глаз
в местах, исхлестанных пургою,
как трубчато в Европу газ
идет,
идет от Уренгоя.

Ваятели огня — и мы.
Чтоб греть судьбу,
мы метр за метром
бурим средь лета, средь зимы,
качаем нефть из толщи тьмы,
земные вырубаем недра.

Ах, люди,
шар — создатель наш,
есть в нас черты его обличья,
он дал нам разум,
карандаш,
безмерное многообразие...

Огонь —
он музыка Земли,
звучит и дышит каждый кратер...
Огонь в крови,
огонь в любви,
огонь в бетховенской сонате.

Огонь в родимом очаге,
где вволю материнской ласки;
по вечерам, когда в пурге
весь мир, — работа кочерге,
жар духовитый в пироге,
и дети вокруг —
нога к ноге,
и ходят песенки
и сказки.

Попробуй вбей каленый гвоздь
в венец избы,
в чурбак поленный —
и выбьешь искр потайных гроздь.
Да, мы пронизаны насквозь
горючим веществом вселенной.

И сердце как радар,
полны
тревог предсердья...
Злополучье —
рок термоядерной войны
в тьме электронной тишины
грозит с материка Веспуччи.

И боль моя — огонь, огонь,
зыбь вспышек
красных, черных, желтых;

зрачки прикрою —
 сквозь ладонь
 тень Хиросимы жжет и жжет их.

И на слуху
 нетленный стон...
 В заокееанье смерти топот,
 мечты о звоне похорон.
 О, только б не увидеть сон,
 сон голых черепов Европы!

Так бей в набат,
 бей, шар земной,
 сажай войны безумье на цепь!
 И гнев,
 и зов,
 и голос твой —
 огонь высоких концентраций.

ПАВЕЛ МАШКАНЦЕВ

Клен

Война бесчинствовала долго,
 бросала смерть со всех сторон,
 и от молоденького колка
 в живых остался только клен.
 Согнулся он над пепелищем,
 глядит на черные пеньки,
 своих сородичей он ищет
 и суровеет от тоски.

ВЛАДИМИР БУТ

Эльтиген

Когда я встану у черты последней,
 Отбросив страх, спокойствие храня,
 Судьба, прошу, чтоб день был это летний
 И не совсем врасплох настиг меня.

Прошу хотя б на сутки дать отсрочку,
 Билет до этих плесов и ветров,
 Где в самый раз побыть мне в одиночку,
 Не мучая друзей и докторов.

Пустынна моря гордая громада,
 Мне плыть и плыть, не думая о том,
 Что некому кричать, да и не надо:
 «Спасите человека за бортом!..»

Куда важнее себе ответить: кто ты,
 Кем был, как жил в потоке бытия
 И были ли хоть чуть сродни полету
 Дела твои и жизнь сама твоя?

Важнее понять: за далью бесконечность,
 И я частица кровная ее,
 И море мне в гигантской чаше вечность
 Подносит как причастие свое!

В глазах рябит от солнечных осколков,
Вода чиста, как горная река,
И можно напоследок долго, долго
Смотреть, как тают в небе облака...

Я был уже тут как-то на рассвете,
Потом назад вернулись мы не все.
Я должен был остаться в сорок третьем
На этой богом проклятой косе.

Разведчики, любимцы адмирала,
Братишки, корешки мои, где вы —
Аркаша из Одессы,
Фрол с Урала,
Иван с Кубани,
Сашка из Москвы?..

Они ушли, не затаив обиды,
Товарищам хлопот не причинив, —
Пусть и по мне отслужит панихиду
Звезда ночная, голову склонив.

А вы считайте, что однажды летом
Пришла ко мне последняя беда
И просто я вернулся в сорок третий,
Где должен был остаться навсегда...

АЛЕКСАНДР КОРЕНЕВ

Поколение рядовых

Нет семьи в России горемычной,
Чтоб не потеряла на войне
Сына ли, отца... Избы обычной —
Без родного фото на стене.

Нас в живых осталось три процента,
Не вернулось девяносто семь.
Целиком — все поколение это! —
Полегло, повыбито совсем.

Удостоены на поле боя
Чести — погибать за свой народ.
Мы не виноваты, что герои.
Это виноват рожденья год.

До сих пор оплакивает павших
Журавля колодезного скрип,
До сих пор еще в России нашей
Нет семьи, где кто-то не погиб.

Нет стены без карточки сыновьей
Или фотографии отца,
Съедут — остаются на обоях
Свежие овалы, как сердца.

ВЛАДИМИР ЦЫБИН

Дорога сожженных в Освенциме

Горит ожог под сердцем —
сильнее нет ожога,
горит в груди Освенцим —
в печь страшная дорога.

Оттуда в хмари дымной
по пеплу, по остуде
идут цепочкой длинной,
став миражами, люди.

Бредут дорогой ровной —
ни севера, ни юга,
идут они безмолвно,
не глядя друг на друга,

шагают без печали,
без страха, без сомнений,
ни пыли за плечами,
ни под ногами тени.

В безрадостной заботе
их спрашивать не стану:
— Куда же вы идете
по дыму, по туману?

И все ж доносит ветер
их голоса,
как пепел:

— Туда идем,
где нету
ни времени, ни брода:
рассыпалась по свету
лишь мертвая погода.

Идем — упреком веку,
не просим мы: «Помилуй!»
Рассеяны по ветру,
развеяны по миру.

Я вглядываюсь в лица
на этой переключке.
Лишь дым один струится —
ни имени, ни клички.

— Что надо вам? —
сквозь ветер
спросил их про себя я.
— Лишь бы всегда на свете
жила страна родная...

В безмолвном чистом поле
идут они незримо —
ни радости, ни боли,
ни облака, ни дыма.
Идут они толпою,
спокойно и сурово.
Над страшною судьбою
текут ветра былого.

Нет горестнее меты
в столетях,
чем Освенцим.
И боль моей планеты
досель горит под сердцем.

Гляжу, как в сером дыме
за датой гаснет дата,
и лишь звезда над ними,
взойдя, зовет куда-то...

ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ

Солдатам сорок пятого года

В предпраздничный денек, в канун великой даты,
В чью честь грохочет гром и небо рвет салют,
Опять, собравшись в круг, былой войны солдаты
Решают, где и чей важней был фронт и труд.

Ах, други вы мои, солдаты-побратимы,
И тот, кто видел смерть четыре года зримо,
И тот, кто фронт догнал в последний день войны, —
Сегодня славе той вы все необходимы,
И все до одного сейчас пред ней равны.

Все так, все так. Тот флаг
Над куполом рейхстага,
Он уравнил солдат и маршалов седых.
И отсвет славы той на наши льется стяги, —
Но как бы не затмил он подвигов иных.

Ведь перед этим днем всемирной нашей славы,
Которой мне воспеть как надо не дано,
Был Киев и Смоленск,
И малый город Рава,
И Ржев,
И Вязьма,
И село Бородино.

Был сорок первый год. И, пятась, но стреляя,
Кусая губы в кровь от гнева и стыда,
Мы оставляли край родной,
О том не зная,
Когда и кто из нас
Воротится туда.

Покуда тыл растил «эрэсы» или «ИЛы»,
Мы шли, платя за все своею головой,
Дерясь за каждый метр. На всем пути — могилы,
Пока дружина та не сжалась под Москвой.

А был еще солдат, упавший у границы,
Чей подвиг не попал и в местную печать.
Он нас с тобой не знал...
Так чем же нам кичиться?
Нам лучше шапки снять.
Нам лучше помолчать.



АРМЕН ЗУРАБОВ

★

«КАМО. НАПОМНИТЬ МНЕ!»

Роман

В 1921 году, тридцати девяти лет от роду (за год до смерти), Семен Тер-Петросян, известный по кличке Камо, готовился к поступлению в Военную академию. Незадолго до этого Камо женился на Софье Васильевне Медведевой, внучке Стасова, и жена помогала ему в занятиях по русскому языку и литературе. Об этом она пишет сама в своих воспоминаниях. Там же она упоминает о Зеленой тетради.

В Зеленой тетради Камо писал сочинения по литературе и на темы текущих событий. Есть в ней и упражнения по грамматике и записи, сделанные для памяти или по случаю, иногда это строчка или строфа стихотворения. Тетрадь предназначалась для приказчиков или бухгалтеров: каждый лист разделен на корешок, накладную и квитанцию. До страницы 54 листы отсутствуют. На пятьдесят четвертой в центре крупно, карандашом строчка из «Полтавы»: «Свыше вдохновенный раздался звучный глас Петра: «За дело, с богом!..»

Зеленая тетрадь хранится в Тбилиси, в архиве грузинского филиала ИМЛА.

Глава первая

«Сидя в своей маленькой комнате и глядя через единственное окно, я вижу старый сад с большими деревьями. Сад этот покрыт сплошь снегом, деревья стоят голые, лишённые своего летнего покрова. Одни деревья стройно тянутся своими ветками вверх, как громадные метлы с бесчисленными сучьями. На этих сучьях еще виднеются прошлогодние сухие листья. Другие деревья по краям ограды лишены этой стройности; они причудливо раскидывают свои гибкие ветви по разным сторонам. Некоторые стволы этих деревьев осыпаны снегом. Около одного из тополей стоит длинная скамейка, зарытая в снегу. Недалеко от скамейки один из тополей пошатнулся под напором бури...»

Он ничего не хотел пропускать из того, что видел,— даже след от саней, на которых свозили с улицы снег. Задание было простое: описать комнату, в которой он жил. Но он решил начать с окна — все, что виделось за окном, тоже входило в комнату.

«А справа виднеется прекрасное по своей архитектуре белое здание архива Комиссариата иностранных дел. К левому крылу этого здания прилепилась маленькая домашняя старинная церковь с зеленым куполом, оканчивающимся золотою головкой. Все это, сад и строение, окружено красивою каменной оградой белого цвета. Впереди виднеются разноцветные крыши домов и красивая высокая башня Румянцевского музея. Еще вдалеке виден огромный золотой купол храма Хрис-

та Спасителя, который в солнечный день ярко сверкает в голубом небе...»

Он поискал глазами, о чем еще написать, и, не найдя, решил перейти к комнате. Но прежде прочел написанное, снова посмотрел в окно и удивился: теперь он видел не то, что было перед глазами, а то, что написал. То, что было перед глазами, наполнилось словами, которые он написал, и от этого как будто слилось с ним. Он это ясно почувствовал, и это его удивило. Он подумал о том, что, может быть, такое чувствуют писатели — как сливается с ними то, о чем они пишут, и потом уже нельзя больше увидеть это отдельно от себя. Тут, вероятно, весь секрет писательского дела, решил он. Вероятно, писатели знают. Надо будет спросить Горького. Но, вспомнив о Горьком, он вспомнил, что решил прочесть книги Томаса Манна, о котором Горький много и с радостью говорил при нем Ленину, и, чтоб не забыть, тут же, в тетради, записал: «Чего-нибудь Т. Манна. Я еще ничего не знаю из его произведений». И перешел к комнате.

«Комната, в которой я живу и занимаюсь, представляет собой правильный четырехугольник длиной две с половиной сажени и шириной около четырех аршин, вышиной пять аршин. Белый оштукатуренный потолок оканчивается карнизом; паркетный дубовый пол; стены оклеены до двух третей своей вышины пестрыми обоями и одна треть — белой бумагой. Благодаря этой оклейке комната залита светом и имеет веселый вид». (А если подумать, что здесь веселого: старые вещи, семейные фотографии — никого в живых нет... Как много зависит от цвета обоев!) «Половина комнаты отгорожена изящными ширмами орехового дерева в стиле рококо, обитыми полосатой шторой. Пол покрыт пестрым персидским ковром. Перед окном стоит небольшой дубовый крытый малиновым сукном письменный стол. На столе чернёная серебряная чернильница смешанного стиля египетского ампира. Она представляет собой фасад и вход в египетский храм. Наверху фасада помещена римская ваза, по обеим сторонам которой находятся по паре змей, служащих для этой вазы ручками. Под сводом помещена фигура священного быка Аписа, рога которого поддерживают круг часов с черным циферблатом. Остановившиеся стрелки часов указывают без пяти минут пять. К рогам быка прикреплены серебряные цепи, которые другими концами закреплены за кольца двух спереди стоящих усеченных пирамид, служащих чернильницами...»

Описание чернильницы утомило его, и, отложив ручку, он некоторое время с интересом разглядывал чернильницу. Все, что он знал о ней, рассказала Соня — о стиле ампир, о быке Аписе и, главное, о том, что чернильницу подарил художник Репин. Сейчас, написав о ней, он как бы соединил с ней то, что знал. Он взял ручку и после слов «на столе чернёная серебряная чернильница» мелко, между строчками вписал: «Подарок Репина Стасову».

Откинулся на спинку кресла и, довольный, оглядел комнату. Вещи в комнате перестали быть обстановкой, к которой он привык, и даже как будто приблизились к нему. Как будто в бинокль посмотрел, подумал он. Нет, в бинокль издали смотришь, а тут берешь вещь, кладешь на бумагу — и все видишь. Можно весь мир вот так положить на бумагу, даже — себя... Как смотреть на себя? Кто на кого смотрит? Если смотришь на себя, тогда кто смотрит? Кто-то смотрит. Чепуха! О чем я думал? А, вот: когда написал, увидел лучше, чем глазами. Писатели поэтому видят лучше. Главное — сесть и написать, тогда увидишь. Горький так и говорит: садись и пиши! Горький — чудак, удивляется, что можно бросить бомбу, а сам написал столько книг — и не удивляется. А что такое писать? Вещь превращается в слово?.. И вещь уже не вещь, а слово, слово — душа вещи... Непонятно. Но что все-таки произошло с этой комнатой? Как будто в первый раз увидел, написал — и увидел, вначале было слово... Кто это сказал? Горький. А

Ленин прищурил глаза и погрозил Горькому пальцем: вначале была революция, рождение из хаоса порядка — это и есть революция!

В тот день все пришли сюда. Вернее — в тот вечер. Сразу после просмотра фильма о гидроторфе Шатуры. Ленин, Горький, Андреева, Богданов, Игнатъев... Все в этой комнатке, и Соня разливает из самовара чай. Горький сказал: в этой комнате раньше жили синицы — и стал перечислять: московка, хохлатка, усатая, лазоревка... В пятом году в этой комнате жил артист Качалов, и Горький жил у Качалова и разводил синиц, а Горького охраняли боевики тифлисского актера Васо Арабидзе. От Арабидзе Горький впервые услышал имя Камо. Горький рассказывал больше всех, и Соня останавливала его, чтоб он успевал выпить чаю. Потом Ленин шутил над Игнатьевым, которого назначили торгпредом в Финляндию, а в пятом году Игнатъев изобретал для боевиков Красина бомбы. И Богданов в пятом году помогал боевикам, а теперь рассказывал о своем институте переливания крови и о том, что переливание исцелит мир от всех болезней. Ленин слушал его задумчиво и не перебивал. Потом Ленин опять восхищался гидравлической добычей торфа, которую изобрел Классон, и вспоминал, как на квартире у Классона, четверть века назад, в целях конспирации, на масленицу, устроили вечеринку с блинами. И опять говорил Горький — что-то о типографиях и издательстве — и сказал, что вначале было слово... О каком «начале» говорил Горький? Ничего, никого не было — только слово?.. Что-то не так. Надо, видно, совсем иначе думать. Я вообще не умею думать, в этом все дело. Надо научиться думать. Ленин и Горький умеют думать, у меня никогда не было для этого времени. Теперь — есть, теперь моя жизнь — сплошное время думать... Скоро уже Соня придет. А может быть, опять задержится. Вчера привезли больных тифом. Хорошо, что врачи не заражаются от своих больных. Соня сказала: если врач настоящий, он не заболеет, у него все силы мобилизованы, как у солдата. Солдаты в окопах не болеют, это верно. У человека сил больше, чем он думает, в тысячу, в миллион раз больше. Но ему нельзя знать об этом прежде, чем будет мировая революция. Иначе он использует эти силы во вред... Добра кто хочет, должен добрым быть. Какой-то писатель сказал, короткая фамилия, иностранная... Забыл, что-то стало с головой... Гёте! Германский писатель Гёте: добра кто хочет, должен добрым быть. Надо спросить Соню, интересно, сам этот Гёте добрый был? Кто вообще добрый? Что значит добрый? Убить того, кто убивает других, — это не добрый? А смотреть, как убивают, — добрый?.. И все-таки, что было вначале? Я думал о том, что было вначале. Только не обо всем сразу — я так еще не умею. Надо думать о том, что хорошо знаешь. Что я знаю хорошо? Я знаю то, что было со мной. Что было вначале со мной? Умерла мать... До этого был топор. Нет, умерла мать. В этом начало: остаешься один на один со всем миром. Пока жива мать — не один. У матери не хватило сил жить в своем слабом маленьком теле — и она ушла. Он тогда ясно это ощутил — что уходит. Обнял ее и кричал, чтоб не уходила. Уже обняв, с удивлением чувствовал, как пустеет и становится неживым ее тело.

Сразу после похорон он сказал тете Лизе:

— Если бы мать не вышла замуж за отца, она бы не умерла.

Тетя Лиза подумала и ответила:

— Твоя мама умерла от почек, Сенько.

И стала плакать.

Тетя Лиза потом объяснила: все от родов. Мать родила двенадцать детей. Осталось пятеро. На всех работали ее слабые, маленькие почки. И не выдержали. Надорвались.

Он помогал рыть могилу. Хотел что-нибудь еще сделать для матери, как будто уже понимал, что больше никогда ничего для нее не сделает. И от этого — от того, что делал это для нее, рыл, не останавливаясь, не уставая, и, когда могильщики выходили из ямы передох-

нуть и закуривали, оставался в могиле один и продолжал яростно выкидывать в небо комки черной земли.

Могильщики удивлялись, и один из них что-то об этом сказал — о том, что вот, мол, как сын любит свою мать, и еще что-то об этом, и усмехнулся, и тогда он бросил из ямы в могильщика камнем, и вмиг выкарабкался наверх, и с лопатой в руке — замахнувшись лопатой — пошел на могильщика, чтоб его убить.

Ему было семнадцать лет, он был худ и мал ростом, а могильщик был большой, с седой широкой грудью и толстой шеей. Могильщик тогда отскочил от него и еще отступил потом на несколько шагов и сказал:

— Держите его...

Могильщик мог бы не отскочить, а навалиться на него и отнять лопату, и мог вообще поднять его вместе с лопатой и бросить обратно в яму, но он ничего этого не сделал, а отскочил и отбежал еще дальше и еще раз крикнул:

— Держите его...

Он знал в себе эту силу. Ее знали все, с кем он дрался, и отец знал.

Был вечер, шел дождь, он лежал в кровати в своей комнатке и слушал, как стучит по листьям у окна дождь, и вдруг услышал крик матери. Крик доносился из спальни, но он побежал не в спальню, а на кухню и схватил топор. Вскочив, почему-то скинул прежде всего ночную рубашку, вероятно, думал надеть штаны и рубаху — успеть надеть, — но раздался еще крик, за ним еще, и уже мать кричала одним звуком, жутко, не прерывая крика. И он не стал тогда ничего надевать, а как был, голый, бросился на кухню...

К дверям спальни бежали сестры, испуганно плакали, путаясь ногами в длинных ночных рубашках. Увидев его, голого, с топором, пронзительно завизжали, прижавшись к стене. Он распахнул дверь спальни: мать лежала на кровати, тюфяк под ней сполз на пол, и ноги ее, голые, лежали на металлической сетке, а отец наклонился над ней, держал ее одной рукой за обнажившееся из-под кружевной рубашки плечо, а другой бил ее по лицу, и, когда он вбежал с топором, отец еще один раз ударил ее, потому что уже не мог остановить тяжелого взмаха руки, а потом сразу отскочил от кровати и устоялся на топор.

— Ты что, сынок? Ты что, ты что, сыночек? А?! Ты что? Ну, ты что?!

Отец прижался в угол, потому что в комнате была только одна дверь, в которую отец мог уйти, но в дверях стоял он, голый, с топором, и молча шел на отца, подняв топор, — и тогда его тоже несла на отца эта сила, и отец увидел это в его глазах, и потому прижался в угол, и еще присел на корточки, и закрыл голову руками, и так, присев на корточки и закрыв голову, повторял одним звуком: а-а-а?! а-а-а?! а-а-а?! И сам того не замечая, уже выкрикивал это, сливая в тоскливый вой.

И потому ли, что этот крик напомнил, как до этого вот только что кричала мать, или потому, что он увидел это скорчившееся от страха большое тело, или оттого, что оглянулся на мать и увидел ее онемевшее безумное лицо, и увидел в дверях сестер в смешных длинных ночных рубашках, он остановился, прижал топор к груди и заплакал.

Когда хоронили мать, тело ее было как холодный камень. Теперь, там, под могилой, в земле совсем превратилась в камень. А через тысячу лет никто и не поймет, что это было раньше, и будет просто большой камень. Вот так, может быть, каждый камень был человеком, подумал он, или лошадь, или кем-нибудь еще, или птицей — птица, когда умирает, тоже падает на землю. И эти вещи в этой комнате тоже остались от тех, кто здесь бывал. Тихие старые вещи. Может быть, и слова остались все, о чем здесь говорили? И сейчас в этой комнате носят красивые умные слова.

Он почувствовал усталость. Надо было описать еще несколько вещей, и он коротко их перечислил: портрет известного художественного критика Стасова, портрет известной общественной деятельницы Надежды Васильевны Стасовой, портрет известного судебного деятеля юриста Стасова, дубовое кресло, обитое зеленоватой клеенкой, простой деревянный стул с мягким сиденьем, маленькая электрическая люстра в виде фонаря посередине комнаты и настольная электрическая лампа.

Он снова оглядел комнату, потом посмотрел на исписанные страницы и подумал, что комната теперь перешла в его тетрадь. Она вся поместилась на трех тетрадных листах. И все, что в комнате и в окне, превратилось в слова. Теперь, если эту комнату разрушить, она все равно останется в словах. Интересно, Соне приходила в голову такая мысль?.. А Соня задержалась. Может быть, привезли раненых с польского фронта. Или новых тифозных.

Глава вторая

В голубом небе ярко сверкает золотой купол храма Христа Спасителя. Если прищурить глаз, окно становится маленьким, кажется, что это не окно, а картина на стене: белые деревья, крыши, золотой купол и чистое, очень чистое голубое небо, такое в Третьяковке, на картине Верещагина «Восточный кремль».

Он вспомнил картину — белый дворец, голубая вода, голубое небо. Соня сказала: Верещагин писал с природы. Раз с природы, значит, и небо с природы. Значит, там, где этот дворец, такое же небо, как здесь. Не может быть. На юге небо синее. А может быть, у Верещагина утро? Утром небо везде одинаковое — цвет неба от солнца... Нет, дело, конечно, не в солнце. И не в утре. Верещагин смотрел на небо вокруг восточного кремля, а видел свое, вот это небо над куполом Христа Спасителя. И в этом все дело. Каждый видит свое небо.

Мысль показалась ему интересной, и он решил записать ее в тетрадь. Владимир Александрович Попов, с которым он занимался языком, требовал записывать в тетрадь все, что придет ему в голову. Для упражнений. Грамотность — знание руки, а не головы, говорил Владимир Александрович, грамматика не учит языку, а изучает язык. Владимир Александрович ему нравился: у него на все был свой взгляд, как будто все, о чем говорил, сам открыл. Владимиру Александровичу понравится эта мысль: каждый видит свое небо.

Он записал эту фразу, прочел и вдруг подумал: Верещагин видел свое небо, и я вижу свое небо, но оба мы увидели одно небо, иначе почему я вспомнил его картину? Тогда все наоборот — у всех одно небо. Но на самом деле небо действительно разное — в Тифлисе одно, в Москве другое, на Востоке, где был Верещагин, третье... Черт знает что! В философии я слаб, подумал он с огорчением, не может быть, чтоб что-то было одновременно и общим и разным, а все оттого, что смотрю в окно, вместо того чтоб писать.

Накануне вечером Соня читала вслух «Мцырь», потом он удивлялся тому, как русский человек Лермонтов хорошо понял характер кавказца, и Соня тут же попросила его все это написать — о характере кавказца и о Мцыри. Утром Соня ушла в больницу, а он сел за стол и сразу написал то, о чем подумал еще вечером, после того, как она закончила читать: «Мцыри, начиная с первых дней монастырской жизни и кончая своей смертью, являлся натурой, неспособной к монастырской жизни, он стремился к свободной боевой жизни, и если ему не изменили бы его слабые силы, то он добровольно никогда не вернулся бы в монастырь». Потом ему захотелось пересказать все своими словами, и он дошел до того места, где Мцыри победил барса, и **вспомнил**, что такая же **схватка** есть в «Вепхвис ткаосани» **Руставе-**

ли, и вспомнил, что о Руставели ему рассказывал Сталин. Когда это было?

Он два раза приезжал к тете Лизе, в первый раз — когда еще была жива мать. Сталин был и в первый раз и во второй. Тетя Лиза взяла его репетитором. Сталин был еще не Сталин, а Коба, семинарист, его исключили из духовной семинарии, он работал вычислителем-наблюдателем в обсерватории и подрабатывал частными уроками. С ним приходил Гига Годзиев, тоже бывший семинарист. Гига был на голову выше Сталина, и как будто чувствовал в этом свою вину перед ним, и даже во время урока, объясняя что-то, заглядывал Сталину в лицо и спрашивал глазами: правильно, можно дальше? А Сталин не смотрел на него. Он смотрел в сторону и всегда думал о чем-то своем, то, о чем он думал, видно, было настолько важно и сложно, что все остальное, о чем говорили с ним, было для него пустяком, и поэтому когда его спрашивали о чем-нибудь, он отвечал: «Это очень просто» — и улыбался, как будто усмеялся — чем занимаетесь, на что тратите время, такая простая вещь... Но ничего не объяснял. Сталин был мал ростом, но никогда не смотрел вверх. Вероятно, он и на небо не смотрел и поэтому не мог думать, что небо одновременно и общее и разное. Сталин любил во всем ясность и ясные слова, которые не требовали объяснений. Когда разгромили первую тифлисскую демонстрацию и все, кому удалось скрыться, собрались вечером в церкви на Мтацминда, Сталин сказал: «Рабочие должны знать, что они победили». О тифлисской демонстрации потом писали книги, а он помнил, как сверкали начищенные бляхи дворников, стоявших у подъездов. Потом, перед тем как появились казаки, дворники исчезли.

Но сначала посередине Головинского проспекта шла кучка людей. Казалось, просто не хотят, как все, идти по тротуару и со спокойным вызовом ожидают запрета, чтобы не подчиниться.

Полицейских не было. Светило солнце. Люди на тротуарах оставались и смотрели на идущих посередине улицы. Некоторые неторопливо, праздной воскресной походкой сходили с тротуара и присоединялись к идущим.

Он шел по тротуару и напряженно следил за тем, как быстро увеличивалось их число. Сначала он считал, потом сбился и только вдруг узнавал незаметно возникавшие знакомые лица — Бочоридзе, Аллилуев, Чодришвили, Аршак Зурабов, Коба, Ваню Стуря... Ваню был в бараньей папахе и в зимнем пальто.

Рано утром, когда они собрались на квартире у Чодришвили, Ваню требовал, чтоб все надели пальто и особенно папахи — от ударов по голове, а Миха Бочоридзе возмущался: надо было раньше говорить, где они сейчас возьмут папахи? Ваню сказал, что это ему посоветовал Курнатовский и он думал, что Курнатовский успел сказать всем, и Миха снова возмущался, потому что Курнатовского взяли 20 марта, а сегодня уже 22 апреля, и не мог Курнатовский говорить о таких мелочах за месяц вперед — тогда были дела поважнее. Коба спокойно спросил:

— Поважнее, чем сохранить голову?

Миха взорвался:

— Представь себе, есть вещи поважнее, чем собственная голова!

Коба посмотрел на него внимательно, как будто хотел запомнить, и ничего не ответил.

А Курнатовского, говорили, опять вышлют в Сибирь. Такой образованный человек, что он будет делать в Сибири? В первый раз повезло — встретил в Сибири Ленина, потом приехал в Тифлис, всем рассказывал про Ленина. Теперь Ленин за границей, вместе с Плехановым и Мартовым делает «Искру». Курнатовский второй раз в Сибири не выдержит, у него грудь узкая.

У Казенного театра посреди проспекта уже шла толпа. Шли молча, смотрели прямо перед собой, как будто боялись упустить из виду то, к чему шли. На тротуарах тоже молчали. Он заметил вдруг Годзиева, но прежде чем успел к нему подойти, тот перебежал в толпу на середине и пошел тоже медленно, празднично, глядя вперед и никого не замечая, и его тоже не заметили, и от этого было ясно, что его знают и знали, что он должен подойти, а может быть, и это скорее всего, то, что предстояло впереди, было настолько серьезно и даже страшно, что и некогда было замечать тех, кто подходил.

Он знал, что по всему проспекту в подъездах и подворотнях стоят переодетые полицейские, и князь Голицын, главноначальствующий Кавказа, стянул в Тифлис несколько казачьих полков и Мингрельский полк и Семеновский, и все они теперь тоже притаились где-то за домами и только ждут сигнала, чтоб выскочить. А сигналом будет то, что сделает Аракел.

Аракел в длинном пальто. Под пальто у него флаг. Аракел ждет на Дворцовой. Когда толпа придет туда, Аракел достанет флаг и пойдет впереди. А он пойдет за Аракелом вплотную, и, если что-нибудь случится с Аракелом и флаг упадет, он поднимет его, сорвет с палки, и спрячет за пазухой, и скроется.

Это — первый красный флаг в Тифлисе. Надо, чтоб он сохранился. О флаге сказал Коба:

— Знамя, омытое кровью, станет для рабочих святым.

Кто-то спросил:

— Ты уверен, что оно омоется кровью?

— Уверен, — сказал Коба. Разговор был накануне. Коба объяснял: рядом с Аракелом Окуашвили пойдет Камо.

А он слушал и не мог поверить, что все, о чем говорят, произойдет на самом деле — пойдут люди, поднимут флаг, нападут казаки, будут бить нагайками, шашками, будут стрелять, кто-то умрет, потом многих сошлют в Сибирь — и все от того, что решается сегодня, вот сейчас, в этой маленькой конспиративной квартирке на Мтацминда, этими людьми, которые все — немногим старше его.

А ему не было и двадцати. И еще год назад жизнь была всего лишь игрой в горийском саду, и даже побой отца и то, что выгнали из школы, — все было в конце концов игрой, в которой известно, что можно и чего нельзя, и если он делал то, чего нельзя, он знал, что за это будет наказание, потому что нарушение правил, даже в игре, приводит к наказанию. И эти несколько месяцев в Тифлисе, когда тетя Лиза наняла репетиторов, а они стали ему давать поручения — расклеить листовки, отнести газету, отвлечь городского, проследить, в котором часу уходит домой полицмейстер Ковалев, и даже кличка Камо, то, как однажды Коба передразнил его: сидели в Комитете, он плохо понимал по-русски и что-то переспросил, вместо «кому» сказал «камо», и Коба передразнил: «Камо, слуши, камо!», и с тех пор его стали называть Камо, — все это опять было игрой с известными правилами, и ему опять нравилось делать то, чего нельзя, потому что все, что было можно, навевало тоску, и для того, чтоб это делать, не надо было ни ума, ни движения души, а надо было, наоборот, сохранять себя в покое, и тогда неизвестно было, для чего жизнь. И все это время, когда он уже знал, что готовится демонстрация, и бездумно радовался тому, что участвует в ее подготовке, — и это все еще была для него игра с теми же прокламациями, переодеваниями, листовками, полицейскими, и появился только обещанный в конце выигрыш — «демонстрация», непонятное слово, но уже цель, близкая, через месяц, и неважно, что он не понимал ее, — игра продолжалась, для участия в ней по-прежнему требовалось только то, что он умел и любил делать с детства, и поэтому она ему нравилась, и он играл бескорыстно на

фишки с непонятными словами «забастовка», «демонстрация», «революция», гордый уже тем, что играет со взрослыми людьми.

Но в тот день в конспиративной квартире Годзиева на Мтацминда, накануне демонстрации, он впервые понял, что теперь предстоит делать в открытую то, что до этого можно было делать только скрываясь, делать то, чего нельзя так, как делают то, что можно, — отменить правила, которые он знал с детства, которые создавались кем-то там, наверху, а потом спускались вниз, чтоб стать жизнью всех. Это было впервые — сознание того, что вот он находится среди тех и сам он один из тех, от кого зависит, что произойдет завтра, и это сознание своей власти настолько было неожиданно, что, слушая накануне последние распоряжения о демонстрации, он все еще не мог поверить, что завтра все именно так и будет: среди бела дня пойдут посередине проспекта люди, понесут плакаты, понесут красный флаг — всё, как говорят вот эти несколько никому пока не известных людей, сидящих так мирно в маленькой комнатке где-то на окраине города в теплый тифлиссский апрельский вечер.

Но наступило утро, и все произошло так, как говорили накануне: пошли по проспекту несколько человек, потом их стало больше и — даже точно, как было предусмотрено, — когда дошли до Казенного театра, это уже была толпа, а на Дворцовой, там, где проспект расширялся перед дворцом наместника, толпа заполнила мостовую до самых тротуаров, и те, кто был на тротуаре, слились с теми, кто был на мостовой.

Потом он увидел Аракела. На нем была папаха со свисающими на глаза струйками шерсти, и под этой папахой лица почти не было видно, но он узнал его потому, что Аракел стоял на условленном месте — на углу гостиницы «Ориант», и на нем было длинное черное пальто, под которым он прятал флаг.

Аракел увидел его издали, и не стал ждать, пока он подойдет, и даже не кивнул издали, и не подал никакого другого знака, чтоб он шел за ним, а стал быстро протискиваться сквозь толпу на середину улицы. Он бросился за ним и так боялся не догнать его или потерять в толпе, что почти бежал, грубо и не глядя расталкивая тех, кто стоял на пути. Потом он увидел папаху Аракела прямо перед собой и из-под папахи — сильный, заросший, с проседью потный затылок. Он молча пошел за затылком. Аракел, не оборачиваясь, сказал:

— Смотри, чтоб не подошли сзади.

Вдруг рывком выбросил вверх обе руки, и в одной руке у него был флаг. Раздался крик — так кричат, когда бросаются в атаку, чтобы заглушить страх, — он не сразу сообразил, что это крикнул Аракел, а потом, когда в наступившей тут же тишине Аракел крикнул еще и еще, словно убеждая поддержать его и не оставлять одного, он узнал не голос Аракела, а слова, потому что накануне обсуждали и это — что Аракел крикнет, и Аракел с самого же начала крикнул, как решили:

— Долой тиранов! — И в тишине, еще отчаяннее: — Долой тиранов!..

Низкий хрипловатый голос из толпы запел «Варшавянку», нестройно, с разных концов подхватили. Неожиданно стали петь все, и это была не песня, а протяжный, продолжающий себя крик. Он тоже стал кричать вместе со всеми, не зная слов, первым приходящим сочетанием звуков. Донесли свистки. По тому, как толпа сразу придвинулась к нему, он понял, что с обеих сторон улицы выбежали из подъездов полицейские, и, то ли оттого, что все теперь еще больше придвинулись друг к другу, то ли потому, что пытались перекричать свистки и крики, песня стала громче и даже стройнее, и сквозь нее стали раздаваться короткие выкрики, в которых он успевал разобрать только слово «долой», а потом донесся голос Ваню Стурюа — он сразу узнал голос Ваню и удивился долгой фразе, которую тот прокричал:

«Да здравствует политическая свобода!» Он обернулся — туда, откуда донесся голос Ваню, увидел над толпой головы лошадей и сказал в спину Аракелу:

— Лошади...

Не предупреждая и без страха и даже как будто спрашивая, откуда здесь лошади, Аракел сразу обернулся, и он увидел, что шея Аракела стала короче, из-под папахи видны были теперь только его губы и небритый, с проседью, подбородок.

— Прячь голову! — сказал Аракел.

Рядом кто-то испуганно выкрикнул:

— Смерть тиранам!

И только тогда он понял, что там, на лошадях — казаки.

Аракел стоял, расставив ноги и схватив древко флага обеими руками, как будто приготовился ударить флагом как пикой в первого, кто подойдет. И оттого, что Аракел так стоял, а он по прежней мальчишеской привычке хотел побежать, он сразу вспомнил, что сегодня нельзя ни бежать, ни скрываться и в этом-то и весь смысл того, что они вышли на улицу.

Лошадиные морды быстро приближались, мотались от натягиваемых поводьев. Толпа перед ними расступалась. Донеслась похабная ругань. Несколько человек, стоявших перед ним, отбежали, и в двух шагах от себя он увидел прижатое к ушам лошади большое белое лицо и над лицом — красный околыш фуражки и черный лакированный ремешок — к подбородку, по длинной щеке... Он невольно отступил и наткнулся спиной на Аракела, и получилось, что он прикрыл Аракела, и в ту же секунду над головой его в небе взметнулась плеть, он ясно увидел ее, и плеть так и осталась навсегда в том чистом апрельском небе, и еще она запомнилась ему потому, что именно с этого момента — с того момента как он отступил от лошади и увидел над собой плеть, а потом спину перерезал сваливший его удар, — именно с этого момента его словно сжали в судорожную пружину, и теперь все в нем только стремилось разжаться, и это уже не зависело от него: спасаясь от ног лошади, он прыгнул с земли, схватился обеими руками за шею лошади, повисая на ней, с силой выкинул вверх обе ноги и ударил ими в белое лицо казака. В тот же миг от страха, или от этой неожиданной тяжести на шее, или оттого, что невольно натянул поводья падающий казак, лошадь встала на дыбы и еще заржала, а он не отпуская стиснутые на шее лошади руки, и лошадь подняла его над толпой, а он в это время успел еще раз ударить ногами в залитое уже кровью лицо казака, и казак стал валиться с лошади, и он тогда тоже разжал руки и прыгнул на землю и потом чувствовал только освобождающую ярость своих ударов — сначала головой в живот какого-то полицейского, и как будто живот разорвало, полицейский не успел даже крикнуть, задохнулся, скорчился, потом наотмашь — в чье-то бородатое лицо, и на миг перед глазами — большой открытый рот упавшего казака, и казак молча хватает этим ртом воздух, а потом на казака наваливаются, но раздался оглушающий топот, и свист, и крики, и он успел увидеть, что по Головинскому прямо на них мчатся казаки, еще издали свистят и кричат, распаяя себя для драки.

С Дворцовой уходили по узким переулкам. Аракел опять нес флаг под пальто.

На Солдатском базаре их ждали с утра. Аракел достал флаг. Пели «Варшавянку». Кто-то торопливо говорил речь.

Полицейские пришли скоро, но после того, что было на Дворцовой, их не боялись. Полицмейстер Ковалев просил:

— Добром прошу, господа, разойдитесь, очень прошу, господа, будет хуже!

Его перебивали. Миша толкнул его и стал говорить сам.

Потом стали разгонять, стреляли в воздух, били, связывали за спиной руки, увозили на извозчиках в полицейские участки.

Вечером все, кому удалось скрыться, собрались у церкви на Мтацминда, и Коба сказал:

— Надо напечатать прокламации. Рабочие должны знать, что они победили.

В окне, в голубом небе горит купол храма Спасителя. Скоро вечер. Ничего почти не написал. Владимир Александрович выругает.

Он с удивлением прочел только что написанную фразу: «У каждого свое небо». Вырвал страницу, скомкал, положил в пепельницу, машинально достал спички, поджег, аккуратно стряхнул пепел в стоящую у стола корзину, взял ручку и написал: «Когда гроза утихла и стало светать, он прилег меж высоких трав и стал прислушиваться к голосам природы, к шуму потока, щебетанью птичек, вою шакала и видел постепенное пробуждение природы...» Слова приходили сразу и легко, и ему казалось, что он пишет о том, что пережил сам и теперь только вспоминает: «Наступила ночь, он очутился в дремучем лесу, где скоро сбился с дороги и потерял из виду горные вершины, которые служили ему путеводной нитью. Куда бы он ни направлял свои шаги, всюду встречал девственный, темный, грозный лес. Он старался найти дорогу, влезая на высокие деревья и осматривая местность кругом, но повсюду видел тот же зубчатый лес. Он с отчаяньем и болью в сердце упал на землю и стал тихо, тихо рыдать».

Глава третья

Вчера Владимир Александрович пришел позже обычного. Соня играла на рояле. Он слушал, стоя спиной к ней и облокотившись на рояль, как стоят певцы на концертах. Певцы пели иногда и здесь, в этой комнате, на вечерах, которые устраивала Соня, и Соня им аккомпанировала. Ему нравилось, что во время пения они стоят спиной к ней и в то же время полностью от нее зависят, то, что они стояли спиной, только еще больше подчеркивало их уверенность в ней. Владимир Александрович задержался на лекции, был раздражен и устал.

— Я забежал только на минуту, чтоб не оставлять вас безработным на завтра,— сказал он, не снимая пальто.— И вот что я думаю: напишите-ка, дорогой мой, о Восьмом съезде! У вас это выйдет хорошо, во всяком случае, правдиво, все как есть. То, что Ленин говорил о демобилизации, запомнили, а то, что тот же Ленин сказал об укреплении армии, не помнят! Спокойной жизни захотели! Революция закончена, бороться больше не с кем, нэп — вершина новой жизни, к нэпу еще немного электрификации — и рай земной!.. Впрочем, все это никакого отношения к вашему заданию не имеет. Ваше дело коротко и правдиво описать то, что видели и слышали. Вы сами говорили, что хотите написать. Так вот и пишите! И нечего больше откладывать. Самое время! Ни в чем так не отрабатывается грамотность, как в том, о чем пишешь с ответственностью. Да, да, уважаемый, именно с ответственностью! Мы должны отвечать теперь за каждое слово. Для этого и нужна электрификация. А иначе нас пошлют к чертям собачьим, и правильно сделают!.. Извините, Софья Васильевна, я не успел еще справиться с собой после лекции. Я сегодня читал в Политехническом о Восьмом съезде, и после лекции меня спросили, верю ли я сам в социализм!..

— Интересно, как вы ответили,— сказала Соня.

— Я извинился за неудавшуюся лекцию.

Соня рассмеялась.

— Гордыня вас погубит, Владимир Александрович. Надеюсь, ваше извинение не приняли, все встали и стоя вам аплодировали?

— Нет. Меня высмеяли.

— Так вам и надо. Не рассказывайте публично о своих мечтах. И снимите наконец пальто. Без чая я все равно вас не отпущу.

О Восьмом съезде он хотел написать давно, но не решался, потому что надо было своими словами написать о том, что сказал на съезде Ленин. Если бы не Владимир Александрович, он бы и теперь не решился.

Он еще не перечитывал написанного, но все время, пока писал, и сейчас, закончив писать, чувствовал себя уверенно и легко, и было еще чувство опустошенности.

Он встал из-за стола, прошелся по комнате, подошел к открытой форточке, медленно вдыхая, поднял над головой руки, задержал дыхание, загоня морозный воздух во все закоулки тела. Дышать его научил охранник в батумской тюрьме, еще когда его держали в одиночке. Это была его первая тюрьма, и судьба позаботилась, чтобы он с самого начала научился беречь здоровье. А в батумской тюрьме по ночам тоже было что-то вроде съезда, подумал он, только говорили шепотом...

Он сделал еще несколько движений, попрыгал на месте, сначала на одной ноге, потом на другой, потом на обеих вместе, аккуратно и четко разводя ноги в стороны, и, потирая руки, снова заходил по комнате. А насчет академии я подумал сразу, как только Ленин сказал об армии, вспомнил он. Как это Ленин сказал?

Он стал читать то, что написал, как если бы вернулся на съезд, чтоб снова все увидеть и услышать: «Когда я подошел к площади имени Якова Свердлова, то первое, что обратило мое внимание, была надпись на фасаде Большого театра из красных электрических лампочек: «VIII Всероссийский съезд Советов». Часть сквера, прилегающая к театру, была окружена пешей и конной стражей. У входа в сквер часовые тщательно проверяли пропуска...» Выступление Ленина дальше... Это еще выступает Калинин... Это аплодируют, когда Ленин вышел на трибуну... Вот: «Главная идея его речи был призыв к мирному строительству разоренной семилетней империалистической и гражданской войной страны и предостережение тем, кто мог бы подумать, что задача защиты социалистической родины от врагов внутренних и внешних уже решена...» И вот здесь я подумал о том, что надо поступить в Военную академию. А об электрификации он сказал в конце, когда сказал, что сейчас выступит Кржижановский... Вот: «В конце своей речи он предложил выслушать со вниманием доклад тов. Кржижановского «Об электрификации страны», которая должна вывести социалистическую республику из промышленного кризиса и поставить ее наряду с другими культурными странами, притом он добавил, что „коммунизм заключает в себе советскую власть плюс электрификацию“...» В Германии уже есть электрификация, подумал он, и в Бельгии есть, и во Франции, и в других странах, и им теперь остается только прибавить советскую власть. И для этого нужна мировая революция. А мы за это время проведем электрификацию. Сколько надо для электрификации? Десять лет... Пусть — двадцать, даже тридцать. Батумская тюрьма была в девятьсот третьем. Почти двадцать лет назад. Двадцать плюс тридцать — пятьдесят. За пятьдесят лет — от батумской тюрьмы до электрификации. И Мартов еще спорил с Лениным!.. В батумской общей камере тоже спорили. Сидели со всей России (в России не хватало тюрем), все политические, человек сорок.

Два квадратных решетчатых куска батумского неба не светили даже звездами — шли бесконечные батумские дожди. Темнота незаметно наполнялась ровными тихими голосами, потом голоса становились громче, спорили, раздавались выкрики, кто-нибудь испуганно

просил говорить тише, говорили тише, снова спорили. В темноте не было ни стен, ни потолка, ни окон — были голоса, и за окном по тюремному двору шуршал дождь.

Больше всего говорили о расколе, о том, что Ленин хочет свести партию к боевой дружине, ни Мартов, ни Плеханов на это не пойдут, и раскол неминуем. Говорили и о том, что ни о каком расколе не может быть речи, со съезда ушли только бундовцы, и съезд работу закончил, и даже есть резолюция.

— А нам нужна не резолюция, сударь мой, а партия, и притом единая!

Говорили, что Мартов своей формулировкой о членстве отстоял, так сказать, интеллектуальный уровень партии.

— А иначе и не могло быть, иначе речь пойдет не о партии, а, извините, о ландскнехтах ордена крестоносцев!

— Позвольте, если не ошибаюсь, вы хотите свергнуть монархию? Дело вполне пристойное, можно сказать, благородное. Старушка история оглядывается еще со времен декабристов — кто наконец свалит смердящее древо? Так позвольте спросить: как вы собираетесь сваливать древо? Рассуждениями и дискуссиями? Нет, господа, история учит: монархии свергают мечом. И для большей верности отрубают потом этим мечом монархам головы. А для этого нужен орден крестоносцев, и именно крестоносцев — несущих крест! Впрочем, можете называть их как угодно, даже якобинцами.

И — опять о расколе, о том, что ничего неожиданного в Лондоне не произошло, да и о каком расколе может идти речь, когда принята единая программа?

— Не юродствуйте, принята не программа, а пункт о диктатуре, и непонятно только, как Георгий Валентинович мог этот пункт принять!

— И на Плеханове есть пятна...

— Нет, извините, на Плеханове пятен нет, так-то, милостивый государь!

Говорили, что ничего принципиального на съезде не произошло, обычные тактические разногласия, без споров не рождается истина.

— Может быть, вы назовете и истину, которая родилась в этом споре?

— Извольте: единая программа и единый устав — не так уж мало, смею вас уверить.

— И не так много, если учесть, что устав — мартовский, а программа — ленинская. Член партии, принятый по уставу Мартова, не сумеет осуществить диктатуру, предусмотренную программой Ленина.

— Когда наконец возникнет свободное демократическое государство, не будет иметь ровно никакого значения, пришли к нему по Мартову или по Ленину, дай бог прийти!

— Запомните, придете вы к свободному государству или не придете и какое оно будет, решается сегодня, сейчас, может быть, уже решилось.

Говорили и о том, что российская монархия сама осознает свою гнилость и сама хочет преобразовать себя в демократию и надо только ей помочь. И поэтому нужен не меч...

— Мы все еще недооцениваем значение освобождения крестьян. А кто это сделал? Глава монархии, которая держалась на крепостном праве. Знаете ли, что сказал царь, подписывая манифест? «Может быть, я не сумел бы этого сделать, если б не писания господина Тургенева». Нет, нет, господа, не надо рубить голову русскому монарху, уверяю вас! За нашей спиной, вот тут же, сразу за нашей спиной — тысячелетнее рабство. С такой оглоблей в демократию не влезешь. Русской демократии может помочь только русский царь, а русскому царю — только русская демократия. В этом все своеобразие нашей истории, если хотите — наше неповторимое лицо.

Больше всего спорили, когда речь заходила о русской монархии.

— Иначе говоря, вы предлагаете изготовить фарш из монархистов и демократов по рецепту Струве? Конституция, не посягающая на монархию? Этот каламбур удался пока только в Англии. У англичан хватило юмора не только для того, чтобы всерьез отнестись к собственной революции, но и чтоб взять на содержание собственную королеву. У нас же не хватает юмора даже на то, чтоб высмеять унылую интеллигентскую возню с бомбами, которую мы называем революцией. Мы лишены юмора от рождения, и в этом все своеобразие нашей истории, если хотите — и причина нашего дурного характера.

— Прекрасно! Вы осуждаете русский аршин за то, что он меньше английского фута? С таким же успехом вы могли бы осуждать английский фут за то, что он меньше русской версты. Вы плохо учились в школе. Что мы имеем в России? Монархию, которая уже подпилила сук, на котором сидит. Да, да, я имею в виду освобождение крестьян — эту черту, с которой начинается новая русская история. Именно с нее, а не с революции, которую мы все с таким, я бы сказал, любопытством ждем. Нам просто скучно жить, господа, нам так скучно жить, что мы согласны даже на революцию. Нам нужна спокойная неторопливая демократия. Я бы сказал так: демократия, которая создает условия для демократии. Кого мы посадим в парламент, если завтра у нас будет парламент? Кучку благородных идеалистов, от века именуемых русской интеллигенцией? Вот уже триста лет эта кучка ничего общего не имеет со своим народом. Люди, обреченные на одиночество в собственной стране! Несчастное порождение великого Петра, ослепленного своим могуществом настолько, что он позволил себе божественную забаву лепить из глины новых людей, из немецкой глины — русских интеллигентов! Кого они могут представлять? Нам нужны интеллигенты, которые могут представлять. Таковых у нас нет, господа, нет! Нужно время и условия для того, чтобы они появились. Условие есть — да, да, все то же освобождение, я не устану это повторять! Освобождение крестьян — главное и единственное условие для развития русской демократии. Теперь остается ждать. Нужно время. Нам нельзя торопиться. Это — наш путь, единственный, на котором мы себя обретем. Нужно терпение. Нам всегда недоставало терпения, и в этом все наше своеобразие, в этом все комическое своеобразие нашей истории, и именно в этом, в нетерпении, — основной недостаток нашего дурного характера.

С такой же страстностью говорили о том, что основной недостаток в терпении.

— Именно в терпении, в тысячелетнем, тупом, безмозгом, холопском, рабском терпении! Вот наша главная, и мерзейшая, и отвратительнейшая особенность! Вы хотите сделать из русского царя няньку, сидящую над колыбелью русской демократии? А нянька ставит пушки и стреляет в колыбель. Или еще лучше — вздергивает младенца на виселицу. Но и это еще не самое страшное, что делает русская монархия. А самое страшное, сударь мой, в том, что она уже не в силах вообще что-либо делать даже в собственных интересах, даже в интересах самосохранения. И причина этой великолепной трагикомедии не в нетерпении, как тут изволили выразиться, а наоборот, в терпении, и только в терпении! Если б не это наше тупое русское терпение, мы бы давно уже отрубили русской монархии голову и не довели бы ее до сегодняшнего смердящего гниения. Революция предотвращает гниение. Мы опоздали с революцией. Запах трупа уже идет от живых людей. У нас одна возможность искупить свою историческую вину — и только одна: смести с лица земли смердящие останки. Карфаген должен быть разрушен!

— Позволю вам напомнить, что все мы находимся в тюрьме. Вот и сметайте...

— Извините, это ровным счетом ничего не доказывает! Карфаген,

как известно, призывал разрушить Катон, а разрушил его, как известно — разумеется, тем, кому это известно! — разрушил его, с вашего позволения, Помпей.

— Катонов, милый человек, у нас хватает — помпеев нет. Где их взять? Нанять за денежки у иностранцев? Так ведь не дадут, когда узнают для чего. Да и денежек где взять? Ленин чего хочет? Ленин хочет смести с лица земли и все такое. А Мартов чего хочет? Мартов сметать не хочет. Вот ведь какая штука! Оно, конечно, Карфаген надо разрушить, а как армию собрать, ежели Мартов свое проведет? Ленин что говорит: хватит разговаривать и давайте свергать. Свергать царя — это работа. Идешь в партию — прежде всего работай. А Мартов что говорит: не надо работать. Пусть все идут в партию. Чем больше, тем лучше. Думать научатся. А Ленин говорит: пока думать все не умеют, думать за всех будем мы. А уж что придумаем, то будем делать все вместе. Ежели, конечно, всем это понравится.

— А ежели не понравится?.. Извините, что перебиваю. Вы так доступно излагаете сложные проблемы российской действительности, я бы даже сказал, так первозданно!.. Ну а ежели все-таки не понравится? Тем более если все, как вы изволили блестяще выразиться, пока думать не умеют? Я бы прибавил — и никогда не сумеют. И с этими недумающими людьми вы потом начнете строить социализм? Весьма оптимистическая концепция! Но я забегаю вперед. Так как же, ежели не понравится? Делать из этого вывод о том, что вы ошибаетесь, вы, конечно, не будете. И не имеете права делать такой вывод — думать-то народ пока не умеет! И выходит, что ежели ему, народу, это и не понравится, то, извините, это никакого значения иметь не будет. Он должен будет делать то, что вы для него придумаете. Для его же, так сказать, пользы! А ежели не для пользы? Ежели вы все-таки ошиблись? Кто вас остановит? Никто! И выходит, что вы не ошибетесь. Никогда. А это уже самая хитрая штука. И знаете, голубчик, как эта хитрая штука называется? Тирания. То есть то, что даже двести лет назад Монтескье выносил за рамки морально-правомочного правления.

И опять возвращались к съезду.

— Нужен еще один съезд — и тогда или — или: или Мартов снимет в программе Ленина пункт о диктатуре, и тогда из партии уйдет Ленин, или Ленин изменит пункт о членстве в уставе Мартова, и тогда из партии уйдет Мартов.

— Вы забываете, что Плеханов тоже принял диктатуру Ленина.

— Недоразумение! Плеханов растерялся.

— Есть еще путь: каждый остается при своем пункте и создает свою партию.

— В таком случае либо мы превратимся в жалкую республику демократов-недоучек, либо — в державу рабов. Выбирайте!

Однажды в разгар спора — кто-то опять говорил, что надо ждать и что все зло от нетерпения, — он не выдержал и крикнул:

— На таких терпеливых ишаках и держится этот ишачий мир!

Ему не ответили. Словно и не расслышали. А у него с этого момента, после того как он крикнул, снова возникло решение бежать.

О побеге он думал еще в одиночке и поэтому все четыре месяца требовал перевода в общую камеру — чтоб получить право на прогулки. Но он не ожидал, что в общей камере будет столько людей. Слушая по ночам то, о чем они говорили, он радовался, что попал в тюрьму. Эти люди в камере, согнанные из разных мест незнакомой ему России, говорили о ее судьбе так, как будто сидели не в тюрьме, а на заседании сената. Он удивлялся тому, какие из их быстрых и ловких русских слов возникали интересные и сложные мысли, и ему доставляло удовольствие их понимать, а некоторые он узнавал, потому что думал об этом и сам. Потом разговоры наскучили — они повторялись, и слова уже не отделялись от лиц, которые он знал, и поэтому он почти знал и то, что каждый скажет. Постепенно это стало его раздражать — то,

что сидят столько людей и только разговаривают. Он понимал, что ничего другого им не оставалось, как изживать в слова то, что накапливалось от вынужденного бездействия, и все-таки это раздражало его, особенно когда говорили, что главное — ждать, и поэтому он крикнул о терпеливых ишаках. И, может быть, оттого, что никто не обратил на него внимания, словно он сказал что-то глупое, в нем возникла злость к ним и к себе — за то, что потерял с ними столько времени, и он тут же вспомнил о побеге.

Пока он сидел в одиночке, в Батум из Тифлиса приехал Асатур Кахоян по кличке Банвор Хачо Борчалинский. Узнав, что он в тюрьме, Кахоян решил устроить побег. Батумский комитет запретил побег — несколько месяцев назад в Метехи застрелили Ладо Кецховели.

О решении Батумского комитета он узнал после перевода в общую камеру. Через охранника Ваню Бычкова. Бычков был из Саратовской губернии и жил в уверенном ожидании революции, после которой сумеет наконец вернуться домой. Поэтому копил деньги.

За окнами общей камеры, рядом, проходила тюремная стена. За стеной были двор мужской гимназии и улица. Он запомнил все с первой прогулки. В одиночке прогулок не разрешали.

В одиночке он просидел четыре месяца — все время, пока допрашивали. Допрашивал начальник батумского отделения жандармского полицейского управления Закавказских железных дорог ротмистр Станов, потом — полицмейстер города Батума капитан Чиковани, потом — помощник начальника Кутаисского губернского жандармского управления в Батумской области подполковник Шабельский. По требованию Шабельского в Гори допросили отца: когда сын уехал в Батум на поиски работы? Ответ отца Шабельский прочел ему на допросе: «Три года сына не видел, ничего о нем не знаю и знать не хочу!» Шабельский рассказал, что о нем докладывали министру юстиции Муравьеву, Муравьев писал министру внутренних дел Плеве, а Плеве советовал представить дело на высочайшее усмотрение. И он тогда искренне пожалел, что не успел прочитать прокламации, которые вез и которые теперь прочтет сам царь. И сказал об этом Шабельскому. Шабельский пообещал дать один экземпляр после решения суда: прочтешь на каторге!

В общей камере на него не обратили внимания, но имя его знали, и он еле сдерживал себя, когда рассказывали о Камо. На Кавказе он уже был знаменит: уже были листовки в театре Артистического общества, во время представления «Гамлета», в тот самый момент, когда появился дух отца Гамлета и на сцене стало темнее от фиолетового света, — то, что темнее всего будет, когда появится дух, предупредил Аршак Зурабов (Аршак — образованный, прочитал тысячу книг, ходил в театр, знал, в каком месте какой свет), — и он бросил пачку в люстру сразу как потемнело, люстра на одном уровне с галеркой, и от нее в антракте на весь зал — свет, листовки от нее полетят тоже на весь зал; и так, через люстру связав себя с партером, бросил листовки, и на следующий день весь город повторял фразу, которую сказала в театре какая-то дама ротмистру Лаврову, — ротмистр хотел отнять у нее листовку, а она ударила его листовкой по щеке и сказала: «Вы — блюститель порядка, почему же вы это допускаете? Теперь по крайней мере дайте прочесть листовку!» — и, несмотря на все это и на переполох и усиленный после этого у театров наряд полиции, еще раз в Казенном театре, на «Ромео и Джульетте», и листовки уже не в люстру, а на голову помощника Голицына Фрезе, и на следующий день во всех газетах сообщение: «В театре на Фрезе совершено покушение»; и еще листовки разносила по конспиративным квартирам пятнадцатилетняя сестра Джаваир, в татарском наряде, и он обучал ее, как ходят татарские женщины — торопливо, мелкими шажками, как будто все время уходят от преследования, — и сам, такими же шажками, закутанный

в чадру, разносил листовки рабочим, строившим новый мост через Куру, и железнодорожным рабочим в Нахаловке, и на Авлабар, и на Майдан, и на Солдатский базар; и была уже организованная им в Харпухах типография, на Супсаркисовской, в доме дьяка Овсепя, который по его требованию обучал у себя хорошему пению, чтобы заглушить шум печатных станков; и еще одна демонстрация, для которой он нашел богатые похороны, а потом вместе с Асатуром Кахояном успел купить в караван-сараях на Эриванской кусок красного ситца и поднял вдруг над похоронной процессией красный флаг; и были уже поездки в Баку за «Искрой» и «Пролетариатис брдзола», которые печатались в знаменитой кецховелевской «Нине», и — в Рион, и в Кутаиси вместе с Михой Бочоридзе, и по дороге в Рион на станциях надо было раздать газеты и листовки, которые они везли, а в Кутаиси он сдавал все своему товарищу Барону Бибинейшвили и оставался там иногда ночь, и обратно, в Тифлис — уже с пустым чемоданом, спокойно, без риска, без билета, под койкой — чтоб сохранить комитетские деньги; и уже знали о нем и в Тифлисе, и в Кутаиси, и в Батуми, и знали, что его можно ждать в любом облике — князя, кинто, прачки, гимназиста, священника, — и его невозможно узнать, пока он сам этого не захочет; и с тем же Бочоридзе, на Авлабаре, под домом рабочего Давида Ростомашвили уже рыли подвал для типографии, и уже он ударил наборщика, который не мог избавиться от привычки петь вместе с хором наверху, в доме дьяка Овсепя, а после этого наборщик перестал петь, и об этом уже тоже знали — о том, что он нетерпим и даже жесток, и Красин однажды в Баку так и сказал Кецховели, — он с пустым чемоданом ждал, когда ему принесут газеты, и услышал, как Кецховели в соседней комнате спросил: «Руководить ему еще рано, мальчишка?», а Красин ответил: «Этот мальчишка не прощает промахов и даже жесток» — и рассказал историю с наборщиком, который пел; и знали уже о нем и то, что он не любит, когда его спрашивают, как он собирается сделать то, что ему поручают, потому что тогда ему казалось, что перестают верить в его неправдоподобную удачливость, а к тому времени у него были уже и свои ученики, и он обучал их яростному умению во что бы то ни стало добиваться удачи.

Арестовал его 27 ноября 1903 года на батумском вокзале рослый жандармский унтер-офицер Илларион Евтушенко. Заступил Илларион Евтушенко на дежурство, увидел человека в пальто, с чемоданом и корзиной в руках и сказал себе: «А давай-ка, Илларион, проверим!» И проверил. И счастливо рассказал потом об этом сам. По дороге в жандармское отделение он предложил унтеру пятнадцать рублей, потом — двадцать, потом двадцать пять, все, что у него было. Унтер двадцать пять рублей взял, привел в жандармскую комнату и сдал жандармскому ротмистру. И двадцать пять рублей сдал. И ушел. Ротмистр стал допрашивать.

Это был его первый арест. В январе того же года он вез александропольским поездом две тысячи прокламаций и листовок. Кто-то обратил внимание на тяжелый чемодан. Двое жандармов вежливо предложили взять чемодан и вынести в тамбур. В тамбуре попросили открыть. Он растерялся и открыл. Они радостно присели перед открытым чемоданом. Неожиданно для себя — просто оттого, что увидел вдруг рядом у самых своих рук две жандармские головы и не успел преодолеть мальчишеского искушения, — еще не приняв никакого решения, схватил обоих за шиворот и ударил головами. Они успели обернуться, и он увидел их удивленные оглушенные лица, и у одного уже закатывались глаза, и вдруг, поняв, что это спасет, еще раз — с силой, с торжествующей яростью, головами! — и показалось, что головы лопнули от удара, — распахнул дверь и прыгнул в черное грохочущее пространство, выбросив вперед руки, как прыгал с горийского моста в Куру. Уже скатившись с насыпи и с удивлением встав на ноги, пожалел, что оставил в тамбуре чемодан.

В общей камере на нарах рядом лежал парень лет восемнадцати. У него были большие спокойные глаза, и на груди под тюремной рубахой висел крест. Парень рассказал, что его арестовали за участие в стачке на заводе Пассека. И сказал, что его зовут Иван Певцев. А он потрогал на груди у парня крест и спросил:

— Ты что, Певцев, веришь в бога?

— Верую,— сказал парень и стал ждать, о чем он спросит еще.

Он спросил:

— Веришь, что все бог создал,— для чего тогда стачка?

Певцев помолчал и вдруг обстоятельно рассказал о своей вере. Бог через плохое свою волю посылает. Сначала учит — вот десять заповедей: это — плохо, это — хорошо. Потом посылает плохое, вот тебе плохое — что станешь делать? Подчинишься плохому — нарушишь заповедь, не выполнишь волю божью, не подчинишься — выполнишь заповедь, выполнишь волю. Стачка — воля божья.

Певцев его удивил. Певцев напомнил то, о чем он иногда думал сам. Коба как-то сказал: «Человек должен верить в свою правоту. Это освобождает». Верил Коба в свою правоту?.. Певцеву легко, он от десяти заповедей танцует. А без заповедей?.. Однажды сидели у Ханояна, на Хлебной площади, на квартире, где собирался Тифлисский комитет — Аршак Зурабов, Коба, Бочоридзе, Рамишвили, еще несколько человек. Аршак рассказывал об Ульянове, брате Ленина, которого повесили за то, что он готовил покушение на царя. Вдруг пришел Ной Жордания. Жордания приходил редко — только на заседания Комитета. В тот вечер он увидел впервые Жордания — с львиной гривой, с пронзительными неподвижными глазами. Жордания заикался.

— Ленин х-х-хочет д-довести до к-конца то, что н-н-начал брат. Ленин г-г-готовит всен-н-народное пок-к-кушение н-на царя.

Коба усмехнулся:

— А вы не доведете до конца и того, что начали сами.

Жордания спокойно спросил:

— Ч-ч-чего именно?

— Революцию,— сказал Коба.— Вы заложите ее в национальный банк, на проценты.

— Ош-ш-шибаешься,— сказал Жордания.— Мы с-с-спасем р-революцию от без-з-зродных голодранцев в-вроде т-т-тебя.

Коба рассмеялся. Жордания потом выступил на первом кавказском съезде со своей программой и требовал создания отдельных национальных комитетов. Жордания не поддержали (кавказский съезд проходил в Тифлисе, он встречал делегатов, разводил на конспиративные квартиры, провожал на заседания и после заседаний. На последнем ночном заседании съезда избрали единый Кавказский союзный комитет и от Кавказского комитета — делегатов на Второй съезд в Лондоне: Аршака Зурабова, Кнуньянца и Топуридзе. Жордания поехал в Лондон сам. Без права голоса).

О том, что в Лондоне должны принять программу и устав и что по этому поводу между Лениным и Мартовым есть уже разногласия, он знал еще после кавказского съезда. Но о том, что произошло на съезде, узнал в общей камере.

За несколько дней до побега, утром, он присел на нары Певцева и рассказал, как верил в детстве в бога — ходил в церковь, помогал матери тайком от отца раздавать милостыню.

— А отчего перестал верить, знаешь?.. Отец пил, с женщинами путался, бил мать. Через это тоже воля божья? Мать терпела, в бога верила — чем все кончилось? Умерла — на гроб денег не хватило. То же воля?! Плевать на такую волю!

Певцев молча смотрел на него большими спокойными глазами, казалось, слушал глазами. Тихо, словно про себя спрашивал:

— А правота откуда? Правоту откуда взять? Веру-то, веру где взять без бога?

— Правота что такое, Певцев? Все умные слова говорят, а кто прав? Один священник в Гори учил: кто ближе к богу, тот и прав. А кто ближе к богу? Христос к богу ближе всех был — что с ним сделали? Руки-ноги гвоздями к кресту прибили, целый день под солнцем на гвоздях висел, мухи жрали!

— Христос сам пошел на крест, он знал, что так надо.

— Кому надо? Откуда Христос знал, что надо?

— Верил... Правота от бога.

— Я тоже верю: надо царя скинуть. Надо драться, надо изменить этот собачий мир, вот и вся вера!

— Мир — божий. Изменить его может тот, кому божья воля будет.

— Хорошо, ты сиди здесь и жди!..

— Ты тоже сидишь.

— Я убегу!

— Будет воля — убежишь.

— Запомни: я — убегу! Еще запомни: что сделаешь, то и будет.

Пока жив, нет такой вещи, которой не можешь. Запомнил? Теперь иди, молись.

С Певцевым он говорил каждый день. До самого дня побега. Почему-то ему надо было, чтоб Певцев перестал верить. Он требовал, чтоб Певцев возражал. Певцев слушал — больше слушал, вдруг отвечал одной фразой, тихо, испуганно, казалось, и не ему вовсе, а самому себе:

— А как же без бога? Где смелости столько взять, чтоб посреди мира, без бога, одному?

Он сдерживался, говорил медленно, искал русские слова. Певцев не подсказывал, спокойно, озабоченно ждал каждого его слова. В конце концов он взрывался, и тогда слова возникали сами:

— Мать моя верила, верила, верила... И вот нету ее! Совсем нету, понимаешь? Где она? Почему она умерла? Верила, что так надо?! А что надо, знаешь? Убить таких, как мой отец, а таких, как моя мать, всех собрать и сказать: вы терпели, мы не терпели — кто прав?

Певцев смотрел на него тихими грустными глазами, молчал, думал о чем-то своем. Он хватал его за ворот рубахи, яростно, задыхаясь, шептал:

— Ты о своей матери думай! Что она сейчас делает, знаешь? Плачет! Мои сестры тоже плачут. Думаешь, я не могу моих сестер накормить? Не хочу! Не хочу, чтоб они в этом ишачьем мире сыты были! А кто других накормит, знаешь? Бог?! Нету бога! Раз моя мать умерла, нету бога! Понял?! Никто ничего не сделает, если ты не сделаешь! Понял?.. А теперь иди, иди молись!

В день побега с утра шел дождь. Бычков накануне принес записку от Кахояна: Батумский комитет еще раз запретил побег. От себя Кахоян прислал двадцать рублей. Он отдал двадцать рублей Бычкову — Бычков выпустит его по надобности, а потом забудет, что выпустил. Больше от Быčkова ничего не требовалось. Бычков согласился.

Выходя из камеры, он попрощался с Певцевым.

— Дай тебе бог! — сказал Певцев.

Он перебежал тюремный двор, когда охранник на башне отвернулся — на миг отвернулся, и в тот же миг он пронесся вдоль стены тюремного здания, забежал за угол, куда выходили окна камеры, не останавливаясь, с разбегу прыгнул, схватился крючьями согнутых пальцев за решетку и, не теряя инерции, продолжая прыжок, с силой выбросил себя за стену. Упал, прижавшись к земле. Охранник на башне не крикнул и не выстрелил. Донесся гудящий топот сапог. Он посмотрел туда, откуда донесся топот, увидел длинную пустынную улицу и понял, что через мгновение из-за угла появится отряд солдат. Он присел на корточках, не вставая прыгнул, цепко, по-кошачьи схватился за край стены, вбирая в руки все тело, мгновенно подтянулся,

навалился на верх стены, перебрал ноги и прыгнул обратно во двор тюрьмы. Не торопясь отряхнул рубаху и брюки, протер краем рубахи мокрое от дождя лицо и прошел в клозет. Уже входя в сопровождении Бычкова в камеру, слышал гудящий за окнами топот сапог. Певцев подсел к нему и, не зная, как успокоить, сказал:

— Ты схватился руками за решетку, я видел...

Он не ответил. Певцев отошел.

Наутро он потребовал, чтоб его отвели к врачу. Охранник, сменивший Бычкова, — он его не знал — сказал, что здоровых к врачу не водят. Он стал объяснять, что болел малярией и чувствует приближение приступа, потом им же придется возиться, охранник сказал:

— Хватит болтать!

Кто-то крикнул:

— Не имеете права оскорблять!

Охранник спросил:

— А я что сказал?

— Вы сказали: болтать.

В конце концов охранник извинился и отвел его к тюремному врачу. Врач дал разрешение на дополнительные прогулки.

Потом он стал дрессировать поросят. Поросята принадлежали начальнику тюрьмы. Они бродили по тюремному двору и чувствовали себя на свободе. На них смотрели из окон камер и со сторожевых башен. Он провозился с поросятами около месяца и научил их по команде кувыркаться, ложиться на спину и визжать.

Однажды поросята стали кувыркаться. Солдат на башне смеялся. Дождя не было. Он медленно, прогуливаясь, прошел до угла тюремного здания (к тому, что он гуляет один по двору, уже привыкли), зашел за угол — туда, где его уже не было видно, — постоял, прислушиваясь к визгу поросят, легко, уверенно прыгнул, схватился за прутья оконной решетки, повис на руках, глядя сверху за стену, увидел стоящего у стены на улице Бычкова (Бычков подал знак), посмотрел сквозь решетку в темноту камеры, спокойно, негромко сказал: «Не забудь помолиться, Певцев!», прыгнул на стену, но не удержался и упал со стены на голову Бычкова. Бычков от удара присел, тут же вскочил, бросил ему плащ и убежал.

Он лежал на булыжниках и ждал крика охранника. Из-за стены доносился визг поросят. Пошел мелкий щекочущий дождь. В конце улицы показался извозчик. Он быстро встал, надел брошенный Бычковым плащ, пошел навстречу извозчику, по-барски, едва заметным жестом остановил его, впервые за десять месяцев сел в мягкое, глубоко пружинившее сиденье под низкий, уютно шелестящий под дождем верх, назвал адрес Хачо Борчалинского, предупредил, чтоб извозчик ехал не торопясь, и закрыл глаза. Ничего не было, подумал он, ни одиночки, ни общей камеры, ни охранников...

Потом его удивило, что он не ждет погони. Он высунул голову под дождь и оглянулся — улица по-прежнему была пуста. А может быть, Певцев прав, подумал он, надо, чтоб я убежал?.. Почему тогда не убежал в первый раз? Тогда не надо было?.. Чепуха! Все дело в поросятах. Он рассмеялся. Извозчик слегка обернулся, думая, что он обратился к нему, и так, полуобернувшись и опустив под дождем голову, ждал, что он скажет.

Он спросил:

— Ты в бога веруешь, отец?

Извозчик отвернулся и хлестнул лошадей.

Вчера, когда Владимир Александрович собрался уже уходить, Соня спросила:

— Владимир Александрович, а вы любите Баха?

— Люблю ли я Баха? Софья Васильевна, голубушка, говорите проще.

— Мне кажется, Бетховена вы любите больше, чем Баха.

— Соглашаюсь, чтоб не нарушать течения вашей мысли. Так что из этого следует, позвольте полюбопытствовать?

— Течение моей мысли зависит от вашего ответа — кого вы любите на самом деле?

— Если я отвечу: Баха, я спутаю все ваши карты?

— Конечно.

— В таком случае я люблю Бетховена.

— Очень великодушно, но вы действительно любите Бетховена.

— Что ж, уважаемая, извольте: я люблю Бетховена, я не приемлю этот трагический незыблемый вечный баховский мир, да, да, я, так сказать, оспариваю создателя, если угодно, вообще посылаю его ко всем чертям! Извините... Одним словом, я — революционер. Что вы имеете против этого возразить? Кроме того что вы, конечно, больше любите Баха.

— Владимир Александрович, революция уже сделана...

— Вы хотите сказать, что по существующей исторической традиции наступило время ее растоптать?

— По существующей исторической традиции наступило время для нормальной жизни.

— Ошибаетесь, голубушка, нам еще будут мешать. Нам будут все время мешать. Пока не произойдет мировая революция.

— И вы собираетесь до мировой революции жить на баррикадах?

— У нас нет другого выхода, уважаемая Софья Васильевна.

— А вас не останавливает, что все остальные — я имею в виду наших соотечественников — предпочитают жить не на баррикадах, а в удобных квартирах?

— Прекрасная женская логика! К сожалению, мир, достойный этой логики, еще не создан.

— Хотите создать его на баррикадах?

— С вашего разрешения!

— Вот что значит любить Бетховена больше, чем Баха!

— Ваш Бах дальше религиозного самопостижения не идет.

— А вы хотите пойти дальше самопостижения?

— Грешен!..

— Послушайте, Владимир Александрович, вам нет и пятидесяти — влюбитесь! По-моему, все дело в том, что у вас до сих пор не было времени влюбиться.

— Видите ли, милая Софья Васильевна, я действительно ухлопал массу времени. Особенно — на тюрьмы. Единственное успокоение, что я его никогда не терял на себя.

— Еще бы, терять на себя то, что предусмотрено на тюрьмы!.. А теперь, когда тюрьмы не угрожают, вы будете успокаивать себя тем, что строите государство — опять же, чтоб не терять время на себя?

— Послушайте! Нам действительно прежде всего надо построить государство! И как можно скорее, срочно! И учтите — нам никто не станет помогать. Больше того, на нас еще нападут. Нам нужна армия, хорошо, современно вооруженная армия! А для этого нужна промышленность, да, да, голубушка моя, Софья Васильевна, вот такая грубая конкретная проза государственной жизни: промышленность, металлургия!.. Вы не знаете, где их взять? Я тоже не знаю. И ни Бах, ни Бетховен нам не помогут. А поможет — электрификация! Так-то вот... Напишите, напишите о Восьмом съезде, молодой человек, напишите о том, что такое для нас электрификация и что такое для нас армия. Армия нужна, чтоб создать электрификацию, а не наоборот. Ленин очень точно об этом сказал: частичная демобилизация и электрифика-

ция. Малейший перегиб опасен. Он уведет от цели, а самое трудное, уважаемый Камо, это уберечь цель от самих себя. Особенно когда борешься с перегибом. Когда борешься с перегибом, труднее всего не перегнуть самому. Может быть, сегодня именно это меня и подвело.

После его ухода Соня сказала:

— Его подвела интонация: у него все еще одни восклицательные знаки, а наступило время вопросов.

Она помолчала, долго смотрела в темное вечернее окно с редкими огнями Кремля.

— Сыграй что-нибудь Бетховена,— попросил он.— А потом — Баха. Я хочу понять, о чем вы спорили.

Глава четвертая

Иногда он часами смотрел на стены — не на фотографии и не на картины отдельно, а на все вместе и на то, что было за окном,— разноцветные крыши, ветки деревьев, Боровицкая башня, все это тоже становилось частью стены, и старинный, полустертый рисунок обоев все связывал. Казалось, перевесь фотографию, пошевельнись — и все рухнет, и он сидел неподвижно, боясь шевельнуться, чтоб не потерять это цепенящее, пронизывающее ощущение единости. Потом, когда это проходило, он думал о том, что же это было? Показалось ему, или все на самом деле едино и он только иногда начинает это чувствовать? Раньше не чувствовал. Ничего такого вообще раньше с ним не происходило. Все оттого, что целыми днями вот так сижу. Как в тюрьме... Нет, в тюрьме всегда думал о том, что надо убежать. И в Берлине, и в Метехи, и в Михайловской больнице... Сейчас ни о чем таком не думаю. Ничего не надо делать. Надо только что-то открыть, какой-то клапан внутри — и все само входит в тебя, и это уже не зависит от тебя, а остается только чувствовать, как это с тобой происходит, и можно еще думать о том, что ничего такого раньше не происходило, да и не могло происходить, потому что терпеть не мог бездействия. Главное до сих пор было одно: принять решение и тут же привести в исполнение. Без раздумий. Будешь раздумывать — придет страх. Теперь надо думать. О чем? О Пушкине, цыганах, царе Иване, каком-то опричнике, о том, что было за эти двадцать лет, об этой стене... Для чего? Это называется образованием. Сидишь — и думаешь. И все происходит не снаружи, а внутри. Какой в этом смысл? Смысл только в том, что делаешь снаружи, для того чтобы лучше стал этот дурацкий мир. В чем смысл того, что делаешь внутри?.. Внутри все делаешь для себя. Как будто и не сам делаешь, как будто кто-то лезет в тебя — твоя же ожившая в тишине память, и эти окружающие со всех сторон старые вещи, и эти фотографии, и все эти алеко, онегины, мцыри, плюшкины, и слова, слова, и эта стена, и окно на стене, и обои на стене... Для чего все это? Сколько образованных было в батумской тюрьме, говорили, как министры, а что толку?.. Толк — в деле. Побеждает тот, кто делает дело. Ленин делал дело и победил. Тогда для чего книги? Все начнут думать, каждый будет доказывать свое. Все уже было. Если бы не Ленин, так бы до сих пор и болтали. Теперь Ленин сам говорит: надо читать... Для чего читать, если все ясно?

Однажды он уже об этом спросил. Это в тот вечер, когда все было здесь. После того как Горький сказал насчет птиц — о том, что здесь раньше жили синицы, а он сказал: а теперь живу я, только петь не умею, и Горький сказал: научим, а Ленин прибавил: для того и революцию делали! — а он удивился и, не замечая, сказал вслух то, о чем подумал:

— Революцию делали, чтобы петь?

Ленин рассмеялся и сказал:

— А вы думали, революцию ради самой революции делали, мой дорогой Камо? Нет, батенька, революция для того, чтобы все научились петь, именно петь. И кто этого не поймет, тот неизбежно станет врагом революции.

Ленин, конечно, вкладывал в это слово «петь» свой особый смысл, но он не решился спросить, о чем Ленин говорит, а Ленин это понял и вдруг серьезно сказал — то, что и до этого много раз говорил:

— Надо читать книжки! Да, да, революция прежде всего для того, чтобы все могли читать книжки.

И он снова не решился спросить то, чего не понял: для чего книжки, если все ясно?.. Что-то, значит, остается неясным даже для Ленина. Что? То, что происходит сейчас с этой стеной? Или — со мной? Какое это имеет значение? И что изменится от того, что я это узнаю?.. Что-то тут я опять не понимаю, подумал он, может быть, потому и не понимаю, что не читал... И опять вспомнил батумскую тюрьму — как в общей камере по ночам, под шум дождя, невидимые в темноте люди говорили о том, что ждет Россию, — никогда больше потом ему не приходилось слышать сразу столько разных и противоположных мнений. И каждый считал, что он прав. Дело, конечно, не в том, что считает каждый. Но в чем? И почему Ленин все время говорит о книгах? Мать говорила: посмотри на отца, Сенько, сила душит его, он не знает, как ее выпустить, а учеба что такое — это сила из тебя спокойно выходит, учеба спасет тебя, Сенько! Мать боялась отцовской силы — той, что внутри... Жизнь зависит от того, что внутри человека? Для чего тогда революция? В пятом году во время армяно-татарской резни было братание армян и татар. Хотели остановить резню. Братание могло остановить резню? Братание — от того, что внутри человека, а от чего — резня?.. От того, что снаружи? Говорили, резню устроил наместник. Комитет поручил ему и Орджоникидзе бросить прокламации — чтобы превратить братание в демонстрацию против наместника. И это тоже было против резни. А от чего демонстрация, от того, что внутри человека или снаружи?..

Во дворе Банковского собора стояла толпа татар. Из открытой двери церкви доносилось пение женских голосов. Серго спросил:

— У армян как крестятся — слева направо или справа налево?

Он коротко перекрестился и ответил:

— Слева направо.

— У тебя такое лицо, как будто ты сейчас молиться начнешь! — сказал Серго.

— А ты хочешь, чтоб я «Варшавянку» здесь пел?

Он узнал патарак, который пели в горийской церкви. Мать ставила девять свечей: за пятерых оставшихся в живых детей, за отца, за себя, за сестру Лизу и ее мужа Гевурка Бахчиева, который им помогал. Потом становилась в углу, у алтаря, почти прижавшись лицом к стене, как стоят наказанные ученики, и стояла так долго и неподвижно. Однажды он ее спросил:

— У тебя глаза открыты, когда ты там стоишь, или закрыты?

Она удивилась и ответила:

— Не знаю, Сенько.

Из церкви стали выходить, впереди шел епископ, за ним — несколько священников и дьяки. Посреди двора епископ остановился, воздел руки и стал по-армянски благословлять татар. Маленький старик в чалме поднялся на каменное основание ограды и, держась одной рукой за решетку, другой стал раскачивать над головой и нараспев, по-татарски обратился к толпе.

Епископ пошел к ограде — туда, где стоял мулла. Толпа испуганно расступалась. Серго обернулся по сторонам и неторопливо, чтоб все видели, три раза перекрестился. Епископ подошел к мулле. Мулла протянул ему руку, другой рукой продолжая держаться за решетку ограды. Епископ обнял муллу. Толпа ахнула. Какой-то татарин в бараньей папахе вскочил на основание ограды, сорвал папаху и вдруг по-армянски стал проклинать тех, кто убивает друг друга в Баку и Елизаветполе. Женщины запричитали.

Толпа во дворе церкви увеличивалась. Мелькали гимназисты. Они ждали сигнала — первыми должны были бросить листовки он и Серго. Звуки не стихали, женские голоса пели все тот же горийский пата-рак... Год назад, весной, еще до батумской тюрьмы, он забежал сюда, в Ванкский собор, когда за ним шел ротмистр Лавров. Что-то ротмистру показалось подозрительным, вероятно, набухшее от листовок пальто, да и само пальто — весной в Тифлисе... Он ссугулился, чтоб спрятать выпирающую грудь, но было поздно. Лавров быстро пошел за ним, а он свернул за угол и побежал и вдруг увидел двор и двери церкви — надо было скрыться, прежде чем Лавров выйдет из-за угла, и он забежал в церковь. Службы не было. Высокий худой священник в черном что-то поправлял у алтаря, на гул шагов не обернулся. Он прошел в угол алтаря и стал лицом к стене — не для того, чтобы спрятать лицо (так странно стоящий у стены, лицом к стене, как раз мог вызвать подозрение), а машинально повторяя то, что делала мать, потому что с того момента, как он вошел в этот гулкий полумрак, перерезанный вверху клубящимися снопами света, и запах ладана и воска, и тусклое свечение алтарного золота, и долгое взлетание к гулкому куполу каждого шага, — с того момента, как он вошел во все это, словно бежал по краю пропасти, вдруг сорвался и не упал, и пространство подхватило его, — с этого момента он словно увидел мать, узнал — по чувству благодати, которое вызывала только она, и он уже все делал потом, подчиняясь этому чувству и не думая об опасности, от которой только что бежал, и поэтому прошел к алтарю и стал у стены, лицом к стене, и стоял так долго и неподвижно, как стояла мать.

Из церкви выходили с зажженными свечами. Был ветер, и во дворе свечи гасли. Хор в церкви смолк. Епископ и мулла стояли рядом, обняв друг друга за плечи, и по очереди говорили, обращаясь к толпе. Их не слушали. Громко, запрокидывая головы, запели во дворе дьяки. Священники стали что-то выкрикивать. Один из них, быстро, не давая опомниться, обнял кого-то в чалме, потом — второго, третьего, торопливо, с отчаянием, словно боясь не успеть обойти всех. За ним стали обнимать татар другие священники. Какая-то старуха схватила руку Серго и стала целовать. Серго испуганно выдернул руку, а она плакала и о чем-то просила. Коренастый человек в плотно застегнутой до горла черной визитке вскочил на основание ограды и, обливаясь потом, кричал:

— Все идем к богу! Каждый идет к богу своим путем. Но тот, кто убивает, тот не идет к богу!..

С другой стороны, у ограды, тоже поднявшись на ее основание и держась одной рукой за решетку, стоял огромный человек в рваной черкеске, клялся в братстве и вечной любви, а потом достал из ножен кинжал и стал его целовать. Как-то в Гори, после церкви, мать сказала — в год, когда она умерла, — его удивила тогда убежденность, с которой она это сказала:

— Наступит, Сенько, наступит, наступит божье царство!..

Серго шепотом, в ухо спросил:

— Чего ждем?

И он сразу и очень ясно понял, что ничего не ждет, а боится разрушить то, что происходило во дворе.

Снова запел женский хор.

Он коротким бешеным движением вырвал из-за пазухи листовки и стал протискиваться сквозь толпу, всовывая их незаметным движением опущенных рук. Серго пошел за ним. Он услышал, как Серго громко сказал:

— Патриаршьё благословение!..

Потом он дошел до ограды, поднялся на каменное основание, увидел перед собой сразу весь двор, тесно забитый головами, молча, с силой бросил над головами вверх пачку, за ней — вторую, третью, четвертую — все, что у него было, и со всех сторон над толпой стали взлетать листовки — это бросали гимназисты, а Серго весело выкрикивал:

— Патриаршьё благословение!

Листовки были на трех языках — грузинском, армянском и азербайджанском, их хватали на лету, шумно, по-детски радуясь, женщины прятали их, некоторые целовали, прежде чем спрятать.

Он крикнул:

— Надо идти на Головинский, к дворцу наместника! Хватит молиться!

Серго протиснулся к нему, встал рядом и достал из кармана листовку.

— Вот что пишет Лопухин! — закричал Серго. — Лопухин — директор полиции...

Кто-то деловито поправил:

— Директор департамента полиции!

— Правильно! — почему-то обрадовался Серго. — Департамента! Вот что пишет директор департамента! Это — секретное донесение...

— Как к тебе попало, если секретное?

— Полиция от него секретов не держит!

— Провокатор!

Кто-то схватил Серго за пояс и хотел стащить. Серго ударил его. К ограде подходили рабочие — он узнавал лица железнодорожных рабочих с Нахаловки, где он несколько дней назад раздавал листовки. Серго стал читать, стараясь перекричать хор:

— «Ослабли пружины полицейских механизмов. Недостаточны одни только военные силы. Надо разжигать национальную расовую вражду. Надо организовывать черные сотни. Надо превращать борьбу полиции с кружками в борьбу одной части народа против другой части народа!..»

Это был текст секретного донесения, перехваченный месяц назад. Текст переслали Ленину. Ленин поместил его в «Искре». Потом «Искру» прислали в Тифлис. Серго тогда предложил украсть пушку, поставить в подъезде на Дворцовой и стрелять по дворцу наместника.

Хор еще некоторое время звучал, потом тоже смолк. Голоса и крики во дворе стали тише, казалось, без пения все растерялись и теперь, в тишине, чего-то ждали. Стало слышно, как маленький мулла громко, нараспев призывает идти к мечети. Один из гимназистов взобрался на ограду, сел, просунув ноги между прутьями решетки, и, тонко напрыгая хрупкий ломающийся голос, читал листовку:

— «Вы, армяне, татары, грузины, русские! Протяните друг другу руки, смыкайтесь теснее и на попытки правительства разделить вас единодушно отвечайте: долой!..»

Кто-то снизу, из толпы выхватил у него листовку. Гимназист пнул его ногой, а тот, падая, схватил гимназиста за ногу и стащил. На парапет ограды поднялся человек в черной визитке, громко, четко сказал:

— Спасайтесь от самих себя! Беда в нас самих, в нашем невежестве, в предрассудках! Правительство делает все, чтоб предотвратить...

Его хотели столкнуть, но он удержался, схватил обеими руками решетку ограды и торопливо выкрикивал:

— Идите в Сиони, идите на татарское кладбище, клянитесь друг другу в вечном братстве!..

Епископ что-то сказал молодому священнику, и тот стал пробираться к дверям церкви. Потом в церкви снова запели женские голоса. Раздались рыдания. Над толпой появился человек в замасленной куртке — он сидел на чьих-то плечах и кричал, подняв руку:

— Рвите листовки! В них — гнусная клевета! Она рассчитана на то, чтобы разжечь ненависть к правительству и вашими руками захватить власть!..

Человек в куртке стал клониться вперед, вытянул руки и схватился за головы стоящих рядом, но не удержался и медленно сполз в толпу, головой вниз. Епископ и мулла, перебивая друг друга, звали идти к мечети и на татарское кладбище. Толпа двинулась к выходу. Серго с ненавистью сказал:

— Пение на них действует сильнее, чем правда!

Он подумал: может быть, Серго тоже о матери вспомнил?.. Вслух он сказал:

— Пение — тоже правда. Раз действует... Надо вместе с ним действовать.

У Сионского собора присоединились грузины и русские. И здесь клялись в братстве, обнимали друг друга и плакали, и из собора доносился громкий отчаянный хор певчих, и епископ по-грузински и по-русски призывал проклятья на головы тех, кто убивал друг друга в Баку и Елизаветполе, а потом обнял маленького муллу и армянского епископа и тоже звал идти к мечети и на татарское кладбище.

С утра было пасмурно — когда пошли к мечети, выглянуло солнце. Засияли лазурные кружева минарета. Ослепительно сверкала Кура. Епископ и мулла шли впереди. Перед ними несли иконы из Сионского собора. У Ишачьего моста стояли полицейские. Толпа заполнила мост. Полицейские сгоняли с моста:

— Провалится мост, господа, утонете, под мостом — водоворот!

Татары не понимали по-русски, хватались за перила, армяне им объясняли по-татарски, тащили с моста на Майданскую площадь. С противоположной стороны площади, из церкви Суп-Геворка и мечети, что стояла над серными банями, спускалась еще толпа. Площадь заливал солнечный свет. По голубому небу неслись клочья белых облаков. Дул сырой февральский ветер.

Маленький мулла и второй, повыше, в большой белой чалме, который встретил толпу у мечети, о чем-то совещались с епископом у дверей мечети, потом, раздвигая перед ними толпу, их повели на середину площади. На высоком противоположном берегу Куры, в решетчатых окнах Метехской тюрьмы виднелись лица арестантов. Гладкие стены тюрьмы и окна озарял солнечный свет. Глядя на Метехи, он каждый раз представлял в одном из этих окон свое маленькое булавочное лицо.

Перед татарским кладбищем, на пологом склоне, стояли женщины с распущенными волосами. Увидев толпу, завывали, визгливо выкрикивали непонятные слова, падали на колени, превращались в черные раскачивающиеся пирамидки. Толпа стала на краю кладбища, внизу, вдоль крутого откоса, которым склон обрывался к чахлой речке Дабаканке. Женщины с распущенными волосами замолкли. В тишине доносился шум водопада из Ботанического сада. Говорили по-татарски и по-армянски, задыхаясь, не успев отдышаться после крутых улочек, по которым поднимались.

Еще по дороге на кладбище он увидел татарских мальчишек — они стояли на плоских крышах, и вокруг них по крышам бродили голуби. Мальчишки пришли с толпой на кладбище, и он заметил, что голуби были теперь у них за пазухой. Он собрал их, поднялся с ними по скло-

ну, обойдя кладбище сверху, и оказался над толпой, стоявшей у нижнего края кладбища. Потом мальчишки стали выкидывать в небо голубей и свистели, и все стоявшие внизу подняли головы и смотрели, как летают голуби. Раздались свистки, подгоняющие голубей, и он сначала подумал, что это, вероятно, гимназисты, а потом решил, что могли быть и не гимназисты,— после того, что было во дворе Ванкского собора, все только повторялось — и в Сиони, и у мечети, и здесь, на кладбище, и поэтому взлетевшие вдруг голуби могли даже обрадоваться. И он опять стал кричать, что надо идти на Дворцовую — хватит молиться и зря болтать, а надо идти к наместнику, и пусть он скажет, кто устроил резню в Баку и Елизаветполе. В ответ засвистели еще громче, и несколько голосов тоже крикнули, что надо идти на Дворцовую, а голуби, вероятно, думали, что это кричат и свистят им, и не сиделись, а продолжали летать.

Потом быстро, гулко шли опять по тесным улочкам вниз и мимо второй мечети, с долгой глухой кирпичной стеной, над которой торчала хрупкая башенка минарета, и голоса сливались в звенящий грохот, а на крутых поворотах почти бежали, и в узкие просветы между крышами и стенами врывались снизу купола зарывшихся в землю серных бань, похожих на женские груди. С Майдана, не останавливаясь, шли по Армянскому базару, плотно заполняя мостовую и тротуары, а на Эриванской разлились сразу по всей площади до самого караван-сарая и медленно, сплошным телом двинулись на Дворцовую. Серго успел купить в караван-сараяе кусок красной материи, а он сломал тонкую гибкую ветку платана в Пушкинском сквере перед караван-сараяем, и красный флаг на этой ветке потом гибко раскачивался над толпой.

На Дворцовой неподвижно стояли на тротуарах полицейские. Их оттиснули, и потом они стояли, прижавшись к стенам домов. Окна дворца были зашторены мелкими нарядными волнами белых занавесок. Занавески возмутили его, как будто кто-то повернулся к нему нарядной роскошной спиной, а может быть, это взорвалось в нем все, что накапливалось за этот странный напряженный день — но именно после этих занавесок, после того, как он увидел их аккуратную презрительную невозмутимость, он вдруг и неожиданно для самого себя заговорил: сначала что-то бессвязное и быстрое, словно и не говорил еще, а только разбрасывал слова, которые ему понадобятся, и поднял еще выше флаг, схватив тонкую ветку за самый конец, и флаг теперь упруго, с силой метался из стороны в сторону, и это было как если бы металась его не находившая себе выхода ярость. Потом он взлетел над толпой и не сразу понял, что это его подняли, и ноги его стояли теперь на чьих-то плечах, и он, уже не узнавая своего голоса, не останавливаясь, выкрикивал странно и легко приходившие слова о революции, народе, резне, царе, демонстрации 22 апреля. Аракеле Окуашвили, о том, как нес Аракел флаг и как он шел за ним, чтоб подхватить флаг, когда Аракел упадет, и о дашнаках, и грузинских федералистах, и о нациях вообще, о том, что нет вообще наций и скоро ни дашнаки и никто другой не сумеет отделить один народ от другого, потому что грузин женится на армянке, а армянин — на татарке, и армянка выйдет замуж за русского и черкеса, и дети их уже будут не русские, не грузины, не татары, не армяне и не черкесы, а все смешаются и станут одним народом, но для этого надо сначала скинуть царя и всех других, кто разделяет народы и натравливает один народ на другой... А что такое царь? Рыжий дурак — как на портретах! Чего он хочет? Ничего не хочет! Сидит на своем кресле!.. Кресло его черви кушают, а он сидит! На мою жизнь, говорит, хватит, а там — что будет!.. А что будет? Помойная яма будет! Публичный дом будет! Наши сестры проститутками станут! И наши матери перестанут молиться, когда это увидят, они забудут слова своих молитв и будут проклинать себя за то, что учили нас молиться, а не драться! За то, что родили послушных ишаков, а не людей! Что — ишак!.. Ишак — и тот кричит! А мы что дела-

ем? Режем друг друга?! Чтоб им легче было! Чтоб они крепче держали нас за горло! У нас что, своих рук нет? Мы сами не можем взять их за горло?! Мы так их можем взять за горло, что у них глаза выскочат! Если бы моя мать была жива, она сказала бы: правильно, Сенько, не молиться надо, а надо скинуть тех, кто сидит наверху, раз они не могут устроить хорошую жизнь, и надо самим подняться наверх и устроить хорошую жизнь!.. Вот что скажет моя мать! Кончилось время молиться. Надо взять в руки оружие и делать восстание! Надо разрушить их дворцы, выгнать их на площадь и казнить, и этого все равно будет для них мало, потому что сколько лет они мучают людей?! Тысячу лет, сто тысяч лет!..

С Дворцовой пошли к Кошуэтской церкви, и у Кошуэтской церкви уже никто, кроме него, не говорил, и на Солдатском базаре, куда пошли после церкви, и у здания типографии «Кавказ», где к ним присоединились рабочие типографии,— везде говорил он один, и его несли на плечах, а когда говорил, становился на плечи ногами и говорил, видя перед собой сразу всех и, может быть, от этого не сознавая того, впервые доверялся не себе, а неожиданной и освобождающей власти, которую давали ему поднятые к нему восторженные лица. Потом, вспоминая, как это было, он сравнивал возникшее тогда чувство с той внезапной радостью и свободой, что приходили от матери, и решил, что от матери было иначе — она как бы возвращала его в себя, отгораживала от мира, и радость была оттого, что вдруг на миг снова обрел мать, и покой был, и благодать. А тогда, на Дворцовой, произнеся свою первую в жизни речь, он словно перестал быть тем, кем был до этого, и стал кем-то другим, кто вмещал не то, что он прожил до сих пор, а наоборот, освобождал его от всего этого и вмещал только вот эту толпу, он как бы состоял из нее и в то же время был выше ее,— и от этого тоже приходила свобода, но это было освобождение не от внешнего, а от самого себя и не радость, а если и радость — то от сознания своей силы и всеумения и даже могущества; а от той, материнской, свободы — чувство беспомощности и неотделимости от мира, над которым тогда, на Дворцовой, он почувствовал свою власть.

Потом, уже после того как у типографии «Кавказ», словно из-под земли, сразу налетели казаки, и полицейский с околоточным надзирателем, все время сопровождавшие демонстрацию, бросились вдруг к нему, и околоточный схватил его за пальто, а он, все еще сидя на плечах рабочих, ударил околоточного ногой в зубы, и тот упал, и он сам упал лицом в землю, и они так лежали, он и околоточный, оба лицом к земле, под ногами казачьих лошадей, а лошади каким-то чудом их не раздавили, и после того как казаки умчались и он вскочил и бросился через забор направо от склада Акопова, а один из казаков побежал за ним и ударил саблей по голове, но попал только в руку, поцарапав ему палец, и ему удалось перелезть все-таки через забор, а потом у одного знакомого переодеться в кинто, и так, в костюме кинто, сначала на извозчике, потом пешком — мимо драгунов Семеновского полка и казаков, искавших уже оратора и знаменосца,— до Хлебной площади, на явочную квартиру Ханояна, и рассказывавший уже там о демонстрации и о «каком-то молодом ораторе» поэт Акоп Акопян не признал его, пока он сам не назвал себя,— после всего этого, уже спокойный и уверенный, что все позади, и еще гордый только что выявленной силой, он прочел текст прокламации, которую писал Коба. В прокламации было написано, что в демонстрации участвовало несколько сот человек.

— Что ты написал? — сказал он Кобе.— В демонстрации участвовало десять тысяч человек!..

— Брешешь,— сказал Коба, не улыбаясь, и смерил его с ног до головы.

— Ну хотя бы пять тысяч... Пиши, что участвовало пять тысяч!

— Бреешь, — снова сказал Коба.

В конце концов договорились переправить «несколько сот» на «несколько тысяч», и он побегал на Супсаркисовскую, к дьяку Овсепу, набирать прокламацию.

Ленин сказал: революция для того, чтобы все научились петь. Значит, так: революцию сделали — теперь петь? Нет, не так. Надо сделать еще мировую революцию. А после мировой революции что делать? Сидеть вот так перед стеной и думать?.. Для этого не нужна революция. У каждого есть стена, каждый может сесть вот так перед своей стеной и думать. Но никто не сидит. Может быть, никто про другого просто не знает, что тот сидит? Никто об этом не рассказывает... А Пушкин рассказывал. Об этом можно только стихами говорить. Сталин поэтому и писал стихи?.. Потом бросил. Сталину не надо рассказывать о том, что внутри. Ему это смешно. Он раз и навсегда перестал заниматься смешными вещами. А Пушкину не смешно. Дело не в стихах. Пушкину нужна правда. В этом все дело. А мне?.. То, что сейчас происходит со мной... В конце концов, а что происходит? Готовлюсь в академию. Время петь не настало. Еще надо драться. Сколько можно драться?.. Владимир Александрович сказал:

— Даже нэп — это не мир, а совершенно наоборот, это еще один новый фронт войны. Зарубите это на ваших интеллигентских благодушных носах! Ленин именно так и ставит вопрос. Эмигрантская меньшевистская сволочь за границей благословляет нэп как отступление. Они спят и видят в своих парижских снах, как мы отказываемся от диктатуры. А видят ли они нового генерала Галифе, который потопит в крови миллионы вместе со святым плехановским марксизмом, черт бы его побрал? Нет, господа, только диктатура! История предпослала нашей революции Парижскую коммуну, чтоб мы ни на минуту не забывали о диктатуре. И мы не забудем, смею вас уверить. Хватит революционной романтики, мы хотим стать рационалистами. Революционными рационалистами! И мы ими станем. Или — погибнем. Как погибали все революционные романтики до нас.

Владимир Александрович приходил два дня назад, вечером, к Соне пришла ее подруга, Маневич, та, что была свидетелем, когда они расписывались, и еще был один врач из больницы, где Соня работала, и молодой певец — Соня хотела, чтоб его послушал Луначарский. Соня села за рояль, певец пел, и вдруг пришел Владимир Александрович и стал говорить о Десятом съезде, о нэпе и диктатуре пролетариата. Все молча, испуганно слушали. Певец спросил: а опера при диктатуре будет? Владимир Александрович не ответил, выпил чаю, дал задание на дееспричастные обороты и ушел.

Что происходит внутри Владимира Александровича? Когда он вот так один — и в тишине? И стихи читает? «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том...» Что такое лукоморье? И почему кот — на цепи? И днем и ночью ходит... Ничего не понятно. А все вместе — понятно: где-то — тайна, и ее охраняет кот... И не так! Кота отдельно тоже нет. Ничего отдельно нет. Все — вместе. Все — слито... Как на этой стене. Стихи — как обои, все связывают... Если нарисовать отдельно кота, дуб, эту цепь на нем — будет глупость. Интересно, мог бы я писать стихи — раз чувствую, как все слито? Все любят Пушкина — значит, все это чувствуют? И кадеты, и эсеры, и меньшевики, и большевики... У всех одно. Внутри. Через Пушкина все друг друга узнают. Даже не так. Себя узнают в другом. Через Пушкина. Очень хорошо. Надо читать Пушкина — и все всё поймут. Каждый увидит, что внутри другого... А эти, что сидели в батумской тюрьме, читали Пушкина? Ни черта друг в друге не видели! Даже не слышали друг друга — каждый говорил свое... Нужно сделать революцию. Для всех. Для всего мира.

В такие дни он ничего не успевал записать или машинально, тупо, много раз записывал одно и то же слово: «рискуя, рискуя, рис, киска, рискуя...» Или повторял строчку из стихотворения:

Я ждал беспечно лучших дней,
И счастье моих друзей
Мне было сладким утешеньем...
Я ждал беспечно лучших дней,
И счастье моих друзей
Мне было сладким утешеньем.

Глава пятая

Прежде чем начать читать, Соня выключала верхний свет. (Как-то он попросил об этом: почему в театре тушат свет, понимаешь?..) Лицо Сони растворялось в полутьме комнаты, и казалось, книга звучит сама — от низко склоненной над ней настольной лампы. Когда она заканчивала чтение, он вскакивал, отодвигал на окне занавески, включал свет — торопился вырваться из мира, где от него ничего не зависело, и вернуться в мир, где можно действовать самому.

Вчера, сразу после чтения, она записала в тетрадь название темы — «Столкновение двух идей в «Цыганах» Пушкина», легла и, уже засыпая, коротко рассказала: еще один — от тифа, так и не узнали кто... Неожиданно замолчала, и он увидел, что она спит. Он привлек после чтения говорить с ней о прочитанном, и она помогала находить слова для мыслей и чувств, которые у него возникали. Поэтому и не могу ничего написать, решил он, чтоб возникали мысли, надо спорить.

Со Спасской донесся медленный певучий удар. Час дня. Он сидит с утра. В раскрытой тетради — только заголовок, рукой Сони. В окне на Боровицкой башне снег слит с белым небом — башня растворилась в небе. А стена — чистая, обмытая, как после дождя. И это не от дождя, а от снега... О чем я думаю? Не могу сосредоточиться. Надо сосредоточиться, выбрать что-нибудь одно. Что? Например, последнюю строчку, она запомнилась: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет...» При чем судьба? Если есть судьба — не о чем думать. Надо думать о чем-то серьезном. Как в заголовке? «Столкновение двух идей...» Какие к черту идеи, жена изменила мужу — вот и вся идея! Столкновение идей — это когда один другого хочет убить. Нет, не хочет — должен!.. Во имя идеи. Во имя какой идеи убивают друг друга солдаты? Без всякой идеи. Не убьешь — тебя убьют.

В окне белым комом вздымался над крышами купол храма Спасителя. Шел снег. Почему идет снег? У всего есть причина. Убивают друг друга тоже по какой-то причине. Столкновение идей? Какая идея была у казаков, которые хотели меня повесить в пятом году? Мне было двадцать три года — они видели, что мне только двадцать три! — и хотели убить. Три раза вешали. Без всякой идеи. По привычке... Привычка убивать — причина? А от чего привычка? Нет, дело не в идеях и не в столкновении идей! Что-то другое... Казаки не злились и даже смеялись, когда накидывали на шею веревку, еще успокаивали... Казаки зла не имели, меня не знали — значит, не меня вешали. А кого? Как все случилось, как дошло до того, что стали вешать?

Потом это назвали Декабрьским восстанием. А началось все задолго до декабря, еще до ванкского братания, в январе. Ждали армяно-татарской резни. Воронцов выдал под расписку Исидору Рамишвили шестьсот берданок — для раздачи рабочим нейтральных национальностей. (Было сообщение — дабы умиротворить начавшееся в Тифлисе армяно-татарское столкновение.) Берданки раздали в Нахаловке и Дидубе — железнодорожным рабочим. Цхакая говорил: Воронцов создает себе алиби. Цхакая вернулся из Лондона и рассказывал о Третьем съезде. Съезд постановил поднять в России восстание. Рамишви-

ли прибежал в Комитет, требовал вернуть ружья, говорил, что дал Воронцову честное слово, Воронцов написал обо всем царю, царь пришел в ярость — Воронцов в дурацком положении, ружья надо вернуть. Цхакая сказал:

— Жена наместника права, Исидор, у тебя очень чистые глаза.

(Рамишвили бывал у Воронцова, пил чай. Жена Воронцова говорила, что люди с такими глазами, как у Рамишвили, не врут.)

Газеты сообщили, что Воронцову высочайше предоставлены новые полномочия. Патриотическое общество священника Городцова из второй миссионерской церкви устроило манифестацию — шли по Головинскому с флагами, портретами царя, кричали «ура», перебили стекла в домах Зубалова, в редакции «Тифлисского листка», в Артистическом обществе, громили вместе с казаками дом Монташева, пели гимн под балконом наместника — на балконе стояли наместник, его жена, дочь и невестка. Ночью в Михайловскую больницу привозили трупы. Наутро фамилии убитых были в прокламациях. К Тифлису подходили регулярные части с Терека, Каспия и от турецкой границы. Мяса не было, хлеб доставали с трудом, расстреляли городскую думу...

Был душный тифлисский август. Казаки окружили здание городской управы, полицейские вошли в зал заседаний, приказали разойтись и, не дожидаясь выполнения приказа, стали стрелять. На выстрелы сбежалась толпа. Казаки убили шестьдесят человек. О расстреле он узнал к вечеру. Ему поручили перевезти из Сололаки в Нахаловку готовые бомбы. Он надел одежду кинто, взял извозчика и всю дорогу пьяно орал, задевая прохожих. Ночью бегал по типографиям. Прокламации на трех языках призывали к мщению. На улицах не горели фонари. Бросали бомбы в казачьи казармы, обезоруживали жандармов, задерживали офицеров.

Потом пришли войска. Со стороны вокзала подошли и стали конные батареи — вдоль железнодорожного полотна, за которым началась Нахаловка. Несколько дней улицы наполнял топот копыт — шли нарядные казачьи сотни, казалось, готовились к параду. Потом улицы вымерли.

Он несколько раз отправлялся искать казаков. Доходил до вокзала. Вокруг вокзала стояли пушки. Около пушек ходили полицейские. Казаков не было. В штабе восстания решили ждать казаков с трех сторон — от вокзала, Дидубе и Авчал. С четвертой стороны была Махат-гора. За Махатой город кончался. Он доказывал: если они не совсем дураки, они придут с горы — тогда мы будем внизу. Они дураки, отвечал Георгий Элиава, они не найдут, как обойти с горы. Элиаву поддержали.

Пушки начали стрелять перед самым рассветом. Солдаты шли в полном походном снаряжении, не таясь, посередине улицы, с трех сторон — от вокзала, Дидубе и Авчал.

— Казаки пойдут с Махаты! — крикнул Георгий Элиава. — Камо был прав, занимайте гору!

Людей не хватало. Он взял Элиаву и еще нескольких человек и полез на гору. Они дошли до середины склона, когда на гребне показались лошади. Казаки засвистели и, уже не переставая свистеть и кричать, понеслись вниз, выхватывая на ходу сабли. Небо засверкало. Он бросился на землю, прижался к земле всем телом и закрыл глаза. Раздался пронзительный, отчаянный крик. Кого-то уже ударили, подумал он с удивлением, словно до этого не верил, что казаки будут все-таки рубить, и то ли от этой мысли, то ли от самого крика — от мгновенного сознания, что кому-то хуже, чем ему, страх исчез, и он вспомнил, что у него есть наган и две бомбы. Сначала бомбы, решил он, пока не подошли близко. Он приподнялся, достал из кармана бомбу, но бросить не успел, — у самой его головы, чуть выше, землю взрыли огромные мохнатые копыта и вдруг оторвались от земли, и он уви-

дел, как копыта взлетели над ним в серое небо, и тут же, ослепляя, что-то метнулось в него и прижало к земле, и торжествующий, долгий, уносящийся крик... Он понял, что это ударил его саблей перелетевший через него казак. И с этого момента он все видел ясно и спокойно, как будто с ним уже ничего не могло случиться: гудящий, сверкающий склон, лошади скользят, приседают на задние ноги, ржут, казаки рубят, низко наклоняясь с седел, чтоб достать лежащих, ругаются, а тех, кого рубят, не видно, и вдруг — во весь рост, красный, разбухший от крови Георгий Элиава медленно, с трудом поднимает ружье и целится в небо, а сбоку, придерживав лошадь, упруго изогнувшись, аккуратно, как на ученье, ударяет его саблей казак, и лицо Элиавы разваливается, как спелый гранат, а Элиава все стоит.

Он бросил бомбу вверх, на гребень горы, откуда появлялись лошади, не веря, что бомба долетит, и только надеясь на дым и переполох, который поможет уйти тем, кто жив. В тот же момент его снова ударили саблей, и опять по плечу, но уже в другое место, он это увидел, теперь ближе к шее, еще немного — и отрубили бы голову, подумал он спокойно и успел еще увидеть, как наверху, на гребне, жалко шарахнулись от его бомбы казаки, а бомба, казалось, летела обратно к нему, и потом, видно, был взрыв и он потерял сознание. Когда он очнулся, дым уже рассеялся, казаки сверху шли пешими, наискосок по склону, прикрываясь лошадьми и беспорядочно стреляя через их спины из коротких ружей. Одна лошадь лежала на спине и била копытами воздух, вероятно, ей казалось, что она несется по небу.

Он не шевельнулся — только открыл глаза, увидел, что казаки сверху идут не в его сторону, и стал ждать выстрелов, чтобы понять, есть ли живые. Внизу, в городе, гремели пушки и отчетливо звенели вылетающие на улицу оконные стекла. Он захватил ртом снег, почувствовал сразу во всем теле холодную свежесть, вспомнил про вторую бомбу и, уже без всякого решения, потеряв чувство опасности, выхватил бомбу и бросил ее вдоль склона... Все еще не зная, что делать дальше, и поняв только, что сейчас, за дымом, его не видно, он стал быстро ползти вниз по склону и во мгле наткнулся на холмик, покрытый снегом. Холмик дрогнул, и он понял, что это куст, и заполз в гущу голых колющих веток, раздирая об них лицо и ладони. Под кустом оказалась яма, земля была сухая и теплая. Он поджал ноги, обхватил их руками и уперся коленями в подбородок. Дым рассеивался. Казаки залегли по склону и стреляли, а лошади их стояли, опустив головы, и уже осторожно вынюхивали землю. Потом в ту сторону, где он до этого лежал, бросили гранату. И его снова оглушило.

Очнувшись, он понял, что оглушил его только грохот. По склону разгуливали лошади, бесшумно ступали по грязному слежавшемуся снегу. Несколько казаков бродили по склону и, казалось, что-то искали, то и дело взмахивали саблями. Он не сразу сообразил, что это добивают раненых. Потом подумал, что раненых, вероятно, нет. Казаки рубят трупы. На всякий случай.

Небо светлело. За облаками взошло солнце. Казаки отходили все дальше по склону, и их уменьшавшиеся фигурки четко обозначались на светлеющем небе. Ему стало уютно в своей яме, под кустом, и он решил, что подождет еще немного, а потом вместе с утренними мацонщиками спустится в город. Он потрогал пальцами голые ветки — осторожно, чтоб не потревожить покрывающего их снаружи снега, и подумал, что, вероятно, это сирень, и вспомнил о сирени на могиле матери.

Он приезжал на могилу матери каждый год, весной, только в год, когда сидел в батумской тюрьме, приехал в октябре, сразу после побега. Тогда, после тюрьмы он впервые заговорил с матерью и, сам того не замечая, говорил, обращаясь к сирени, вероятно, потому, что на могиле она была единственно живой. Это мать послала куст и эту ямку под кустом, чтоб я мог поместиться под ним, подумал он, она

точно рассчитана на мой рост, если вот так сжаться коленями до подбородка, это совершенно ясно — и куст и эта яма точно рассчитаны на меня. Мать сейчас следит за мной, подумал он, откуда-нибудь сверху, из-за этих облаков, облака прозрачные, они издали белые, а вблизи прозрачные, и через них все видно, а если и не видно, все равно можно найти просвет или где облака потоньше... Казаки уже ушли, надо попробовать спуститься в город, подумал он и вдруг увидел, что все еще лежит, обхватив руками ноги и прижав их к подбородку, рассмеялся, вытянул ноги, высунул их из-под куста, лег на спину и сразу заснул.

Потом в куст к нему лезли какие-то люди, хватали за руки и ноги, тащили, он бил их по красным крепким лицам, а они хохотали и несли его, и он уже устал их бить, и лежит у них на руках, спокойный и даже безразличный, и уже видит, что это казаки, и слышит, как они между собой переговариваются — что, мол, все равно подойдет, куда его нести, вся кровь вышла, и самый веселый, усы черные, из-под усов крупные зубы, как у лошади, и оттого, что все время смеется, зубы видны,— он достает саблю и, продолжая показывать зубы, подходит к нему и говорит: а я тебе сейчас нос отрежу! — и подносит к самым его глазам сверкающий кончик сабли, и уже прикоснулась ледяная сталь к щеке, и он как будто от этого тут же проснулся и обрадовался, что все только сон, но перед глазами все еще сверкал кончик сабли, и он понял, что то, что он проснулся, это тоже еще сон, и увидел огромные озабоченные лица, склонившиеся над ним с неба, кто-то опять сказал: подойдет! А тот, с лошадиными зубами, повторил: я сейчас отрежу ему нос.

Он открыл глаза от боли в носу: вокруг стояли казаки, а один присел перед самым его лицом, одной рукой сжимал ему нос, другую, с саблей, поднес к его глазам. Из-под усов сверкали веселые зубы. Он опять сделал усилие, чтоб проснуться, и понял, что не спит. Он лежал на склоне так, что ноги его были выше головы, а казаки стояли у его ног и смотрели ему в лицо, и поэтому он увидел их всех сразу. Они, видно, обрадовались, что нашли живого, и улыбались. Над их головами, выше по склону, бродили лошади. Тянулась вверх грязно-белая земля. Земля кончалась, и начиналось небо. Он прикрыл глаза — небо ослепляло. В нагане четыре патрона, подумал он, если перестрелять четырех, с пятым не справиться, нет сил, к тому же наган, конечно, взяли... Он чувствовал, как сабля прижимается к его щеке влошмя, широкой частью, у самой рукоятки, потом резко скользнула вдоль щеки и сорвалась, ободрав на носу кожу. Хохотали, кто-то сквозь смех советовал: ты его не брой, ты его сверху, с переносицы! И он ясно представил, как приложат сейчас к переносице саблю и как она медленно, соскабливая с лица нос, поползет вниз — лицо зальет кровь, захрустит кость. И уже оттого, что представил, словно вырвался из неподвижного тела, бил их в хохочущие рты, а они продолжали хохотать, и поносили его беззлобным матом, и что-то еще делали с ним, от чего ему стало казаться, что его насаживают на кол — кол разбухает, заполняет все его тело, разрывает его, а он помнит, что сейчас сабля отсечет ему нос, и потом опять будут смеяться и похабно шутить, и, может быть, отрежут еще и голову и он умрет, вот так же не будет сил двинуть рукой, и рук не будет, и ног, и головы, но сабля еще только прикоснулась к переносице и еще он жив — вот небо, вот земля, вот их лица; запах сапог, морды лошадей...

— Э-эй! Убери саблю, дурак! Я живой, не видишь?! На глаза смотри! Я сам глаза открывал... Живой! На живой человек нос кто отрежет, дурак? Уходи! Возьми свой сабля и уходи... Мне дома знаешь кто ждет? Ишак ждет! Ишак умный, нос никому не отрежет. Ишак — больше умный, чем ты!..

Казаки смеялись. Тот, с лошадиными зубами, тоже смеялся. Потом поднял саблю и, смеясь, сказал:

— Я тебе не нос, я тебе башку сейчас отшибу к черту!

— Башка — пожалуйста! Все без башка живет... Ты тоже без башка живешь, такой глупый вещь делаешь, нос режешь, где твой башка?

Казак под хохот взмахнул саблей, прорезал со свистом воздух и воткнул саблю в землю, рядом с его лицом, сабля не прикоснулась к нему, но он почувствовал щекой исходящий от нее холод и рассмеялся.

— Джигит! — сказал он. — Плохой джигит.

— Вот я тебе сейчас наджигитую! — обиделся казак и снова взмахнул саблей.

Но его остановили, кто-то сказал, что лучше повесить, еще поговорили немного, решая, что лучше с ним делать, а он в это время смотрел на них весело и действительно был весел оттого, что вырвал эти несколько минут жизни, и теперь верил, что вырвет и всю жизнь, а они в несколько рук подняли его и перекинули через спину лошади, лицом вниз, и всю дорогу щека его плотно терлась о мягкую щетинку, и это возвращало его к сознанию, которое он то и дело терял.

Потом он несся на лошади сам, потом — уже и без лошади, и не по земле, а как будто небо изогнулось, и он несется в огромной трубе, и опять тело его расширяется, и от этого труба все уже и уже, и он с трудом протискивается в нее, и плечи сдавлены и голова, и темнеет в глазах, а впереди свет, и он торопится добраться до него, прежде чем задохнется, но кто-то набрасывает на шею веревку, тянет назад — прямо перед глазами черные доски, доски проваливаются вверх, исчезают... Кто-то сказал:

— Ишо живой... Давай сюда, у меня выдержит!

Опять тянули за шею, но теперь не назад, а вперед, и несколько рук поднимали, подталкивали, поддерживали, а он вырывался из рук и наконец вырвался и опять понесся один, в черный дощатый потолок, потолок начинает раздвигаться перед ним, раздвигается, раздвигается — и вдруг сдавливает со всех сторон... Его окатили водой — это он понял, когда пришел в себя и увидел себя мокрым, а один казак стоял перед ним с ведром. Казак заулыбался.

— У него от веревки заговор! — сказал казак.

Теперь, оттого, что его облили водой, он стал понимать слова и понял, что его дважды вешали и что теперь будут вешать в третий раз. Они больше не смеялись и не шутили и были озабочены тем, что не могут его никак повесить, и была даже осторожность в молчаливой деловитости их движений, как будто теперь они имели дело не только с ним, но с кем-то еще, кто им мешал. Из разговора он еще узнал, что в первый раз не выдержала балка, к которой привязали веревку, а во второй раз порвалась веревка. Это опять помогла мать, подумал он, в третий раз мать не сумеет помочь. Хорошо, что они облили меня водой, теперь я все слышу и понимаю. Теперь я сам себе помогу.

Он не знал, что он может сделать, но до последней минуты — той самой, когда ему снова накинули на шею петлю, был уверен, что умрет, и только когда его опять подняли, поставили на опрокинутое ведро, поддерживали, чтоб не упал — держись, ролимый, сейчас сей миг! — аккуратно укладывали на шее петлю, он вдруг увидел себя на веревке с дергающимися ногами, а они — вокруг и ждут, когда он перестанет дергаться, и взорвавшаяся вдруг гадливая ярость к ним и к себе за то, что позволяет с собой все это делать, — с силой присел, выскользнул из рук, отлетело с грохотом ведро, прыгнул, схватился руками за бревно, повис, закричал от боли в плече, сорвался, но успел схватиться обеими руками за веревку, рычал от боли, петля вздернулась, болталась перед глазами, зубами поймал ее, выплюнул, упал, не теряя сознания, увидел, как запрыгала в воздухе пустая петля, как в ужасе отбежали от него казаки.

Потом лежал на полу, улыбался, смотрел на казаков, говорил, ломая русские слова:

— Мацонщик жить надо. Ишак один останется, скучать будет. Не жалко ишак?

Казаки не смеялись, молча смотрели на него, один медленно подошел, обнажил саблю, осторожно потрогал острием его ногу, потом лицо, надавил, смотрел ему в глаза. По щеке потекла кровь, но он видел страх в глазах казака и от этого без всякого усилия продолжал улыбаться.

Потом его долго вели по улицам, и он шел опустошенный, спокойный, всем телом уверенный, что ничего страшного с ним уже случиться не может, и видел, как течет из его плеча и с разбитого лица кровь, и ужас в лицах прохожих, и лицо Аллилуева в толпе, он подмигнул Аллилуеву — все от той же ясной уверенности в себе, но вспомнил, что на лице его маска из запекшейся крови и Аллилуев не может его узнать, но Аллилуев, видно, все-таки узнал, потому что еще долго шел в толпе, до самого Метехи, и все время на лице Аллилуева был ужас, а его всю дорогу не покидало ясное и легкое чувство снисходительного презрения к смерти, и это его не покидало и потом, когда он сидел в Метехской тюрьме, а его в это время искали по всему Кавказу, и повсюду были расклеены объявления о его поимке, и уже даже не думая о том, как выйти из тюрьмы, он знал, что выйдет, и все случилось просто и легко, как он теперь и представлял все, что с ним могло случиться: некий Шаншиашвили, сидевший в тюрьме, с мальчишеским восторгом отдал ему свое имя, и, выходя из тюрьмы, он опять был так уверен в себе и спокоен, что полицейский, приставленный сдать его родителям Шаншиашвили, согласился ехать на отдельном извозчике, чтоб не омрачать встречу с родителями своим присутствием.

— Земля смеется, когда я по ней хожу, — сказал он в тот день тете Лизе, — она радуется моей жизни.

Радовались бы казаки, если б узнали, что он убежал? Казакам не было до него дела, они убивали его потому, что знали, что он хотел убить их. А он хотел убить их, потому что знал, что они хотят убить его. И так до каких пор? До столкновения идей?.. Алеко убил Земфиру из-за столкновения идей. Отец Земфиры и за похитителями своей жены не погнался. Вероятно, здесь и заключен смысл, подумал он, в этом все дело, Алеко тоже этому удивился.

Он вспомнил рассказ старика и потом еще перечел это место в книге. Никакого столкновения нет, подумал он, старик не захотел бороться. А зачем бороться, если жена сама убежала? Зачем мстить? Чтоб другому было тоже больно? Какое здесь столкновение?.. В том, что старик не погнался за женой, больше столкновения. С теми, кто погнался бы. Например, с Алеко. Потому Алеко и удивился. А старик что ответил: «Кто в силах удержать любовь?..» Старик умный. И свободный. А Земфира не свободная. Он вспомнил, как однажды в разговоре Соня сказала о Земфире... О чем говорили? Что такое свобода?.. Нет, не так. Что-то о Пушкине. Сначала о Пушкине, потом — о свободе. И Соня сказала: Земфира свободна. Он тогда не знал, кто такая Земфира. И молча слушал. Была подруга Сони, Зоя, тоже врач, и еще кто-то. И он вдруг сказал: Земфира обманула Алеко, какая это свобода? Соня тут же заговорила о новом спектакле в театре Таирова, а он мысленно выругал себя за то, что вмешался в разговор. Теперь он повторил бы то же:

— Алеко эту шлюху Земфиру любил, из-за нее все бросил, с медведем ходил, фокусы разные показывал, а она что сделала? Старый муж, грозный муж... Это свобода?

— В «Коммунистическом манифесте» написано, что любовь должна быть свободна.

- Там сперва написано, что нельзя обманывать.
- Это в Евангелии написано.
- А «Коммунистический манифест» о чем? Чтоб все жили честно. А какая честность, если обманывает?
- У тебя врожденное диалектическое мышление.
- Ты против честности?
- Я за свободную любовь Земфиры.
- Хорошо, что такое свобода?... Ленин государство строит, а Троцкий дискуссии объявляет, с Лениным спорит — это свобода?
- Троцкий не понимает, что Ленин прав.
- Я понимаю, что Ленин прав, а Троцкий не понимает?
- У каждого свое понимание, Семен.
- У нас что, английский парламент? Покушал бифштекс, закурил сигару — теперь пойдём в парламент, поговорим, кто прав? Извини, пожалуйста, у нас кушать нечего! Ленин сам не кушает, свой кусок другим отдаёт, а Троцкий с ним спорит? Не согласен? С чем не согласен? Что Брестский мир заключили, что всех накормить надо? Польша на нас лезет, Врангель из Крыма лезет, дашнаки в Армении не сдаются, меньшевики немцев зовут, мусаватисты двадцать шесть комиссаров расстреляли, эсеры в Ленина стреляют, никто нас за людей не считает, Англия торгового договора не хочет заключить — а Троцкий с Лениным спорит!.. Какое время спорить? Ты будешь спорить, а история будет ждать? Троцкий чего хочет? Пока Ленину трудно, его снять и самому сесть. Троцкого убить надо!
- Чтоб выяснить, кто прав?
- Сколько можно выяснять? Все ясно. Троцкий хочет власть. Больше ничего не хочет.
- Он сам тебе об этом сказал?
- Зачем говорить? Я по глазам вижу.
- Ах вот как! Зачем нам парламент? Мы по глазам видим!.. Это и есть свобода?
- Соня, ты знаешь, как я к тебе отношусь? Как Земфира к Алеко. Пока она этого молодого цыгана не встретила...
- А когда встретишь молодую цыганку, скажешь?
- Не встречу, Соня.
- Но если все-таки встретишь, обмани! Как Земфира... Послушай. Какой это все-таки позор — я все время об этом думаю, о том, что ты моложе меня на целых два года. А должно быть наоборот. Ты должен быть старше меня, и не на два года, а на десять!
- Мой отец был старше моей матери в два раза. Даже больше. Знаешь, сколько было моей матери, когда я родился? Шестнадцать. А отцу было тридцать пять. Ничего хорошего из этого не вышло.
- А ты?
- Что — я?
- Твой отец женился на твоей матери, чтоб родился ты.
- От молодого отца я еще лучше бы родился!
- Для того, чтобы ты родился, нужен был твой отец. И все должно было быть так, как было.
- И мать моя должна была мучаться? Лучше бы я вообще тогда не родился!
- Слава богу, это еще зависит не от нас. Иногда мне начинает казаться, что от нас вообще ничего не зависит.
- Очень хорошо! А свобода? Тогда кто свободен, твоя Земфира тоже не свободна?
- А может быть, Пушкин об этом и написал? О том, что все не свободны? Как кончается поэма? «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет».
- А Пушкин сам что сделал? На дуэль вышел, подставил грудь этому, как его?.. Я бы его поймал, посадил в клетку и поставил бы

клетку на главной площади — смотрите, вот судьба Пушкина, скажите теперь, есть от судьбы спасенье или нет?

— И все-таки он убил Пушкина.

— Извини, Соня, я не хочу Пушкина обижать, но Пушкин до Маркса жил, простой вещи не знал: что такое свобода!

Небо в окне потемнело. На Боровицкой башне стал виден снег. Скоро совсем стемнеет. Обещал зайти Владимир Александрович. С «Цыганами» уже ничего не выйдет. Остаются причастия. Владимир Александрович просил придумать примеры на причастия прошедшего времени.

Он открыл тетрадь с конца, где записывал упражнения по грамматике, и, подумав немного, написал: «Наполеон I, который завоевал всю Европу, был сослан на остров Святой Елены. Наполеон I, завоевавший всю Европу, был сослан на остров Святой Елены. Хлебная разверстка, которая вызвала недовольство крестьян, X съездом РКП заменена хлебным налогом для защиты интересов крестьян. Хлебная разверстка, вызвавшая недовольство крестьян, X съездом РКП заменена хлебным налогом для защиты интересов крестьян».

И почему-то снова вспомнил рассказ старика из «Цыган». Открыл страницу с заголовком Сони о столкновении идей, смотрел на заснеженные зубцы кремлевской стены, потом быстро, не останавливаясь, писал и закончил так: «Цыгане, привыкшие уважать свободу действенный каждого человека, возмутились диким поступком Алеко и после осуждения стариком, указавшим ему, что он не рожден для свободной жизни и хочет воли только для себя, изгнали этого жестокого человека из своей среды, а сами, не желая жить совместно с преступником, оставили его одного».

Глава шестая

С утра пошел дождь. Снег на подоконнике покрылся желтыми дырами. Тусклое небо тяжело лежало на крышах и на куполе храма Спасителя. В Тифлисе уже распустились листья, подумал он и представил платаны на Великокняжеской, где жила тетя Лиза. Платаны стояли по обе стороны улицы. Большие резные листья царственно покачивались на белых ветвях и покрывали улицу сплошной подвижной тенью. Шорох листьев заполнял комнаты до самой зимы. Давно от сестер ничего нет, вспомнил он, и от тети Лизы... Когда он рассказывал о сестрах, Соня молча, внимательно смотрела ему в глаза и как будто не могла чего-то понять. Как-то он сказал: спроси — о чем хочешь спросить? Она не ответила. Когда это было?... Читали «Медного всадника», потом спорили, кто прав — этот мальчишка... Как его звали? Тот, что думает о своем домике с девочкой?.. Или Петр на бронзовом коне?.. Вспомнил: Евгений! Евгений думал о девочке и ее домике. Домик снесло, Евгений сошел с ума. Соня во всем обвиняла Петра: построил город, не думал о людях, «окно» прорубал...

— Петр Россию на дыбы поднял, Соня, ты что говоришь! Пушкин написал.

— Пушкину Евгения жалко. Пушкин против Медного всадника.

Уже когда легли и он молча лежал рядом с ней, уставившись в мутный квадрат окна, — думал о том, что вот два таких близких человека, как он и Соня, читают то, что написал великий поэт Пушкин, и понимают все по-разному. А как же другие? Еще и без Пушкина... Как поймут друг друга? Он не заметил, как стал размышлять вслух.

— Выходит, прав Троцкий — крестьянин не поймет рабочего и рабочий должен давить крестьянина? А Ленин говорит: поймет, рабочий даст гвозди, а крестьянин даст хлеб — и поймут. Люди понимают друг друга, когда помогают.

Он увидел удивленное лицо Сони, понял, что говорит вслух, и замолчал. Наутро он записал о «Медном всаднике» так: «Герой излагаемой повести является более рассудительным, чем его нормальные коллеги. Несмотря на свое безумие, он ужаснулся своей собственной угрозе, так он понимал свою неправоту. Он сознавал, что его личное благо — ничто в сравнении с общественным и историческим благом...»

Владимир Александрович прочел это и сказал:

— Хорошо, юноша! У нас с вами общая философская концепция. Я рад этому.

Ему стало неловко перед Соней — как будто Владимир Александрович подтвердил его правоту. Я не знаю, что такое «концепция», сказал он Владимиру Александровичу... Но при чем концепция? И при чем «Медный всадник»? Я думал о Соне... А, вот: Соня читала «Медного всадника», потом спорили... Об этом я уже думал. Потом Соня все-таки спросила... Ночью. Он уже заснул, а она не заметила этого и спросила, и от звука ее голоса он в тот же миг проснулся, — ему не пришлось даже переспрашивать, — она сказала:

— Ты так их любишь, почему ты ни разу ничего не сделал, чтоб им стало лучше? Ты мог бы наконец разбогатеть ради них.

Она говорила о его сестрах. Он ответил с внезапной яростью:

— Моим сестрам будет хорошо, а другим, таким же, как они, плохо? Так?! — Потом долго, спокойно объяснял: если революция не для всех, тогда для чего революция, понимаешь? Каждый народ и так, без революции, за себя борется. А против кого? Против другого народа. Для себя хочет, а на другого наплевать! Вот в истории написано: французская революция, английская революция... Дурак писал! Настоящая революция — не для французов, не для англичан, не для русских, не для моих сестер, а для всех, понимаешь? Если не для всех — ничего не выйдет! Кто я? Армянин, грузин, русский?.. Я — Камо, никто! Если я буду только для своего народа, я — не Камо, я — Андроник, Тигран Великий, Петр — не Камо, понимаешь, не революционер. Почему до сих пор ни одна революция не вышла?..

Соня не возражала, слушала молча и, казалось, чего-то испугалась. А потом спорила с Владимиром Александровичем. Это уже после съезда транспортных рабочих. Они были на съезде вместе, и после заседания, на котором выступил Ленин, поздно вечером, Владимир Александрович зашел к ним выпить чаю и говорил о том, как безукоризненно логична речь Ленина:

— Казалось бы, случайное замечание о неверном лозунге: «Царству рабочих и крестьян не будет конца», явно не предусмотренное, а тонкая ниточка логики всей речи уже возникла, уже самая суть: источник несчастья — классовые противоречия, значит, цель — уничтожение классов, но надо знать, что уничтожать, — и вот вам три класса! Четко и ясно, исчерпывающая логика! И уже потом — как итог, как вывод из всего — не поддавайтесь обману, другого пути нет, другой путь — раздробление России на европейские колонии.

Соня спросила:

— И раздробление России на колонии — следствие той же исчерпывающей логики?

— О да! — Владимир Александрович вскочил с места. — Раздробление России на колонии — прямое следствие российского соотношения классовых сил. Русская буржуазия не выдержит натиска европейского капитала. Больше того — русской буржуазии нет!

— Теперь, после октября семнадцатого, нет, — сказала Соня. — Но она была. У нее даже было свое правительство.

— Марионетки! — перебил Владимир Александрович. — Грязная пена на гребне революции! Что они могли? Я вам скажу больше: русская буржуазия уже по своему национальному характеру не может быть буржуазией в полном смысле слова. Скажу еще яснее: русский человек не может быть капиталистом в строгом смысле, то есть

хищником. И знаете, кто это показал лучше всего? Горький. Да, да, читайте Горького! Все эти фомагордеевы, булычовы и другие прекрасно подтверждают великую истину о русском человеке, известную еще с тех древних времен, когда необходимую для власти жестокость импортировали у варягов. Капиталист — язычник, ему возрождение плоти нужно. Капитализм с ренессанса начинается. Русский же человек о душе печется. Русская душа еще не заросла чертополохом европейского прагматизма, в ней нет места для сундуков скупого рыцаря. Недаром Пушкину пришлось искать их за пределами России.

— А Гоголь нашел Плюшкина в России!

— А что такое Плюшкин? Капиталист? Прообраз капиталиста? Ротшильд?.. Урод, уродец! Больше того: Плюшкин — лучшее подтверждение беспомощности России перед лицом капитализма. Как, впрочем, и сам Чичиков. Вершина русской предпринимательской мысли! Закупщик мертвых душ! Ничего серьезнее и, я бы сказала, безобиднее русский капиталист не придумал. Да и тут погорел. Чтоб душу спасти. И это уже не по Гоголю — русский капиталист в семнадцатом погорел по причине своей капиталистической неполноценности.

— Дали бы срок — стал бы полноценным, — сказала Соня. — У нас только в шестьдесят первом рабство отменили.

— Не знаю, матушка, не знаю! Из вашей реплики следует, что вы не согласны со всей моей патетической тирадой. Но даже если стать на позицию вашего несогласия — кто бы дал ей этот срок? Никто! А что это означает? Это означает, что как результат отсутствия такого срока мы будем иметь вместо России европейские колонии. «Раздробление России на европейские колонии!..» Я повторяю слова Ленина, и уже как вывод не только из его речи, но и из нашего спора. Это вас убеждает?

Соня улыбнулась:

— Владимир Александрович, вам кажется, что вы спорите. На самом деле вы говорите один.

— Это потому, что я действительно спорю, — сказал Владимир Александрович и повторил: — Я действительно спорю!.. Видите ли, голубушка Софья Васильевна, я всегда спорю с одним, весьма упрямым и, я бы даже сказал так, нагло неутомимым в доводах субъектом. И субъект этот — ваш покорный слуга. Поэтому я так утомительно монологичен. Но смею вас уверить, это не монолог — это диалог. Это — вечный, проклятый диалог!.. Я понимаю, что от этого вам не легче, но что делать, это тоже, так сказать, русская природа. Бога ради, извините.

— Ну зачем же извиняться за природу, Владимир Александрович! — сказала Соня. — Тем более за русскую. В вашей оценке она достойна всяческого одобрения. И извините, буду до конца откровенной, знаете, какое у меня родилось подозрение, пока вы говорили? Будь русская буржуазия посильнее и сумеет она удержать власть, вы были бы благодарны ей не меньше, чем большевикам. Вас волнует судьба российской державы, а не уничтожение классов. Найдите мужество и признайтесь в этом, здесь все свои. Тем более что уничтожение классов откладывается на десятки, если не на сотни лет, особенно после нэпа.

Владимир Александрович ушел обиженный, хотя сказал, что в его правилах на женщин не обижаться.

— Я ему сказала то, что подумала, — сказала Соня. — Когда что-то о человеке думаешь и не говоришь, начинаешь плохо к нему относиться.

Он спросил:

— Ты уверена в том, что сказала? Так можно говорить, только когда уверен.

— Хорошо! — сказала Соня. — Я извинюсь перед ним. Но ты не допускаешь, что я могу оказаться и права?

— Нет,— сказал он.

Она кивнула на портрет Стасова.

— А мой дед допустил бы. Он тоже был демократ. Даже великий демократ, почти революционер. И все-таки допустил бы.

Он подошел к портрету Стасова, приложил ладонь к портрету, потом к своей груди.

— Это — твой дед,— сказал он.— А это — я!..

Соня рассмеялась.

— Не знаю, как русская душа, но у тебя душа младенца. Что ты с ней будешь делать, Семен?

— А что я до сих пор делал?

— До сих пор душа тебе не нужна была. Кто-то из полководцев сказал: «В драке главное победить».

— Без души — какая драка, как будешь верить, что прав?

— Тебе не приходилось терять то, во что ты верил?

— То, во что я верю, нельзя потерять.

— Дай тебе бог!

Дождь за окном усиливался, и он заметил это по тому, как стало смывать с подоконника снег. Соня не верит, что революция делается для всех. Тогда царица Тамара тоже революционер. Жордания так и говорил: царица Тамара сделала для Грузии больше, чем революция. Жордания тоже не верит в революцию для всех. Однажды Жордания сказал: каждому народу надо прежде всего есть и размножаться, а для этого нужна территория. Когда это он сказал?... Сразу после Третьего съезда. Протоколы съезда читали вслух на заседаниях Комитета. Уже во время чтения спорили. Исидор Рамишвили и Сильвестр Джигладзе доказывали, что Грузии мешает не русский царь, а армянский капиталист. Нужно срочно создать грузинских капиталистов. А для этого нужно не восстание, а национальный банк. И Жордания сказал тогда, что надо есть и размножаться и для этого нужна территория. Цхакая назвал Жордания фальшивомонетчиком, который подменяет революционную идею национальной. Жордания не возражал и даже обрадовался, что его так хорошо поняли. И ушел. Рамишвили и Джигладзе тоже ушли. И еще несколько человек ушли. Цхакая сказал: русские меньшевики видели дальше — они ушли до съезда!.

Цхакая открыл Третий съезд. Плеханов ушел к меньшевикам, и старейшим среди большевиков оказался Цхакая. Цхакая рассказал на съезде о демонстрации в день братания и о том, что ее возглавил молодой социал-демократ. После заседания Ленин спросил Цхакая, кто был этот социал-демократ? Цхакая сказал то, что знал: когда положение безнадежное, когда уже ничего нельзя придумать и сделать, произносится одно магическое слово — Камо. Для нас это — имя, фамилия, сословие, национальность... Ленин переспросил: «Ударение на «о»? Камо? Я правильно уловил?»

Он с трудом сдерживал радость, когда Цхакая рассказывал это, потом спокойно, по-деловому сказал:

— Все ясно!

— Что тебе ясно? — спросил Цхакая улыбаясь.

— Съезд постановил поднять восстание,— сказал он.— Чтоб поднять восстание — нужно оружие, чтоб купить оружие — нужны деньги, чтоб достать деньги — нужны боевики.

Цхакая похлопал его по плечу. Цхакая было сорок лет, а ему двадцать три.

— Деньги — нерв войны! — сказал Цхакая.

Потом, уже у Ленина, в Куоккале, он узнал, что это фраза Наполеона.

За окном звонко ударила по мокрому подоконнику капля. Как гонг. Он сказал вслух: гонг весны! И подумал: надо записать, чтоб не забыть. Но, открыв тетрадь, увидел незаконченную запись о выс-

туплении Ленина на съезде транспортных рабочих. Он начал это накануне вечером вместе с Владимиром Александровичем. Владимир Александрович ушел и предложил дописать без него.

— Главное написано,— сказал Владимир Александрович.— Остается — о кронштадтском мятеже. По существу, это типичная меньшевистская акция — свести все к национальной идее. То есть убрать большевиков: Кстати, меня недавно обвинили в этом же. Да, да, голубушка Софья Васильевна, именно вы предъявили мне этот иск в экспроприации революционной идеи в пользу процветания российской державы. Я продумал ваши слова спокойно и теперь уже окончательно уверен, что вы ошиблись.

Соня серьезно сказала:

— В таком случае вы записываетесь в утописты.

Он перечел то, что написал накануне, и стал писать о кронштадтском мятеже: «Хотя в лозунгах этого восстания на первый взгляд не было ничего контрреволюционного, кроме: «Долой большевиков, да здравствуют беспартийные Советы!», тем не менее все оттенки русской и иностранной контрреволюции встретили это известие с величайшей радостью и вся эта свора в один голос завопила о снабжении кронштадтских «революционеров» как снарядами, так и продовольствием...» В пятом году Жордания перед тем, как уйти из Комитета, сказал: историю делает не тот, кто думает о будущем рае, а тот, кто думает о сегодняшнем насущном хлебе. Кто-то вдогонку крикнул: не хлебом единым!.. Жордания сейчас в Париже. Вероятно, тоже хочет Советы без большевиков. Если большевиков не станет, Жордания вернется. И будет думать о насущном хлебе.

Он вспомнил, как Жордания выступал против боевых отрядов.

— У к-кого мы х-х-хотим экспропри-р-р-овать?—заикаясь, спрашивал Жордания.— У с-самих себя! Эт-ти деньги прис-с-сылаются на н-н-нужды К-кавказа. Мы б-будем г-г-грабить Кавказ, чтоб у-устроить р-революцию в Р-р-россии?!

Цхакая предложил не заносить его выступление в протокол заседания. И тогда он ушел. И вместе с ним ушли Рамишвили, Джибладзе и другие.

Поставить его во главе кавказских боевиков предложил Красин. Красин руководил всеми российскими боевиками. Красина он знал по Баку — по кецовелевской «Нине», когда увозил из Баку в Тифлиси «Искру». Красин подавлял его спокойной яростью больших умных глаз, изысканными манерами, разбойной сибирской красотой, образованностью, точными, безжалостными словами и уверенной властью над мгновенной бешеной реакцией, которую можно было уловить только в глазах. В Баку Красин заведовал электростанцией на Баилловском мысу, был знаменит, блестящ, в кругу промышленников слыл удачником и связан был со всем кавказским подпольем. Цхакая встретил Красина на Третьем съезде в Лондоне — такой же красивый, заведует в электрическом обществе кабельной сетью, держит в Петербурге на улице Гоголя роскошный кабинет — самая спокойная явка во всей России.

Он не ожидал, что Красин помнит о нем. Весь февраль, сразу после побега из Метехи, он готовил первую группу. Занимались в пустынном зимнем Ботаническом саду, в ущелье Дабаханки, у водопада: поднимались на веревках по отвесным склонам, переходили по скользким покатым камням через реку, бросали камни, прятались в кустах и зарослях. Однажды прямо из ущелья он вывел всех на Коджорское шоссе — там ждал извозчик. Он сел, и все сели за ним, и фазтон сразу заскрипел рессорами, и извозчик стал кричать, что столько людей не повезет. Тогда Бачуа Купрашвили столкнул извозчика и сам хотел сесть на его место, но он остановил Бачуа и сказал, что извозчик прав: в фазтоне должно быть не больше четырех

человек, и поэтому все будут садиться по очереди, прыгая на ходу, и чтоб никто не задерживался в фэзтоне больше минуты. Он и еще трое сели, а остальные побежали рядом с фэзтоном, потом он первый спрыгнул и за ним те трое, и он крикнул извозчику, чтоб ехал быстрее, а в фэзтон на ходу уже вспрыгивали другие, заваливались в мягкое сиденье, смеялись, тоже кричали: быстрее! И потом, уже задышавшись от бега и прыжков, опять кричали извозчику: быстрее! И лошади неслись уже галопом, и несколько человек уже остались далеко позади, а потом в фэзтоне остались только двое — он и Бачуа, и когда он вспрыгивал на ступеньку, Бачуа тут же прыгал на землю — и снова на ступеньку, и так до тех пор, пока оба без сил не свалились на сиденье. Потом подбирали всех, кто остался на дороге, и извозчик хохотал вместе со всеми, вспоминал, как прыгали и падали, — и так, смеясь, проехали по шоссе еще несколько раз в тот день и во все последующие дни. А однажды, когда вышли из ущелья на Коджорское шоссе, фэзтона не было, и все этому удивились, а он небрежно сказал, что фэзтон сегодня запаздывает, и что извозчик будет, очевидно, другой и фэзтон другой, и кроме извозчика в фэзтоне будут солдаты и кассир, потому что в фэзтоне везут казенные деньги, но ничего не меняется, все знают свои места, и только вместо камня он бросит бомбу, а потом вот эту вторую бомбу бросит Бачуа, а если лошади все-таки понесут, все побегут за фэзтоном, и на ходу надо будет выбросить оттуда мешок с деньгами.

Фэзтон показался через несколько минут, никто не успел испугаться, лошади шли усталой рысью, было видно, как мягко покачивается на тонких рессорах коляска фэзтона, на облучке рядом с извозчиком (набухшим, в черной одежде с мелкими белыми пуговицами) сидел солдат с ружьем, и в фэзтоне на узком деревянном сиденье, спиной к извозчику и свесив на ступеньку белый от пыли сапог, — тоже солдат с ружьем, а кассир, наверное, откинулся в глубину сиденья, под верх фэзтона, и его не было видно.

От поворота до того места, где они стояли, фэзтон шел несколько секунд, и все это время они смеялись, глядя на фэзтон, и он под смех громко, по-грузински предупреждал Бачуа, что если после первого взрыва лошади остановятся, вторую бомбу бросать не надо, и еще что-то говорил для всех, громко, смеясь вместе со всеми, и когда фэзтон проезжал мимо, солдат, сидящий спиной к извозчику, смотрел на них и улыбался, и когда уже вдогонку фэзтону полетела бомба, солдат все еще улыбался. Потом лицо его исчезло в дыму.

Фэзтон не остановился, но от взрыва или оттого, что шарахнулись лошади, круто накренился и так, на двух колесах, проехал, вываливая на дорогу оглушенных солдат и извозчика, а кассир остался в фэзтоне, и когда бросившийся наперерез лошади Бачуа остановил фэзтон, кассир забился еще глубже, подняв на сиденье ноги и прикрывая коленями безглазое лицо. У солдат отобрали ружья прежде, чем они очнулись, а потом, пятась, не веря, что их отпускают жить, солдаты растерянно убежали за поворот, вверх по дороге. А извозчик сразу вскочил на ноги и побежал к городу и, не оборачиваясь, визгливо кричал, чтоб не стреляли. Кассира выволакивали силой — он упирался, кусался, закрывал глаза, кричал, что ничего не видел и никого не запомнит, у него достали из кобуры на поясе наган и, подхватив под мышки, отнесли и положили на край дороги, над склоном, и он тут же, лихорадочно отталкиваясь руками и ногами, стал катиться по склону вниз, в Ботанический сад, и исчез в кустах. Денег оказалось восемь тысяч.

В ту ночь ему захотелось побыть рядом с сестрами. Они жили у тети Лизы. После побега из Метехи он приходил к ним редко, по ночам, и будил только Джаваир. Потом перелезали через забор, отделивший двор от соседского сада, иногда до утра просиживали на

единственной скамейке под дубом, который черной тенью покрывал весь сад.

В ту ночь ему впервые было одиноко, и он с удивлением ощущал тоску и боялся ее вспугнуть. Джаваир не разбудил. Прошел мимо дома, перелез через забор, нашел скамейку под дубом, долго сидел, глядя на тихое матовое свечение веранды в глубине сада. Джаваир рассказывала, что владелец сада, немец Рамм, по ночам на веранде что-то изобретает. Он представил: горит на веранде лампа, полыхают со стен золотые корешки книг, сидит в кресле человек, все вокруг него замерло, пусто, неподвижно, а человек изобретает — сам наполняет себя до отказа мыслями и чувствами, и не остается места для тоски.

Он вспомнил, как все это время напрягался душой, как впервые сомневался в удаче, как с того самого момента, когда показался на дороге фазтон, и все время, что фазтон приближался, а он, громко смеясь, отдавал последние приказания, как в это время мысленно просил мать помочь и успел еще подумать — перед тем самым мигом, как бросить бомбу, — успел подумать, что мать осудит и не поймет, для чего надо бросить эту проклятую бомбу, и все-таки мать ему помогла — никто не погиб, и даже лошади не погибли.

Он не заметил, как открылась дверь веранды, и увидел высокого человека в накинутом на плечи пальто, когда тот уже быстро сходил по заскрипевшим ступенькам и направился в сторону сада. В руках у него был керосиновый фонарь «летучая мышь». Подойдя к скамейке под дубом, человек поднял фонарь к своему лицу, подержал его, освещая светлые серые глаза и разбросанные по лбу седые волосы, и сказал:

— Если вы обдумываете план ограбления этого дома, могу помочь: знаю все подвалы и чердаки, дом строился по моим чертежам и, так сказать, под моим непосредственным руководством. Моя фамилия Рамм. С кем имею честь?

Он не понял, о чем его спрашивают, но подумал, что если Рамм назвал себя, то и он должен назвать себя, иначе неудобно, и сказал, что его зовут Семен. Рамм молчал, видно, ждал, что он скажет о себе еще, и он сказал неожиданно для себя: когда жива была мать, его называли Сенько, а после того, как мать умерла, сразу стали называть Семеном, и так он узнал, что его зовут Семен.

Рамм ему понравился, и ему хотелось с ним говорить. Рамм подождал еще, сел рядом на скамейку, поставил фонарь на землю и спросил как старого приятеля:

— Давно мать умерла?

И он стал рассказывать о матери: как она кормила нищих, водила его в церковь, защищала от отца, как, умирая, держала его руку до последнего момента — до того самого момента, когда он почувствовал, что она уходит.

— Ты тоже почувствовал, что уходит? — бесстрастно спросил Рамм. — Не исчезает, а уходит?

Рамм сидел ссутулившись, опустив перед собой обе руки, и они почти касались земли.

— Я часто вижу мать во сне, — сказал он устало. — Мы с ней разговариваем.

О чем еще говорил Рамм? Что-то еще о снах. И о душе. О том, что во сне душа открыта, без оболочки, а когда не спим — душа в теле как в скафандре, и чтобы видеть — нужны глаза, чтобы понимать — нужны слова, и как это глупо и примитивно, и зачем душе все это, если она бессмертна... Рамм говорил тихо, почти шепотом и как будто боялся, что его остановят, а потом сам остановил себя на полуслове и спросил:

— Ты что-нибудь понял из этого бреда?! По глазам вижу, что не понял, и слава богу!

Он действительно ничего не понял и спросил: а отчего после победы человеку становится скучно? И Рамм как будто даже обрадовался этому вопросу и стал говорить о победе, что победа — это поражение, потому что победа над другим — это всегда победа самолюбия, и душа после нее не освобождается, а еще больше закрывается и томится, и есть только одна победа, от которой душа освобождается, — победа над собой, после нее душа открывается и становится свободнее, и человеку тогда не скучно от себя...

Что еще было в ту ночь? Рамм говорил о детях, что боится за них, — вражда людей от невежества, но пока люди поумнеют, детей его могут убить. И рассказал, что в вечерней газете есть сообщение об ограблении на Коджорской дороге.

— Суета! — говорил Рамм. — Мир потонул в суете. А суета — это что? Неуправляемая плоть! Надела душа скафандр, а как управлять? Леня освоить скафандр, знает две-три кнопки — самое элементарное — и тычет в них, скафандр носит взад-вперед, и от этого суета, суета сует и всяческая суета...

Он перебил Рамма и сказал, что кассу на Коджорской дороге ограбил он. И стал объяснять: деньги нужны, чтоб купить оружие и поднять восстание. Рамм помолчал, потом спросил:

— Трудно грабить?

И тогда он не стал больше себя сдерживать:

— Ты за своих детей боишься, что убьют? А других детей не убьют? Ты что делаешь? О душе думаешь? О душе как надо думать, знаешь? О других надо думать!

Он говорил не возмущаясь, а хотел убедить и видел, что Рамм слушает внимательно и все больше удивляясь. В конце концов он предложил Рамму делать бомбы, — можно тут же, в доме, тут должно быть много подвалов... Расстались они друзьями, но больше не встретились.

Этот Евгений из «Медного всадника» тоже хотел сидеть дома и думать о душе. Не вышло. Петра ругал, а Петр действительно о душе думал — о других думал. Он снова перечел то, что написал о «Медном всаднике», и теперь ему это понравилось больше. Потом открыл последнюю записанную страницу и стал писать о выступлении Ленина.

На чистый, омытый дождем подоконник слетали редкие снежинки, легко, бесшумно прикасались к нему и исчезали. Близился вечер.

(Окончание следует)

НАБАТ



ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

Патриаршие пруды

Я целую книгу вчера написал
И в воздухе точку поставил.
Там сумрак средь белого дня нависал.
Закат очертания плавил.

За час написал, как за несколько лет,
В нездешнюю библиотеку
О том, как последним закатом рассвет
Казался двадцатому веку.

Я был раствориться в пространствах готов,
Но мир, достигавший вселенной,
Вдруг сузился до Патриарших прудов,
До улицы обыкновенной.

Там юность витала по льду на коньках,
А лед и свистал и чирикал
В сплошных ученицах и учениках
Под хлопьями зимних каникул.

«На сопках Маньчжурии» под пересвет
Звучало почти беспечально.
И лучшая пара тринадцати лет
Кружилась легко и центрально...

Так время вчера уплотнилось мое,
Что создал я том бессловесный...
Слагал я свое житие-бытие,
А мир колыбался окрестный.

Там палец на кнопке дверного звонка
Так медлил от мысли внезапной:
Нажмешь — и грядущие рухнут века
В ничто. И не скажешь: до завтра!

И весь этот детский цветной карнавал
Исчезнет, утонет... Кошунство!
Но разве мое? Я еще не знавал
Настолько ужасного чувства!

Я знаю одно под бессмертным снежком,
Одно, неподвластное сагам —
Что бездны таятся под каждым шажком,
Под каждым единственным шагом.

МИХАИЛ НАЙДИЧ

После такого

Свист, разрывы снова и снова,
Сталь грохочет с утра, с шести...
Нам казалось — после такого
И трава не будет расти.

Где уж ей, шелковисто-нежной,
Приподняться, встретить рассвет —
На просторе, почти безбрежном,
И живого-то места нет.

Тяжело нам глядеть и горько:
До каких, мол, дожили дней...
Но весной из земли — иголка!
И другая вдогонку ей!

И спокойней уже Смоленщина,
Покатилась война к концу.
...Ничего еще не залечено,
Всюду шрамы — как по лицу.

Но трава кой чему научена
Как свидетельница боев.
Вот и ночью звезда падающая
Если падает — то в нее.

Боец

Под взглядом неба голубого
В пшенице, в утренней росе
Лежал он, роста небольшого,
Лежал он стриженный, как все.

И тут же рядышком, где ходко
Жук уползал к себе домой,
Валялась влажная пилотка
С той каплей алой — со звездой.

И выстрелы утихли, кроме
Двух-трех последних, там, вдали,
А на лице — ни капли крови,
Лишь тень... быть может, от земли?

И за беду, за эту горесть
Что было делать: плакать, мстить
Иль говорить, понизив голос,
И лишь на цыпочках ходить?..

И разбросав ладони врозь,
Он спал в такой удобной позе,
В какой ни до того, ни после,
Наверно, спать не довелось.

СИБГАТ ХАКИМ**Июнь**

Как никогда я счастлив был в июне!
Работой занят, не считал я дней,
Ни дня в июне не пропало втуне
(мне семьдесят, и это все трудней).

Откуда что взялось?! Перо, бумага,
в оконной раме — влага и сирень,
лучистый лес и сумрачность оврага —
все стало вдохновеньем каждый день!

Не всякий месяц так во мне участвив:
то настроенья нет, то грудь больна...
Как никогда в июне был бы счастлив...
когда не вспоминалась бы война.

Перевел с татарского РАЗИЛЬ БУХАРАЕВ.

ИВАН ПЕТРУХИН**В четыре утра**

...И занималась зорька на востоке,
Еще в тепле спалось кому-то всласть.
И славной птицы песня полилась
В той тишине лесной под Белостоком.

И не один я слушал эту песню,
И все сменял коленца соловей.
Вдруг оборвался голос, словно треснул:
Стряслась беда над родиной моей.

Вот так она, война, и начиналась,
Вступили в бой мы на закате дня —
И затряслись поджилки у меня,
И будто сердце кровью обливалось.

Но не за дни, а за часы в привычку
Я стал входить, в горячке страх гася,
И проявил отвагу в первой стычке,
В душе солдатской гордость унося.

Осело все в душе моей и сердце
И не заглохнет ни за сколько лет...
И соловья последнее коленце
Еще звучит, не меркнет тот рассвет!

ЮЛИЯ ДРУНИНА

Фронтальные поэты

На послевоенных трибунах — Высоких подмостках страны — Стояли мы армией юных Солдат, ветеранов войны.	Хоть ритмы скромны И тихи... Гудзенко, Орлов, Наровчатов — За ними большая Война. Звучат, словно голос набата, Солдатские их имена.
Не армия — Взвод, отделение: Другие остались в бою... А все же зовут Поколение Нас, юность воспевших свою.	А если случится — «По коньям!» Скомандует время опять, Берггольц, Недогонов, Луконин Не будут в сторонке стоять.
И как документы эпохи Читаются наши стихи, Хоть рифмы порою И плохи,	Не им предназначена Лета — Забвенья глухая река. Удел фронтального поэта — Навеки быть в списках полка.

* * *

Белый зайчонок
На белом снегу.
Белая сказка
На каждом шагу.
Лес новогодний
Во время пурги
Не отличишь
От сибирской тайги.
Вспомни меня.
Одолжение сделай,
Юной, уверенной
И неумелой.

Как я рванулась
На лыжах вперед,
Так до сих пор
Продолжаю полет.
Спуски, подъемы,
Паденья, трамплины,
Ветер в лицо
И соперников спины.
Кто-то поет,
Кто-то дразнит:
— Держись! —
Мчимся дорогой
По имени жизнь.

На Арбате

Хоть небоскребы Жадно душат Ее в объятиях своих, В глаза бросается церквушка —	Веселый теремок, Игрушка, Меж громких од Негромкий стих...
---	---

Это имя

Только вдумайся, вслушайся В имя — Россия: В нем и росы, и синь, И сиянье, и сила...	Я бы лишь одного У судьбы попросила — Чтобы снова враги Не пошли на Россию...
---	--



ВЛАДИМИР ЕРЕМЕНКО

★

БУДЬЛАСКОВ

Рассказ

Его звали Будьласков, а фамилию, имя и отчество вспоминали только два раза в год, когда на трудодни выдавали зерно и другие продукты. В эти дни кладовщица Фенька, сухая, костлявая баба, глядя в ведомость, трубным голосом выкликивала: «Сапов Аким!..» И, споткнувшись на отчестве, удивленно поднимала глаза на стоявших перед ней колхозниц. Те недоуменно пожимали плечами и начинали озираться вокруг, но увидев пробирающегося к большим амбарным весам высокого худого старика с торчащими пиками усов, успокаивались: «А, Будьласков». И с улыбкой пропускали его вперед.

Будьласков разворачивал мешок и, потряхивая его за края, ворчал на кладовщицу:

— Не жадничай, сыпь. Украдешь у другого.

Фенька, ловко загребая зерно деревянной лопатой, весело отвчала:

— Украдешь у вас, если полфунта на трудодень! Давай отходи, Будьласков. Ну чего, как конь, башкой мотаешь? Отходи, говорю! А тот все тряс мешок и канючил:

— Сыпь еще, не жадничай.

Кладовщица в сердцах добавляла еще лопату, и Будьласков волочил свой оклунок на весы.

— Ну вот! — сердясь, кричала Фенька. — Пересыпала, лихоманка тебя заberi. Отсыпай назад!

Но Будьласков поспешно подхватывал свои полмешка с весов и не по годам прытко тащил к дверям амбара.

Все шумно смеялись, но теперь уже над кладовщицей:

— Держи его, Фенька! Перекрывай дорогу!..

Та, изображая погоню, срывалась с места и топала ногами вслед улепетывающему Будьласкову.

Но все заканчивалось мирно. Будьласков увозил заработанное зерно на тележке, а колхозницы еще долго пересмеивались, и пропало то тяжелое напряжение, которое сковывало всех при окончательном расчете. Двести граммов на трудодень получали они.

Сколько я знал Будьласкова, никогда не слышал от него ни одного злого слова, хотя ворчуном он был первым, в колхозе даже поговорка бытовала: «Ворчишь, как Будьласков». Он действительно часто бранился, но добродушно, как бы по привычке. Идет по поселку, остановится у какой-нибудь избы и кричит хозяевам:

— Будь ласков, иду в правление! Поругаюсь и за тебя, шут его мышь.

— Иди, иди, Будьласков, — отвечают ему. — Обязательно поругайся за нас...

И старик, двигая, как лыжами, сапогами с обрезанными голенищами, шел дальше, к другой избе, и там затевал тот же разговор.

С ранней весны, когда наша тракторная бригада выезжала в поле, и до белых мух Будьласков жил на полевом стане. Работал возчиком: ездил на единственной в колхозе паре быков, которых председатель доверял только ему. Подвозил к тракторам горючее и воду, запчасти, мотался на нефтебазу и в МТС, доставлял в поле продукты, семенное зерно... Привезет одно и сразу за другим, а как стемнеет — сунет под мышку телогрейку и отправляется пасти своих быков. «Ночь не выпасешь — днем не поездишь», — говорил он. И так весь полевой сезон...

Заканчивался третий год войны. Время было трудное, жили голодно и холодно, но мне оно запомнилось как время безоглядного мальчишеского счастья, счастья столь огромного, что оно пугало меня.

Впервые за свою жизнь я был счастлив, счастлив абсолютно и безоговорочно. И причиной этого счастья был потрясающей красоты перламутровый трофейный ножичек. Он оказался у меня в ту самую весну, на переломе страшной и теперь далекой войны...

Начал рассказывать о старике Будьласкове, потом заговорил о счастье, а пришел к войне. Несуразица какая-то... Но в том-то и дело, что и Будьласков, и мальчишеское счастье, и беда, обрушившаяся на нас чуть позже, стянулись тогда в один узел — такой, что и по сию пору не развязать его.

Шла война, но мы, сталинградцы, уже год не слышали ни стрельбы, ни взрывов. Фашистов почти выбили с нашей земли, и нам казалось: не сегодня-завтра врага прикончат там, в его собственном логове. Однако до победы оставался бесконечно долгий год, о чем мы, понятно, не знали.

Мне почти шестнадцать, я считаю себя взрослым, потому что уже два года работаю трактористом в колхозе. В моих руках сокровище — складной ножичек с десятком замечательных предметов. Тут и крохотные ножницы, и шильце, и штопор, и пилка, и какая-то фигурная лопаточка, и странное тупое лезвие, назначение которого я не могу определить.

Ножичек подарил мне бригадир тракторной бригады Иван Погребняк, которого две недели назад мы проводили в армию. Танкист Погребняк был из выздоравливающих, после выписки из госпиталя он несколько месяцев восстанавливал свое здоровье в тылу и для этого был направлен в наш колхоз механиком. Теперь вместо него из района должны были прислать нового выздоравливающего, да что-то задерживались. По годам я не был старшим в бригаде, но до прибытия нового ранбольшого наш председатель колхоза Николай Иванович Грачев назначил бригадиром меня. Назначил, а «доглядать» за всеми наказал Будьласкову. Такой расклад в руководстве бригады нас устраивал. Старик не докучал нравоучениями, а к его ворчанию мы давным-давно привыкли.

— Что же ты, будь ласков, вытворяешь? — скажет старик, покачав головой. — Тебя за старшего оставили, а ты сам на голове ходишь...

Дня через три появился наш председатель и устроил мне разнос за мое руководство бригадой. Николай Иванович кричит, а Будьласков его успокаивает:

— Ты охолонь, охолонь, он хлопец не пропащий, с понятием... Зря ты на него так -то...

В том, что произошла ошибка с моим назначением, председатель, видимо, понял сразу, но он был человек упрямый и не любил отменять своих распоряжений. Да и заменить меня можно было только таким же хлопцем, разве что на год или два постарше.

— Пацаны! Одно слово, пацаны, — сокрушался председатель. — Что с них возьмешь?

Однако дела в нашей бригаде после ухода Погребняка мало в чем изменились. Мы так же по целым дням от восхода и до захода солнца работали в поле, а если трактор вставал, сами ремонтировали. Да и баловства, за которое нас ругал председатель, было не больше, чем при Погребняке. Он хоть и воевал с самого начала войны, но, попав к нам, как-то сразу вместе с военной формой снял с себя и все взрослое. И стал таким же, как все мы, мальчишкой. Председатель и на него покрикивал:

— Ты чего же, Иван, братву мне распустил? А еще военный человек!

А бригадир весело отшучивался:

— Пусть, Николай Иванович, порезвятся немного. На фронт упадут — там с них все вмиг слетит...

А вечером, взяв винтовку и карабин, которые мы тайком держали в бригаде, он вел нас на пруд «стрелять уток». Уток, конечно, там никаких не было, но пальбу мы открывали такую, что небу становилось жарко.

Особенно крепко сдружился с Иваном я. Он был ровесником моего брата Виктора, который находился на фронте и от которого уже год не получали мы писем. Ивану, как и Виктору, шел двадцать первый, родом он был откуда-то из Закарпатья, еще оккупированного немцами, и моя мать, когда мы приезжали к нам домой, принимала его как родного сына.

В знак нашей дружбы и подарил Иван этот драгоценный ножичек..

Старенький колесный трактор намертво глох в дальнем конце поля, и у меня уже не было больше сил крутить заводную ручку, чтобы оживить эту груду металлолома. Садился на землю, доставал из кармана свое сокровище и забывался. Щелкал лезвиями, перебирал предмет за предметом и даже рассматривал их на свет. Вдоволь наигравшись, снова брался за заводную ручку. Трактор за это время приходил в себя, его загнанный мотор остывал и, случалось, оживал уже после нескольких оборотов. Я обрадованно бежал к дросселю и поддавал газ. И мой железный конь, судорожно скрипя и надрываясь, опять тянул плуг, оставляя за собой темную полосу вспаханной земли.

Когда мы уже заканчивали сев яровых, в бригаде случилось ЧП: тракторист Митька Пустовалов украл полтора пуда семенного зерна.

Полтора пуда — примерно двадцать четыре килограмма. Но по тем временам это было настоящее богатство. Для сравнения скажу: всей бригаде отпускалось на день три килограмма крупы. Двум десяткам голодных людей.

Председатель так и врезал Митьке:

— Ты, паршивец, всю бригаду оставил голодной. Вот она пусть и судит тебя!

Митька Пустовалов даже среди нас, доходяг, выглядел заморышем. Но через несколько недель ему исполнялось семнадцать и его должны были призвать в армию. Еще вчера это обстоятельство возвышало в наших глазах Митьку. Но теперь мы готовы были разорвать его.

Тихий и малоразговорчивый Митька и сам толком не мог объяснить, как это произошло. Когда сторож, поймав его с поличным, привел на стан, Митька только затравленно озирался и лопотал что-то невнятное.

— Судить его, паршивца! — кричал председатель, и в его голосе на этот раз не было отеческой снисходительности.

Мы хотели просто поколотить Пустовалова, тем самым совместив и судебное разбирательство и приведение приговора в исполнение, и Шурка Быкодеров уже вмазал ему по уху. Но Будьласков с неожиданной прытью влетел в нашу кучу малу и загородил собой тщедушного Митьку.

— Будьте ласковы! Охолоньте! Охолоньте! — И он так решительно замахал руками, что мы сразу отступили.

Суд над Пустоваловым назначили на завтра на вечер, и председатель приказал явиться на него всем колхозникам — «чтобы другим неповадно было».

Ребята еще долго колготились, не могли уснуть, взволнованные происшедшим. Шурка Быкодеров (а он был нашим комсомольским секретарем) допытывался у Митьки, как все вышло. Но тот по-прежнему молчал и лишь изредка тяжело вздыхал.

В землянке Митька располагался на нарах рядом со мною, и я, когда уже все спали, несколько раз негромко окликнул его. От моего шепота Митька замирал, даже переставал дышать, но не отзывался, и я оставил его в покое.

Я долго не спал в ту ночь и, конечно, думал о случившемся, о Митьке. Думал и об Иване Погребняке, спрашивал себя, как бы он отнесся к этому. Мнение Ивана, как и когда-то слово старшего брата, было для меня непререкаемым. А он, я верил, вынес бы безжалостный приговор вору. Да и как иначе? Там, на фронте, и здесь, в тылу, — все кругом выбиваются из сил, все отдают для победы. А этот хлеб у народа ворует?! Нет, никакого прощения! Судить его, мерзавца!

Для меня, видно, не имело значения, какой это будет суд: наш колхозный или государственный — там, в районе. Однако и Николай Иванович и Будьласков хорошо понимали различие между ними и поэтому, чтобы отвести от парня беду, так поспешно, не дожидаясь районного, назначили наш суд. Завтра вечером собравшиеся колхозники скажут свое слово и вынесут приговор.

Станным был наш колхоз. Его поля начинались сразу же за рабочим поселком, в полуразрушенных домах и подвалах которого мы жили. Сельских жителей среди нас почти не было, все крестьянские «должности» исправляли горожане — те немногие, что уцелели во время битвы за Сталинград или вернулись из эвакуации из-за Волги.

Собственно, оттуда, из-за Волги, и началось наше хозяйство. Едва окончились бои в городе, с левого берега переправили колесный трактор, пару быков, одну лошадь — кобылу Катьку — и верблюда. Той же весной верблюд подорвался на противотанковой mine, а кобылу Катьку забрали в район. Но к оставшимся трактору и паре быков — нашей единственной тягловой силе — мы скоро добавили еще два «Сталинца», которых сумели собрать из нескольких разбитых и брошенных в поле машин. А работать в колхозе, как я уже говорил, стали мы, городские мальчишки и девчонки, да наши матери.

Ко времени описываемых событий колхоз разросся, в нем было уже четыре бригады — тракторная, две полевые и огородная, молочная ферма.

Митька, как и все, был городской, мы вместе постигали премудрости несложного, но тяжелого труда в поле...

Я лежал на нарах, и мои мысли упирались в вопрос, на который не было ответа: как он мог.

В бригаде это первая большая кража зерна. Во время посевной случалось, что прицепщики-сеяльщики набивали зерном карманы. Как правило, они попадались и их выгоняли из бригады. Но это были сторонние люди, которых присылали к нам на помощь из города. А тут вором оказался свой. Позор на весь колхоз... С этими тревожными мыслями я и уснул...

Будили нас на рассвете. Будьласков шел вдоль нар и, легонько толкая спящих, говорил: «Будь ласков, милок, вставай, пора...»

Так было и сегодня.

Просыпаясь, все глядели в ту сторону, где спал Пустовалов, но видели только его скатанную постель. Когда мы вышли из землянки, Митька уже возился у своего трактора. Наверное, он так и не смог уснуть.

Вечером, когда все вернулись на полевой стан, Будьласков, встретив нас, тяжело вздохнул и сказал:

— Митька-то... Беда с парнем приключилась...— И немного помолчав, уже сердито, будто во всем были мы виноваты, добавил:— Вы смотрите, комсомольцы, не сломайте человека. Ему ведь в армию скоро... Что же он с горбом-то туда...

Меня разозлил этот незаслуженный упрек, и я не сдержался:

— Сам виноват. Будет знать, как воровать!

Митька услышал мои слова. Он ссутулился еще больше и шагнул прочь от стола, где мы рассаживались на ужин.

После жидкой каши, сдобренной горчичным маслом, здесь же, за этим обеденным столом, началось судебное заседание. Николай Иванович успел шепнуть, чтобы мы не сильно налегали на Митьку, и многозначительно скосил глаза на Семена Петровича, уполномоченного из района. Мы еще днем заметили бывшую когда-то нашей кобылу Катьку (она паслась неподалеку от полевого стана), да не придали этому значения. Мало ли кого она возит сейчас.

Правда, Семен Петрович не был для нас чужим человеком. Недавний фронтовик, он часто появлялся в колхозе, ездил по бригадам, знал наши дела и заботы, помогал чем мог. Он считался как бы своим, его высокая районная должность не смущала нас, и мы никак не могли понять ни нервной озабоченности нашего председателя, ни страха и растерянности старика Будьласкова. А ведь сторож, задержавший Пустовалова с поличным, составил акт и передал его в район. Это полностью меняло ситуацию, о чем и свидетельствовало прибытие уполномоченного. Но мы и этого не приняли в расчет.

Не изменили мы своего боевого настроения и тогда, когда Семен Петрович строго спросил у председателя, почему нет людей из других бригад, а тот поспешно ответил:

— Все предупреждены мною лично. Да дел у каждого выше головы.— И видя, что это объяснение не удовлетворяет уполномоченного, примирительно добавил:— Подойдут. Давайте начинать.

Тут еще не поздно было бы обратить внимание на необычное поведение уполномоченного и нашего председателя, но мы в своем святом гневе уже закусили удила.

Наш комсомольский секретарь Шурка Быкодеров выступил первым:

— Мы собрались, чтобы заклеить и наказать человека, укравшего не просто хлеб, а семенное зерно...

Председатель попытался смягчить грозные слова Шурки, но уполномоченный остановил его и начал говорить о суровом военном времени, о суровых законах войны, о напряженном труде всего народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в заключение призвал «беспощадно осудить расхитителя колхозной собственности».

Этот призыв словно подхлестнул нас, и мы уже не обращали внимания на предупреждающие знаки председателя и слова Будьласкова: «Охолоньте!» — а клеймили Митьку так, что он все ниже и ниже опускал голову, не смея ни на кого поднять глаза.

— Мы уже осудили вчера грязный поступок Пустовалова, осудили единодушно. Пустовалов опозорил себя, опозорил бригаду, опозорил звание комсомольца. И за это он заслуживает самой суровой кары. И хотя председатель не позволил нам наказать Митьку по-своему, но это за нами не пропадет, Митька знает. И поэтому я выражу общее мнение комсомольцев. Пустовалова временно исключить из комсомола. И всем взять его на поруки.— Шурка широко развел свои руки и удивленно глянул на них, видно, только сейчас догадался, что сказанное им слово того же корня, что и «рука». И тут же строго выкрикнул:— И пусть он своим самоотверженным трудом и честным поведением заработает право опять быть комсомольцем!..

— Как это временно? Как это на поруки? — перебил Шурку Семен Петрович.

— Ну на время, пока он исправится,— ответил Шурка.— Ведь его ни из комсомола, ни из бригады выгнать нельзя. Это все понимают... Вы посмотрите, ведь от него за эту ночь ничего не осталось...

Семен Петрович невольно улыбнулся, и эта улыбка на мгновение высветила в нем того привычного нам человека — доброго и всепонимающего,— каким мы знали его раньше.

Выступали другие ребята. Они страстно клеймили преступника, но когда уполномоченный, согласно кивая, спрашивал, как они предлагают наказать его, говорили приблизительно то же, что и Шурка.

— Мы вот что, добрые люди, должны понять,— каждый раз вмешивался старик Будьласков.— Он же, Митька, будь ласков, впервой соскользнул на эту дорожку. Ему же еще и в армию идти, чтобы защищать... А так — пропадет парень...

При упоминании об армии Семен Петрович особенно нервничал. Нетерпеливо поднимал руку над столом, останавливал старика и, нагнувшись к Феньке, которая вела протокол, говорил:

— Это, Феня, запиши обязательно. Товарищи просят учесть, что позорный случай с Пустоваловым произошел впервые...

Нам уже казалось, что все будет по-нашему и Митька останется в бригаде искупать свою вину ударным трудом.

— Ломать судьбу парня не следует,— заключил председатель.— У него вся жизнь впереди. Война ведь когда-нибудь все равно кончится, и всем нам жить и в глаза друг дружке глядеть. Так что мы должны по справедливости все это дело порешить. Конечно, наш долг научить на этом примере других. Но нужно и по справедливости... Митьке в армию идти.

Мне хотелось еще раз увидеть на лице Семена Петровича ту понимающую и добрую улыбку, но ее не было. Ему явно не нравились слова нашего председателя.

— А разве нашей армии воры нужны? — перебил он.

— Я говорю: по справедливости,— стоял на своем Николай Иванович.— Его отец тоже в этой армии и тоже бьет фашистских захватчиков. Чего ж сразу так-то?...

Мы, конечно, сразу приняли сторону председателя и стали требовать голосования. Имелось два предложения: первое — вынести Пустовалову строгий выговор с предупреждением, второе — исключить его из комсомола.

Но поднялся Семен Петрович и строго спросил:

— Скажите, а может ли быть в рядах комсомола вор?

— Да никакой он не вор,— возразил Шурка.— Он это так, по ошибке...

— Позвольте... Он украл двадцать четыре килограмма семенного зерна. Есть акт, который подписан сторожем и самим Пустоваловым. Это документ! Он передан в милицию, и теперь, наверное, делом Пустовалова занимается прокурор.

Дальше шли слова о хлебе, который должен был вырасти из украиненных семян, о фронте, который ждет этого хлеба, и о том, что сейчас, в наше грозное время, никто не имеет права распускаться.

— Никто! — подчеркнул он.— Только железной дисциплиной и высокой сознательностью мы можем победить врага. И оценка преступления Пустовалова должна показать вашу политическую зрелость.

После этих слов, которые он, словно гвозди, взмахом руки вколачивал в нас, говорить было трудно. Однако мы не сдались.

Я сказал, что у нас есть свой суд, суд его друзей и товарищей, и он для Пустовалова, может, еще страшнее, чем суд государственный. К тому же он осознал свой проступок и раскаивается.

Помню, как вздрагивал и кивал в знак согласия Будьласков, как светились у него влажные глаза, когда мы отвергли предложение

уполномоченного исключить нашего товарища из комсомола и проголосовали за строгий выговор. Никто из нас не обращал внимания на Семена Петровича, вдруг помрачневшего и потерявшего всякий интерес к тому, что здесь происходит. Председатель тоже не разделял нашего воодушевления. Он испуганно глядел на уполномоченного и шептал:

— А может, все обойдется? Там ведь тоже люди.

Но Семен Петрович, уже овладев собою, поднялся из-за стола и веско произнес:

— Мальчишки, щенки...— Он запнулся.— Ничего. Райком исключит. Не захотели своею властью, так теперь...— И вдруг с непонятной нам болью добавил:— Его ведь судить должны. И никакие здесь ваши «взять на поруки» не помогут. Много на себя берете.

— А это уж ты, Семен Петрович, извини. Дюже круто берешь. Охолонь,— поднялся из-за стола Будьласков и угрожающе двинулся в своих обрезанных кирзах на уполномоченного.

Мы впервые видели старика в гневе. Он покраснел, напрягся, его худой старческий подбородок воинственно нацелился в грудь Семена Петровича.

Тот было отшатнулся от него, но, устыдившись своей робости, закричал:

— Развели тут воров, да еще и покрываете их? Вы что, не понимаете, чем это может кончиться?— Последние слова он выговаривал уже председателю, и тот, суетливо выскочив из-за стола, ринулся спасать положение.

— Успокойся, Семен Петрович, пойми...— заискивающе частил председатель.— Да за кого ты нас принимаешь? С утра до ночи чертоломют ребята на пустое брюхо, а тут еще это...— Он подошел к Семену Петровичу, пытаясь миролюбиво взять его за локоток.

Но тот сердито отстранился, всем своим видом давая понять, что не уступит. Однако Николаю Ивановичу удалось увести разгневанного уполномоченного к землянке. Уселись на досках, и всем казалось, что дальнейшая их беседа протекает мирно. Через несколько минут к ним подошел Будьласков. Он потоптался перед Семеном Петровичем, что-то пробормотал. Тот кивнул ему, и старик присел вместе с ними.

Мы вздохнули с облегчением: все, с Митькой обошлось. И эту ночь спали спокойно. А наутро словно обухом по голове:

— Митьку в район увозят! С милиционером!

Выскочили из землянки, видим: Катька уже запряжена, поодаль на подводе милиционер сидит, рядом Митька с председателем.

Мы кинулись к ним, но словно из-под земли выросший Будьласков загородил нам дорогу:

— Охолоньте, хлопцы, охолоньте! Будьте ласковы!

— Все обойдется,— успокоил нас председатель.— И Семен Петрович то же говорит.— И он кивнул на подходившего к пролетке мрачного уполномоченного.

Но по тревожному виду, по напряженному молчанию уполномоченного я понял, что не обойдется. Семен Петрович, так и не проронив ни одного слова, сел в пролетку спиной к нам, и я вдруг по-настоящему испугался за судьбу Митьки и рванулся к нему.

— Зачем ты едешь? — шепнул я.— Зачем?

Тот испуганно посмотрел на меня.

— А как же?

— Да убеги, и все. Пробьешься на фронт, попросишься в какую-нибудь часть. Тебя обязательно возьмут...

— Николай Иванович говорит, ничего не будет. И Семен Петрович обещал...

Я не знал, как и чем поддержать Митькину веру в эти обещания, и вдруг вспомнил про свой ножичек. Он всегда был со мною, и я достал его из кармана.

— Бери!

Митька отмахнулся:

— Ты что?!

Но я, подавив в себе предательски подступившую жалость, сунул ножичек в Митькину ладонь и сжал ее. Так мы, сцепив руки, прошли еще несколько шагов, а потом Митька остановил меня:

— Вертайся. Вон Николай Иванович и Будьласков ждут...

Он догнал подводу и с разгона прыгнул на расстеленную на ней телогрейку.

Митька больше не вернулся в нашу бригаду. Вскоре мы узнали, что в районе состоялся суд и Пустовалова приговорили к семи годам.

— Эх вы, комсомольцы,— стыдил нас Будьласков.— Как же вы так...— И отходил прочь, ворча про себя. Старика и раньше хватало только на две-три внятные фразы, а теперь он совсем стал заговариваться.

— Безжалостные,— со слезами на глазах подхватывала наша повариха Оля.— Неужели и так мало горя? Зачем же еще?

— А мы-то при чем? — возмущался Шурка Быкодеров.

— Вы, вы засудили! — срывалась на крик повариха.— Вы так позорили его, такое говорили, что уж не посадить его никак нельзя было...

Такие стычки происходили теперь каждый день. Мы все перессорились.

Однажды поздно вечером, когда все уже собирались ложиться, к нам в землянку зашел председатель. Мы были потрясены его видом: он постарел лет на десять.

Николай Иванович рассказал про суд, про свой протест, про кассацию, которую он подал в областной суд.

— И Семену Петровичу спасибо. Без него бы Митьку того... совсем,— повторял он.— С законами военного времени не шутят...

Говорил много, бестолково, его высохшее тело нервно вздрагивало. Время от времени он повторял:

— А все война, война, трижды клятая...

— Вестимо,— вторил ему Будьласков.— Но и мы — как звери...

— Война, война,— стонал председатель.— Что же она делает с людьми...

Я не выдержал и закричал:

— При чем тут война? Это мы сволочи! Все сволочи! — И, заплакав, выбежал из землянки...

Постепенно история с Митькой забылась, потому что после было много всяких событий, и среди них 9 мая 1945 года, заслонившее все.

После победы почти все мои товарищи ушли из бригады, вернулись в город — кто доучиваться, кто работать. И только я дольше других оставался в колхозе. У каждого своя судьба...

С Пустоваловым я встретился на стадионе года три-четыре спустя после войны. Мы как столкнулись лицом к лицу, так и остались стоять в проходе. Кончался перерыв между таймами, нас толкали, обтекали со всех сторон, меня звали мои друзья, Митьку — его, а мы все говорили и говорили. Я узнал, что срок ему — по кассации нашего председателя — скостили на три года, что сейчас он работает шофером, что отец погиб, а мать вышла замуж и уехала на Украину.

— Черт, надо бы отметить нашу встречу.— Митька повертел по сторонам иссохшей и черной, как у старика, шеей. И тут же, словно оправдываясь, сказал: — А ножик твой у меня сразу стобрали...

Во мне будто оборвалось что-то, и чувство застарелой вины перед Митькой обожгло такой острой и пронизывающей болью, что я уже не мог поднять на него глаз. Сразу вспомнилась та тяжелая весна сорок четвертого года, виноватые лица ребят, старик Будьласков...

Будьласков стал живым укором для нас. Он узнал, где Митька отбывает наказание, писал ему письма, а осенью даже съездил к нему. Вернувшись, он никого не хотел слушать и лишь повторял:

— Сгубили парня, сгубили...

И смотрел на нас так, что хотелось провалиться сквозь землю.

Николай Иванович тоже очень тяжело переживал случившееся. Он так и не сумел оправиться от этой внезапно свалившейся беды...

Больше мне так и не довелось встретиться с Митькой. Время разметало нас, повело по разным дорогам. Однако сейчас, сквозь дымку десятилетий, я вспоминаю не ту последнюю встречу на стадионе, а нашу бригаду и Митьку там. И лицо его мне помнится таким, каким оно было в те военные годы: морщинистое, ссохшееся... Лицо старика-подростка.

Понимаю обидную неуклюжесть этого сравнения, но были, были такие подростки-старички. Они так и остались по складу своих недоразвившихся фигур вечными мальчиками с состарившимися морщинистыми лицами. Все мы, мальчишки тех грозных лет, выросли не богатырями, но этих людей мне особенно больно видеть...

Понимание и боль приходят с годами. Вероятно, и эти мысли явились мне недавно, а тогда все мы мало думали о тех отметинах, которые война оставляет в каждом из нас. И конечно, много позже я начал понимать слова Николая Ивановича, что в случае с Митькой виновата война. «Все она, трижды клятая...» — до сих пор звучит во мне.

А как же сложилась жизнь у Митьки Пустовалова? Наверное, нетрудно догадаться. Но я все-таки доскажу.

В первые послевоенные годы до меня еще доходили слухи о нем. Но слухи эти, к сожалению, были невеселыми. Главным злом для него, а потом и для его семьи стала водка. Одно время казалось, что Митька остепенился. Он женился, у него росла дочь. Но потом все пошло по-старому. Его наказывали, лишали водительских прав, ставили слесарем, но ничто уже не помогало.

В один из приездов в родной город я узнал, что Митьку бросила жена и он кормится при магазинах на подсобных работах. Кинулся разыскивать Митьку, но удалось найти только его бывшую жену.

Милая тихая женщина и девочка лет пяти, удивительно похожая на Митьку — на того, каким он был в детстве.

— Я больше не могла, — грустно качает головой женщина. — Вы не знаете, что такое пьяный мужик в доме...

В магазинах, куда я приходил, говорили, что видели его вчера, позавчера, но сегодня он еще не заявлялся.

В середине пятидесятых годов, когда уже не было в живых ни Николая Ивановича, ни старика Будьласкова, я услышал, что не стало и Митьки Пустовалова... Он не дожил и до тридцати.

Мне рассказал об этом Шурка Быкодеров, наш бригадный комсомольский вожак. Теперь он, окончив Механический институт, работал инженером на Волгоградском тракторном заводе.

— Понимаешь, его уже удержать было нельзя, — говорил Быкодеров. — И вот пропал, сгорел от вина... — Помолчав, с грустью добавил: — И как это мы его не уберегли? Никогда себе не прощу этого...

О многом переговорили мы с Сашей. Но больше всего о войне, тех трудных днях и о несостоявшейся Митькиной судьбе. Сидели, вспоминали, и обоим нам было муторно, как бывает муторно людям, не сделавшим того, что они должны были когда-то сделать.

ГЮНТЕР ГРАСС



МЕСТНАЯ АНЕСТЕЗИЯ

Роман

Действие предлагаемой читателю книги известного западногерманского писателя Г. Грасса происходит сравнительно давно — целых полтора десятилетия назад. В то время шла война во Вьетнаме. И эхо этой несправедливой войны прокатилось по всей Западной Европе. К сотням тысяч людей, особенно молодым, пришло прозрение. Антиамериканские настроения охватили тогда буквально все западноевропейские страны, в том числе и ФРГ.

В романе «Местная анестезия» Грасс, заклеивший ранее коричневое прошлое Германии, впервые обратился к современности. В своем многоплановом, полном неожиданных поворотов и сюжетных хитросплетений романе он отчетливо проследивает тему утраченных иллюзий. Молодежь ФРГ чувствует себя дискомфортно. Она не может примириться с агрессивной войной в далекой Юго-Восточной Азии, не может примириться с тем, что мирная жизнь на планете опять под угрозой.

Сейчас, оглядываясь назад, мы видим, что история молодых, рассказанная Грассом, это предыстория нынешнего молодежного движения. Семнадцати-восемнадцатилетние юноши и девушки 80-х годов совсем по-иному выражают свой гнев и возмущение — они выходят на улицы, участвуют в антивоенных митингах и демонстрациях, борются в одном строю со своими отцами и дедом. Мы знаем, что движение за мир достигло в Западной Германии огромного накала. И Грасс один из его активных участников. Вот что он говорил, когда зловещая тень крылатых ракет и «Першингов-2» нависла над ФРГ: «Я категорически осуждаю план размещения ядерных ракет средней дальности в Западной Германии. Для меня ядерное вооружение — это не оружие, а средство геноцида. Размещение их у нас увеличивает опасность войны... Ракеты, которые американцы хотят разместить здесь, представляют собой оружие первого удара, и американские должностные лица дают понять, что они резервируют за собой это право удара!»

А позже (после дебатов в бундестаге, приведших к тому, что правительство ФРГ подтвердило свое согласие на размещение ядерного оружия) Грасс писал во «Франкфуртер рундшау»: «Я призываю моих сыновей и их друзей отказаться от службы в бундесвере. В письменных и устных выступлениях я постараюсь донести свою точку зрения до военнослужащих. Ну а если иностранные журналисты спросят, почему я так выступаю, то мой ответ будет таков: «Я отрицаю способность Федеративной Республики защищать мир, поскольку вследствие размещения на нашей земле оружия первого удара отсюда может начаться пожар третьей, и последней, войны»...».

В романе Грасса «Местная анестезия» изображен и другой важный аспект западногерманской жизни: непреодоленное прошлое. Один из персонажей книги, Крингс, — гитлеровский военный преступник, который хочет «переиграть» вторую мировую войну; Крингс — вымышленное лицо, имеющее реальный прообраз.

Естественно, что именно сейчас когда милитаристские и реваншистские настроения по ту сторону Эльбы достигли своего апогея, Крингс и К^о опять подняли головы.

Грасс, политические взгляды которого отнюдь не просты, в романе «Местная анестезия» достиг большой разоблачительной силы. Будем надеяться, что эта книга, имевшая успех во многих странах мира, понравится и советскому читателю.

1

Я рассказал все это моему зубному врачу. Держа рот широко открытым, я сидел напротив телевизора — он был так же безмолвен, как и я, но выдавал рекламу: лак для волос охряно-красный, белеебелого... И еще морозилка, где между телячьими почками и молоком покоилась моя невеста, и изо рта у нее шли пузыри с надписями: «Не встречай в это! Не встречай!...»

(Святая Аполлония, заступись за меня!) Моим ученицам и ученикам я сказал: «Попытайтесь проявить снисходительность. Я вынужден обратиться к зубодеру. Это может затянуться. Стало быть, дайте передохнуть, имейте жалость».

Негромкие смешки. Умеренная непочтительность. Шербаум, паясничая, продемонстрировал свою ученость: «Глубокоуважаемый господин Штаруш, ваше выстраданное решение объясняет сочувствующим вам ученикам, почему вы вспомнили о святой Аполлонии-мученице. В году двухсот пятидесятом, при правлении императора Деция¹, эта милая особа была сожжена на костре в Александрии. Поскольку ихняя шайка выдрала ей клещами все зубы, она стала святой заступницей мающихся зубной болью и — о несправедливости! — также дантистов. На фресках в Милане и в Сполето, под сводами шведских церквей, равно как и в Стерцинге, Гмюнде и Любеке, она изображена с щипцами, зажимающими коренной зуб. Веселого вам времяпрепровождения и покорности судьбе! Мы, ваш класс 12 «а», будем молить за вас святую Аполлонию!»

Класс забормотал нечто, изображавшее благословение. Я поблагодарил их за остроумие, правда не очень высокого пошиба.

Веро Леванд сразу же потребовала от меня ответной услуги: обещания проголосовать за курилку под навесом рядом со стоянкой велосипедов, вопрос о которой дебатировался уже много месяцев. «Неужели вам нравится, что мы дышим без всякого присмотра в уборных?»

Я пообещал классу, что на следующем педсовете и родительском собрании буду ходатайствовать за право курить на переменах, если Шербаум согласится стать главным редактором ученической газеты по просьбе ученического комитета ШНО². «Извините за сравнение, но мои зубы и ваша паршивая газетенка нуждаются в помощи».

Однако Шербаум покачал головой: «До тех пор пока ученики имеют право нести ответственность, но не получили права голоса, я пальцем не пошевелю. Чепуха на постном масле не поддается реформам, или вы верите в реформы чепухи на постном масле?.. А насчет святой, между прочим, все так и есть. Можете справиться в церковном календаре».

(Святая Аполлония, заступись за меня!) Ведь обращаться к великомученице всего один раз бесполезно. Далеко за полдень я отправился в путь, но взывать в третий раз до поры до времени не стал и только на Гогенцоллерндамм в нескольких шагах от того средней руки доходного дома с табличкой и соответствующим номером, на втором этаже которого меня ждал практикующий зубной врач, да нет, уже в самом парадном дома под сладострастно изогнутым орнаментом в стиле модерн, образующим бордюр и поднимавшимся вместе со мной наверх, только здесь, покрывив душой, я в третий раз воззвал: «Святая Аполлония, заступись за меня!...»

Мне порекомендовала его Ирмгард Зейферт. Она сказала, что он человек сдержанный, осторожный и тем не менее твердый. «И, представьте себе, во время приема он включает телевизор. Сперва мне этого не хотелось, пока идет лечение. Но теперь должна признать, что телек блестяще отвлекает, уносишься мыслями далеко... И даже экран без изображения волнует... почему-то волнует...»

Вправе ли зубной врач спрашивать своих пациентов об их происхождении?

Молочные зубы у меня выпали в портовом пригороде Нойфарвассер. Тамосний народ — грузчики и рабочие с верфи — жевали табак, зубы у них выглядели соответственно. И повсюду они оставляли свою метку — вязкую, как деготь, слюну, на морозе она не замерзала.

¹ Деция Гаий — римский император. Годы правления 249—251. (Здесь и далее прим. перев.)

² «Школьники несут ответственность».

— Вот оно как,— сказал тот, в парусиновых туфлях,— с повреждениями, вызванными жевательным табаком, мы теперь почти не имеем дела.

И сразу перекинулся на другое, на мой обратный прикус и на мой профиль: начиная с переходного возраста мой так называемый прогенный подбородок сулил сильную волю, какой я не обладаю, но это не могло, впрочем, предотвратить раннее зубохирургическое вмешательство. (Моя прежняя невеста сравнивала мой подбородок с тачкой — ныне он стал не только мишенью для карикатуры, распространяемой Веро Леванд, но выполнял еще и другую функцию — основания для обратного прикуса.) Вот именно. Я всегда знал, что мои зубы рубят. Я не размалываю. Собака рвет зубами. Корова размалывает. Человек, жуя, производит обе эти операции. Мне не дано жевать нормально.

— Вы рубите,— сказал зубной врач.

И я даже обрадовался, что он не сказал: вы рвете пищу зубами, как собака.

— Поэтому сделаем рентгеновский снимок, закройте, пожалуйста, глаза. Но мы можем включить звук...

(«Спасибо, господин доктор»: не исключено, что я уже с самого начала сократил это обращение до более фамильярного — «доктор». Позже, попав в зависимость к нему, я кричал: «Помогите, док! Что мне делать, док? Вы же все знаете, док!»)

Наконец, одиннадцать раз прожужжав, его бормашина добралась до моих зубов, и он, болтая, предложил:

— Хотите, я расскажу вам некоторые эпизоды из предыстории зубохирургической науки.

Но я, глядя на молочно-белую выпуклость телеэкрана, увидел много всякой всячины, например пригород Нойфарвассер, где напротив корабельной верфи я утопил в жиге из тепловатой глины молочный зуб.

Его картинка выглядела иначе:

— Начать надо с Гиппократов. Он рекомендовал чечевичную кашницу против абсцессов в полости рта.

Моя мамуля покачала головой прямо на телеэкране. «Нет, мы больше топить не станем. Спрячем-ка их лучше в красивую коробочку, выложенную голубой ватой». Слегка выпуклая мамуля лучилась добротой. А в то же время мой зубной врач говорил как по-писаному, читая лекцию по истории зубохирургического дела: «Полоскание раствором перца согласно Гиппократу должно способствовать рассасыванию опухолей». Но моя мамуля, нимало не смущаясь этим, продолжала, стоя посреди нашей кухни: «А гранатовую брошь я переложу из коробочки к янтарю и к орденам дедули. Все твои молочные зубы мы соберем в одно местечко, и когда-нибудь ты скажешь своей супружнице и ребятишкам — вот видите, какие они у меня были!».

Врач не обращал внимания ни на мои передние зубы, ни на задние. Ибо из всех коренных мои зубы мудрости — восьмой нижний, восьмой верхний — оказались самыми надежными — на них будет держаться мост, а с помощью мостовидного протеза немного исправится мой прикус.

— Вмешательство,— сказал он,— придется нам решиться на серьезное вмешательство. Не желаете ли вы, пока моя помощница готовится сделать вам рентгеновский снимок и пока я удаляю камень, включить изображение и звук?

Но я повторил:

— Спасибо.

Он был готов поступиться даже своими принципами:

— Могу включить программу из ГДР.

Но пустой телеэкран предоставлял мне неограниченные возможности: я видел все снова и снова, как медленно погружается в глиняную жижу мой молочный зуб. И еще мне понравилась моя семейная хроника, она как раз началась с молочных зубов. «Конечно, мамуля, у меня здесь торчит один зуб, другой уже тью-тью, я утопил его в порту. И его проглотил не судак, а сом, он пережил на дне трудные времена и теперь засел в засаде, поджидает, когда появятся мои остальные молочные зубы. Однако мои прочие детские резцы, так и не узнав-

шие, что такое зубной камень, ныне переливаются перламутром на красной ватке, а гранатовая брошь и янтарь, так же как и дедулины ордена, пропали...»

Зубной врач в это время обретался в одиннадцатом столетии, повествуя об арабском лекаре Альбукасе из Кордовы, который первый обратил внимание на зубной камень. «Его надо скалывать». И еще я вспоминаю фразы наподобие следующей: «При остатке окиси в щелочном растворе, если, стало быть, pH меньше семи, образуется зубной камень, поскольку слюнные железы нижней челюсти выделяют слюну на резцы, а околушные слюнные железы на шестые верхние; особенно сильно при экстремальных движениях рта, в частности при зевании».

— Зевните, пожалуйста. Да, да, отлично...

Я делал все, что он велел: зевал, выделял слюну, которая образует камень, но никак не мог вызвать сочувствие зубного врача.

— Ну доктор, как вам нравится мое маленькое сокровище?.. Спасенные молочные зубы? Ведь мамуле в январе сорок пятого пришлось паковать вещички, чтобы с последним военным транспортом покинуть Нойфарвассер,— отец служил лоцманом и мог позаботиться о семье. Конечно, перед тем как покинуть город, мамуля побросала все самое необходимое, стало быть и мои молочные зубы, в большой отцовский флотский мешок, который по ошибке — так часто случается в отчаянной спешке, когда люди готовятся к бегству,— погрузили на «Пауля Бенек»,— колесный прогулочный пароходик, и как раз этот пароходик не подорвался на mine; целый и невредимый, хоть и перегруженный, он приплыл в Травемюнде; ну а моя мамуля так и не увидела ни Травемюнде, ни Любека; то военное транспортное судно, которое, как мне кажется, было последним, налетело на мину южнее Борнхольма и было торпедировано — отвлекнись, пожалуйста, на секунду от зубного камня и посмотрите назад,— итак, вместе с моей мамулей оно прямехонько пошло на дно в первый раз сквозь ледяное крошево, а сейчас сквозь ваш телеэкран. По слухам, всего лишь несколькими господам из местных нацистов, руководителей гау, удалось вовремя пересечь на миноносце...

Мой зубной врач сказал:

— А теперь полощите.

(Во время длительных сеансов, когда доктор просил, требовал, выкрикивал: «Еще раз!» — он позволял отвести взгляд от экрана.)

И только изредка, пока у меня отделялась слюна, созданные моим воображением картинки поспевали вслед за зубным камнем, так называемым конкрементом, попасть в плевательницу; их то и дело перебивали всяческие помехи, взятые в скобки фразы: реплики моего ученика Шербаума, шпильки, которыми обменивались в частных беседах я и Ирмгард Зейферт; всякая повседневная школьная словесная шелуха, вопросы, задаваемые во время второго государственного экзамена на замещение учительских должностей, и еще вопросы врача в виде цитат. Хоть и трудно было переключиться с телеэкрана на плевательницу, а после полоскания снова обращаться к телевизору, мне почти всегда удавалось восстанавливать связную картину.

— Ну и как водится, доктор, мои молочные зубы, можно сказать, сохранились для потомства. То, что раз спасли, не скоро пропадает...

— Не будем обольщаться — против зубного камня нет средств...

— Сын искал родителей, а ему вместо них вручили флотский мешок...

— Поэтому сейчас мы и будем бороться с зубным камнем, с врагом номер один...

— И каждой девушке, которая видела во мне будущего жениха, я показывал спасенные молочные зубы...

— Поскольку лечить зубы, не удалив камень при помощи инструментов, а priori³ невозможно...

— Однако далеко не всякая девушка считала, что молочные зубы Эберхарда должны обязательно нравиться или возбуждать интерес...

— В последнее время практикуется лечение ультразвуком. Ну а теперь полощите.

³ Изначально (лат.).

Но вот случился один, как мне поначалу казалось, досадный сбой; я уже сумел с помощью спасенных молочных зубов выманить на экран мою прежнюю невесту и завести с ней разговор (как я сейчас наконец-то хочу завести вольтынку — начать жаловаться), однако тут зубной врач возразил: «Чересчур рано». Пока я долго-долго полоскал, он развлекал меня анекдотами. Так, он рассказал о некоем Скрибони Ларгусе, который придумал для первой жены императора Клавдия Мессалины зубной порошок — смесь жженных оленьих рогов с хиосской смолой и аммиачной солью. Когда он признал, что уже Плиний считал толченые молочные зубы верным порошком счастья, у меня в ушах опять зазвучал голос мамули: «Ну вот, деточка, я положу их на зеленую ватку. Когда-нибудь они принесут тебе счастье!»

Что значит в данном случае суеверие! В конце концов я происхожу из семьи моряка. Мой дядя Макс так и остался лежать на Доггер-банке⁴. Отец пережил «Кенигсберг»; все то время, что Данциг был вольным городом, он прослужил лощманом. А меня ребята всю дорогу звали Штёртебекером⁵. До самого конца я был их предводителем. Мооркену пришлось играть вторую скрипку. Из-за этого он втихаря и подкапывался под нашу шайку-лейку, хотел ее расколоть. Но я этого не допускал. «Слушайте меня, ребята...» Так шло до тех пор, пока мы не завалились, потому что этот скелет, этот сукин сын наступал на нас. Пришлось мне выложить все как на духу, по порядку, как в кино. Обычные эффекты — возвышение и падение нашей банды возмутителей спокойствия — меня не прельщают, скорее я предпочту научный анализ: подростковые банды в третьем рейхе. Досье пиратов «Эдельвейса» в подвале кельнского полицей-президиума до сих пор еще никто как следует не изучил. («Что вы думаете на этот счет, Шербаум? Вашему поколению не мешало бы этим поинтересоваться. Нам тогда было семнадцать, столько же, сколько вам сейчас. И некоторое сходство нельзя не отметить: отрицание собственности, одна девочка, к которой мы не подпускали других, а главное, единый фронт против всех взрослых; да и господствующий в 12 «а» жаргон сильно смахивает на наш тогдашний язык».) Разумеется, в ту пору была война. И речь шла не о курилках и прочей детской муре («А вот когда мы распатронили хозяйственную контору... А вот когда мы забрались в придел церкви Сердца Иисусова... А вот когда мы на зимнем плацу...»). Мы описывали сопротивление по-настоящему. С нами никто не мог справиться. Пока Мооркен на нас не наступал... Или та жердь с щучьими зубами. Следовало бы и их обоих заложить или дать категорический приказ — никаких баб! Кстати, мои молочные зубы я носил тогда в мешочке на груди. Каждый, кого мы принимали, должен был поклясться на моих молочных зубах. «Из Ничто вырастает ничтожество». Надо было бы принести их с собой.

Вот видите, доктор, как время идет. Еще только вчера я был предводителем юношеской шайки, наводящей страх на целый имперский гау Данциг — Западная Пруссия, а сегодня я штудиенрат, преподаю немецкий и историю и хотел бы уговорить моего ученика Шербаума отойти от молодежного анархизма. «Вам надо заняться ученической газетой. Вашему критическому уму требуется соответствующее поле деятельности». В сущности, штудиенрат — это перекавалифицировавшийся предводитель юношеской шайки, который — если вы не возражаете, я сойду за эталон — уже давно не чувствует никакой другой боли, кроме зубной, одну зубную боль...

Дантист объяснил причину моей хоть и терпимой, но непрекращающейся зубной боли — положение челюсти ведет к опуханию десен и обнажению чувствительных шеек зубов. Ввиду того, что очередная история дантиста меня не прорвала («От зубной боли Плиний рекомендовал класть в ухо пепел от черепа бешеной собаки»), зубной врач махнул каким-то своим инструментом.

— Может быть, нам все же включить теле...

Но я настанвал на том, что мне больно, — громкий стон. Такую жалобу никак не пропустишь мимо ушей («Извините; пожалуйста, но я так рассеян»).

Мой ученик ведет велосипед по телеэкрану.

⁴ Подводная отмель в Северном море.

⁵ Штёртебекер Клаус — пират, побежденный ганзейцами. Стал в Германии легендарной фигурой благородного разбойника.

«Ох уж эта ваша зубная боль. А что происходит в дельте Меконга? Вы читали?»

«Да, Шербаум, читал. Ужасно. Ужасно... ужасно. Но должен признаться, что эта ноющая боль, эта все время как бы давящая на один и тот же нерв струя воздуха, эта локализованная, даже не очень острая, но неотступная боль больше затрагивает и огорчает меня, нежели фотография, на которой изображена необозримая и все же абстрактная, не касающаяся непосредственно моего нерва мировая скорбь».

«Разве она не вызывает у вас гнев или хотя бы печаль?»

«Часто я пытаюсь вызвать у себя печаль».

«Вас не возмущает это, не возмущает несправедливость?»

«Я стараюсь почувствовать возмущение».

Шербаум исчез (он поставил свой велосипед под навес на стоянку). Зубной врач вдруг оказался рядом.

— Если болит, дайте мне, пожалуйста, знать, но негромко.

— О боже, ноет.

— Позже мы примем арантил.

— Можно мне пополоскать, доктор, только разок пополоскать?

(И принести извинения. Я больше никогда не буду...) В ушах у меня опять звучит голос невесты: «Ты и твои болячки! Когда я это слышу, то хочу с тобой расстаться, пусть это и будет больно. Скажи номер твоего текущего счета, и я пролью бальзам на твои раны. Рента будет тебе очень к лицу. Придумай что-нибудь новое. И сможешь заняться своим хобби — например, кельтскими орнаментами на надгробиях». (Прочь плевательница, я уношусь к базальтовому карьеру на Майенском поле. Нет, базальт сверкает на кладбище в Круфте. А может, это склад пемзы, и она между плитами...)

«Будешь приносить пользу, могу поспорить, что из тебя выйдет классный учитель...»

(Нет, это не склад пемзы, а Андернах. Променад у Рейна, где всегда гуляет ветер. Между городскими укреплениями и автоперевозом — я хожу и считаю подстриженные платаны. Бесконечные разговоры, слова.)

«Ты вылил на одну меня целый ушат педагогики. Не грызи ногти. Читай медленно и по определенной системе. Осмысли пройденное, прежде чем отклоняться от темы. Ты меня закармлил Гегелем и твоими Марксом и Энгельсом...»

Застывшие черты, в лице что-то козье, на губах вскипают пузыри, чуть не лопающиеся от осколков зубного камня, щебенки воспоминаний, шлака ненависти. (Ах, любимица публички Лонс Лейн!)

«Я — взрослая. Избавилась от тебя. Наконец-то избавилась. Тряпка, бездарь, супертрус...»

(А позади этого патефона с одной и той же пластинкой — на реке движение: вверх по течению, вниз по течению. Пых-пых!)

«Ты был хороший, малость слезливый учитель».

(Лойтесдорф на правом берегу Рейна, бугры коричнево-черных, залитых дождем клумб — розарий. Вдох! Выдох!)

«Прояви себя как-нибудь, сообразно твоим дарованиям. Перестань возиться с пемзой и цементом, пока не поздно. Как ты хочешь получить эти пятнадцать тысяч?»

(У подножья клумб, внизу, товарняк и спящие машины. Движение заменяет задний план. Слова пролетают справа и слева мимо меня и, подобно плевкам, падают на пустую веранду гостиницы «Траубе». Тук-тук.)

«В рассрочку или все сразу?»

(Я стою на ветру в своем непромокаемом плаще. Карманные деньги для супермена.)

«Ну телись. Скажи номер твоего текущего счета».

(Когда-то в старину андернахские укрепления были таможенным бастионом на Рейне правителя кельнской земли...)

«Считай это компенсацией за нанесенный ущерб и прекрати свое нытье».

(...много позже они стали памятником воинам, павшим в четырнадцатом —

восемнадцатых годах. Кинокамера поворачивается. Наплыв. Ассистент режиссера уговорил мою невесту кормить чаек! Кра! Кра!

Она мне их выплатила разом. И я распорядился этими деньгами весьма толково. Студент-перестарок перешел на другой факультет. Боннский университет — я хотел остаться поблизости от нее — превратил инженера-механика, специалиста по центробежным фильтрам, в референдаря, потом в ассессора, который с осени этого года стал штудиенратом и преподает немецкий и историю. «Разве не лучше было бы, если бы вы при ваших знаниях, — давали понять студенту, — выбрали бы в качестве основного предмета математику?» И тот, в парусиновых туфлях, тоже отвлекся на секунду от моего зубного камня.

— Как вы могли, закончив машиностроительный факультет, поставить на всем крест? Так можно сидеть за партой до скончания века.

Я долго полоскал: если уж переучиваться, то в корне. Пусть не считает, что выбросила деньги на ветер. Приблизительно три тысячи еще осталось. (Позже я должен буду перевести эти деньги на его текущий счет, больничная касса согласилась взять на себя только половину расходов.) Вот во что станет мне неправильный прикус. Зато я сижу в его полуавтоматическом кресле системы «Риттер», благодаря этому сооружению все разнообразные инструменты у него всегда под рукой, под его умелой рукой, и он работает, в то время как я, нет, в то время как мы оба наслаждаемся визитерами, посещающими мой мозг.

— Как по-вашему, доктор, неужели я должен был наотрез отказаться от денег?

Моя невеста прекратила передачу из Андернаха: «Только что мы видели, какое губительное действие оказывает зеленый криптонит на зубную эмаль супермена. А как будут реагировать зубы супермена на красный криптонит?.. Об этом вам расскажет наша следующая передача «Супермен». А пока бросим взгляд на кабинет владельца криптонита...»

И она охарактеризовала предметы, которые меня окружали: «Этот красиво изогнутый слюноотсос с убирающимся шлангом приводится в действие водяным насосом, демонстрируется на всех зубоврачебных выставках-продажах, так как славится своей исключительно высокой производительностью отсасывания...» Она говорила таким сладким голосом, словно нахваливала елочные украшения, а не прополаскивающее устройство плевательницы или двухколенчатый отросток «Риттера», извергающий фонтанчики воды. «Плевательница благодаря особому механизму может передвигаться и по вертикали».. Моя бывшая невеста на телеэкране и помощница с влажными пальцами давали указания, нажимая на специальную клавишу, находившуюся на передней стороне навесного столика. Ах, как они вились около меня. Как ловко поднимали опустившийся отсос. С удовольствием я прислушивался к тому, как он сосал и булькал, будто истомленный жаждой, прежде чем досыта напиться моей слюной.

— Будьте добры, не напрягая, опустите язык...

Зубной врач наклонился над моей особой, заслонив своим телом четыре пятых телеэкрана; правый локоть его шарил в поисках опоры между ребрами и бедром, а рука шуровала среди моих покрытых зубным камнем щек верхних резцов.

— Не глотать, все сделает отсос. Дышите глубже, вот так... Может быть, мне все же включить...

— Нетнетнетнет.

(Сегодня еще нет.) Я хочу услышать, как будет соскакивать всякая дрянь с моих зубов...

«Видите ли, Шербаум, и это стоит описать: я накапливаю пенящуюся слюну и кровь, дробленные похрустывающие осколки. С любопытством пробую их на язык, а потом, испугавшись, выплевываю все вместе в плевательницу и беру стаканчик, ухватистый, сравнительно небольшой — пациент не должен, держа его, поддаться искушению и полоскать чересчур долго, — да, я полощу и рассматриваю мои отходы, вижу больше, чем есть на самом деле, прощаюсь с разрыхленной массой зубного камня, ставлю стакан на место и с умилением наблюдаю за

тем, как он автоматически наполняется тепловатой водой. «Риттер» и я работаем согласованно и планомерно.

Видите ли, Шербаум, синхронность многочисленных действий стоит описать: в то время как я разеваю рот, повторяя про себя плач Иеремии, левый отросток «Риттера» переставляет навесной столик, а этот, в парусиновых туфлях, выдвигает скользящую подставку с инструментами, на которой все они уже лежат в полной боевой готовности. К примеру, слаботочный ручной аппарат для электронной проверки зубов автоматически заряжается и совершенно портативен. Мой врач мог бы гулять, держа его в кармане, по лесным дорожкам вдоль Грюневальдского озера или вдоль Тельтов-канала, посещать «зеленую неделю»⁶, словом, бывать повсюду, где рыщут дантисты в поисках богатой добычи.

— Позвольте, я быстренько. Ладно? Вот моя визитная карточка. У вас, говорю напрямик, обратный прикус. В сочетании с сильно выдвинутым вперед подбородком он делает вашу внешность чересчур волевой. Можно подумать, что вы человек жестокий. Но недостатки для того и существуют, чтобы их устранять. Моя рекомендация — мостовидные протезы. Вам достаточно снять телефонную трубку. Мы сразу договоримся о часе, удобном для вас и для меня. Всего шесть-семь сеансов, если не будет осложнений, которые затруднят лечение. Доверьтесь мне и моей помощнице, в ее скромности можете не сомневаться. А уж телевизор позаботится о том, чтобы вы отвлеклись. Телеэкран направит ваши мысли в другое русло, даже если он не будет включен. Прошу вас только об одном: доверьтесь мне и моей бормахине системы «Риттер» — она сама быстрота и натиск... моя бормашина делает пятьдесят тысяч триста оборотов в минуту, а приводящий ее в движение мотор гарантирует приглушенный звук.

— Правда?

— Буквально играючи я меняю насадку: сверло на шлифующий диск.

— Больно будет?

— А местная анестезия на что?

— Без нее не обойтись?

— В конце мы еще немного пошлифуем, и тогда вы поймете, что ваша невеста не зря дала вам отступного.

— Как-никак мы были помолвлены два с половиной года.

— Выкладывайте, дорогой мой, выкладывайте!

— Дело было в пятьдесят четвертом году...

— Отличное начало.

Вот что я рассказал моему зубному врачу:

— Но предупреждаю вас, доктор, речь пойдет о туфе, о пемзе, извести, мергеле и трепеле, о шифере и клинкере, о деревьях Плайдт, Кретц и Крүфт, об этрингском туфе и о коттенхеймском месторождении базальтовой лавы, о карьерах пемзы у Кореельберга и о поздневулканических образованиях на Майенском поле, да, прежде... прежде чем я расскажу о себе, Линде и Шлоттау, о Матильде и Фердинанде Крингсах — прежде, предупреждаю вас, доктор, речь пойдет о цементе.

Зубной врач сказал:

— Я работаю не только с гипсом, но и с определенными сортами цемента, цемент — основа всех используемых мною материалов. Мы еще с этим встретимся.

Ну вот тут я и начал:

— Цемент, используемый в промышленности, это продукт естественных материалов — мергелей и известняков. Он создается из измельченной извести, клинкера и трепела, из равномерно обожженной до спекания углекислой извести и трепела при перемешивании с водой и обжига сырья во вращающихся печах.

(Как здорово я все еще помню. У меня мелькнула мысль: поразить учеников своими техническими познаниями. Наверняка Шербаум считает меня человеком не от мира сего, если не чокнутым. Я посоветовал моему стоматологу собирать дентиновую пыль. Он возразил, что при обточке зубов и при одновременном выделении слюны количество отходов не очень велико.)

— Возможно. Но наша цель — полное пылеулавливание. Цементные заводы очищаются от пыли с помощью пылеулавливающих камер, с помощью цент-

⁶ Ежегодная выставка сельскохозяйственной продукции в Западном Берлине.

робежных установок и фильтров, далее вступают в действие установки для грамулирования, а оставшаяся пыль выводится к Рейну и выпускается на территорию между Кобленцом и Андернахом.

— Я бывал в предгорьях Эйфеля. Лунный ландшафт.

— И все же, как вы знаете, натурные съемки там неплохо получаются.

— Во время стоматологического конгресса я и мои коллеги совершили экскурсию в «Марию Лаах»⁷.

— Монастырь бенедиктинцев находится в пределах нашей зоны распределения пыли, обе дымовые трубы на крингсовских цементно-туфовых заводах до меня имели высоту лишь тридцать восемь метров. В ту пору выброс оседал в непосредственной близости от завода, ныне же, после увеличения высоты труб, а особенно после перехода к сушке материалов с помощью вибрационных газовых ионообменников и использования охлаждающих башен, выброс цементной пыли снизился до девяти десятых процента; кроме того, обеспечено равномерное распределение пыли за Рейном на всем протяжении Нейвидской низменности...

— Да, хозяева завода показывают пример заботы о своих согражданах.

— Лучше назовем это примером здорового стремления к получению выгоды, ибо массы пыли, улавливаемые системой электрофильтров, дают до пятнадцати процентов всей продукции цемента.

— А я думал, что установка фильтров на промышленных предприятиях вызвана исключительно заботой о благе ближних, — психология маленького человека, черпающего информацию из газет.

(Позже я познакомил мой 12 «а» с проблемой все увеличивающегося загрязнения атмосферы. Даже на Шербаума это произвело впечатление. «Не понимаю, почему вы стали учителем, занимаясь вопросами борьбы с пылью, вы могли бы добиться гораздо большего».)

— Мне кажется, доктор, мы можем говорить в данном случае о двояком процессе... Благодаря своевременно проявленной мной инициативе в середине пятидесятых годов удалось, с одной стороны, рационализировать производство, а с другой — сбить ту волну справедливых нареканий со стороны местного самоуправления, которая доставляла много беспокойства руководству предприятия. Сначала Крингс с ходу отвергал все мои предложения. Дескать, в старину были извержения вулканов, эрозия почвы, пыльные бури, сейчас на смену им пришли выбросы дыма и пыли в местах сосредоточения промышленных объектов. Что ни говори, мы не можем жить без пемзы, глины, цемента, стало быть, не можем жить и без пыли.

— Современный стоик.

— Крингс хорошо знал Сенеку.

— Этот философ и сегодня может кое-чему научить.

— Чтобы наглядно проиллюстрировать мое заключение — Крингс признавал только примеры из практики, — я вставил в доклад об интенсивном загрязнении воздуха следующую картинку: «Если атмосфера станет главным резервуаром для взвешенных, твердых и газообразных частиц материи и если загрязнение будет по-прежнему происходить в близлежащих от земли слоях, то есть в воздухе, которым дышат не только люди и животные, то со временем вся природа будет вправе обвинять нас...» Взгляните, доктор, на сфотографированный обычным фотоаппаратом бук в парке виллы Крингса, который в народе прозвали Серым парком. У этого ветвистого дерева площадь листьев достигает ста пятидесяти квадратных метров. В связи с тем, что гектар букового леса за год при постоянном накоплении пыли принимает на себя груз приблизительно в пятнадцать тонн; на примере одного этого бука нетрудно доказать, какую нагрузку будет нести парк величиной с гектар — парк, наполовину состоящий из хвойных деревьев; один гектар соснового леса должен будет вынести тяжесть примерно в сорок две тонны пыли в год... Не стану скрывать, что мой доклад заставил Крингса согласиться на сооружение электрических пылеуловителей.

— Безусловно, вы одержали победу.

— И все же крингсовский парк из-за того, что он находится поблизости от

⁷ Знаменитое аббатство бенедиктинцев на озере Лаах, построенное в XI веке.

завода, так и остался Серым парком, хотя благодаря моему упорству есть надежда, что буки останутся зелеными.

Мое сообщение стоматолог заключил фразой, которая заставила меня усомниться в том, что его интересует предмет разговора:

— Природа поблагодарит вас за все.

(Страх, что меня не принимают всерьез, преследует мою особу и на школьных уроках, достаточно несколько смешков в классе или склоненной набок головы Шербаума — и я прерываю предложение на полуслове или отвлекаюсь от темы; довольно часто кто-нибудь из ребят, обычно Шербаум, возвращает меня на землю небрежной фразой: «Мы остановились на Штреземане»; в этот раз на дальнейший рассказ меня подвиг вопрос зубного врача: «Ну а что стало с вашим Крингсом?»)

— Только прежде, будьте добры, пополощите разок...

Дальше все было не столь уж интересно: ошметки зубного камня, шурцание бумаги, пресыщение — точно как в романах. После этого — попытка воссоздать на столике для инструментов между нагревателем для ампул и качающейся бунзеновской горелкой пейзаж раннего лета. Размышления штудиенрата на общие темы. Напрасные потуги почувствовать грусть, гнев, смущение. Струя воздуха, давящая на шейки зубов. Ямочки на щеках Шербаума.

— Вот как, доктор, все это началось.

Общий план: пейзаж предгорий Эйфеля от Плайдта по направлению к Крүфту. Заголовок «Проигранные сражения» вырисовывается на фоне летних облаков. Медленная поездка по иссеченной впадинами, перерезанной рвами территории, где добывается пемза, к заводу Крингса с его двумя трубами, к дальнейшим главам с новыми заголовками. Теперь я говорю так, будто веду экскурсию:

«Заводы Крингса производят стройматериалы для вновь созданной западногерманской строительной промышленности, используя с этой целью богатые и разнообразные полезные ископаемые Эйфеля вулканического происхождения; мы поставляем материалы для подземных и наземных сооружений, для дорожного строительства. Расцвет цементного производства перед последней войной и в военные годы — здесь я позволю себе напомнить о строительстве автострад, а в дальнейшем о строительстве укреплений на наших западных границах и не в последнюю очередь о создании бетонных дотов на Атлантическом валу — благотворно повлиял на нынешнее развитие этой отрасли: на производство туфовых цементов, на применение в строительстве так называемого предварительно напряженного бетона. Требование момента гласит: капиталовложения и, стало быть, модернизация производства. Нашим крингсовским заводам отнюдь нельзя отставать от времени. Если сегодня тонны, десятки тонн высококачественной цементной пыли в буквальном смысле этого слова вылетают в трубу и тем самым пропадают для производственного процесса, то уже завтра электрофильтры...»

Голос инженера постепенно микшируется. Кинокамера следует за шлейфом дыма из заводских труб. Общий план — клубящиеся газообразные отходы, прослеженные в их динамике. Далее опять общий план: с птичьего полета сквозь дымные завесы видны предгорья Эйфеля между Майеном и Андернахом по-над Рейном; потом панорама суживается: камера пикирует на крингсовский парк рядом с крытой шифером базальтово-серой виллой Крингса; крупным планом — цементная пыль на листьях бука: бугры и впадины, кое-где мокро-грязные ноздреватые островки — следы недавнего дождя. Клубящаяся цементная пыль постепенно улеглась. Растрескавшиеся слои цемента на скукожившихся листьях. На фоне цементных оползней и пыльных лавин беспричинный девичий смех. Перегруженные листья никнут. Смех — облачка пыли — смех. Только сейчас мы видим трех девушек в шезлонгах под запыленными буками. Камера остановилась, движется дальше.

Инга и Хильда прикрыли лица газетой. Зиглинда Крингс — все зовут ее просто Линда — сидит, выпрямившись в шезлонге. У нее удлиненное лицо с замкнутым выражением, в его неподвижности есть что-то козье; Линда не принимает участия в общем смехе, доносящемся из-под газетных листов. Инга приподнимает газету. Если быть объективным, она красивая; Хильда ей под стать. Пухляк,

несколько сонная, здоровая девушка, часто щурится. На столике для шитья между стаканами кока-колы, накрытыми общими тетрадами, лежит еще один газетный лист, на котором возвышается нечто вроде детского куличика из цементной пыли. Камера задерживается на этом натюрморте. На скомканном газетном листе видны отдельные слова броских газетных заголовков: «Олленхауэр», «Аденауэр», «Переворужение». Приятельницы Линды хихикают, а она в это время сложила газету так, что с нее тонкой струйкой сыплется цементная пыль на куличик.

Хильда. Глядите-ка, еще немного — и мы соберем целых полкило крингсовского цемента.

Инга. Подарим Харди на день рождения.

Теперь они болтают о планах на отпуск, решают, не предпочесть ли им Тирренское море Адриатике.

Хильда. А куда собирается наш маленький Харди?

Инга. Не заинтересует ли он теперь наскальной живописью?

Смех.

Хильда. А ты?

Пауза.

Линда. Я останусь здесь.

Пауза. Шорох медленно осыпающейся цементной пыли.

Инга. Потому что приедет твой родитель?

Пауза. Цементная пыль.

Линда. Да.

Инга. Сколько времени он, собственно, провел там, у них?

Линда. Около десяти лет.

Хильда. Ты считаешь, это его сломало?

Пауза. Цементная пыль.

Линда. Я его совсем не знаю.

Идет напрямиком, не разбирая дороги, к вилле.

Объектив кинокамеры следит за тем, как она, удаляясь, становится все меньше и меньше.

Монумент. Только во время визита к зубному врачу мне удалось расчлнить существующую в моем сознании неподвижную, как статуя, невесту. Наплыв, еще наплыв — в промежутках она меняла юбки, реже джемпера; иногда ей хотелось появиться одной или с ее Харди в зарослях дрока, в заброшенном базальтовом карьере, иногда на постоялом дворе «Дикарь» почти сразу за Нойвидской дамбой или в Андернахе на променаде у Рейна, побродить среди полей пенистой лавы в долине Нетте; но чаще всего я вижу ее наплывом на складе пемзы. Наоборот, Харди требует иного показа: знаток истории искусств, он смотрится на фоне римских и раннехристианских базальтовых руин или же тогда, когда объясняет Линде на макете, который сам смастерил, свой любимый проект — устройство цементных пылеуловителей. Наплыв: оба далеко-далеко, на противоположном берегу озера Лаах. Еще наплыв: дождь загнал их в заброшенную хибару каменотесов на Бельфельде (спор, который кончился коитусом на шатком деревянном столе). Опять наплыв: она в наполовину восстановленном Майнце после лекции в университете. Наплыв: Харди фотографирует крест на переданном светским властям старинном аббатстве.

— А кто такой этот Харди? — спросил зубной врач.

И его помощница не сумела скрыть свое любопытство, невольно нажав сильнее мокрыми холодными пальцами.

— Тот самый сорокалетний штудиенрат, которого его ученики и ученицы добродушно-покровительно называют old Hardy, тот самый старик Харди, которому вы, пока ваша помощница холодными пальцами распяливает ему рот, снимаете зубной камень кусочек за кусочком.

Я и мои своевременно прерванные занятия германистикой плюс история искусств, я и мой полученный в Аахене диплом инженера-машиностроителя, я и мои

тогдашние двадцать восемь лет, я и прежние романы, а теперь моя почти безоблачная помолвка, словом, я — благополучный молодой человек в окружении таких же благополучных послевоенных молодых людей.

Лишь наполовину осмыслив свой фронтовой опыт, восемнадцатилетний Харди в августе сорок пятого был отпущен из американского плена в Бад-Айблинге у подножья гор, всегда затянутых пеленой дождя... С тех пор к нему привязалась кличка Харди. Харди переселился с востока с пропуском беженца под литерой «А» и устроился жить у тетки в Кельне-Ниппесе, где поспешил сдать экзамены на аттестат зрелости. Став студентом-вечерником и зарабатывая на учебе, он вспомнил слова отца: «Будущее человечества в строительстве мостов». Итак, он решил выполнить в Аахене завет отца — зубрил статику, — не задумываясь переходил от одного увлечения к другому, незадолго до последних экзаменов вступил в студенческую корпорацию, после чего его представили так называемому Старому Господину; инженер-машиностроитель Эберхард Штаруш, которого война лишила родителей, отчего он стал вдвойне энергичным, сразу же рванул и приземлился у Диккерхоффа — Ленгериха, в фирме, которая производила клинкерный цемент мокрым способом; однако Харди, который не отказался от своих увлечений историей искусств, изучает древние камни в расположенном неподалеку Тевтобургском лесу; потом он знакомится с обжигом по методу Леполя, ибо у Диккерхоффа уже был своевременно запланирован переход всех предприятий с мокрого на сухой способ. Харди выдвигают, Харди готовит исследование об опыте использования цементов при глубоком бурении и туфовых цементов при строительстве противоподлодных укреплений в Бресте; наконец, Харди предлагают, предварительно расширив, изложить свое исследование на специальном научном конгрессе перед общественностью, иными словами, перед ведущими деятелями западногерманской цементной промышленности. Для своего возраста он крупный специалист, у него приятная наружность, он удачлив, и вот он знакомится в Дюссельдорфе на том самом ставшем уже историей конгрессе с двадцатидвухлетней Зиглиндой Крингс, а на следующий день — за чашкой чая в перерыве между заседаниями — и с ее теткой Матильдой, немногословной дамой в черном, верховной правительницей предприятий Крингса. Харди как бы невзначай заводит разговор с обеими дамами. Старый Господин из аахенской студенческой корпорации лестно отзывается в беседе о нем. Харди использует прощальный прием в отеле «Рейнишер Хоф»: он довольно часто, но не слишком назойливо приглашает на танец Зиглинду Крингс, Харди умеет вести светский разговор не только о центробежных фильтрах, но и об архитектуре, о красоте романских базальтовых сооружений между Майеном и Андернахом. После полуночи, когда на балу цементников устанавливается влажно-интимная атмосфера, Харди срывает с губ Зиглинды всего один-единственный поцелуйчик. (И тут Зиглинда Крингс произносит сакраментальную фразу: «Послушайте, если я в вас влюблюсь, вам это дорого обойдется...») Как бы то ни было, он произвел большое впечатление и вскоре после этого покинул с хорошими рекомендациями предприятия Диккерхоффа — Ленгериха; теперь он целиком и полностью, то есть чрезвычайно успешно, внедрил в фирму Крингса; с той же быстротой и осмотрительностью, с какой он интегрировался в крупнейшем в Европе замкнутом кругу потребителей цемента, он устроил и свою помолвку, проявив здравый инстинкт и одновременно цепкость; она состоялась весной пятьдесят четвертого года; учитывая, что будущий тесть все еще находился в плену, они отпраздновали ее в некотором отдалении от дома — в Арской долине в Лохмюле: на сером выпуклом матовом стекле выстроились в ряд Зиглинда в костюме цвета серого шифера и Харди в базальтово-сером однобортном пиджаке; светская, немного чересчур бесконфликтная парочка; быстрые подстраховывающие друг друга взгляды искоса; представители поколения, известного под именем скептического, — в них все чаще видят рыцарей успеха. И впрямь под моим влиянием Зиглинда стала серьезно заниматься в Майнце — она систематически, но вполне равнодушно изучала медицину... А я в это время с фанатической основательностью и одновременно столь же равнодушно исследовал туфы в долине Нетте, вникая в крингсовское производство цементов; особенно усердно я занялся нашим устаревшим оборудованием для переработки пемзы и вообще пемзистыми лавами...

Дантист велел прополоскать еще раз...

— А потом мы будем полировать, чтобы зубной камень не мог нарасти слишком быстро.

Наступившую паузу я использовал как приглашение к короткому докладу сперва о туфовых разработках римлян в сотых — пятидесятих годах до рождения Христа.

— По сей день между Плайдтом и Кретцом можно обнаружить подземные штольни с нацарапанными на латинском языке надписями римских рудокопов. — А потом, пока он полировал, заговорил о пенистых лавах: — Пенистые лавы геологически относятся к пористым туфам, полезным ископаемым Лааха...

Дантист сказал:

— Добросовестная полировка дает гарантию того, что самый верхний слой зубной эмали сохранится...

Я рассказывал о среднем голоцене, о белых туфах и о вкрапленных в них лёссовых скоплениях; он еще раз указал на мои обнаженные шейки зубов и возвестил:

— Вот, дело сделано, мой милый. А теперь возьмите-ка зеркало...

На вопрос моего зубного врача: «Ну что вы сейчас скажете?» — мне не оставалось ничего иного как ответить:

— Замечательно, просто замечательно.

Тем временем он ретировался за рентгеновский аппарат, а помощница начала делать снимок за снимком, словно хотела устроить междусобойчик с демонстрацией диапозитивов. Снимки показали смутно обрисованные неровные зубы мудрости. Только промежутки в области коренных зубов слева, справа... наверху, внизу доказывали, что это именно мои зубы, доступные для обозрения. Я продолжал:

— Всего метровый слой перегной отделяет нас от туфовых пород.

Но зубной врач не дал себя отвлечь:

— Хотя рентген показал, что зубы, которые будут опираться на мосты, в приличном состоянии, я должен сказать: у вас типичная, а стало быть, врожденная прогения, что в переводе означает неправильный прикус.

(Я попросил зубного врача показать мне очередную телепередачу.)

С экрана повалила реклама, она заняла восьмьюшку моего восприятия. Дантист смазывал растревоженные десны и все еще подводил итоги:

— При нормальном прикусе зубы верхней челюсти перекрывают нижнюю на один, максимум на полтора миллиметра. У вас же...

(С тех пор я запомнил, что мой неправильный прикус, который врач назвал врожденным, поскольку он является типичным, можно отличить по горизонтальному зазору шириной в два с половиной миллиметра.)

Догадывается ли, собственно, этот зубодер, что в его точильные и полировочные эликсиры добавляется пемза в порошкообразном виде? И знает ли эта дикторша с козьей мордочкой, которая кажется мне знакомой, подозрительно знакомой, что рекламируемые ею средства для чистки и мытья содержат пемзу, нашу отечественную пемзу с предгорий Эйфеля?

Зубного врача заклинило на моей прогении:

— Это ведет, как ясно показывают ваши рентгеновские снимки, к атрофии челюстной кости или альвеолярного гребня...

Та, на телеэкране, обязательно хотела продать мне морозилку. А в это время стоматолог предлагал хирургическое вмешательство:

— Мы просто-напросто скусим выступающий гребень челюстной кости и, восстановив ее, таким образом ликвидируем неправильности в вашем прикусе...

А у Линды в телевизоре был свой припев: «Всегда свежие, полные витаминов...» При этом она предлагала рассрочку. Потом она открыла свою морозилку, и в ней вперемешку с очищенным горошком, телячьими почками и калифорнийской клубничкой лежали мои молочные зубы, школьные сочинения, пропуск беженца под литерой «А» и мой научный труд о туфовых цементах и цементах, применяемых при глубоком бурении, сгустки моих желаний и мои разлитые по бутылкам неудачи — все уже готовое к употреблению. А на самом дне между окунами филе и шпинатом, как известно, богатым железом, покоилась обнаженная, **покрытая инеем она сама, та, которая только что рекламировала свой товар в юб-**

ке и в джемпере... О, Линдалиндалиндалинда... (Завтра я предложу 12 «а» такую тему для сочинения: «Основное и побочное назначение морозилок».) Как она долго держится в холодных испарениях. Как хорошо сохраняется боль при сильном охлаждении. «Как потускло золото...»⁸

Зубной врач предложил выключить телевизор (Ирмгард Зейферт представила меня как человека крайне впечатлительного).

Я кивнул. Тогда он вернулся к моей прогени:

— И все же я не посоветовал бы вам соглашаться на хирургическое вмешательство...

И тут я тоже кивнул (и его мокро-холодная помощница кивнула).

— Мне можно уйти?

— Лично я советую вам поставить мостовидные протезы в области боковых зубов...

— Уже сейчас?

— Зубной камень отнял у нас достаточно времени.

— Значит, послезавтра, незадолго до вечерних передач?

— И примите на дорогу две таблетки арантила.

— Но мне было почти не больно, доктор...

(Его помощница — отнюдь не моя невеста — протянула таблетки и стакан воды.)

Придя домой, я невольно стал проводить языком за зубами, пытаюсь нащупать исчезнувшие шероховатости; у себя на письменном столе я увидел рядом с пепельницей тетради с уже исправленными сочинениями учеников 12 «а», несколько книг, которые я начал читать, и недописанную памятную записку для комитета «Школьники несут ответственность» с полемическим разделом «Где и когда ученику разрешается курить?», а рядом между брошюрами с директивами насчет реформы одиннадцатых — тринадцатых классов, перед пустой рамкой для фотографий на столе, заваленном газетными вырезками и ксерокопиями, лежала до обидности тощая папка с условным заголовком, выведенным огромными буквами. Под кусками древнеримского базальта — чаще всего осколками ступок, — кусками, которые я использовал в качестве пресс-папье... я обнаружил лист бумаги...

О боже, мой зуб. О боже, мои волосы в расческе. О боже, моя промелькнувшая, коротенькая идеяка... Ах... сколько потерянных сражений. Впрочем, новая боль заслоняет старую. Но что же всплывает и вспоминается потом? Прежде всего карп на новогоднем вечере в прошлом году. О боже, эти тени, о боже, галька. О боже, зубная боль, о боже...

Притом я хотел всего-навсего удалить зубной камень, хотя догадывался: он уж что-нибудь да найдёт. Они всегда находят что-нибудь. Это известно.

Вскоре после моего возвращения домой позвонила Ирмгард Зейферт:

— Ну как это было? Не так уж страшно. Правда?

И я подтвердил, что врач не садист. Что он человек хоть и разговорчивый, но все же достаточно тактичный. Нахватанный. (Слышал о Сенеке.) Когда становится больно, тут же прерывает лечение. Немного наивно верит в прогресс — надеется на появление всеисцеляющей зубной пасты... Но все это терпимо. А телевизор и впрямь действует замечательно, хотя и несколько комично.

Словом, говоря по телефону с Ирмгард Зейферт, я нахваливал зубного врача, который стал отныне нашим общим врачом:

— Голос у него мягкий, и только тогда, когда он начинает поучать, в нем появляется эдакая назидательная интонация.

Вот как он разглагольствовал: «Наш враг номер один — зубной камень. Мы торопимся, медлим, спим, зеваем, завязываем галстук, перевариваем пищу, молимся, а наша слюна непрерывно производит зубной камень. Из-за языка он откладывается и накапливается. Язык постоянно прихватывает неорганические вещества, он тянется ко всему шероховатому; таким образом, он питает и укрепляет нашего врага — зубной камень. Покрывая коркой шейки зубов, камень душил их. Камень испытывает слепую ненависть к зубной эмали. И вообще не

⁸ Ветхий завет, Книга пророка Иеремии, 4, 1.

притворяйтесь, меня не проведешь. Один взгляд — и мне все ясно: ваш зубной камень — это ваша окаменевшая ненависть. Его создала не только микрофлора в полости рта, но и ваши путаные мысли, ваше настойчивое желание копаться в прошлом; вы всегда хотели отомстить, хотя намеревались всего лишь отместить; стало быть, склонность ваших десен к атрофии и к образованию карманов, где скапливаются бактерии, не что иное как сочетание физиологии с психологией; камень выдает вас с головой, в нем заложена ваша потенциальная жестокость, подспудная жажда крови... А теперь полощите! Теперь полощите. Зубного камня вам хватит с избытком...»

Я все это ослариваю. Как штудиенрат, преподающий родной язык и еще, значит, историю, я ненавижу всякого рода акты насилия, всей душой ненавижу. И моей ученице Веро Леванд, которая в течение года занималась так называемым собиранием звездочек в районах Целендорфа и Далема, я сказал, когда она выставила в классе свою коллекцию звезд, отпиленных у «мерседесов»: «Ваш вандализм — просто самоцель».

Шербаум объяснил мне, что его подружка подыскивала соответствующие духу времени украшения для рождественской елки. «Она старалась ради школьного праздника в актовом зале».

Вскоре после рождества оказалось, что ножовка Веро Леванд вышла из моды. (Позже Шербаум написал песенку, которую исполнял под гитару: «Когда за звездами гонялись мы, гонялись мы, гонялись мы...»)

Не призывая на помощь святую заступницу всех страдающих зубной болью, я тем не менее хорошо подготовился к визиту; у меня были заранее составлены фразы. Если уж мне понадобится хирургическое вмешательство, то и врачу придется учесть мои пожелания: «Не правда ли, доктор, вы ведь интересовались пемзой?» — «Точно так же, как вы интересуетесь распространением кариеса среди детей школьного возраста...»

Утром я поневоле отвечал на вопросы в моем 12 «а» (Веро Леванд: «Сколько зубов он вам выдрал?» А я спросил: «О чем вы думали бы, если бы вам пришлось сидеть в кресле дантиста разинув рот перед телевизором и по телевизору передавали бы, к примеру, рекламу морозилки?»).

Ответы были не очень находчивы, ребята явно растерялись.

Я отказался от намерения задать им сочинение на эту тему, хотя за мысль, которая пришла в голову Шербауму, можно было ухватиться: он предложил замораживать некоторые еще не совсем созревшие идеи и планы, пусть в один прекрасный день они оттают, будут додуманы до конца и воплощены в жизнь.

— Какой именно план вы имеете в виду, Шербаум?

— Сообщу потом, сейчас еще нельзя говорить об этом вслух.

На мой вопрос, не касается ли этот ныне замороженный план его намерения стать все же главным редактором школьной газеты, Шербаум ответил отрицательно:

— Муть. Оставьте его в замороженном виде.

В конце урока, когда я стал распространяться о кариесе: «Кариес означает необратимое поражение твердых тканей зуба...» — класс, как я и ожидал, слушал меня снисходительно, а Шербаум насмешливо склонил голову набок.

Зубной врач был менее деликатен:

— Это мы сразу сточим... четыре коренных зуба в нижней челюсти: восьмой и шестой, а также шестой и восьмой...

(Деловитое позвякивание стерильных инструментов свидетельствовало о том, что он ни на секунду не усомнился — я опять приду. «Начинайте, доктор, обещаю сидеть тихо».) Его помощница уже наполнила шприц.

— Ну вот. А теперь маленький неприятный укольчик... Почти не было больно. Верно?

(Еще не хватало, чтобы я, увешанный слюноотсосами, с марлевыми тампонами во рту, сведенном спазмой, стал бы непринужденно болтать: «Ваши укольчики — сущий пустяк. Ну а вот те, в Бонне... Вы читали газету? На дне доли-

ны... Закручивать гайки... Не на жизнь, а на смерть... А студенты уже опять, ох уж эти студенты, на своем общем собрании они...»))

Указание врача насчет необходимости второй инъекции обернулось очередной пошлой фразой:

— А теперь колынем еще разочек. Бы даже не почувствуете...

(Только не томи, не томи же. И включай изображение, пускай мелькает, но без звука.)

— Минуты две-три нам придется подождать, пока десны полностью не потеряют чувствительность, а ваш язык не станет мохнатым на ощупь.

— Он пухнет!

— Это только кажется.

(Раздутая свиная почка. Что с ней делать?)

На безмолвном телеэкране появился премильный господин духовного звания, который, поскольку была суббота, решил произнести воскресную проповедь, хотя эту передачу показывают после двадцати двух часов и всегда до программы западноберлинских «Вечерних известий».

«Да, да, сын мой, знаю, что тебе больно. Но вся боль этой юдоли слез не в состоянии...»

(Какие у него изящные фаланги пальцев, как он иронично поднимает бровь. Или медленно качает головой. Шербаум прозвал его наш Среброуст.)

А потом вступили воскресные колокола: пим. И в небо взлетели голуби: пим-пам. Ах, а сейчас маленькие жестяные колокольчики в моей голове, которая сама себе голова, стали вызванивать: пим-пам-пемза.

В то время как язвительно усмехавшаяся дикторша с козьей мордочкой объявила о передаче-репортаже «Пемза -- серое золото предгорий Эйфеля», зубной врач начал обтачивать восьмой зуб.

— Хорошенько расслабьтесь. Мы начнем с жевательной поверхности, потом сошлифуем вокруг и опять перейдем к жевательной поверхности.

В моем телефильме о вулканических лавах, сиречь пемзе, было показано, как сырье из карьеров переходит на обогатительную фабрику и, освободившись от тяжелых компонентов, обрабатывается патентованным вяжущим «эйби», идет в бетономешалки, превращается в бетонную смесь, далее в автоматах из него формуются строительные детали...

Мой зубной врач сказал:

— Ну вот видите. Ваш восьмой уже готов.

(Прежде чем он заставил меня полоскать, я сумел, правда в большой спешке, показать складирование в специальных помещениях готовых строительных деталей, а потом продемонстрировать их на катках на открытом воздухе.)

— А здесь, доктор, между нашими стандартными пустотелыми блоками, пемзобетонными перекрытиями, полами и массивными плитами, между нашими железобетонными панелями и кессонированными плитами, которые, не говоря уж о малом весе, обладают следующими достоинствами: высокой звукоизоляцией, способностью дышать, пористостью и огнестойкостью, а также гвоздимостью и шероховатой поверхностью, что обеспечивает надежное сцепление со штукатурным раствором, — итак, среди складов с современными строительными материалами, которые гарантируют беспрепятственную интеграцию будущих квартироремонтов в жилых помещениях западного плюралистского общества, точнее сказать, стандартноформатными стенами и потолками, из которых возводятся дома, называемые в просторечии коробкой, как-то раз встретились Линда Крингс и заводской электрик Шлоттау.

Мой зубной врач сказал:

— Я вижу...

И я тем самым основательно подготовился: с птичьего полета засек склады сырья пенной лавы, раскинувшиеся между заводом и виллой Крингса включая парк. На границе между заводом и парком стоит неправильным полукругом кучка людей, одетых в штатское. Заводской инженер Эберхард Штаруш в белом

халате и в защитном шлеме объясняет процесс производства пемзовых строительных материалов. А в это время от Серого парка к заводу движется Зиглинда Крингс. По ее летнему платью в мелких цветочках видно, что за решеткой парка гуляет ветер. Направляясь от завода, на территорию склада пенистой лавы вступает электрик Гейнц Шлоттау. Зиглинда бредет по подъездной дороге без видимой цели, Шлоттау, наоборот, шагает навстречу Зиглинде с таким видом, словно ищет ее, то есть вполне целеустремленно.

Их постепенное сближение на местности, еще замедляемое разного рода случайностями, происходит на фоне порывов ветра и доносящейся речи инженера: «Более шести тысяч лет назад, когда происходили извержения вулканов, в Эйфеле, по-видимому, господствовали западные и северо-западные ураганы. Иначе не могли бы образоваться залежи пемзы восточнее и юго-восточнее кратеров вулканов. Если раньше крестьяне в предгорьях Эйфеля сами добывали пемзу, то ныне фирма Крингса взяла в аренду все окрестные месторождения. И вот теперь мы с вами находимся на границе обширнейших залежей пемзы...»

Сейчас видно лишь место встречи Зиглинды и Шлоттау среди тесно поставленных штабелей стандартных блоков. Между Зиглиндой и Шлоттау сохраняется известная дистанция. Они оценивают друг друга, делая вид, что смотрят в сторону. От смущения Шлоттау усмехается. Зиглинда заложила руки за спину, руки ощущают поверхность блоков. Голос инженера Штаруша сейчас слышен слабее, он как бы удаляется; Штаруш охотно и часто начинает осмотр предприятия речами-экспромтами; это отзвук его молодости, когда он был предводителем шайки, когда его звали Штёртебекером и он любил держать площадку. Но это также и предзнаменование того, что в будущем он станет штудиентом — преподавателем немецкого и истории.

— А какой материал вы в данное время проходите со своими ученицами и учениками?

— Мы пытались осмыслить социальный фон шиллеровской драмы «Разбойники»...

— Стало быть, опять же отголоски вашей деятельности как предводителя разбойничьей шайки?

— Сознаюсь, я не свободен от давних впечатлений.

— А ваши ученики?

— Шербаум хочет в соавторстве со своей подружкой сделать из «Разбойников» рок-оперу. Речь там пойдет о мерседесовских звездах, которые спилят на всей территории ФРГ. Мэри Лейн должна сыграть роль Амалии, а супермен...

— Интересный эксперимент...

Однако у Шербаума не хватает терпения. У него только идеи. Только идеи... (и их он хочет заморозить, чтобы в один прекрасный день они оттаяли, тогда он додумает их до конца и воплотит в жизнь).

...Точь-в-точь как этот Шлоттау на складе пемзобетонных блоков...

Линда. Вы работаете у нас?

Шлоттау. Заводской электромонтер с пятьдесят первого года. В свое время находился в некотором роде в подчинении у вашего уважаемого папаша.

Линда. Не можете ли вы выразиться яснее?

Шлоттау. С удовольствием, конечно, барышня. Центральный участок, сорок четвертый год. Ваш папаша сказал: «Бреслау⁹ надо удержать». Вы когда-нибудь слышали, как болтают о геройстве, барышня?

Линда. Чего вы хотите?

Шлоттау. К примеру, сходить с вами в киношку. И справиться, когда же он наконец явится, наш господин генерал-фельдмаршал.

Линда. Не тратьтесь зря на билеты. Партия, с которой он вернется, ожидается в конце недели в лагере Фридлянд... Что вы задумали?

Шлоттау. Ничего особенного. Несколько моих дружков-однопольчан с нетерпением ждут встречи.

Линда. Я хочу знать, что вы задумали.

⁹ Здесь и далее автор употребляет старые немецкие названия населенных пунктов и городов.

Шлоттау. Может, нам все же сходить в киношку в Андернахе?

Линда. Не вижу, с какой стати...

Шлоттау. А вы вообще знаете своего папашу?

Линда. В последний раз он приезжал в отпуск в сорок четвертом.

Шлоттау. Тогда он шуровал в Курляндии¹⁰.

Линда. Он пробыл дома дня три и все время спал...

Шлоттау. Примерно в это время он командовал «Лосиной головой», Одинадцатой пехотной дивизией. Сплошь Восточная Пруссия... Могу вас уверить, ваш папочка отчаянный малый, барышня.

Линда. Теперь я сним наконец познакомлюсь.

Шлоттау. Я мог бы вам многое порассказать. Веселенькая история.

Линда (прерывая разговор, уходит). Как-нибудь потом, если я соглашусь прошвырнуться с вами в кино...

(«Как вы считаете, доктор, может ли, должен ли заводской электрик, который остался стоять в одиночестве между пемзовыми плитами, заключить эту сценку фразой: «Вылитый старик»?)

Зубной врач сказал:

— Вы держались молодцом. С нижним левым мы управились.

— Ну так как же? Нравится вам концовка предыдущей сцены или нет?

— А теперь сделаем инъекцию внизу справа. Вы почти ничего не почувствуете, ведь первые уколы захватили обширную область... Ну вот.

— Или, может, их диалог требует более приподнятого тона? Обвинений, крупномасштабной ненависти, взывающей к отмщению...

— Скажите, пожалуйста, этот Шлоттау, к которому вы проявляете подозрительное сочувствие, — в общем, не кажется ли вам, что его можно счесть за революционера?..

— Если только вы будете рассматривать его по стандартам, принятым в этой стране...

— Стало быть, он скорее эдакий пустозвон, горе-революционер...

— Он существовал лишь потому, что существовал Крингс.

(Зубной врач попросил, чтобы, ожидая действия инъекции и глядя на телевизор, где по первой программе опять показывали передачу «Пемза», я скуными мазками нарисовал бы двойной портрет этих двух взаимно связанных персонажей.)

— А я тем временем оберну медной фольгой обточенные зубы, чтобы убедиться, правильно ли они подготовлены.

Я предусмотрительно пополоскал, но со стаканом возникли трудности; мне казалось, что губа у меня распухла и потеряла чувствительность, поэтому я неправильно оценил расстояние между губой и краями стакана и пролил воду. Помощнице зубного врача пришлось обтереть мне губы бумажной салфеткой. Неприятно.)

Гейнц Шлоттау родился в 1920 году в католическом городишке Эрmland, который подобно занозе торчал в протестантской Восточной Пруссии; что касается будущего генерал-фельдмаршала, то он появился на свет божий в 1892 году в предгорьях Эйфеля, а именно в Майене, и был сыном мастера-каменотеса, которому принадлежало множество базальтовых месторождений. И Гейнц и Фердинанд росли, не вызывая особого интереса у окружающего мира. Да и наше участие в их судьбе проявится на более позднем этапе, а пока что мы можем рассказать разве что о годах ученичества Шлоттау во Фрауэнбурге и крингсовских прерванных занятиях философией, о работе Шлоттау в качестве электрика, о том, как лихо он танцевал фокстрот в Алленштейне и как лейтенант запаса Крингс отличился в годы первой мировой войны, в частности в двенадцатом сражении при Изонцо.

Но поскольку до того времени, когда начнется обточка двух нижних зубов справа, осталось всего ничего, нам придется перепрыгнуть через несколько ступенек в военной карьере Крингса и в карьере электрика Шлоттау. Посему сооб-

¹⁰ Часть Латвийской ССР.

щим ниже следующее: гарнизонными городами знаменитой 11-й пехотной дивизии, именуемой также «Лосиная голова», в мирное время были Алленштейн, Ортельсбург, Бншофсбург, Растенбург, Летцен и Бартенштейн. И вот в 44-й пехотный полк, дислоцированный в Бартенштейне, осенью тридцать восьмого направили рекрута Гейнца Шлоттау, а в то же самое время подполковник, командир горнопехотного полка, который успел без потерь участвовать в «аншлюсе» и оккупировать «протекторат» Богемию и Моравию, оказался в меммингенском гарнизоне.

И Шлоттау и Крингс готовились к дальнейшему. Первый на песчаном казарменном плацу в Стаблаке, второй — согласно приказу склонившись над мензульными планшетами, из которых он должен был почерпнуть необходимые сведения о состоянии дорог и укреплений на перевалах Карпат.

И Шлоттау и Крингс выступили одновременно — 1 сентября; погода в тот день была еще по-летнему мягкой.

Первый из них — пехотинец — участвовал в прорыве пограничных укреплений под Млавой, в боях за переправы через Нарев и в преследовании противника по восточной Польше до самого капитулировавшего Модлина, ныне Модльницы, второй начал штурмовать Львов. На высотах Львова в оборонительных боях против польского полка улан ему впервые представилась возможность оправдать свою будущую кличку Генерал-ни-шагу-назад.

Шлоттау хоть и сорви-голова, но довольно осторожный малый. Заработал в бою за Модлин легкое ранение — в сущности, царапину предплечья — и Железный крест второй степени; героя Львова упомянули в военной сводке вермахта, он не был ранен и нацепил на свою почти богатырскую грудь рядом с наградами, полученными в первой мировой войне, новехонький Железный крест первой степени.

И Шлоттау и Крингс отправляли домой письма через полевую почту. Тогда еще не было никаких видимых причин, чтобы простой пехотинец, в будущем заводской электрик Гейнец Шлоттау в июле 1955 года так уж рвался встретиться на главном вокзале в Кобленце будущего генерал-фельдмаршала Фердинанда Крингса.

Зубной врач, видимо, остался доволен нарисованным мною двойным портретом, свою работу он, наоборот, не одобрил.

— На основании отпечатков на медной фольге совершенно ясно, что при отточке образовалось несколько зазубрин. Придется эти недоделки ликвидировать при шлифовке. А теперь промываем...

«Как вы считаете, доктор, может быть, нам вставить наплывом главный вокзал в Кобленце и несколько массовых сценок в фильм «Пемза», который все еще передают по телевизору? И...»

— Расслабьтесь, будьте добры. А язык, прижав, опустите.

Общим планом: фасад главного вокзала в Кобленце. Закопченная кладка из песчаника. Над гранитным цоколем каменная крошка. Скульптурные орнаменты. Все еще заметны следы военных разрушений. На крытые толем крыши давит чересчур близкий задний план — цейхгауз, часть старой кобленцкой крепости. На привокзальной площади лихорадочное движение, сама кинокамера недвижима, стоит на месте. А на площади в это время стихийно возникают группки, перемещаются, рассыпаются; то тут, то там лозунги — иногда их развертывают, иногда свертывают. (Голуби, видя, что площадь занята, расселись по карнизам домов, склонив головы набок.) Шум: неразборчивое скандирование, выкрики («А ну иди сюда, Шорш...»). Дружный смех, булканье пива, бутылки передаются из рук в руки. (Воркованье голубей.) Полицейские стоят наготове около городской сберкассы. Всего две полицейских машины. Домохозяйки возвращаются из магазинов. Подростки ведут велосипеды за руль сбоку. (Продавец лотерейных билетов с засунутой за ленточку шляпы двадцатимарковой бумажкой.) Газетчики. На возвышении из ящиков кинохроника устанавливает свою камеру. Отрывочные возгласы, напоминающие команды. Волнообразное движение толпы; теперь транспаранты развернуты, и на них можно прочесть: «Арктика — не фактор»... «Сила через террор»... «Курляндия тебя приветствует!»... «Крингс-ни-шагу-назад!» Скандирующие люди почувствовали ритм: «Покончим навсегда с болтовней о геройстве! По-

кончим навсегда с болтовней о геройстве!»... «Без нас! Без нас!» (Многие разочарованы, видя, что кинохроника бездействует. Воркотня по адресу киношников: «Начинайте же вы, подонки...» Голуби улетают и прилетают.)

Средним планом: видна кучка людей, которую привел электрик Шлоттау: «Крингса назад в Сибирь! Крингса назад в Сибирь!»

На углу Маркенбильдхенгв в толпе домашних хозяек стоит Зиглинда Крингс. На ней темные очки. Она медленно проталкивается сквозь толпу мужчин, по большей части инвалидов войны (кто на костылях, у кого искусственный глаз, у кого пустой подколотый рукав, у кого изуродовано лицо). Толпа встревожена, выкрики у входа в вокзал. Людская масса протискивается в здание вокзала. Давка. Ругань. Толкотня. Того и гляди вспыхнет потасовка. Смех у окошка касс: покупаются и раздаются перронные билеты. (Методы ярмарочных зазывал: «Ктоеще-хочетукогоченет?»)

Полицейские не вмешиваются, они следуют за толпой, движущейся к контролю, где предъявляют перронные билеты,— здесь опять же толкотня. Один из полицейских регулирует движение: «Полегче, господа, полегче, ваш Крингс от вас не уйдет...»

Топот ног и быстрые хромающие шаги в главном тоннеле, из которого отходят лестницы на разные платформы, все устремляются к четвертой платформе.

В то время, когда толпа движется с привокзальной площади к вокзалу, доносятся обрывки фраз: «И почему эти русские отпустили его?..», «Убийца, загонял в самое пекло...», «Собака — сколько подорвалось на минах...», «В Восточной Германии они его...», «Вместе с Нушке в одном эшелоне...», «Из-за перевооружения...», «Могу побожиться, в международном вагоне...», «Почему бы у них не быть армии, раз они у нас...», «Без меня!..», «Дураки всегда найдутся...», «Эту скотину я знаю с Белого моря, с того фронта...», «Арьергардные бои в Никополе...», «Меня эта свинья в Курляндии...», «Когда же он придет?..», «Врежь ему протезом...», «Нас он в Праге...», «Путь свободен...», «Чего уставился, дружище?..», «Поезд подходит...».

Толпа молча ждет прибытия поезда. Взгляды устремились назад, опять вперед. С поезда сходят всего несколько пассажиров. Люди, щурясь, высматривают знакомое лицо. Несколько человек ходят по купе, ищут... Старший проводник, стоя на ступеньке последнего вагона отходящего поезда, кричит: «Зря трепыхаетесь, ребята! Ваш Крингс подхватил свой картонный чемоданчик и сошел еще в Андернахе».

Вокзальный шум покрывают отдельные негодующие возгласы. (А все это заглушает неумолчный треск наконечника для шлифования, работающего в самом высоком ритме. Дантист шлифует жевательную поверхность моего нижнего зуба мудрости. Самое время пополоскать. Зубной врач тоже против того, чтобы делать поспешные выводы, несмотря на разочарование, долгое, как железнодорожный перрон.)

— Одним словом, люди с митинга протеста разошлись столь же организованно, как они разошлись на прошлой неделе с митинга против Кизингера¹¹. Я был там с несколькими учениками и моей коллегой-учительницей. Еще одна бесполезная затея: этот господин возложил свой веночек не перед памятником жертвам на Штейнплатц, как предполагалось согласно газетным сообщениям, а украдкой отнес его в тюрьму Плётцензее. Ирмгард Зейферт тем не менее осталась довольна: «Наш протест будет услышан». Шербаум отнесся к происшедшему трезво: «Пустой номер». А когда я на следующий день хотел показать значение протеста, пусть даже безуспешного на первый взгляд, и выступил перед моим 12 «а», Веро Леванд прервала меня, зачитав цитату из Маркса и Энгельса (она всегда носит с собой бумажки с цитатами): «Мелкобуржуазные революционеры склонны принимать отдельные этапы революционного процесса за его конечный результат и поэтому участвуют в революции»... Мелкий буржуа — это я. И вы тоже, доктор. С этой классификацией вам придется смириться, если вы пожелаете прийти в мой класс, да еще, чего доброго, с Сенекой...

— А вы бы ответили вашей ученице — любительнице цитат словами Ниц-

¹¹ Кизингер Курт Георг — реакционный западногерманский политик, канцлер ФРГ (1966—1969); в 1967—1971 годах председатель ХДС.

ше: «Переоценка ценностей может быть достигнута лишь тогда, когда возникает связь между людьми, нуждающимися в новом, и новыми людьми, которые тоже начинают испытывать нужду...»

— Неважно, что заставило людей выйти на улицу: неделю назад это был протест против Кизингера, летом пятьдесят пятого протест против Крингса, — результат один: пустой номер...

— А мы все же сточим ваш нижний зуб мудрости конусом к жевательной поверхности.

Газеты пестрели заголовками, один был такой: «Генерал-фельдмаршал Крингс ускользнул от солдатского гнева»; другой — ироничный: «Крингс сказал: «Без меня!»»; третий — обстоятельный: «В кобленцкой трагикомедии отсутствовал главный исполнитель»... «Генераль-анцейгер» деловито констатировал: «Поезд прибыл по расписанию, но без генерал-фельдмаршала — еще одна демонстрация протеста окончилась ничем...»

— А что было с вашим другом Шлоттау?

При шлифовке жевательной поверхности нижнего шестого я вызвал в памяти наплыв: бывшие солдаты расходятся с четвертой платформы. В толпе, что скопилась у лестницы, ведущей к главному тоннелю, столкнулись Линда и Шлоттау.

Л и н д а. Захватить вас с собой?

Ш л о т т а у. Вот дерьмо, черт возьми!

Л и н д а. Моя машина стоит за гостиницей Хойманна.

Ш л о т т а у. С такими, как вы, куколка, нам не по дороге.

Л и н д а. А я-то думала, что вы приглашаете меня в кино.

Ш л о т т а у. Это в его духе — драпануть вовремя.

Теперь новый наплыв: видно, как Шлоттау и Линда, спускаясь по лестнице, исчезают в тоннеле.

Разумеется, они все же поехали вместе. И между прочим, в «боргварде» — машин этой марки сегодня и не встретишь. Правда, на привокзальной площади он вдруг бросил ее; точнее, ни слова не говоря, круто повернул и пошел в другую сторону (через стайки голубей), она продолжала, уже в одиночестве, следовать прямым ходом вперед. Но это необязательно показывать в фильме. Лучше вырезать. Так же как и короткие фразы, которыми перебрасывается со своим военным другом Шлоттау: «Старик показал нам шиш... Мы еще с ним поговорим...» (Жста-ти, Шлоттау купил на привокзальной площади лотерейный билет — пустой.)

Перед нами андернахское шоссе, машина «боргвард» едет по направлению к Майену. Зиглинда Крингс за рулем, рядом с ней на переднем сиденье Гейнц Шлоттау. За их спиной едет неподвижная кинокамера.

Л и н д а. Навряд ли он станет ждать меня в Андернахе.

Пауза, во время которой можно порассуждать на тему о том, сколько ответвлений у шоссе на Андернах, и о банкротстве автомобильных заводов Боргварда, не помню уж в каком году.

Ш л о т т а у. Допускаю, что он остался в Восточной Германии. Может, они его наняли. Им теперь понадобятся люди с опытом. Паулюс у них.

Пауза, во время которой, подобно надписям на карикатурах, изо рта бегут буквы с контрреволюционным тезисом Тэн-Цзо: «Да здравствуют ученые всех мастей» — и как иллюстрация к нему сценка на Восточном вокзале в Берлине: Крингс в группе из нескольких военных.

Л и н д а. Когда же вы наконец пригласите меня в кино?

Ш л о т т а у. Если Крингс согласится создавать для них армию...

Л и н д а. Я хочу знать, когда вы пригласите меня в кино. Кино — моя страсть и вообще..

Пауза, во время которой читатель пытается вспомнить, какие ленты показывали в середине пятидесятых: «Зисси», «Лесничий в Зильбервальде»...

Ш л о т т а у. Ну а ваш жених, барышня, я хочу сказать...

Л и н д а. Всякий раз, когда он свободен от меня, он только радуется.

Пауза — Шлоттау предоставляется возможность догадаться об отношениях Линды с женихом.

Я полощу, так как меня просит об этом зубной врач. Беловатая пена, крови нет, полоскание прерывает реплика моего ученика Шербаума: «Я все это усек: НСКК, БДМ, РАД, ХКЛ...¹² Но скажите, что творится в дельте Меконга?..» «Конечно, Шербаум, конечно. Это важно... Но только если мы пойдем, почему покушение на Гитлера в главной ставке фюрера, аббревиатура ФХКВ...¹³»

Ш л о т т а у. Между прочим, вы слышали, барышня, анекдот о пруссаке-крестьянине, который повел свою корову на случку? Когда жена спросила его...

Л и н д а. И вообще мой жених интересуется исключительно использовани-ем базальта и туфов в Древнем Риме.

Пауза, во время которой не успеешь даже задуматься над тем, до какой степени было развито производство жерновов у древних римлян, особенно после неудачного восстания треверов¹⁴, ибо «боргвард» перегоняет велосипедиста. Шлоттау оглядывается назад. На его лице сменяют друг друга удивление, беспокойство, ненависть.

После долгой паузы, которая может быть использована для размышлений о концовке анекдота с коровой, Шлоттау говорит довольно ровным голосом: «Это был он... А теперь остановитесь... Я хочу сойти». Линда тормозит. «Вы могли бы представить меня отцу».

Ш л о т т а у. Поджилки затряслись, струсил перед стариком.

Л и н д а. Да... Я боюсь. Точь-в-точь как вы... Ну, давайте сматывайтесь.

Ш л о т т а у (не торопясь вылезает из машины). Если соберетесь опять на склад пемзы... Словом, около двух я возвращаюсь с контрольного обхода и могу на полчаса...

Не окончив фразу, он пускается в путь по направлению к Плайдту.

Шлоттау идет, но я отказываюсь следовать за ним, зубной врач отводит от моего зуба шлифовальный наконечник, потому что ему позвонила по телефону частная пациентка, а Линда включает дворники, словно хочет стереть со стекла изображение Шлоттау. При этом она не отрываясь смотрит в зеркало заднего вида, и в этом зеркальце кинокамера запечатлевает входящего в легкий вираж велосипедиста. Он катит против ветра. Три мотива звучат одновременно: шум ветра, дыхание Линды, голос зубного врача, который никак не может договориться о часе приема.

Считая от сегодняшнего дня примерно двадцать два года назад, от тогдашнего времени более десяти лет назад — 8 мая 1945 года за несколько часов до капитуляции великогерманского вермахта генерал-фельдмаршал Крингс в сером штатском костюме покинул свои все еще сражавшиеся войска и свою ставку в Рудных горах, покинул с последним имевшимся в наличии самолетиком «физелер-шторх». Он полетел в Миттерзилль в Тироле, чтобы там согласно приказу фюрера — так он заявил на суде — взять на себя командование «Альпийской крепостью»; однако не нашел в тех местах ни крепости, ни даже боеспособных дивизий, что подтверждается свидетельскими показаниями; посему Крингс, не потерявшись, сменил свой штатский серый костюм на местную одежду — кожаные шорты и все прочее — и удрал в горы, где засел в альпийской хижине, ожидая там, видимо, чуда или, как он показал на суде, «естественного развития событий, то есть братания американских вооруженных сил с остатками немецких вооруженных сил». Однако 15 мая, поскольку американо-германского альянса не произошло ни естественным путем, ни путем чуда, генерал-фельдмаршал реквизирует у одного местного жителя велосипед, на котором и покатил в одежде простого крестьянина, без армий и орденов в Святой Иоганн, чтобы сдать в плен американцам, точно таким же образом покатил он десять лет спустя к себе домой на велосипеде, который ему не так уж трудно было одолжить в Андернахе; он катил против ветра по направлению к Майену. Сейчас мы видим в зеркале заднего вида, как сильно и равномерно он нажимает на педали — фигура Крингса с каждой минутой увеличивается.

(Как вы считаете, можно ли, надо ли оставить теперь Линду одну в «борг-

¹² Национал-социалистские организации: Национал-социалистский моторизованный корпус, Союз немецких девушек, а также сокращения, означающие трудовую повинность и передний край обороны.

¹³ Речь идет о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года.

¹⁴ Кельтское племя на территории Галлии.

варде» — она не отрывает взгляда от зеркала заднего вида и лепечет что-то вроде: «Что мне делать? Броситься ему на шею? Или просто зареветь?..»)

Тем временем мой зубной врач утряс наконец по телефону час приема. Телефильм «Пемза» с восторгом живописал пейзажи предгорий Эйфеля, а я и генерал-фельдмаршал на велосипеде наслаждались встречей с Корельсбергом. Когда Линда вышла из машины, аппарат зубного врача сточил еще один слой с моего нижнего шестого зуба. Линда открыла багажник. Отодвинула запаску. Повернулась навстречу велосипедисту, фигура которого надвигалась на нас. Час истории пробил. Гегелевский «мировой дух» скакал по полям, под которыми покоились залежи пемзы, ждущие, когда их наконец начнут добывать.

(— Доктор, миленький, пришло время! Доктор, миленький, пришло время!)

Велосипедист затормозил. Линда застыла на месте. Ее отец грузно слез с велосипеда, сохранив два шага дистанции между собой и ней. (Ветер, мелькание кадров на телеэкране, пауза и перескок назад, в зубокабинет, а оттуда к моему 12 «а», ибо еще совсем недавно мы беседовали об архетипе бывшего солдата: «Неизгладимый отпечаток на мое поколение отложил борхертовский Бекман¹⁵. Каково ваше отношение к Бекману, Шербаум? Говорит ли вам что-то этот образ сегодня?..»)

И этот бывший солдат носит очки. Он в сером костюме, который ему тесен, без шляпы, в грубых башмаках со шнурками. Велосипедные зажимы для брюк он, наверно, одолжил в Андернахе. Бросается в глаза новый, чересчур элегантный галстук. К багажнику велосипеда размочаленной веревкой привязан картонный чемодан. Твердое лицо Крингса ровным счетом ничего не выражает.

Линда. Мы можем уложить велосипед в багажник машины. Я — ваша дочь Зиглинда.

Крингс. Как мило, что меня встречают.

Линда. Мы, очевидно, разминулись в Андернахе. Сначала я поехала в...

Крингс. Я не хотел явиться без галстука, я был..

Подбородком указывает на свой галстук.

Линда. Красивый.

Она не улыбается.

Крингс. Сестра писала мне, что у тебя длинные волосы и что ты заплеташь их в косу.

Линда. Я постриглась перед помолвкой. Давай я тебе...

Крингс. Пожалуйста.

Без суеты, деловито Линда пытается уместить велосипед и чемодан в багажник. Крышка багажника не закрывается. Крингс смотрит на Корельсберг. Что-то его забавляет, видимо тот факт, что гора стоит на том же месте. В это время зритель может поразмыслить о содержимом чемодана; не возбраняется также подумать о зияющем багажнике, о его откинутой крышке, которую Линда пытается с помощью размочаленной веревки прикрепить к заднему бамперу. (Между прочим, когда я познакомился с Линдой, у нее была прическа а-ля Моцарт. По моей просьбе она остригла косу.)

Линда. Несколько километров проехать можно, он не вывалится... Многое за это время изменилось, вы увидите...

Крингс. Картофельная ботва по-прежнему покрыта цементной пылью.

Линда. И это скоро, наверное, изменится.

Крингс. Твой жених — не правда ли, он служил у Диккерхоффа? — хочешь, чтобы завод работал без пыли.

Линда. Сначала его надо перестроить, цемент будет производиться сухим способом, а потом...

Крингс. Сначала нам надо доехать. Посмотрим все на месте. Не так ли?.. Моя дочь должна быть со мной на ты. Разве это трудно?

Линда. Я сама хотела попробовать.

Крингс. Давай же.

Линда. Да, отец.

Они садятся в машину.

¹⁵ Главный персонаж пьесы Борхерта «За дверью».

Нельзя ли переместить всю эту сцену в Серый парк, но уже без велосипеда, пейзажа и машины?

— Как вы считаете, доктор? Крингс появляется с чемоданом... может быть, он ведет велосипед, натывается на Линду под ветвистыми буками, поникшими от тяжести цементной пыли, и без запинки выпаливает: «Как мило, что меня никто не встретил». На что Линда отвечает: «Я была в Кобленце. Там собралась толпа. Могли возникнуть беспорядки».

Крингс. Полиция этого странного государства попросила меня сойти с поезда в Андернахе.

Линда. Я была рада, что поезд пришел без вас, кое-кто...

Крингс. Сестра писала мне, что у тебя длинные волосы и что ты заплетаешь их в косу...

Зубной врач был против Серого парка; ведь на самом деле Линда подхватила его на дороге.

Итак, они едут по направлению к Плайдту. Камера следует за ними до тех пор, пока они не исчезают, и на экране крупным планом видны лишь Корельсберг и заводы Крингса с обеими трубами, из которых валит дым на фоне предгорий Эйфеля.

— Дело сделано, мой дорогой. А теперь нам нужны лишь колпачки из медной фольги для проверки. Потом мы наполним их руварексом и таким образом получим точные копии ваших зубов.

Я попытался ощутить радость. Крингс прибыл. Боли я не чувствовал. Плоскаты было почти приятно. За окнами, я знал, тянулся Гогенцоллерндамм от Розенэка до Бундесалее. И рядовая реплика моего ученика Шербаума: «Почему вы вообще стали преподавателем?» — а также слова подыгравшей ему Веро Леванд: «Откуда ему знать?» — не побудили меня огрызнуться.

А потом зуб за зубом был изолирован тканью, пропитанной жидким тектором. Надевая на все четыре обточенных зуба временные металлические коронки, дабы предохранить их от внешних воздействий, зубной врач говорил:

— Сперва вам будет не по себе, особенно когда полость рта отойдет от наркоза и язык наткнется на металлическое инородное тело.

А в то же самое время она опять стала давать рекламу, строго по минутам, как предписано телепрограммой. Начала с шампуней, потом перешла к хвойному экстракту, а под конец стала втирать ночной питательный крем. Я видел ее в профиль под душем — голова в шапке пены. На голой коже переливались и поблескивали капли, вызывая некое волнение. Протестую! Почему нагота дозволается только при рекламе гигиенических средств?

— Почему, доктор, нельзя с помощью обнаженного тела рекламировать все на свете? Например, так: голый зубной врач обтачивает тридцатидевятилетней преподавательнице — моей коллеге Зейферт — по два коренных зуба внизу слева и справа, а потом надевает на них металлические коронки, предохраняющие от внешних воздействий... А потом рекламируют похоронных дел мастера Гринэйзена: нагие гробовщики с ляжками через плечо несут открытый гроб, в котором наконец-то лежит смиренно генерал-фельдмаршал при всех регалиях... А вот и я рекламирую реформу старших классов западноберлинской гимназии: голый, очень волосатый студентрат дает урок истории одетым по-разному ученикам и ученикам — и тут его ученица Веро Леванд, вся в пестрых вязаных вещах, вскакивает: «Перечисленные вами признаки тоталитаризма целиком совпадают с признаками авторитарных школьных порядков, при которых мы...» А может, лучше рекламировать «осрам»¹⁶ — электрик Шлоттау в чем мать родила стоит на стуле и ввинчивает в патрон шестидесятиваттную лампочку, а в это время барышня в спортивном костюме — Линдалиндалинда — смотрит на него. Или лучше займемся рекламой болеутоляющих таблеток арантил: голая влюбленная парочка сидит на кушетке и смотрит на телеэкран, на котором одетые актеры разыгрывают детективную историю — известный женоубийца, он же брачный аферист, бежит от правосудия и по дороге влетает в сарай, залезает прямо в одежду в сено и громко стонет — у него болят зубы и нет арантила, а в это время на улице —

¹⁶ Осрам-осмий — вольфрамовый сплав, применяемый в электрических лампочках.

это он видит сквозь щелку в дощатой стене — голая работница решительно проходит по двору, чтобы подоить черно-белых коров... Вообще обратимся к животному миру. Я спрашиваю вас, доктор, почему в рекламе зоопарка не показать, как широконосые, узконосые, игрунковые обезьяны, естественно, неодетые, занимаются перед клетками тем, что ведет к деторождению?..

— Ну вот, держится хорошо. Металлические коронки были подогнаны заранее... (Чулки из фольги для моих зубов.) А теперь сомкните зубы. Еще раз. Спасибо.

Его помощница в белом халатике своевременно убрала свои пальцы — три морковины.

— Ей-богу, лицо у меня перекошено да еще распухло, а кое-где появились вмятины. Да?

— Обман зрения. Вы заблуждаетесь, посмотрите в зеркало и сами убедитесь.

Когда я собрался домой, зубной врач (в парусиновых туфлях) напутствовал меня, велел принять арантил вовремя.

— Иначе вам предстоит малоприятный субботний вечер и в воскресенье может побаливать.

(Его помощница, подавая в прихожей пальто, от себя посоветовала деловито и негромко не есть чересчур горячего и не пить чересчур холодного, ведь металл теплопроводен... Теперь эта помощница показалась мне более симпатичной, все же немного более симпатичной.)

Итак, я с моими четырьмя инородными телами во рту возвратился домой; побрился, переделался и перевязал шелковой ленточкой подарок (бокал с растительным орнаментом в стиле модерн), после чего сел на девятнадцатый автобус и доехал до Лейнинской площади — меня пригласили на рождение, — сначала весело общался с коллегами (обсуждались вопросы культурной политики), даже сказал хозяйке дома (это был ее день рождения) что-то остроумное насчет аквариума и его унылых, прожорливых обитателей — впрочем, Ирмагд Зейферт не удостоила меня улыбкой; с помощью арантила я продержался до полуночи; придя домой, увидел подкарауливавший меня письменный стол и, написав на листке бумаги: «узнать, не таится ли там чего-нибудь вроде тех писем», скоро заснул как убитый, но проснулся рано, так как действие лекарства прекратилось, однако принял свои две таблетки только после завтрака (чай, кефир с корнфлексом) и, просматривая воскресные газеты, начал обычные причитания... Это воскресенье... Эти обои... Эти утренние возлияния в пивной...

Все последующее я прочел в «Вамсе»¹⁷. Они его поймали. Нет. Он сам явился с повинной. Ведь они никогда не схватили бы его, несмотря на объявления о розыске с указанием примет, напечатанные на меловой бумаге; да, ничем не схватили бы этого убийцу, задушившего свою жизнерадостную невесту, капризную только при западном ветре. Он задушил ее велосипедной цепью — на фото был запечатлен сей предмет. Согласно показаниям без двух минут тесть убийцы одолжил велосипед в Андернахе, когда вернулся наконец на родину после десятилетнего пребывания в русском плену и когда оказалось, что на последнем отрезке пути ему заказаны все другие средства передвижения. Велосипедная цепь из многих звеньев — точь-в-точь четки — была найдена на месте преступления на складе цементных плит; последние двенадцать лет убийца жил за счет краж со взломом, которые совершал без специальных инструментов, но мастерски, хотя и неохотно. (Мир забыл о нем... но следственный отдел в Кюбленце ничего не забывал.) Постоянно в бегах, он постарел, однако дело о его преступлении — минутное дело — не могло быть прекращено за давностью. И поскольку ему не хватало не только еды, но и духовной пищи, он взялся за философские трактаты, в частности за изучение философии стоиков (и мог бы сейчас слыть специалистом по Сенеке). Вечно прячась, всегда настороже, он читал по ночам в сараях или в домиках на садовых участках, где, кстати, часто находил на полках за книгами любимых авторов деньги: бумажные купюры и мелочь. Таким

¹⁷ «Welt am Sonntag» — воскресное приложение к шпрингеровской газете «Вельт», выходящей огромным тиражом.

образом, он ездил по железной дороге, в то время как полиция считала, будто он, как бродяга, ходит пешком или голосует. Тщательно одетый, с книгой в руках, откинувшись на мягкую спинку в спальном вагоне, он исколесил Западную Германию от Пассау до Фленсбурга, от Кабура до Фельклингена. Каждый раз, когда он покидал какой-нибудь город, он менял одежду. Словом, кражи, совершаемые им с отвращением, поскольку они претили его натуре, должны были обеспечить ему средства не только на пропитание, на книги, на железнодорожные и карманные расходы, но и на то, чтобы решить проблему одежды; стандартная фигура облегчала покупку костюмов соответствующего размера, он мог спокойно выбирать их в магазинах готового платья. Да, он часто менял содержимое чемодана. Однако ко всякой собственности был равнодушен; кроме нескольких рубашек и смен нижнего белья вперемешку с книгами, он ничего не имел; путешествовал налегке.

Стригся ли он каждые три недели?.. Да, стригся в аэропортах и на главных вокзалах, где мог быть уверенным в том, что увидит в зеркале парикмахер-итальянца (интерес к сообщениям о розыске — наша национальная особенность). Фасонную стрижку сменила стрижка с помощью бритвы, под конец он предпочел короткий ежик без пробора на американский лад.

И несмотря на это — так было написано несколько месяцев назад в «Вельт ам зоннтаг», где я видел его фото: холеный мужчина лет под сорок, который мог занять крупный пост в цементной промышленности, — и несмотря на это, он явился с повинной.

«Целых девять лет я обретал поддержку в учении стоиков, я выносил тяготы, на которые обречен каждый беглец, но вот уже два с половиной года как меня мучает зубная боль».

(«Не правда ли, доктор, это рецепторы нервных центров, которые следует приглушить?..»)

Известно, что арантил выдается только по рецепту врача, поэтому убийце невесты приходилось довольствоваться более слабыми средствами, действующими лишь короткое время. Обратиться к зубному врачу он не рискнул. Зубные врачи читают иллюстрированные журналы. Зубные врачи в курсе всех событий, им известен каждый еще не обнаруженный убийца, стало быть, и он тоже; ведь «Квик» и «Штерн», «Бунте» и «Нойе» популяризовали убийцу, помещая его фото. Журналы этого рода, подобно волкам, всегда собираются в стаи, и вот, прогнав его сквозь свои сериалы по всей территории, где шла охота, и обложив со всех сторон подписчиками и читателями, они в конце концов загнали его в полицию. Фотографии были сделаны способом глубокой печати с подтекстовками. Он и его невеста в ту пору, когда на шее у нее красовался искусственный жемчуг, а не велосипедная цепь. Он и она на тенистом берегу озера Лаах. Они оба на рейнском променаде по дороге к Андернаху в аллее подстриженных платанов. А также жених и невеста с будущим тестем — незадолго до убийства — рядом с моделью центробежного электрофильтра. И наконец, он один на фотографиях, сделанных в давно прошедшие счастливые времена. Убийца, брачный аферист, без шляпы, в шляпе, в профиль, в три четверти; на одной фотографии он смеется во весь рот, видны зубы. (Их изъяны заметил бы каждый дантист. «Вы тоже много лет спустя помнили бы просвет между двумя резцами в верхней челюсти и неправильный прикус, эту настоящую, поскольку она врожденная, прогению — она ведь бросается в глаза».)

Ему пришлось прожить два с половиной года без зубоврачебной помощи, терпя боли, которые имели обыкновение повторяться и которые с каждым разом усиливались, ведь ему нечем было их утишить, разве что золотыми словами Сенеки: «Только бедняк считает свой скот», но и эти боли перебивала и перекрывала другая истонная боль — по задушенной невесте. Без арантила, цинично утешаясь поздним Ницше — Сенека иногда переставал действовать, — повторяя слова Ницше: «С точки зрения морали мир фальшив. Но поскольку мораль сама часть этого мира, она тоже фальшива...» — он перебирался из одного домишка на дачном участке в другой, искал и находил в домашних аптечках разные таблечки, все, кроме арантила, ибо его выдают только по рецепту врача. (Итак, я ворочался в забросенных сторожках каменотесов на Майенском поле, в проду-

ваемых сквозняками сараев в предгорьях Эйфеля, ворочался, будто меня терзала не боль, а страсть, и сжимал в объятиях мою невесту — охалку шуршащего сена, о Линдалиндалиндалинда, и слышал ее шепот: «Не встречай, ради бога. Это касается только отца и меня. Я ему все докажу. Тебе до этого вообще дела нет. Пусть я десять раз с этим Шлоттау. И перестань угрожать мне своей дурацкой велосипедной цепью...»)

И тогда он пошел в следственный отдел в Кобленце и сказал: «Это я!» После чего брачный аферист родом из Западной Пруссии вежливо положил на стол свое истрепавшееся за долгие годы беженское удостоверение за литерой «А».

Полиция сперва не поверила. Только когда он засмеялся, несмотря на боль, засмеялся, обнажив тем самым просвет между верхними резцами, равно как и совершенно явную прогению, только тогда они стали чуть ли не радушными: «Давно пора, старина».

Не хочу долго распространяться о научных заслугах так называемого брачного афериста-убийцы (он передал полиции созданную им за двенадцать лет рукопись весьма солидного объема: «Ранний Сенека как воспитатель будущего императора Нерона. Философские заметки беглого преступника»).

Хочу огласить мольбу о помощи, зафиксированную в протоколе: «Находясь под следствием, прошу, чтобы меня показали тюремному дантисту. Считаю уместным любое вмешательство, и в случае, если окажется необходимым удаление причиняющих мне боль зубов. Если же вмешательство будет отложено, покорнейше прошу прописать арантил, ибо арантил не выдают без рецепта врача...»

Благодаря арантилу — двадцать драже за две марки тридцать — я писал, не испытывая боли, окрыленный побочным действием этого лекарства: забыты поражения! Теперь мы пораскинем мозгами и начнем побеждать. Незадолго до того времени, когда я обычно распивал пиво, я все еще причитал... Это воскресенье... Эти обои... И предавался воспоминаниям о всяких старых историях: неизменный шепот на андернахском променаде. Но тут две таблетки помогли мне переключиться с бесплодного воскресного самокопания на частный случай с одной моей коллегой. (Как мы уличаем сами себя... Как все ударяет рикошетом...) Ведь если бы Иргмгарт Зейферт не нашла этих писем, она была бы счастливой и, пожалуй, ничего не знала бы о себе; но она их нашла и теперь обо всем осведомлена...

Визит с субботы на воскресенье к ее матери в Ганновер, необходимость хватить их любимое семейное блюдо — говяжье жаркое с картофельными клецками — и без конца выслушивать уговоры: «Возьми еще кусочек, Иргмгарт. Раньше, детка, ты всегда уплетала за обе щеки...» — а потом ее мать решила вздремнуть после обеда (казалось, она на часок вообще ушла из жизни), и мы вдруг остались одни среди старой мебели и их обоев, которые, собственно, должны были вызывать у нее умиление, и этот преследовавший нас повсюду, никогда не выветривавшийся запах мастики для полов, и внезапное сердитое чирканье целого выводка воробьев в палисаднике и еще во время обеда, когда сладковато-приторный вкус грушевого варенья на языке уже стал ослабевать, ее матушка обронила несколько слов насчет школьных табелей дочери, фотографий класса, тетрадей для сочинений и писем, в сущности, старого хлама, связанного в пачки и мирно покоившегося на дне сундука в чердачном помещении, — все эти случайности, сложенные воедино, и побудили Иргмгарт Зейферт, которая, так же как и я, преподает немецкий и историю (и еще дополнительно ведет уроки пения), подняться на чердак их одноквартирного домика, надеть в предвидении пыли фартук матери и открыть большой, даже не запертый сундук.

На моем листке бумаги стали в ряд отдельные фразы: косой солнечный луч, падавший через чердачное оконце; заржавевшие полозья ее детских санок; семейные дела — покойный отец Зейферт был начальником экспедиции в фирме Гюнтера Вагнера (по сю пору она покупает карандаши со скидкой); аквариум Иргмгарт, барбусы, вуалехвосты и гуппи, которые пожирают свое потомство.

Мы с Ирмгард Зейферт ровесники. В конце войны нам стукнуло по семнадцать, но мы уже были взрослые. Несмотря на общность профессии, многое мешало нам сблизиться, но в одном мы были едины — в нашем отношении к новейшей германской истории и ее влиянию на все события вплоть до сегодняшнего дня. Только в нашей оценке «большой коалиции» и в том, что Кизингер стал канцлером, ощущается известная разница — я воспринимаю это скорее цинично, скаля зубы, Ирмгард Зейферт склонна протестовать.

Некоторые лозунги на телевидении, заголовки в газетах вызывают у нее однозначную реакцию — «против этого надо протестовать, резко, недвусмысленно протестовать».

Ее и мои ученики — она дает уроки музыки моему 12 «а» — добродушно прозвали Ирмгард Зейферт Архангелом, зачастую ее речи и впрямь можно уподобить пламенному мечу. (Только когда она кормит рыбок в аквариуме, можно заметить, что в ней проглядывает женственность.)

Дать знак. Показать пример. Еще два года назад она шла в одной демонстрации с демонстрантами из ГДР. Поскольку в Западном Берлине НСМ¹⁸ не выставляет своих кандидатов на выборах, она вообще из протеста не участвовала в местных выборах. В своем классе, а также и в моем 12 «а» она при случае ссылается на Маркса и Энгельса и в то же время озадачивает возмущенных учеников критикой Ульбрихта, которого назвала как-то бюрократом и старым догматиком. Правда, не на моего Шербаума, но на его приятельницу малышку Леванд она оказывает большое влияние.

В ту пору Ирмгард Зейферт встревала во все споры. Заводила бесплодные дискуссии о планах школьной реформы с консервативными коллегами, да и с нашим директором, который считает себя либералом. Споры с Архангелом он сводил на нет одной фразой, которая превратилась у нас чуть ли не в поговорку: «Как бы вы ни относились к гамбургскому опыту школы продленного дня, нас, милая коллега, объединяет одно: бескомпромиссный антифашизм».

И вот Ирмгард Зейферт нашла между безобидными сочинениями и ничем не примечательными групповыми снимками своего класса перевязанную крест-накрест пачку писем, которые она писала в феврале-марте сорок пятого, будучи фюрером в БДМ и заместительницей начальника лагеря для эвакуированных из города детей. Мысли ее, запечатленные каллиграфическим почерком на линованной бумаге, все время вращались вокруг образа фюрера, которого она называла не иначе как величественным. Большевизм она трактовала как еврейско-славянское порождение и жаждала выступить против него с пламенным протестом (уже тогда истый Архангел). Известная цитата из Баумана¹⁹: «Голод засел в наших глазах: новые земли, новые земли должны мы завоевать...» — послужила эпиграфом к одному из ее мартовских писем — советские армии стояли уже на Одере. (Вообще правоэкстремистские красоты, характерные для позднего экспрессионизма, определяли ее стиль; даже сегодня коллега Зейферт тяготеет к броским, но теперь уже ударяющим в левизну определениям: «Победоносное освобождение от ига капитала и торжество социализма — это есть ясная, устремленная в будущее цель для всех неколебимых борцов за мир...») «Моя белокурая неназвисть, — писала тогда фрейлейн Зейферт, в волосах которой за это время уже успели появиться серебряные нити, — не знает границ и уносится, подобно песне, к звездам».

Я пытался свести все к шутке, когда она через несколько дней после ункэнда в Ганновере, не в силах успокоиться, цитировала эти экзальтированные фразы. А потом, расширив глаза, сказала: «В моих письмах встречаются абзацы, которые я не хотела бы прочесть никому, даже вам».

(«Одним словом, доктор, Ирмгард Зейферт в ту пору решила на вмешательство».) Разумеется, она помнила, что руководила отрядом в БДМ. Во всех деталях помнила, как жила тогда в Гарце, часто рассказывала, что заботилась об эвакуированных детях из больших городов — Брауншвейга и Ганновера, что на нее легла тяжелая ответственность, ведь с продовольствием становилось все

¹⁸ Немецкий союз мира.

¹⁹ Бауманн Ханс (род. в 1914 г.) — нацистский писатель.

хуже и истребители-бомбардировщики ежедневно бомбили близлежащую деревню; они рыли убежища, где дети спасались от осколочных бомб, она возмущалась ортсгруппенлейтером, который в начале апреля хотел забрать из лагеря тринадцатилетних — четырнадцатилетних мальчишек и отправить их в фольксштурм.

Мы часто говорили, вернее болтали, об этом периоде ее жизни, также как и о моих приключениях в банде, болтали, гуляя по берегу Грюневальдского озера или у меня дома за рюмкой мозельского. Она помнила, что заявила во всеуслышание: мол, ортсгруппенлейтер использует в преступных целях доверие детей; она протестовала против его действий. «Я пламенно протестовала». Слово в слово повторила она речь в защиту своих тогдашних питомцев. «Под конец этот хмырь вообще испарился. Эдакий отвратительный нацистский бонза. Вы, конечно, знакомы с подобным типом людей, дорогой коллега...»

Ирмгард Зейферт даже использовала с педагогической целью эту свою тогдашнюю ситуацию, в которую попала не по своей воле, рассказывала ученикам — своим, да и моим (на уроках музыки) — о «мужестве как о преодоленной трусости».

В этот день она без конца ворошила бумаги в сундуке, но так и не нашла того, что искала, — прежние бунтарские тезисы, или, как она их называла, антифашистские, она будто бы не только высказывала эти тезисы вслух, но и заносила на бумагу. Ничего такого обнаружить не удалось — только письма. И в последнем письме она рассказала о своем триумфе: обучившись стрелять из ручного противотанкового гранатомета, она, на сей раз по своей воле, стала обучать других. В письме говорилось: «Неколебима наша готовность. Парни, которых я вместе с ортсгруппенлейтером научила стрелять из противотанкового гранатомета, все как один будут до последней капли крови защищать наш лагерь. Мы выстоим или погибнем. Третьего не дано».

«Но вы ведь вовсе не защищали лагерь?»

«Конечно, нет. При всем желании не успели».

Стараясь отвлечь ее, я заговорил о моей ребячьей шайке.

«Представьте себе, милая коллега, меня в роли предводителя банды. В ту пору, когда вокруг царила одна сплошная организованная «народная общность», нам не оставалось ничего другого как стать асоциальным элементом, мы и впрямь чуть не докатились до уголовщины».

Но ничто не могло остановить коллегу Зейферт в ее жажде саморазоблачиться.

«Существуют и другие письма, они еще хуже...»

И она вспомнила об одном крестьянине, который отказался предоставить свое поле, граничившее с детским лагерем, под противотанковый ров.

«На этого крестьянина я донесла окружным руководителям в Клаусталь-Целлерфельде. Написала донос».

«И это имело последствия? Я хочу сказать, его...»

«Нет, не имело».

«Ну вот видите!» — вырвалось у меня.

(Разговор происходил в моей квартире. Я подлил мозельского. Поставил пластинку.) Но и Телеман²⁰ не помешал Зейферт довести до конца свое самобичевание.

«Я вспоминаю, как была разочарована, более того, возмущена из-за того, что донос не возымел действия».

«Но это же умозрительные рассуждения».

«Я уволюсь из гимназии».

«Этого вы не сделаете».

«Мне нельзя преподавать...»

Я стал произносить всякие утешительные слова:

«Именно ваша вина, милая коллега, дает вам право указать молодому поколению правильный путь. Многие из нас всю жизнь не знают, кто они есть на самом деле, и даже не подозревают этого!.. При случае я расскажу о себе. И об одном вмешательстве, последствия которого я только сейчас осознаю. Внезапно бро-

* Телеман Георг Филипп (1681—1767) — композитор.

шенное слово, например такое, как трепел, или пемза, или туф, или вид детей, играющих с велосипедной цепью. И вот уже ты теряешь покой и стоишь голеный и беззащитный...»

Тут она заплакала. И поскольку мне казалось, что я знаю, как хорошо Ирмгард Зейферт владеет собой, я с облегчением подумал: слезы — это тот же арантил.

Ах, доктор, какое звучное название! (Я приму еще два драже.) Арантил могла бы быть сестрой этрусской принцессы Танакил. Юную невесту Арантил возненавидела старшая сестра Танакил — все еще усугублялось тем, что жених Арантил внезапно влюбился в Танакил и буквально стал ее рабом, — и вот бедняжку сбросили со стен города Перуджия, так она погибла. А потом ее именем назвалась певица. Вы помните певицу Арантил, равную Тебальди, равную Каллас?

Она проникала во все сердца и во все дискотеки. Впрочем, скорее она поражала не голосом, а лицом (она была не просто миловидной, а по-настоящему красивой). Что привлекало в ней — разрез глаз или странный рассеянный взгляд? Кто из нас вспомнит ее фигуру? Талант ее неотделим от ее лица. Увеличенные портреты Арантил на высоких, как колокольня, стендах были намечены пунктиром, но мы издаലെга глядели на них во все глаза, пытаюсь воссоздать ее черты. В одной провинциальной дыре, кажется в Фюрте, я встретил ее портрет на афишном столбе, — он намок от дождя и потерял всякий вид: ведь со времени концерта прошло уже три недели. (Кто-то выцарапал ей на плакате глаза.) Что только не проделывали с ее фотографиями. Их прятали в молитвенник. Их вставляли в рамки и водружали на письменные столы могущественные директора концернов. Рекруты бундесвера прикрепляли их кнопками к своим тумбочкам. Ее лицо было вездесущим: то размером в почтовую открытку, то величиной с киноэкран. Оно постоянно смотрело на нас, нет, смотрело сквозь нас. Смотрело, не замечая чужой боли, абсолютно равнодушное, но исцеляя и смягчая страдания (это болеутоляющее действие и побудило, наверно, впоследствии некую фармацевтическую фирму выпустить специальное лекарство — из группы анальгетиков, — помогающее при зубной и челюстной болях. лекарство, которое вы, доктор, ежедневно прописываете. («Я выписал вам рецепт на две упаковки арантила...»)) И при всем том внешность у нее была чудовищная, а конец трагический.

Кстати, о том молодом человеке, которого бульварная пресса назвала ее убийцей, долгое время вообще ничего не было слышно. Кажется, он ходил тогда в ее женихах. Моментальный снимок этого молодого человека — этого фотографа по профессии — перепечатали все вечерние газеты и иллюстрированные журналы, особенно носился с ним «Квик», да, «Квик» сделал из этого сенсацию. И именно пресса — а она-то и была повинна в ее смерти — назвала его убийцей. Но разве, скажите на милость, он совершил нечто предосудительное? Простой фотограф, он, как и все мы, грешные, боролся за кусок хлеба.

Преодолев все препятствия, он проник в ее апартаменты в отеле. Там он со своей аппаратурой спрятался под кровать и, скрючившись, дождался ее возвращения. Но это еще не все: он ждал, пока она переоденется на ночь и заснет, всецело полагаясь на свой слух. Только потом я покинул мое тайное убежище. (Обычно она спала как убитая.) Я нацелил на нее «аррифлекс» и сделал один — всего один-единственный снимок со вспышкой. Моя милая стала звонить горничной и кричать, но я уже спулся в лифте, намереваясь засесть у себя в темной комнате и проявлять. Судя по тому, что я знал — а я знал ее хорошо, даже чересчур хорошо, — она была приговорена! Ведь снимок при вспышке принес мне не только сумму, выражающуюся в многозначной цифре (сейчас я могу благодаря ей поставить мостовидные протезы), эта вспышка стоила ей жизни. С тех пор у нее началась бессонница (я навсегда лишил ее сна этой вспышкой), как жениху мне разрешили полистать ее историю болезни, за семь месяцев, две недели и четыре дня, прошедших с того времени, когда я запечатлел лицо моей спящей невесты Арантил в отеле «Хилтон» в Западном Берлине, она утасла, истаяла в Цюрихе — сорок один килограмм живого веса.

Притом ее лик во сне был прекрасен, хотя и по-другому прекрасен, нежели наяву. Теперь он принадлежал всем, был общедоступен, открыт; и это детски-упрямое выражение лица, не напряженное, а мягкое, тоже вышло на снимке; таким было лицо моей невесты Зиглинды Крингс, когда я находил ее спящей в Сером парке с разбросанными вокруг идиотскими военными трудами, а наяву оно казалось по-козьи застывшим. Но я ни разу не фотографировал ее спящей, не осталось у меня и карточек бодрствующей, всегда целеустремленной Линды — к чему фотографии? Все миновало. Жизнь идет своим чередом. Моя коллега Зейферт по-прежнему преподает. С трудом удалось отговорить Ирмгард от задуманной ею публичной исповеди: «Незачем обременять своими откровениями мальчишек и девчонок! Каждый должен сам набираться опыта!..» Под конец она сдалась: «В данное время у меня вообще не хватит решимости предстать перед классом такой незащищенной...»

Мой отдых кончился, лишь только я попытался выпить кружку пива за стойкой в баре Реймана. Помощница зубного врача, которая предупреждала меня, чтобы я не ел чересчур горячего и не пил чересчур холодного, оказалась права: инородные тела из металла — четыре колпачка на моих обточенных для коронок отгрызках зубов — были теплопроводны; я расплатился, не допив полкружки.

Дантист, который стал моим другом, объяснил, почему зубы у меня болят.

— Разве вы не знали? В каждом зубе находятся нерв и сосуды — артериальный и венозный. — Его голос был точь-в-точь такой, какой положено иметь владельцу такого кабинета — пять метров на семь при высоте в три тридцать. — И вот что еще вы должны запомнить: под эмалью, не обладающей чувствительностью, дентин пронизан множеством канальцев с нервными волокнами, которые при работе бормашины или при обточке затрагиваются по касательной.

(После довольно утомительного уик-энда образ зубного врача совершенно поблек, и когда утром в понедельник я попытался объяснить 12 «а», что нет ничего более безликого, нежели приветливый дантист, который спрашивает о твоём самочувствии, стоит тебе переступить порог его квартиры, класс ответил мне дружным смехом: ребята отнеслись к моему заявлению иронически.)

Едва успев поздороваться и не отходя от навесного столика с инструментами, он без всякого перехода начал:

— Ваши обнаженные шейки зубов болят, потому что туда доходят зияющие нервные канальцы.

Его метод наглядно разъяснять решительно все (даже происхождение боли) следует применить и мне на уроках.

— Смотрите-ка, нерв опоясывает зубную коронку, а потом входит в пульпу.

Однако, когда я мельком упомянул о предгорьях Эйфеля и о деревушке Круфт среди мезовых карьеров, он перестал говорить о зубных нервах; таким образом, Крингсу наконец-то удалось вернуться домой.

— Одним словом, доктор, он оккупировал виллу за Серым парком и собрал всю семью — тетю Матильду, Зиглинду и меня — у себя в кабинете, который до сих пор был заперт на ключ и неизменно фигурировал под названием «спартанская обитель отца» — походная кровать, полки с книгами, рулоны топографических карт. На столешнице, поставленной на козлы, лежала штабная карта — излучина Вислы, войска перед прорывом у Барановичей. Напротив окон была распластана во всю стену карта, а на ней флажками отмечена линия фронта в районе курляндского котла, когда командование принял Крингс.

Мой зубной врач сразу понял что к чему.

— Да, октябрь сорок четвертого. Юго-восточнее Преекульна. Там стояла моя часть...

Ни пылинки. Тетя Матильда перед возвращением Крингса натерла полы и проветрила помещение. За спиной Курляндия, на козлах, отделяющих его от нас, центральный участок фронта — он дает нам понять, что ему не до родственных чувств, где уж тут. Его сестра, впрочем, выразила удовлетворение видом генерала — он отнюдь не кажется дряхлым, наоборот, держится молодцом: «Я рада, Фердинанд, что эти долгие тяжкие годы тебя не изменили»; но Крингс ее обор-

вал: «Меня не было. Теперь я опять здесь». Линда ничего не сказала, сидела молча. Я осмелился спросить, не угнетает ли человека, особенно военнопленного, безлюдье русских просторов. Сначала я подумал, что вообще не получу ответа. Крингс, раздвинув циркуль, мерил излучину Вислы, затем, показывая на Барановичи, изрек: «Этого ни в коем случае не должно было случиться! — Потом поднял глаза: — Сенека сказал: «Все блага жизни принадлежат другим, лишь время — наша собственность». Я приказал себе мысленно оживить и впрямь однообразные просторы юго-восточнее Москвы наступательными действиями». С тем же успехом он мог сказать: «Безлюдье — это не фактор»; ведь сказал же он: «Арктика — это не фактор».

Зубной врач, стоя рядом с навесным столиком для инструментов, перебирал четыре наполненных шприца.

Его реплика: «Как вы знаете, при Клавдии Сенеку сослали на Корсику, только мать Нерона Агриппина вернула его из изгнания, продолжавшегося восемь лет» — напомнила мне, что учение стоиков, можно сказать, созрело в тюрьмах и приобрело последователей благодаря им же. (Кстати, моего дантиста тоже освободили из плена только в середине сорок девятого.) Я ждал в роскошном риттеровском зубоврачебном кресле короткого неприятного укольчика и боялся, что местная анестезия увлечет дантиста на стезю Крингса и он займется вариациями на тему «Боль — это не фактор», но врач не стал упорствовать и похвалил меня в присутствии помощницы:

— Вы относитесь к тем немногим пациентам, которые упорно интересуются причиной и направлением болей! Зубной нерв соединен с нервом мандибулярисом в подбородочной области, собственно, с третьим ответвлением лицевого нерва, который в конце концов ведет к коре головного мозга, откуда боль иногда отдает даже в затылок...

Пустой телевизор слегка поблескивал. Кого мне вообразить на нем: брачного афериста? или коллегу Зейферт, выживающую из материнского фибрового сундука старые письма? а может, страдающую бессонницей певицу Арантил?.. или же поездку вчетвером на том же «боргварде» в Нормандию?..

— Видите ли, доктор, если до прибытия генерала наши отпускные планы были неопределенны — я мечтал об Ирландии, Линда говорила: «Я вообще никуда не поеду», — то, как только Крингс занял свою «спартанскую обитель» и разостлал поверх карты центрального участка фронта новую карту, где были обозначены места высадки союзников, он сразу же дал нам точные указания: «Обождем, пока я получу паспорт, и немедленно в дорогу. Хочу взглянуть на плацдарм между Арроманшем и Кабуром, он оказался не по зубам этому Шпейделю, который уже опять пошел в гору».

Как только Крингс получил новенький паспорт, мы отправились в путь. Французы не чинили нам препятствий, ведь во время кампании во Франции Крингс особой роли не играл.

Перевела с немецкого Л. ЧЕРНАЯ.

(Продолжение следует)

ПУБЛИЦИСТИКА

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,
член-корреспондент АН СССР,
председатель Комиссии по научным проблемам разоружения
при президиуме Академии наук СССР



ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ

1

С начала текущего столетия во все убыстряющемся темпе идет процесс совершенствования военной техники. Во время первой мировой войны для массового истребления живой силы противника были широко использованы пулеметы, в конце войны появились первые танки и начали использоваться самолеты. В промежутке между двумя мировыми войнами шла интенсивная научно-исследовательская работа по дальнейшему совершенствованию средств военной техники и разработке новых ее видов. Военные лаборатории привлекали наиболее талантливых ученых и инженеров, а в бюджетах государств значительно возросли ассигнования на военные нужды.

В годы второй мировой войны военная авиация стала разрушать города и уничтожать мирное население. Именно тогда в буржуазном мире появились новые, чрезвычайно опасные военные доктрины. Например, американский генерал Вильям Митчелл в своей книге «Небесные пути» писал, что объектом уничтожения в войне в первую очередь должны быть жизненные центры противника, то есть города, сельскохозяйственные районы, транспортные системы и т. д.

Появление ядерного оружия окончательно стирает грани между фронтом и тылом. Определяя цели для первых атомных бомб, тот, кто был ответствен за выбор объектов атомного бомбометания, исходил преимущественно не из необходимости разрушать какие-то военные сооружения. Генерал Лесли Гровс, руководитель работ в США по созданию атомной бомбы, выдвинул такие критерии для выбора объектов бомбардировки: это должна быть цель, которая может в наибольшей степени воздействовать на волю японского народа продолжать войну. «Мы хотели, например, чтобы первый город, намеченный для бомбардировки, был достаточно большим, чтобы эффекты бомбардировки были отчетливо видны... Это должен быть не какой-то маленький пункт в пустыне, на котором нельзя отчетливо видеть результаты атомного взрыва». Л. Гровс усиленно настаивал, в частности, на том, чтобы атомная бомба была сброшена на древнюю столицу Японии Киото. Он так аргументировал свое предложение: «Городская, промышленная область с населением около миллиона... много перемещенного населения и промышленных объектов... Он достаточно большой, чтобы гарантировать, что повреждения от бомбардировки... позволят нам оценить ее разрушительную силу... Хиросима в этом отношении не так подходит».

Таким образом, от винтовки как средства убийства одним выстрелом одного человека человечество перешло сначала к пулеметам — для массового истребления людей, затем к авиабомбам и ракетам — для уничтожения городов и, наконец, к ядерному оружию...

На опасность военного использования атомной энергии некоторые ученые обращали внимание уже тогда, когда работы по расщеплению атомного ядра еще не начинались. К плеяде таких ученых, чувствовавших биение пульса науки, принадлежал советский академик В. И. Вернадский, который еще в самом начале 20-х годов предвидел возможности использования ядерной энергии как для мирных, так и для военных целей и пророчески писал в феврале 1922 года: «Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет. Это может случиться в ближайшие годы, может случиться через столетие. Но ясно, что это должно быть. Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука? Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, научного процесса. Они должны себя чувствовать ответственными за последствия их открытий. Они должны связать свою работу с лучшей организацией всего человечества».

Разрушение японских городов Хиросимы и Нагасаки и гибель многих сот тысяч жителей в результате взрыва двух атомных бомб явилось страшным свидетельством истребительной и разрушительной мощи нового оружия. Его появление произвело коренные изменения как в военной области, так и в международной политике.

Возникло много новых международных проблем, порожденных ядерными взрывами. Одна из них: можно ли считать ядерное оружие средством ведения войны? Прогрессивное человечество всего мира отвечает на этот вопрос решительным *нет*. В связи с этой общей проблемой возникает много частных вопросов, и прежде всего: что же произойдет, если атомные бомбы станут средством ведения войны,— можно ли создать против них защиту? Ведь средствами доставки ядерного оружия являются не только самолеты, но и ракеты. Далее: возможна ли защита от ракет с ядерными боеголовками? Как уберечь население страны в случае возникновения ядерной войны? Будут ли пригодными для проживания те районы, где разорвутся ядерные бомбы?

На все эти вопросы мы, ученые, отвечаем категорическим *нет*. Доводы? Они неопровержимы.

Во втором томе «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза» сказано, что «немецко-фашистские захватчики, решившие стереть Москву с лица земли, при первых же налетах на город получили сокрушительный отпор. Первый массированный налет на Москву немецкая авиация предприняла в ночь на 22 июля. К городу устремились свыше 250 бомбардировщиков... В воздушных боях было сбито 12 фашистских бомбардировщиков, артиллерийским огнем уничтожено 10. К городу провалились лишь немногие самолеты, не причинившие существенного ущерба столице... Благодаря тщательно продуманной системе противовоздушной обороны, мужеству и героизму ее бойцов и командиров Москва была спасена от крупных разрушений. С 22 июля по 1 октября из 4212 немецких самолетов, участвовавших в 36 налетах на Москву, в город проникло лишь 120. На подступах к столице было сбито 200 бомбардировщиков».

Таким образом, к Москве, несмотря на тщательно продуманную и хорошо организованную противовоздушную оборону, все же проникло более 2,8 процента участвовавших в налете самолетов. Что это значило бы в наше время, когда 25-мегатонные бомбы, находящиеся на вооружении НАТО, в 1250 раз превышают по мощности бомбы, разрушившие Хиросиму и Нагасаки?!

В развитии военной техники идет постоянное соревнование между средствами защиты и нападения. Совершенствовалась броня — повышалось качество снарядов; разрабатывались все новые конструкции самолетов — повышалась мощность и точность стрельбы зенитной артиллерии. С появлением ядерного оружия и ракетных средств его доставки изменились многие понятия. То, что во время прошлых войн считалось надежным средством обороны, в век ракет и ядерного оружия уже не может гарантировать безопасность, ибо одна-единственная ракета, пропущенная системой защиты, способна привести к катастрофе.

За годы после второй мировой войны развитие науки и техники достигло небывалых масштабов. В мире идет научно-техническая революция; из лексикона ученых

практически исчезло слово «невозможно». В это же время военная техника с невероятной быстротой поглощает ныне открытия науки и достижения техники, что привело к тому, что к нынешнему времени не только возросла мощь новых средств ведения войны (я бы сказал, беспредельно возросла), но, вероятнее всего, исчезли некоторые этапы и методы, характерные для прежних методов ведения войны.

Так, если ранее для проведения крупных военных операций требовалось какое-то время для сосредоточения вооруженных сил и военной техники, то ныне элемент времени практически отсутствует! Чтобы запущенная ракета с ядерными зарядами взорвалась у намеченных целей, требуются минуты. И если раньше военные операции можно было остановить в самом начале, можно было объявить перемирие, начать переговоры, то ныне это, по существу, исключено! Это обстоятельство в еще большей степени подчеркивает необходимость приложить максимум усилий к тому, чтобы не допустить начала ядерной войны — ибо ее конец будет и концом существования человечества.

3

За всю историю своего развития мир не переживал такого сложного и чрезвычайно опасного периода, как ныне. Грозная опасность нависла над всей нашей планетой. Созданные и накопленные современные средства истребления в состоянии уничтожить все формы жизни на Земле и превратить ее в безжизненное космическое тело. Об этой опасности убедительно свидетельствуют ученые всех областей науки, а также инженеры, военные специалисты, трезво оценивающие действия созданных видов ядерного оружия и возможные последствия его использования. Тревожно звучат выступления врачей — они хорошо знают, к каким последствиям приведут воздействия излучений и различных опасных веществ, образующихся при взрывах современных ядерных зарядов. Даже случайно оставшиеся живыми, окажутся носителями смерти, ибо результаты поражений станут передаваться от поколения к поколению.

Еще никогда не было такой, как ныне, общности взглядов и мнений среди всех прогрессивно мыслящих людей в оценке действия современного ядерного оружия и тех страшных последствий, к которым приведет его использование.

Сторонники ядерного оружия пытаются убедить людей в том, что современные ядерные средства ведения войны не представляют будто бы для мирного населения опасности. В этой пропаганде воедино слиты отъявленная ложь, цинизм и издевательство над здравым смыслом. Все это не могут не видеть все честные, разумно мыслящие люди, и не этим ли объясняется, в частности, тот размах общественных движений против ядерной войны, который мы переживаем ныне.

Мне неоднократно приходится участвовать в различного рода общественных мероприятиях, связанных с исследованием тех опасностей, которые несет наличие ядерного оружия. Не так давно, например, в Италии, в окрестностях Вероны, в Международной школе Пагуошского движения ученых проходили занятия, посвященные рассмотрению проблем, связанных с гонкой ядерных вооружений и опасностями ядерной войны. Состоялась 32-я Пагуошская конференция в Варшаве, посвященная 25-летию Пагуошского движения.

Напомню историю этого движения.

Более четверти века назад на весь мир прозвучал мощный, волнующий призыв выдающихся ученых нашего времени, обращенный ко всему человечеству. Этот призыв ныне известен как манифест Рассела — Эйнштейна. «Мы должны научиться мыслить по-новому, мы должны научиться спрашивать себя не о том, какие шаги надо предпринять для достижения военной победы того лагеря, к которому мы принадлежим, ибо таких шагов больше не существует; мы должны задать себе другой вопрос: какие шаги можно предпринять для предупреждения вооруженной борьбы, исход которой будет катастрофическим для всех ее участников... Перед нами лежит путь непрерывного прогресса, счастья, знания и мудрости. Изберем ли мы вместо этого уничтожение только потому что не можем забыть наших ссор? Мы обращаемся ко всем как люди к людям: помните о том, что вы принадлежите к роду человеческому, и забудьте обо всем остальном. Если вы сможете сделать это, перед вами открыт путь в новый рай; если вы этого не сделаете, перед вами опасность всеобщей гибели».

Этот манифест положил начало Пагуошскому движению. Крупный американский промышленник, разумно мыслящий человек, стоявший на позиции сотрудничества и взаимопонимания между представителями различных мировоззрений и социальных систем, Сайрус Итон не только поддержал идею созыва международной конференции ученых, но и взял на себя все расходы по ее организации. Первая конференция и была создана в родовом имении С. Итона — в Пагуоше (Канада) в июле 1957 года.

На первой Пагуошской конференции присутствовали 22 ученых из 10 стран, в том числе от Советского Союза были трое — академики Д. В. Скобельцын и А. В. Топчиев и профессор А. М. Кузин. Я принимаю участие в Пагуошском движении с шестой конференции, проходившей в Москве в 1960 году.

Пагуошское движение ученых способствовало и глубокому исследованию международных проблем, и взаимопониманию между народами, и созданию мирового общественного мнения о катастрофической опасности гонки вооружений и ядерной войны.

В последние годы об этой опасности написано значительное количество статей, брошюр, книг. В одной из них, книге Джонатана Шелла «Судьба Земли», недавно изданной в Нью-Йорке, можно прочитать: «Количество ядерных бомб в мире растет и к настоящему времени достигло 50 тысяч, что в пересчете на химическую взрывчатку (тринитротолуол) составляет примерно 20 миллиардов тонн и в 1 600 тысяч раз превышает мощность бомбы, сброшенной США на город Хиросима в Японии... Эти бомбы были созданы как оружие, но их значение значительно превосходит понятие «война» и все ее мотивы и последствия... Они угрожают уничтожить человека... Они ведут к созданию той бездны, в которую может рухнуть весь мир... Угроза самоуничтожения и уничтожения планеты не является чем-то, что мы хотим поставить на обсуждение когда-то в будущем, — ныне это висит над головами всех нас. Машина разрушения завершена, сбалансирована, ждет, когда «кнопка» будет нажата кем-то, неправильно понявшим сигнал, или психически ненормальным человеческим существом, или неисправным компьютером, пославшим указание открыть огонь».

За время, прошедшее с появления ядерного оружия и уничтожения им японских городов Хиросима и Нагасаки, были созданы самые разнообразные его типы различной мощности, проведены многочисленные испытания и накоплен огромный материал, позволяющий оценить все виды опасностей, которые это оружие несет не только людям, но вообще всему животному и растительному миру нашей планеты. Оно одновременно и убивает, и сжигает, и отравляет, и заражает почву, водные источники и воздух действующими в течение длительного времени, чрезвычайно опасными для всего живого радиоактивными веществами — продуктами ядерного взрыва.

Предела мощности ядерных бомб не существует — имеется практическая возможность создавать бомбы любой мощности.

Бомба, взорванная над Хиросимой на высоте примерно 550 метров, содержала мощность, эквивалентную мощности 20 тысяч тонн обычного химического взрывчатого вещества (например, тринитротолуола). Диаметр огненного шара достигал 17 метров, температура — 300 тысяч градусов. В результате атомной бомбардировки погибло свыше 240 тысяч жителей и пострадало 163 тысячи человек (в момент бомбардировки население города составляло около 400 тысяч). Доктор Хишин, служивший в хиросимском госпитале, пишет: «Когда я через два дня после взрыва смог выйти из госпиталя, то впервые понял, как велик объем разрушений. Хиросима превратилась в пустыню. Не осталось даже следов зданий за очень малым исключением. Слово «разрушение» просто не передавало действительной картины». Как пишут авторы книги «Хиросима» А. Иойрыш и И. Морохов, «когда стихли раскаты ядерного взрыва и догорели пожары, неизвестная болезнь, которую вначале приняли за дизентерию, начала косить тысячи людей — и переживших взрыв, и приехавших позже, чтобы помочь пострадавшим. Радиоактивная пыль, поднявшаяся при взрыве, опустилась и отравила все вокруг. Почва, остатки зданий, даже тела людей стали радиоактивными... Число жертв атомной бомбардировки росло с каждым днем. Лучевой болезнью в тяжелой форме заболели все находившиеся в радиусе 500 метров от эпицентра взрыва и многие из тех, кто был несколько дальше (до 1 километра). Больные метались в горячке, пытались бежать, потом лежали апатичные, слабые, безразличные ко всему. У многих была рвота, у всех поднялась температура (через день-два она доходила до 39—40

градусов), пульс участился до 120—150 ударов в минуту, снизилось кровяное давление, появилась одышка. Начались кровотечения... На бледной и отечной коже появились кровоизлияния, а затем и язвы. Выпали волосы. Резко изменился состав крови. Большинство из них погибли через день-два после взрыва... В 1947—1948 гг. специалисты считали, что люди, оставшиеся в живых после взрыва, выздоровели. Но еще через 2—3 года стало ясно — выздоровление это кажущееся. Резко увеличилось число заболеваний лейкемией (рак крови).

Со времени трагедии Хиросимы и Нагасаки прошло уже более трех с половиной десятилетий. За это время быстрыми темпами происходило дальнейшее совершенствование ядерного оружия, накопление его запасов, разрабатывались методы его использования. значительно возросло количество типов такого оружия.

Что же ожидает человечество, если возникнет война с его применением? На этот вопрос отвечают, в частности, специалисты — эксперты стран — членов ООН (Англии, Индии, СССР, США, Японии, Канады, Мексики, Нигерии, Норвегии, Польши, Франции, Швеции), принимавшие участие в подготовке доклада «Последствия возможного применения ядерного оружия, а также последствия приобретения и дальнейшего развития ядерного оружия для безопасности и экономики государств».

Решение о необходимости выработки такого документа было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году. Около года трудились над ним эксперты-консультанты и 6 октября 1967 года вручили его У Тану, бывшему тогда Генеральным секретарем ООН. В числе экспертов был и я. Мы собирались в Женеве, Нью-Йорке, Варшаве и обычно работали в течение недели над привезенными отдельными учеными материалами, результатами научных исследований и расчетов, внимательно изучали их и затем разрезжались и проводили новые расчеты, собирали новые материалы. Участник экспертной группы профессор Токийского университета Такаси Мукайбо, например, привез из Японии значительное количество документов-фотографий, заключений врачей, опросов больных и очевидцев взрывов атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

При подготовке доклада эксперты встретились с большими трудностями. Нам хотелось наиболее точно и убедительно охарактеризовать возможные последствия ядерной войны и вместе с тем изложить свои оценки в наиболее доступной для понимания неспециалистами форме. Некоторые вопросы вызвали у нас длительные дискуссии, прежде чем нам удалось выработать приемлемый для всех текст.

При вручении У Тану доклада я пошутил:

— Вручаем вам труд двенадцати апостолов.

Генеральный секретарь в тон мне осведомился:

— А Иуда был среди вас?

— Благодарение богу, не проявил себя.

Оба мы рассмеялись.

В предисловии к докладу Генеральный секретарь ООН У Тан писал: «Эксперты-консультанты подходили к выполнению своей задачи в духе соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи, и мне доставляет большое удовлетворение то, что в результате сотрудничества и взаимопонимания они смогли составить единодушно принятый доклад. Особенно ценным является то, что, стремясь к достижению единогласия, эксперты-консультанты не уходили от обсуждения острых и даже спорных вопросов. Это особенно важно потому, что ценность доклада определяется его четкостью и объективностью освещения данной проблемы. Я с удовлетворением могу подписаться под их выводами. Хочу также выразить им самую искреннюю признательность за неоценимую помощь в выполнении важной и трудной задачи... Я надеюсь, что настоящий доклад и вызванные им прения в Генеральной Ассамблее не только позволят глубже и яснее понять последствия гонки ядерных вооружений, но также будут способствовать изысканию способов для ее прекращения».

Вот некоторые выводы, сделанные в нашем докладе — в той его части, где речь шла о разрушительном действии современных ядерных бомб.

В одном из исследований экспертной группы ООН был взят для примера условный город площадью около 250 квадратных километров и с населением более миллиона человек. Было сделано допущение, что на него сброшена одна мегатонная ядерная бомба, взорвавшаяся в центральной части города.

«С учетом опыта Хиросимы и Нагасаки, а также результатов тщательно проведенных экспериментов и расчетов было установлено, что город понес бы следующие потери: в результате взрывов и пожаров погибло бы 270 тысяч человек и поражено радиоактивным облучением еще 90 тысяч, а количество раненых составило бы также 90 тысяч человек. Масштабы разрушений были бы настолько велики, что для их оценки невозможно использовать никакое сравнение... В результате взрыва только одной мегатонной бомбы вся жизнь большого города была бы полностью парализована. Город с территорией около 250 кв. км. и населением в 1 миллион человек практически был бы уничтожен всего одним взрывом мегатонной бомбы...

При взрыве бомбы мощностью 10 мегатонн над подобным, предполагаемым, городом район полного или серьезного разрушения был бы равен примерно 300—500 кв. км., то есть площади, превышающей весь город. Более того, действие взрыва и непосредственного излучения заметно распространилось бы за пределы его границ, причем пожары в лесах наблюдались бы на расстоянии до 20 км. от эпицентра взрыва. Половина всего населения района в радиусе около 25 км. была бы смертельно поражена уже в течение первых нескольких дней в результате радиоактивного загрязнения. При взрыве 20-мегатонной бомбы тепловое излучение было бы настолько интенсивным, что начались бы пожары на расстоянии до 30 км. от эпицентра взрыва и возникла бы угроза жизни для людей, находившихся в районе радиусом около 60 км.

Взрыв бомбы мощностью 20 мегатонн привел бы к образованию на поверхности земли кратера глубиной 75—90 метров и диаметром 800 метров».

Экспертной группой было также проведено исследование вероятных результатов ядерных нападений на промышленный район, включающий 9 городов каждый с населением до 50 тысяч человек, и 140 небольших населенных пунктов с таким же общим количеством населения. Исследования показывают, что взрыв бомбы мощностью в мегатонну привел бы к уничтожению 20 процентов всего населения и к разрушению 30 процентов домов.

В другом исследовании были рассмотрены результаты ядерного нападения на небольшую страну с территорией в 500 тысяч квадратных километров и плотностью 100 человек на квадратный километр. При взрыве на территории этой страны четырех ядерных бомб мощностью 20 мегатонн в результате взрыва, излучения и радиоактивного загрязнения было бы поражено около 20 процентов всей территории страны.

Были рассмотрены также последствия взрыва 20-мегатонной бомбы над Гамбургом и 15-мегатонной бомбы над Лондоном. Зона смерти, разрушений и радиоактивного заражения охватит в этих случаях огромные площади. При взрыве 20-мегатонной бомбы над Гамбургом эта зона превысит треть территории ФРГ — от Гамбурга почти до границы с Австрией и будет включать Ганновер и ряд других городов. При взрыве над Лондоном 15-мегатонной бомбы эта зона распространится вплоть до Парижа, включая и Париж.

Появление ядерного оружия в корне изменило положение не только ближайших соседей участвующих в войне стран, но даже тех из них, которые, не имея с ними общих границ, связаны с районом военных действий такими связями, которые не могли ранее рассматриваться как опасные для государств. Речь идет о воздушных потоках, проходящих из страны, ведущей войну, в страны, в ней не участвующие.

В случаях даже локальной ядерной войны многие страны, и прежде всего ближайшие соседи воюющих стран, ощущат на себе разрушительные действия ядерных взрывов и их пагубные последствия. Возможный ущерб соседним странам будет определяться не только радиоактивным заражением территории, но и другими факторами. Пограничные районы соседних государств могут пострадать и от прямого действия ударной волны ядерного взрыва. Заранее рассчитать, какой район будет поражен действием ударной волны, трудно, а подчас и невозможно. В практике испытаний ядерного оружия были случаи, когда взрывные и отраженные волны сливались, значительно усиливая эффект и приводя к разрушениям там, где вовсе не рассчитывали обнаружить действие ударной волны.

Для Европы с высокой плотностью населения и близким размещением друг к другу городов и населенных пунктов ущерб, нанесенный ядерной бомбардировкой, будет особо пагубным. Соседние страны, а также страны, находящиеся в других частях земного шара, удаленные от зоны непосредственного конфликта, также не избежат

опасности заражения радиоактивными осадками, выпадающими далеко от места взрыва.

В большей или меньшей степени наследственный генетический ущерб будет нанесен всему населению земного шара. Экспериментально установлено, что ионизирующее излучение может вызвать изменение наследственного материала у растений, животных и людей. Генетики признают, что подавляющее большинство встречающихся генетических изменений вредны. Они могут вызвать серьезные последствия как для отдельных людей, так и для общества в целом — когда они приводят к таким поражениям, как умственная отсталость или серьезная физическая деградация.

Совокупная ядерная мощь оружия, которым нынче владеют ядерные страны, во много раз превышает ту, которая достаточна для уничтожения всего человечества и превращения Земли в мертвое космическое тело. В случае всеобщей ядерной войны поверхность планеты стала бы представлять собой оплавленную шлакообразную массу, на которой ничто не сможет произрастать, погибнет весь животный и растительный мир, испарятся и исчезнут моря, озера и реки. Может быть, только редкие отдельные руины величественных творений человечества смогут напомнить о том, что когда-то здесь, на этой оплавленной, отравленной радиоактивностью почве, была цивилизация.

4

В годы второй мировой войны и особенно в последние годы возросла роль военно-промышленного комплекса США. Владение ядерным оружием заметно усилило эту роль и в невероятно высокой степени развило честолюбивые замыслы недалёковидных и авантюристически настроенных руководящих деятелей этой страны, их претензии на руководство послевоенным миром. Об этих претензиях широко и открыто объявил еще президент США Г. Трумэн в декабре 1945 года.

Руководство миром США намеревались осуществить, опираясь на силу и прежде всего на мощь ядерного оружия. Завороженные эффектом атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, они не могли, да и не были способны видеть те кардинальные перемены, которые произошли и в нарастающем темпе продолжают происходить в нашем быстро меняющемся мире. Появление ядерного оружия у Советского Союза и ликвидация американской монополии на его обладание поставили в тупик даже наиболее оголтелых сторонников решать международные проблемы только силой оружия, а не путем переговоров.

Но процесс дальнейшего совершенствования ядерного оружия и накопления его запасов продолжается, усложняя решение международных проблем и увеличивая опасность развязывания ядерной войны. Растут военные расходы, трудности в невоенных отраслях промышленного производства, сложности в социальной жизни всех капиталистических стран. Преуспевают лишь производство вооружений и связанные с ним отрасли.

Одна из последних военных концепций, связанная с ведением «ограниченной» и «продолжительной» ядерной войны, была изложена бывшим президентом США Дж. Картером в его директиве № 59. Эта директива убедительно показала, что американские ястребы имеют в виду начать «ограниченную» ядерную войну, рассчитанную на длительное время. Уместно заметить, что концепция «ограниченной» ядерной войны для США не является новой. Ее еще в начале 60-х годов высказывал отец американской водородной бомбы Эдвард Теллер: «Можно вести ограниченную войну, которая не выйдет за определенные рамки ограничений. Тотальная война никогда не будет представлять для нас какого-либо интереса, и нам не следует ее начинать... Если же тотальная война вспыхнет в условиях ограниченной ядерной войны, то мы к ней будем подготовлены лучше, чем в мирное время». Он советовал США начать как можно скорее «ограниченную» ядерную войну и продолжать ее «в течение неограниченного периода времени».

Через двадцать лет эти рекомендации Э. Теллера стали директивой президента Соединенных Штатов. Где же США собираются развязать «ограниченную», но «длительную» ядерную войну? Наиболее подходящим местом для этого считают Европу. Военно-промышленный комплекс получит огромные барыши еще до начала новой вой-

ны и тем более после того, как она начнется. Ведь по замыслу Пентагона европейцы должны воевать американским оружием. Это оружие размещается заблаговременно, еще в мирное время на базах США, расположенных в европейских странах. Разрушения в результате военных действий с использованием ядерного оружия согласно этой доктрине будут иметь место вдали от США и никак не должны затронуть американскую территорию.

Советский Союз, вынужденный в целях обеспечения своей безопасности держать на должном уровне свою оборонную мощь, неизменно призывал США и их союзников прекратить гонку вооружений и приступить к реальному разоружению и сокращению военных расходов. Советский Союз и другие социалистические страны выступали инициаторами всех международных соглашений по вопросам разоружения, подписанных в последний период. Все это хорошо известно мировой общественности. Опасность, нависшая над миром, военная угроза подняли на борьбу за мир огромные массы людей всех стран, представителей различных рас и наций, идеологий и мировоззрений. История еще не знала таких широких общественных движений в защиту мира, которые свойственны современному периоду.

Надежды американских руководящих деятелей на то, что США смогут добиться ядерного превосходства над Советским Союзом или, по крайней мере, достигнуть каких-то отдельных преимуществ, неизменно терпят крах. Советская экономика, наука и техника в настоящее время находятся на таком высоком уровне, что наша страна в состоянии в кратчайший срок создать любые новые виды оружия, на использование которых хотели бы делать ставку враги мира. Советский Союз никогда никому не позволял и не позволит разговаривать с собой на языке угроз и шантажа.

Важнейшим условием эффективности борьбы против ядерной угрозы является сплоченность людей всей планеты — люди Земли должны объединиться в борьбе против планов ядерного уничтожения, разрабатываемых Пентагоном.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

АНДРЕЙ НИКИТИН



ИСПЫТАНИЕ «СЛОВОМ...»

От редакции. В ноябре прошлого года на XXII сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже было принято решение, в котором говорилось: Генеральная конференция,

«исходя из того, что в 1985 году исполняется 800 лет создания одного из величайших поэтических произведений Древней Руси — «Слова о полку Игореве», признавая непреходящее значение этого произведения в становлении русской и славянской литератур...

отмечая большую роль заложенных в этом произведении идей мира и гуманизма в формировании мировой духовной культуры,

учитывая широкую международную известность этого литературного памятника и то влияние, которое он наряду с другими величайшими произведениями древних литератур продолжает оказывать на мировой литературный процесс,

призывает научную и культурную общественность государств — членов ЮНЕСКО широко отметить эту знаменательную годовщину в истории мировой литературы».

Предлагаемая читателям работа Андрея Никитина, историка и писателя, «Испытание „Словом...“» создана на основе изучения большого исторического и литературоведческого материала. В то же время автор, рассказывая о своем прочтении древнерусской поэмы, выдвигает ряд новых предположений, по-своему истолковывает некоторые темные места «Слова...». Наверное, не все в работе А. Никитина покажется бесспорным...

Академик Д. С. Лихачев, рассказывая в «Литературной газете» о своем отношении к работе сибирского поэта Геннадия Карпунина над «Словом...», писал: «Я безусловно высказался за издание этой работы... хотя в ней содержались и спорные суждения, а по отдельным вопросам автор (даже не филолог по образованию!) прямо полемизировал со мной. Но спор в науке — явление нормальное и необходимое, и тут не должно быть места «чинам и званиям.».

Публикуя работу А. Никитина, мы хотим еще раз напомнить читателям о непреходящем значении «Слова о полку Игореве» — одного из самых прекрасных произведений мировой литературы.

1

Скандал разразился сразу же после выхода книги, и в течение полугода до меня доносились его отдаленные раскаты. Впрочем, причины для этого были, и достаточно веские. А поскольку и сам я не оставался в стороне, меня не удивило, когда в один из серых и мокрых дней марта в коридоре института я увидел стремительно идущего навстречу академика с предгрозовыми интонациями в первых же словах:

— А мы с вами, оказывается, разошлись во мнениях!

В голосе звучали одновременно раздражение, досада, даже упрек, хотя до сих пор не знаю, почему у нас должно было быть одинаковое мнение. Кстати, именно тогда я мог думать, что наши мнения сошлись. Разница заключалась только в способах их выражения.

Все это в течение двух-трех последующих минут мне пришлось пояснять взволнованному академику, наблюдая, как постепенно проясняется его нахмуренное лицо, и в довершение я не упустил возможности заметить:

— И все-таки на вашем месте я бы так писать не стал. Уж очень резко, право слово, нехорошо! Полностью разделяю ваше удивление, сам не принимаю то, что утверждает автор по части русской истории, но зачем же так-то его пинать?

— Да, да,— академик уже успокаивался,— согласен, можно было сдержанней. Но он вывел меня из себя! Что касается Востока, то тут у меня претензий нет: он востоковед, пусть судят его ориенталисты. И с ландшафтами интересно. Но зачем он берется за «Слово...»? Он говорит о событиях в Галиче, перепутав все, и не на год-другой, а на шестнадцать лет! Он же не знает ни русской истории, ни летописей! А его утверждение, что до 1241 года никакой опасности для Руси от степняков не было? А четыре предшествующих года, за время которых татаро-монголы обратили всю Русь за исключением Новгорода в развалины, когда погибла вся наша культура?! Это какое-то чудовищное недомыслие...

Академик снова начинал волноваться, но я постарался увести разговор в сторону от этой темы, потому что в тот день меня занимало его мнение о предметах более интересных, чем книга, вышедшая полгода назад.

Впрочем, она стоила внимания. Автора ее, Л. Н. Гумилева, я встречал раза два на научных сессиях Эрмитажа, знал, что он ориенталист, занимался немного археологией, но интересы наши не пересекались. Вероятно, и эта книга — «Поиски вымышленного царства», — жанр которой автор предисловия определил как «научный трактат», прошла бы мимо меня, если бы не слова в подзаголовке: «Легенда о „государстве пресвитера Иоанна“».

Средневековая легенда об этом таинственном царстве, существовавшем где-то на Востоке, оказалась удивительно долговечной. «Письмо пресвитера Иоанна», адресованное византийскому императору Мануилу Комнину, а позднее переведенное для папы Александра III и для императора Фридриха Барбароссы, питало чаяния одинаково Ватикана и крестоносцев. Легенда о пресвитере Иоанне и святом Граале вдохновляла храмовников и розенкрейцеров, жила в кругах масонов и подвигла Р. Вагнера на создание «Парсифаля». Легенда передавалась из уст на уста на протяжении столетий. Она меняла окраску, фабулу, но зерно оставалось и пускало новые и новые ростки.

Разгадка оказалась проще, чем можно было ожидать.

К тому времени, когда средневековую Европу всколыхнуло известие о восточных христианах в «государстве» пресвитера Иоанна, даже церковные историки успели забыть о судьбе двух крупных ересей, осужденных на Вселенских соборах, — несторианстве и манихействе. В 431 году на соборе в Эфесе анафеме было предано учение константинопольского патриарха Нестора, который сам был жестоким гонителем всех ересей и сект. Он считал, что богородица была всего лишь «человекородицей», поскольку Христос был отнюдь не воплощением бога, а человеком. Когда гонения на несториан в Византии усилились, они бежали на восток, вплоть до Китая, распространив свое учение среди кочевых тюркских племен.

Книга Л. Н. Гумилева возвращала к не до конца разгаданной тайне. Но трактат оказался ярче, шире, важнее и названия и подзаголовка. Понятен был восторг читателей — так свежи были страницы, рассказывающие о зарождении и образовании империи монголов, их отношениях с окружающими народами, о кодексе чести степных народов, о дисциплине их войска, непревзойденном порядке их империи, служившей образцом справедливости, о той великой миссии, которую несли монгольские орды в своем движении на запад, чтобы помочь русским княжествам выстоять в борьбе с Литвой и Орденом... Стоп! Здесь было уже что-то не так.

Все казалось хорошо, пока автор из восточных степей, для меня оставшихся «землей незнаемой», не шагнул на Русь. Как археолог я не единожды пережил угольные слои пожаров, оставленные монгольским нашествием в наших городах, — слои угля, золы, обгорелых костей жителей города и его защитников. В каменных заплатах городских стен и соборов глаз различал следы руин, оставленных таранами Батия и его военачальников. А сколько раз еще после этого их жгли золотоордынские и крымские ханы! И может быть, с особенной остротой я ощущал невозможность утраты той древней, рукописной удивительной литературы, которая вопреки Воланду все же почти полностью исчезла в огне этих пожаров...

Пожаров — «во благо»?

С подобным утверждением я согласиться не мог. Ни с постулатами, которые окзывались выводами, ни с истолкованием фактов. И уж конечно я не мог согласиться с объяснениями Гумилева «Слова о полку Игореве».

Здесь все было поставлено с ног на голову, начиная от постулата, что «любое литературное произведение... адресовано к читателям, которых оно должно в чем-то убедить», и вплоть до утверждения, что под каждым князем XII века, названным в тексте «Слова...», подразумевался совсем другой князь, живший в середине XIII века. Что за маскарад? Дальше — больше. Оказалось, что враждебность потомков Владимира Мономаха к потомкам Олега Святославича и к нему самому объясняется тем, что Олег... уклонился в несторианство, а потому стал врагом богородицы, покровительницы русской земли. Способствовал ему в этом Боян, по словам Гумилева — монгольский шаман, посланник Олега на Кавказ и Тянь-Шань, где жили несториане. Знаменитые «хиновская стрелка» оказывались стрелами, захваченными монголами в чжурчженских арсеналах. Половцы же вообще не имели к сюжету отношения: это монголы, против которых автор призывал объединиться русских князей. Однако главный выпад «Слова...», по мнению Л. Н. Гумилева, содержался не против монголов, а против несториан в их войске. Вот почему после побега из плена Игорь едет к «Богородице Пирогощей» для того, чтобы показать свое неприятие ереси. По Л. Н. Гумилеву, «Слово о полку Игореве» оказывалось не героической поэмой, а политическим памфлетом.

Получалось, что не только вся история домонгольской Руси, междоусобицы, войны с половцами, ляхами, болгарями, печенегами, но и отношения с монголами объясняются не более чем спорами о тонкостях вероисповедных вопросов! Интересно? Нет, пожалуй, неинтересно... Яркая, сочная книга, при чтении которой перехватывало дыхание от ожидания горизонтов, которые вот-вот откроются перед тобой, вдруг стала вянуть на глазах, пожухла, посерела...

Система доказательств оказывалась несостоятельной, потому что системы-то как раз и не было. Невольно на память приходил печальный опыт шлиссельбуржца Н. А. Морозова, посвятившего многие годы жизни стремлению доказать, что античности как таковой не существовало, а выдумали ее ученые в средние века.

В рецензии я решил ограничиться сожалением, что раздел, посвященный русской истории, получился у Гумилева... тут я сделал небольшое усилие над собой — значительно слабее, чем другие.

Теперь-то я знаю, что ошибся. Заговаривая с палеогеографами и востоковедами о книге «Поиски вымышленного царства», я неизменно попадал впросак. Каждый из собеседников не скупился на похвалы смелости мысли и эрудиции Гумилева, но... только в том, что касалось не его области науки! Относительно же своей он бывал беспощаден в оценках, потому что вымыслы, как оказывалось, соседствовали с ошибками, факты не соответствовали действительности, а выводы получались столь же невероятны, как и толкование «Слова о полку Игореве».

И все же, даже выяснив точки зрения, мы восхищались этой книгой. Секрет заключался в том, что она была больше явлением искусства, чем науки. С дерзостью и изяществом, не побоявшись яда насмешек и справедливых нареканий, автор словно бы раздёрнул священные завесы, скрывавшие тайное тайных, показав, какой должна быть история — не канцелярски-академической, доступной лишь облаченным в научные звания авторам, а понятной и близкой каждому. Он смог показать в ней восторг научного исследования, трагедии и фарсы прошедших времен, кипение страстей и судьбы давно умерших людей, которые, оказывается, могут волновать нас так же, как беды и радости наших близких. Вот истинная удача для писателя!

А разве сам я не попал под обаяние этой книги? Что ж, царство оказалось вымышленным, но поиски и все, что с ними связано, были самыми что ни на есть подлинными, как те переживания, которые испытывал каждый из нас, следуя за автором. Прислушиваясь к толкам, пересудам, восторженным откликам и прямо к брани в адрес нового «несторианца», как я про себя окрестил Л. Н. Гумилева, соглашаясь с обличавшими его специалистами, я размышлял над его словами о творчестве, истории, времени и пространстве, которые он щедрой рукой рассыпал по страницам книги, и чувствовал, как во мне растет и копошится незнакомый раньше червячок интереса к древнерусской поэме. Да что же представляет собой это «Слово о полку Игореве», о котором можно так по-разному писать и говорить? Откуда такие споры, такие страсти? Как может ученый — востоковед, историк, наконец, археолог — так неожиданно толковать классиче-

ский текст, вот уже более полутора лет изучаемый не только в академической науке, но и в школах?..

И наступил день, когда, подойдя к полке, я снял давно стоявший на ней томик «Слова о полку Игореве».

Предчувствовал ли я, что меня ждет, когда пробежал глазами первые строчки: «Не лепо ли ны бяшет, братие, начяти старыми словесы трудных повестий о пълку Игореве...»?¹ Древние греки были мудры, утверждая, что боги даровали смертным два блага — способность забывать и неведение будущего. О боги, боги! Они всегда заняты только собой, положившись на то, что ни один человек не избежит назначенной ему судьбы.

«Слово о полку Игореве» в тот раз я читал, по существу, впервые. Не потому только, что я его забыл. Всплывали в памяти отдельные фразы, строчки, образы; слова вызывали картины боя, затмения, совещания киевских бояр; причитала на стенах Путивля Ярославна, бежал из плена князь Игорь... Память не помогала, наоборот, вызывала раздражение и недоумение: «Слово о полку Игореве» оказалось совсем не таким, каким я его представлял! Мы проходили его в школе по переводам, отрывки которых заучивали наизусть. Они были понятны и не вызывали вопросов. Теперь же я читал именно оригинал, по фотокопии, без последующих конъектур, правок, перестановок, в той абсолютной исторической наготе, которая предстает перед читателем во всех своих ошибках, темных местах, бессмыслице словосочетаний и непоследовательности повествования.

Что такое «старые» словеса и «трудные» повести? Повесть это все же или песнь? При чем здесь «замышление Бояна», если Боян никакого отношения к походу Игоря не имел? «Мысль» или «мысь» — белка — растекается по древу? К каким «братиям» обращается автор? Каким образом Игорь свои полки наводит «за землю Руськую»? Почему перед походом он оказывается перед выбором: попасть в плен или быть убитым? Что такое «мысленно древо»? Какие «галици стады» бегут к Дону? Откуда здесь «земля Трояна»? Глава военного предприятия Игорь, но почему-то сражается один Всеволод. И почему именно Всеволод толкает Игоря на выступление, говоря, что его «куряне» уже готовы? Кто такие «див» и «тьмутороканский болван»? Откуда в степи море? Какие «уши» закладывает Владимир в Чернигове? Почему на одной и той же речке Каяле происходит бой Игоря с половцами и что-то делает Святополк? Какие полки заворачивает Игорь, когда его «стязи» уже пали?..

Дальше я не стал записывать возникавшие у меня вопросы, потому что окончательно перестал понимать текст. Иногда слова складывались в относительно ясные — грамматически ясные — фразы, но ускользал реальный их смысл. Были и просто непонятные куски текста. Проявляющийся кое-где ритм так же внезапно обрывался, как и возникал. В другом месте он оказывался иным. Порой мне казалось, что передо мной ритмизованная проза, но потом она превращалась в нагромождение фраз, плохо связанных между собою смыслом. Мешала и явственная двуязычность: древний текст, хранивший все признаки благородной патины прошедших столетий, сменялся современной русской речью без каких-либо признаков старины. Право, тут можно было потерять голову!

Сейчас я вижу, что путь мой к «Слову...» начался много раньше. Он вел меня через библиотеки, проводил по залам и запасникам музеев, где лежали вещи, освобожденные из земляного плена или дошедшие до нас через тысячи человеческих рук: браслеты, ожерелья, изъеденные ржавчиной мечи, височные кольца, гребни, монеты — все то разнообразие житейского обихода, которое помогает понять и почувствовать эпоху. Негнущиеся пергаменные листы, лоснящиеся от череды прокатившихся по ним веков, с буквами, полусмытыми бесчисленными взглядами читателей, несли в себе странные запахи давно погибших времен, отпечатки пальцев, которые их листали...

Были и другие странствия — по просторам русской земли, когда я пытался сопоставить зримые остатки прошлого с озарением некогда живых — и еще живущих — историков, филологов, искусствоведов. Иногда этот путь продолжался бессонными ночами у письменного стола, отмечая те праздничные моменты бытия, когда мысль наконец связывала несвязуемое, а в лепившихся друг к другу строчках, казалось, вырисовывается ключ к заветной тайне.

¹ Здесь и далее тексты древнерусских памятников даются в облегченной транскрипции.

Бесслесными спутниками в этих странствиях были летописи. Они хранили на своих страницах то краткие, то пространные рассказы неведомых припоминателей и очевидцев о событиях настолько далекого прошлого, что действительная его отдаленность как-то не воспринималась сознанием. У каждого из них был свой взгляд на мир, на жизнь, своя судьба, свой характер, своя интонация, свои пристрастия и антипатии. «Беспристрастный летописец» был создан лишь игрой воображения великого поэта. Да и существовали ли на самом деле эти профессионалы, хроникеры своей эпохи, о которых мы рассуждаем с такой уверенностью, приписывая им сиюминутную тенденциозность и прочие неблагоприятные поступки, вызванные заботой о хлебе насущном? Тенденциозность определял заказчик. Одно дело, если список предназначался для сугубо личного пользования человека книжного, грамотного и любознательного. И совсем иной подход к летописи требовался от ее редактора и сводчика, если заказчиком был владетельный человек, скажем князь или митрополит. В таком случае текст летописи становился собранием исторических документов и прецедентов, позволявших ему в спорных случаях отстаивать свои династические, территориальные или юридические притязания. Тут заказчики могли давать прямые указания переписчикам, направляя перо и руку, переменяя имена, опуская компрометирующие сведения, умалчивая о правах противников, внося нужные им изменения в описание событий прошлого. Единое повествование разрывали вставки. Эпизоды одного и того же события разносились под разные годы, даты оказывались произвольными, события противоречили друг другу...

На широких полотнах русской истории, которую раскрывали передо мной летописцы во множестве сцен, иногда дополнявших, иногда противоречащих друг другу, неудачный поход новгород-северского князя оказывается незначительным эпизодом, заслужившим от современников не похвалу, а порицание. Причины были достаточно веские, летописцы их не скрывали. Не высокие идеи защиты русской земли от половцев двигали Игорем и Всеволодом, а желание ухватить побольше добычи, упредив объединенное выступление русских князей. Подростки, женщины и дети половцев — вот за чем отправлялись в степь «молодые князья», уверенные в безнаказанности своего набега: их княжества не подвергались нападению степняков, а остальные силы половцев должны были быть в тот момент далеко на юге.

Менялся масштаб, менялась точка зрения, иным оказывался конечный результат. Вместо самоотверженности и патриотизма на первое место выступала алчность мелких князьков, обуянных завистью к старшим, тщеславием и жадной легкой поживы. Все это рисовало Игоря отнюдь не с лучшей стороны. Как показал академик Б. А. Рыбаков, в результате грабительского набега Игоря вся тяжесть ответного удара половцев должна была упасть на южнорусские княжества. Вина князя усугублялась и тем, что он напал на союзных ему половцев. Можно только удивляться, почему после грабежа и забав с «красными девками половецкими» взятые в плен князя и остатки их дружин не были порублены разъяренными половецкими на куски.

Но это была не главная загадка.

Загадка, на которую так или иначе обращали внимание исследователи «Слова о полку Игореве», заключалась в несоответствии историко-поэтической системы поэмы с той действительностью XII века, которую изучают нам русские летописцы. Автор «Слова...» в ряде случаев решительно расходился с летописцами в оценке действующих лиц, в передаче взаимоотношений князей, даже в реальной географии южнорусских земель, что было уж совсем необъяснимо.

Мысль металась в поисках выхода из всех противоречий. Выписки из летописей, словарей, научных работ перемежались в блокнотах тех лет с попытками исправить текст новыми, порой фантастическими его прочтениями, от которых приходилось тут же отказываться. Наверное, так мучились и другие исследователи этого удивительного памятника. Он вызывал одновременно восхищение — и раздражение, потрясал внутренней поэтичностью своих образов — и повергал в недоумение явно бессмысленным сочетанием букв... Это было похоже на решение уравнения со множеством неизвестных.

«Для «Слова...» характерно чередование ритмизованных, действительно поэтических кусков с прозаическим пересказом, глоссами, сокращениями, — писал я в тетради. — То же самое мы находим в песнях «Старшей деды». Может быть, это указывает на сложную, так сказать, устно-письменную историю памятника, где пересказы забытых строф чередовались с цитированием?»

Через несколько месяцев: «Любопытно сказочно-былинное построение сна Святослава: князь как будто задает боярам загадки, а те их отгадывают... правда, ничуть не меньшими загадками! Но вот на что стоит обратить внимание: и в сне, и в его толковании какое-то важное место занимает море. Откуда оно здесь? Откуда море вообще в «Слове...»? Дойти до моря — только похвальба князей. А тут и по летописи получается, что часть Игорева войска «в море истопоша». Чудеса, да и только!»

Еще одна запись: «Вот уже не первый год копаюсь в «Слове...»... И с внутренним трепетом начинаю смотреть на огромную работу, которая еще предстоит, чтобы разобраться во всех тушиках, лестницах, комнатах, переходах и закоулках того крупнейшего, сложнейшего здания, что возвели за два почти века исследователи «Слова...»! Начинать было просто. Вначале была дерзость, ирония, задор и досада на разноречивость аргументов, которыми манипулировали разные авторы. Прозрение собственного невежества — так я могу назвать это теперь. В чем заключается главный вопрос «Слова...», его тайна, над отгадками которой бьется столько людей?»

Скептическое отношение к «Слову о полку Игореве», возникшее с первых же дней его выхода из печати, — ко времени его написания, к древности сгоревшей в пожаре 1812 года рукописи, к самому А. И. Мусину-Пушкину и его сотрудникам по изданию «Слова...», к появлению рукописи «Слова...» в библиотеке обер-прокурора святейшего синода — оказалось столь же живучим, как и интерес к нему. Скептиками были не досужие острословы, а действительные знатоки древностей, ревнители отечественной истории. Их сомнения были результатом изучения текста, сравнения его с летописными известиями, со всем комплексом современного им знания о прошлом.

В этом смысле разницы между скептиками и их противниками не было. Те и другие задавали вопросы и пытались на эти вопросы найти ответ. И те и другие часто ошибались — и когда находили мнимые ошибки в «Слове...» (а кто мог гарантировать истину?), и когда выстраивали системы своих доказательств. И все же разница была. Исконный водораздел между скептиками и ортодоксами проходил по зыбкой условной черте — их разделяли не факты, а представления о Древней Руси. Объем знаний о прошлом у них оказывался одинаков, но использовали они его по-разному.

Взгляд, брошенный скептиками в глубины русской истории, тонул в темноте допетровской Руси. Казалось невероятным, что там, за этой темнотой и невежеством, могло лежать что-либо иное, хотя бы в малой степени сопоставимое с великолепным европейским средневековым, предстающим перед нами во всей величественности своих дворцов, замков, городов, живописи, скульптуры и, конечно же, многочисленных памятников литературной и философской мысли. Час открытия Киевской Руси еще не пробил, а драгоценные ее обломки, которые уже понемногу начали выносить из пучин забвения на берег «колумбы российских древностей», легче было объяснить уже известным, заимствованным со стороны, привнесённым откуда-то, чем своим, родным, выстраданным и достигнутым.

Своеобразное двуязычие «Слова...», разностильность его частей, непохожесть на стилистику и образность других памятников древнерусской литературы, фрагментарность повествования, темные места — все это для скептиков представлялось достаточным, чтобы заподозрить «Слово...» в позднем происхождении и, как последний вывод, в подделке.

2

Войти в новую тему — все равно что открыть для себя новый мир. В применении к «Слову о полку Игореве» такое утверждение оказалось вдвойне справедливым. Я открывал для себя не только XII век, в котором происходили события, описанные в «Слове...», и в котором жили его герои, — открывал для себя конец XVIII и начало XIX века, когда жили люди, нашедшие, прочитавшие и впервые истолковавшие этот неповторимый по своеобразию памятник нашей древней литературы.

Впервые «Слово...» было напечатано осенью 1800 года, и в ноябре его экземпляры поступили в продажу. В предисловии к поэме было отмечено, что «подлинная рукопись, по своему почерку весьма древняя, принадлежит издателю, действительному тайному советнику и кавалеру графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину».

Итак, Мусин-Пушкин.

О его жизни мы почти ничего не знаем. Оставшиеся его письма опубликованы только в малой степени. Его собственные записки, записки его друзей и единомышленников, вместе с их архивами и коллекциями хранившиеся в доме Мусина-Пушкина на Разгуляе, разделили судьбу собранных им сокровищ, погибнув в печально знаменитом пожаре 1812 года, хотя сам дом, по всем данным, не горел. Сохранилась лишь краткая, им самим под конец жизни составленная справка, как бы «статейный список» происхождения службы, уместившийся на восьмьюшке листа.

Баловень судьбы, любимец фортуны? Вне не — похоже. Он был записан в службу с тринадцати лет и к двадцати семи годам был уже генерал-адъютантом у знаменитого Г. Г. Орлова, возглавившего переворот 1762 года, основателя Вольного экономического общества, в свое время много сделавшего для облегчения жизни крестьян в России и для славы русского оружия на театрах военных действий. Пробыв три года в заграничных поездках, Мусин-Пушкин к тридцати годам вернулся в Россию и, как тогда говорили, «был взят ко двору».

При дворе Екатерины II Мусин-Пушкин не был в больших чинах, не занимал высоких постов, не примыкал ни к одной из придворных партий, сохраняя по возможности нейтралитет и независимость. Его интересовали искусства и науки, он никому не перебежал дорогу, а потому и не нажил врагов среди честолюбцев, сохранив репутацию человека, не боящегося отстаивать справедливость. Именно таким рисует его в своих записках Г. Р. Державин, как можно понять, друживший с Мусиным-Пушкиным. Оценку эту подтверждает и тот факт, что даже при Павле I, который с особой неприязнью относился к Орловым и ко всем, кто был с ними связан, Мусин-Пушкин не попал в немилость. Он удалился от дел уже в конце царствования Павла, получив перед отставкой графский титул, чин действительного статского советника и звание сенатора. Через два года после пожалования, пятидесяти пяти лет от роду, он навсегда переехал в Москву, чтобы полностью отдаться собирательству и изучению русских древностей.

По его словам, подлинный перелом в его жизни произошел в 1791 году, когда уже молодым человеком, увлекшись русской историей, он приобрел у петербургского книгопродавца В. С. Сопикова множество старинных бумаг и документов, оставшихся после известного историка первой половины XVIII века П. Н. Крекшина. Покупка, по всей видимости, была сделана не без содействия друзей, «любителей отечественной истории», как будут они называть себя в дальнейшем, — генерал-майора И. Н. Болтина, «искуснейшего в русской истории среди русских», по характеристике А. Шлецера, и И. П. Елагина, удивительно многостороннего и талантливого человека, одного из первых славянофилов, неизменно пользовавшегося уважением и симпатией Екатерины II.

1791 год, таким образом, можно считать поворотной вехой в изучении русской истории. Сошлись вместе не только ее любители и ревнители — сошлись обстоятельства, благоприятствовавшие обращению на нее внимания общества. Уже были изданы летописи и многие исторические документы, выходила многотомная «История Российская» М. М. Щербатова, появились два объемистых тома И. Н. Болтина с его критикой изложения русской истории Леклерком. Историей России и ее защитой от нападок иностранцев, тогдашних скептиков, занималась сама императрица. В довершение ко всему в том же году Мусин-Пушкин был назначен обер-прокурором святейшего синода, а в августе последовал указ, требующий присылать в синод из монастырских книгохранилищ летописи, рукописные книги и сборники, касающиеся русской истории. Трем друзьям была предоставлена возможность знакомиться с рукописями, читать их, слышать, выписывать из них и — издавать!

Результаты не замедлили сказаться. В следующем 1792 году из печати вышла «Правда русская» — первый критически изданный текст; в 1793 году — «Духовная великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха», найденная в единственном, да и то дефектном списке в составе пергаменной Лаврентьевской летописи, теперь обычно называемая «Поучением». В 1794 году А. И. Мусин-Пушкин — Болтин и Елагин к этому времени скончались — издал свое сочинение «Историческое исследование о местоположении древнего российского Тмутараканского княжения», а в 1797 году повторил первое издание «Правды русской». И наконец, 1800 год, открывавший новое столетие, новую эпоху, был ознаменован появлением печатного издания «Слова о полку Игореве», которое вызвало не только поэтический, но и патриотический восторг всего русского общества.

Сейчас нам трудно представить, насколько злободневным было открытие в самом конце XVIII века «Песни Игоревых воинов», как тогда называли «Слово...». О нем

говорили в литературных салонах, рассуждали в научных заседаниях. Друг за другом выходили «подражания Бояну», который вдохновлял поэтов и художников на прославление русского оружия. Россия, как явственно виделось каждому, стояла тогда на пороге схватки с Наполеоном. Поражение русских войск при Аустерлице отвечало призыву «Слова...» встать «за землю Руськую», а последовавшее вскоре нашествие «двунадесяти языков», потрясшее до основания Россию, вызвало исключительный по силе и единодушию патриотический подъем во всех слоях тогдашнего общества.

Позднее, пережив глубочайшие потрясения 1812 и 1813 годов, потеряв все свое собрание коллекций, рукописей и документов, когда несчастья и невзгоды окончательно сломали и без того старого человека (ему было уже под семьдесят), граф А. И. Мусин-Пушкин, отвечая на настойчивые вопросы молодого историка К. Ф. Калайдовича о рукописи «Слова...», писал в письме от 31 декабря 1813 года: «До обращения Спасо-Ярославского монастыря в архиерейский дом управлял оным архимандрит Иоиль, муж с просвещением и любитель словесности; по уничтожении штата остался он в том монастыре... до смерти своей. В последние годы находился он в недостатке, а по тому случаю комиссионер мой купил у него все русские книги, в числе коих в одной, под № 323, под названием Хронограф, в конце найдено Слово о полку Игореве». Рукопись эта «писана на лощеной бумаге, в конце летописи, довольно чистым письмом. По почерку письма и по бумаге должно отнести оную переписку к концу XIV или к началу XV века... Во время службы моей в С.-Петербурге несколько лет занимался я разбором и переложением оной песни на нынешний язык, которая в подлиннике хотя довольно ясным характером была писана, но разобрать ее было весьма трудно, потому что не было ни правописания, ни строчных знаков, ни разделения слов, в числе коих множество находилось неизвестных и вышедших из употребления; прежде всего должно было ее разделить на периоды и потом добираться до смысла, что крайне затрудняло...».

В этом письме много любопытного. Впервые здесь упомянуто имя бывшего владельца «Хронографа» со «Словом о полку Игореве» Иоиля (в миру Ивана) Быковского. Тогда оно никого не заинтересовало. Монастырь был упразднен в июле 1787 года, а скончался Иоиль в августе 1797 года, так что времени для покупки было достаточно. Пристальное внимание к личности Иоиля Быковского возникнет только в начале 60-х годов нашего века, когда исследователи «Слова...» станут горячо обсуждать, сам ли Иоиль выкрал «Хронограф» из библиотеки Спасо-Ярославского монастыря или его понудил к этому Мусин-Пушкин; купил ли Мусин-Пушкин рукописную книгу у Иоиля или, пользуясь своей властью как обер-прокурор святейшего синода, «заимствовал» ее из монастырской библиотеки, а после смерти Иоиля в ответе Калайдовичу как бы ввалил вину на него; действительно ли была эта книга у Иоиля... Скептики, наоборот, станут спорить, кто написал «Слово...»: Иоиль Быковский, который передал Мусину-Пушкину рукопись, а последний только дополнил ее вставками, или «Слово...» написано кем-либо из друзей Мусина-Пушкина.

Нет, не был Алексей Иванович Мусин-Пушкин баловнем судьбы! Жизнь посмеялась над его надеждами, в мгновение ока разрушив — не благополучие, нет — все то, ради чего он жил последнюю четверть века.

Огромное наследие древней российской словесности, последние остатки его, чудом собранные комиссионерами графа на всем пространстве Российской империи, в самых глухих ее уголках, свезенные в Москву, готовые раскрыть свои тайны историкам, были обращены в пепел и дым. Владелец не успел осуществить свое намерение — передать эти бесценные сокровища в Государственный архив. Страшно было сознание, что он сам, собрав в свой московский дом эти редкости, своими руками подготовил их гибель. Но и это не было главным ударом для старого графа. Меньше чем через полгода после разорения московского дома в сражении при Люнебурге был смертельно ранен его любимый сын, ушедший на войну вместе с ярославским ополчением. Все надежды сходились у графа на его среднего сына. Перед самой войной с французами Александр Алексеевич Мусин-Пушкин был принят действительным членом в Общество истории и древностей российских. Казалось, на горизонте российской исторической науки восходит новая звезда, для света которой и создавался этот бесценный архив: сын должен был стать продолжателем дела отца.

Со смертью сына для Мусина-Пушкина жизнь потеряла интерес и цену. Листая выписки протоколов Общества, видишь, что после 1812 года граф уже ни разу не

появился на его заседаниях. Умер он в Москве 1 февраля 1817 года и погребен в ярославском имении Иломна, над которым теперь ходят волны Рыбинского моря...

1812 год, а еще в большей степени 1814-й, всколыхнувший весь мир победами русского оружия, вызвал острый и жадный интерес к родной истории. Русские войска прошли почти всю Европу. Русский император перекраивал ее карту. История делалась сейчас, сию минуту, и каждый образованный россиянин чувствовал свою к ней причастность. Гибель множества частных библиотек и архивов, государственных хранилищ заставила броситься на поиски сокровищ, еще оставшихся в монастырских и церковных библиотеках, в архиерейских домах, консисториях и семинариях. Уже в 1813 году в пергаменном псковском Апостоле, переписанном в 1307 году писцом Диомидом и хранившемся в московской синодальной библиотеке, К. Ф. Калайдович обнаружил следующую приписку: «При сих князех сеяшется и растяше усобицами, гыняше жизнь наша в князех которы, и вецы скоротишася человеком». Она сразу же вызвала в памяти соответствующее место текста «Слова...»: «Тогда при Олзе Гориславличи сеяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Дажь-божа внука; в княжих крамолах веци человеком скратишась».

Открытие приписки к Апостолу 1307 года вызвало в ученых кругах бурю восторга. Как же! То было безусловное свидетельство существования «Слова...» в самом начале XIV века и его, по-видимому, достаточно широкого распространения между читающей публикой.

Второе открытие произошло на следующий год. Профессор Р. Ф. Тимковский обнаружил сочинение, которое наконец-то можно было поставить в один ряд со «Словом...», — «Песнь о победе Дмитрия Донского над Мамаем». Сейчас трудно сказать, что за текст был в руках Тимковского. Калайдович писал в своем дневнике, что эта песнь во многих своих местах так похожа на «Слово о полку Игореве», что вряд ли можно сомневаться в подражании древнему памятнику. Все в этом новом памятнике древней словесности находило соответствие в «Слове...», только вместо куряна тут оказывались суздальцы, вместо Ярославны в златоверхом тереме над Москвою-рекою плакала жена князя Дмитрия Ивановича, горюя о разлуке с мужем. И далее исследователь замечал: «Встречаются выражения: «и трубы трубят звонко с поволокою» и многие слова — «харалужный», «стязи», «галицы», «лисицы», как и в песни Игоревой. В сей же книге помещена с арабского переведенная сказка: «Синагрип царь Адоров Иналивския страны», как и в песни Игоревой».

Что нашел Тимковский? Мы не знаем. Весь его архив погиб, а опубликовать свою находку он собирался вместе с полным истолкованием «Слова о полку Игореве». Но само его открытие послужило толчком еще к одному.

«Сказание о Мамаевом побоище» было известно историкам и раньше, но только теперь, после находки «Песни о победе Дмитрия Донского над Мамаем», было замечено, что отдельные места «Сказания...» тоже напоминают соответствующий текст в «Слове о полку Игореве». Значение находки было понято лишь через сорок лет, в 1852 году, когда в собрании В. М. Ундольского известный палеограф и филолог И. И. Срезневский обнаружил «Задонщину» — поэтическое произведение, повествующее о Куликовской битве и созданное не просто в подражание «Слову...», но прямо по его образцу и плану, включая целые заимствованные абзацы и выражения, более или менее приспособленные для нового сюжета.

«Задонщина» оказалась таким же недостающим звеном в поэтическом влиянии «Слова...» на позднейшие памятники, как находка черепа неандертальца или питекантропа в эволюционном ряду человека. Теперь все встало на место. Отголоски «Слова о полку Игореве», которые слышались читателям «Сказания о Мамаевом побоище», возникли не в результате прямого воздействия «Слова...» на «Сказание...», а опосредствованно, через «Задонщину», в которой можно найти почти прямые цитаты из «Слова...» вроде: «князь великий Дмитрий Иванович и брат его князь Володимир Андреевич поостриша сердце свои мужеству», «кони ржут на Москве, бубны бьют на Коломне, трубы трубят в Серпухове, звенит слава по всей земли Руськой, чудно стязи стоять у Дона великаго», «сторожевые полкы на щите рожены, под трубами поють, под шеломи възлелеаны, конец копия вскормлены, с востраго меча поены», «сядемь, брате, на свои борзи комони, испиемь, брате, шеломомь своимь воды быстрого Дону».

Примеры напоминали соответствующие места текста «Слова...»: «иже истягну умь крепостию своею и поостри сердца своего мужеством», «комони ржут за Су-

лою, звенить слава в Киеве; трубы трубят в Новеграде, стоять стязи в Путивле!», «сведоми кьмети, под трубами повити, под шеломы възледеяни, конец копия въскръмлени», «а всядем, братие, на свои бръзья комони, да позрим синего Дону». Соответствий было много. Но вот что удивляет и сейчас: «Сказание...» известно в десятках списков, повторяющих друг друга, тогда как «Задонщина» — только в шести и каждый отличается от другого не только объемом, но и переработкой соответствующих мест «Слова...». Почему? Разве у них были разные авторы? Или автор каждый раз записывал свое произведение по-новому и перед нами остатки шести вариантов?

И это не все. Загадка текста «Задонщины» не легче загадок «Слова...». Вот, например. Неведомый автор «Слова...» начинал свое произведение с упоминания Бояна, своего предшественника, который пел «старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю предъ пьлки касожьскими, красному Романови Святъславличю. Боян... своя веща прьсты на живая струны възкладаше; они же сами княземъ славу рокотаху». Здесь все понятно: древний певец, перечень князей, умелые пальцы. Автор «Задонщины» переделал Бояна «Слова...» в «вещаннаго боярина, горазна гудца в Киеве», который «воскладаша горазная своя персты на живыя струны». Но вот пел он, если верить «Задонщине», совсем не тем князьям: «...первому князю Киевскому Игорю Бяриковичю (по другим вариантам — Игорю Рюриковичю, Рурику), и великому князю Владимиру Всеславьевичю (по другим вариантам — Владимиру Святославичю, Святославу Ярославичю) Киевскому, и великому князю Ярославу Володимировичю».

Как возник этот перечень князей? Откуда он попал в «Задонщину», если его не было в «Слове...»? А может быть, в другом каком-то списке «Слова...» был именно этот перечень? И тот список, что мы знаем по изданию 1800 года, кем-то в свою очередь правлен? Именно так считает, например, Н. И. Гаген-Торн.

Другой вопрос, сразу же вставший перед исследователями «Задонщины», — вопрос о ее авторе — в свою очередь возбудил интерес и попытки определить автора «Слова...». Если «Сказание о Мамаевом побоище» считалось творением рязанского архиерея Софония, жившего в конце XV века, то «Задонщина» и здесь внесла свои поправки. В заголовках двух ее списков прямо указывалось, что сочинение это принадлежит «Софонию старцу рязанцу» или же просто «Сафону резанцу», а не «иерею Софонию». Так исправлялось имя и подтверждалось рязанское происхождение автора.

Однако был ли Софоний автором «Задонщины»? В трех из пяти списков этого произведения автор почему-то заявлял, что он в противоположность Бояну (или продолжая его традицию) помянет... этого самого «резанца Софония»! Зачем? Утверждая преемственность? Тогда получалось, что Софоний написал совсем не «Задонщину», а какое-то другое произведение, вероятнее всего то, которому «Задонщина» подражает, — «Слово о полку Игореве»! Может быть, автор «Задонщины» имел в своем распоряжении какой-то более полный текст «Слова...», чем тот, что был издан в 1800 году, и там сохранилось имя его автора — рязанца Софония?

Ситуация еще больше усложнилась, когда один из исследователей древнерусской литературы, В. Ф. Ржига, попытался собрать все имеющиеся сведения о Софонии. Готовя к изданию тексты «Задонщины», «Сказания о Мамаевом побоище» и летописной повести о битве на Дону, ученый отметил любопытную деталь. Великий князь рязанский Олег Иванович, наделенный летописцем самыми бранными эпитетами, именуемый постоянно изменником за сношения с Мамаем и великим князем литовским Ольгердом, обо всех этих переговорах и подготовке Мамайя к походу извещает... московского князя Дмитрия Ивановича Донского! Больше того, он прямо указывает, где именно стоят татары и куда они пойдут далее. Известие это передает кто-то, прибывший от Олега. Но кого мог послать Олег с известием, которое могло стоить ему не только княжества, но и головы?

Ответ В. Ф. Ржига обнаружил в единственном списке Тверской летописи. Под 6888 (1380) годом значилось следующее: «А се писание Софония рязанца... на похвалу великому князю Дмитрию Ивановичю и брату его Володимеру Андреевичю. Ведомо ли вам, руским государям, царь Мамай пришел из Заволжия, стал на рече на Воронеже, а всем своим улусом не велел хлеба пахать, а ведомо мое таково, что хочет ити на Русь, и вы бы, государи, послали его пообыскать, тут ли он стоит, где его мне поведали».

Вывод мог быть только один. Рязанец Софоний не был автором ни «Задонщины», ни, конечно же, «Слова о полку Игореве». Упоминание имени Софония в «За-

донские» было данью признательности автора и всего русского народа за своевременную весть и, главное, конечно же, за его мужество. Тем более что Ржига установил и положение вестника при дворе Олега Ивановича. В грамоте 1372 года, выданной Олегом рязанским за восемь лет до Куликовской битвы известному Ольгову монастырю, сохранился перечень рязанских бояр, подтверждающих юридический акт своего князя. Первым, на самом почетном месте, был назван Софоний Алтыкулачевич, по видимому тот самый доверенный человек великого князя рязанского, который в известной мере предопределил исход трагического столкновения Орды и Москвы возле «Дона великого»...

Открытие приписки к псковскому Апостолу 1307 года и «Задонщины» со всеми ее списками и отголосками в тексте «Сказания о Мамаевом побоище» показало наглядно, что «Слово о полку Игореве» не просто существовало в русской письменности задолго до своего опубликования на рубеже XVIII—XIX веков; оно существовало, как можно думать, в разных редакциях, или, как говорили в старину, изводах, оказывало влияние на литературный процесс, прямо или косвенно цитировалось. Были найдены и другие памятники древней письменности, своим слогом, образностью, ритмикой, древностью составившие достойное окружение «Слову...», — «Моление Даниила Заточника», «Повесть об убиении Андрея Боголюбского», «Слово о князьях», «Слово о гибели Русской земли», некоторые апокрифы, в которых, как, например, в «Слове Адама во аде к Лазарю» или в «Слове о правде и неправде», происходящем из сборника Кирилло-Белозерского монастыря, можно видеть стилистические обороты, схожие с языком древней поэмы.

Теперь уже нельзя было вслед за А. С. Пушкиным сказать, что «за нами темная степь, и на ней возвышается единственный памятник: «Песнь о полку Игореве»...». Открытия следовали за открытиями, и в 1883 году Е. В. Барсов, подводя итоги изучения «Слова...», мог с достоинством отметить, что «теперь никому и в голову не приходит заподозреть в нем (то есть в «Слове...»). — А. Н.) новейшую подделку или же позднейшую компиляцию из старинных преданий. Изучение его стремится или к тому, чтобы восстановить текст рукописного оригинала, напечатанного в первом издании, в его палеографической точности, исправить испорченные места и восстановить истинный смысл их, или же к тому, чтобы понять его в частях и целом в связи с эпохой западновизантийской образованности XII века».

3

Впрочем, так ли уж серьезны были сомнения в подлинности «Слова о полку Игореве»? Знакомясь с литературой о «Слове...», вникая в полемику по поводу истолкования того или иного выражения, прочтения отдельных слов и темных мест, можно заметить, что серьезной оппозиции, отрицающей древность, или, как стали потом говорить, подлинность, «Слова...», на первых порах не было. Познакомившись с текстом поэмы, А. Шлецер признал его безусловную древность. Е. Болховитинов возражал всего лишь против отнесения сочинения к XII веку, считая, что поэма о походе Игоря была написана в конце XIV или в XV веке, — мнение, до сих пор разделяемое некоторыми учеными.

Первые голоса скептиков раздались, когда подлинник рукописи исчез в огне пожара и сравнивать печатный текст оказалось не с чем. Но сгорел ли он?

Уже в наше время П. Н. Берков, крупнейший знаток культуры и литературы XVIII века, обратил внимание на рассказ о гибели коллекции А. И. Мусина-Пушкина, сообщенный княгиней С. В. Мещерской. Она родилась в январе 1822 года, так что быть свидетельницей нашествия французов в 1812 году не могла. Но она была внучкой А. И. Мусина-Пушкина, дочерью князя В. П. Оболенского и княгини Е. А. Оболенской, урожденной Музиной-Пушкиной, и обстоятельства гибели коллекции деда были ей известны чуть ли не со слов очевидцев.

По ее словам, летом 1812 года, когда вторжение наполеоновской армии стало уже возможным, А. И. Мусин-Пушкин, уезжая в ярославское имение, из предосторожности убрал самые ценные рукописи в подвальные кладовые и замуровал в них вход. Позднее, когда неприятель подошел к Москве, граф послал подводы, чтобы все вывезти в деревню. Сняты и отправлены в деревню были все картины, серебро, статуи, но до замурованных кладовых не решились дотронуться. В деревню выехала почти вся дворян: для охраны дома осталось лишь несколько семей.

Обширный и прекрасный дом, стоявший за Земляным валом, был сразу занят французами. Скоро они сумели подружиться с оставшимися дворовыми людьми, охотно принявшими участие в попойках. Как-то, по словам этих людей, французы стали хвастать своим оружием, утверждая, что ни у кого такого больше нет. Но тут у слуг выиграл патриотизм: «Ружья? Какие это ружья! Вот у нашего графа ружья!» «Где же они?» «А вот тут, за стеной!..» Стена была разобрана, коллекции растащены, а остальное, как говорит семейное предание, погибло в огне... Но дом-то ведь не горел!

Интересно и другое. По словам княгини С. В. Мещерской, некоторые рукописи, в том числе подлинное «Слово о полку Игореве» и часть Несторовой летописи, были спасены от гибели тем, что находились в то время у историографа Карамзина. Какая часть Несторовой летописи? Пергаменная Лаврентьевская? Но ее Мусин-Пушкин успел подарить императору Александру I, а тот передал летопись как национальное достояние в Публичную библиотеку. Другая летопись? О ней мы ничего не знаем. Во всяком случае, у Карамзина ничего уцелеть не могло. Его собственная библиотека полностью сгорела, а сам он в письме И. И. Дмитриеву уподоблял себя знаменитому Камозэнсу — он уходил из Москвы пешком, унося на плечах черновые рукописи «Истории государства Российского».

«Ошибка ли это памяти или семейная традиция, сказать трудно,— писал П. Н. Берков.— Во всяком случае, забыть эту версию о спасении «Слова» едва ли следует».

Здесь стоит подчеркнуть другое: если предание справедливо, рукопись «Слова...» могла не погибнуть. Ведь не случайно же время от времени объявлялись очевидцы, державшие какую-то рукопись «Слова...» в руках,— то в Петрозаводске перед революцией и в первые годы после нее, то в Астрахани, где какой-то мужик продавал оптом воз старых книг, на котором сверху лежала рукопись «Слова...». У очевидца не хватило денег, и весь этот воз купил какой-то казах... То вдруг, слышал я сам, где-то в Грубчевске, Брянске или Курске объявлялся древний список «Слова...»: потом оказывалось, что за этим списком надо ехать в Калугу или в Рязань, но окончательного адреса, конечно же, никто не знал.

А. И. Мусин-Пушкин — и Карамзин. То там, то здесь всплывало сочетание имен, утверждавшее тесную связь, чуть ли не дружбу между этими людьми, так разнствующими легами, положением в свете, сходящимися разве что на своей любви к отечеству и к отечественной истории. Но были ли они дружны? И так ли уж много почерпнул Карамзин в библиотеке графа? Не очередная ли это легенда? Иначе как объяснить раздражение, которое порой сквозит в примечаниях историографа по отношению к издательской деятельности графа? Почему он оставался в стороне во время споров скептиков о рукописи? Почему даже самая смерть графа и память о нем не возбудили в Карамзине желания поделиться воспоминаниями, сказать несколько прочувствованных слов? А ведь на отзывах и свидетельствах Карамзина до сих пор утверждают мнения о характере действий, знаниях и даже принципах издания древних документов А. И. Мусина-Пушкина!

Карамзин пользовался многими библиотеками, в том числе, возможно, и библиотекой А. И. Мусина-Пушкина. Во всяком случае, он держал в руках рукопись «Слова о полку Игореве» и в примечаниях к первому тому своей «Истории...» привел выписки, расходящиеся с печатным текстом. Расхождения могли свидетельствовать о недобросовестности издателей и обращали мысль на возможное существование других ошибок. Больше того, воспользовавшись пергаменным списком «Правды русской», как сам он пишет, из библиотеки Мусина-Пушкина, Карамзин показал несоответствие подлинника печатному тексту, изданному А. И. Мусиным-Пушкиным совместно с И. Н. Болтиным в 1792 году, хотя в предисловии издатели обязывались напечатать текст «буква в букву».

Здесь была какая-то тайна. Но в чем она состояла?

Считается, что первые томики «Истории...» Карамзина с обличающими примечаниями вышли в 1816 году, еще при жизни графа. Он их должен был видеть, вероятно, Карамзин послал их Мусину-Пушкину одному из первых. И что же ответил тот? Как отреагировал? Никак. Судя по всему, промолчал. Точно так же как не ответил больше Калайдовичу.

«А что он мог сказать?» — так будут комментировать эту ситуацию через сто с лишним лет скептики, ссылаясь на авторитет Карамзина.

Таков был один из первых психологических аргументов, убеждавший скептиков

пока только в неисправном издании «Слова...». Другим аргументом, утверждающим его «подложность», стало сравнение «Слова...» с поэмами Оссиана, а главное — с найденными в первой четверти XIX века в Чехии Краледворской и Зеленогорской рукописями.

Открытие этих рукописей произвело фурор во всем европейском научном мире. Но скоро возникло подозрение, а потом и уверенность, что это подлог, совершенный из патриотических побуждений молодым чешским филологом В. Ганкой. Правда, хотя большинство историков считают чешские рукописи подделкой, в самой Чехословакии кое-кто еще отстаивает их безусловную подлинность. Позднее были разоблачены поэмы Оссиана, оказавшиеся великолепной стилизацией самого Макферсона на основе подлинных остатков кельтского эпоса. Причина подделок оказывалась одной — патриотизм. Если же вспомнить, что именно тема патриотизма, тема защиты русской земли пронизывает все «Слова...», можно было и прислушаться, пожалуй, к голосам скептиков, призывавших к осторожности...

Одним из первых усомнился в древности «Слова...» профессор Московского университета М. Т. Каченовский, которого называют главой скептиков, вкладывая в такое определение некий бранный отгенок и прибавляя, что в этом отношении он был «примерным учеником А. Шлегера». Между тем не кто иной, как А. Шлегер сделал чрезвычайно много для основания научного подхода к русской истории. Теперь, когда мы знаем, как много поддельных документов было внесено прошедшими веками в официальные архивы монастырей, сколь баснословны начала множества генеалогий, на какие дробные части распадаются наши древнейшие летописи, нам не покажется бессмысленной деятельность представителей критической школы, считавших необходимой критику исторических фактов путем сопоставления их друг с другом и с «общими законами исторического развития».

Сейчас скептицизм Каченовского в отношении древности «Правды русской», договора Олега с греками, «Поучения» Владимира Мономаха, сочинений Кирилла Туровского и «Слова о полку Игореве» может показаться гиперкритицизмом. Но это сейчас, спустя полтора столетия с лишним лет, когда историческая наука в целом и историческая критика в частности прошли гигантский путь, на который подвинул их в значительной мере скептицизм начала XIX века. Стоит напомнить, что сам М. Т. Каченовский был блестящим знатоком древних и новых языков. Он читал лекции по теории изящных искусств и археологии, по истории, статистике и географии Российского государства, русской словесности и всеобщей истории, по истории и литературе славянских наречий. А кроме этого, почти четверть века издавал один из самых популярных русских журналов — «Вестник Европы».

Критики, скептики, все, кто поднимал вопрос о времени написания «Слова о полку Игореве», его составе, смысле, взаимоотношениях с другими памятниками отечественной истории и литературы, кто выражал свое сомнение в его подлинности, в конечном счете оказывались той драгоценной закваской, на которой, как тесто в квашне, поднималась и развивалась наука. Они принесли порой пользы гораздо больше, чем самые восторженные, самые благонамеренные переводы и сочинения. Почему? Да потому, что каждое такое выступление не могло остаться без ответа. А для аргументированного ответа требовались поиски новых фактов, новое рассмотрение уже имеющегося материала, поиски доказательств и соображений, которые могли явиться только в результате нового прочтения текста памятника, привлечения нового круга свидетельств, новых открытий в области славяно-русской археологии, палеографии, искусства, литературоведения, фольклора... и так до бесконечности.

Сомнения всегда были одной из движущих пружин науки, залогом ее развития. Но «кто умножает познания, умножает скорбь», написано в Екклесиасте. Новые открытия, накопленный опыт, качественно иной подход к памятникам древней письменности, заставили скептиков и ортодоксов словно бы поменяться местами. Теперь критикой «Слова...» занялись специалисты, не сомневающиеся в его подлинности. Непонятные места, «спайки», нарушающие логический ход мысли, неожиданные, достаточно странные отступления в прошлое, не связанные с настоящим, уже не раз вызвали желание исследователей и переводчиков внести исправления в текст «Слова...». Е. В. Барсов писал с негодованием, что одни «видят в нем пропуски, допущенные неразумными переписчиками, другие усматривают вставки, внесенные неискренними глоссаторами; иные, наконец, замечают перестановки разных мест, появившиеся от переписчиков, переплетчиков, путавших листы, и т. п. Одни из современных ученых..

считает дошедший до нас список лишь копией будто бы черновой рукописи автора, вмещавшей в себе сбор написанных мыслей, но необработанных, с разными приписками на полях, поправками, помарками...».

Этим «современным ученым» был крупнейший филолог второй половины XIX века А. А. Потебня. Следует признать, однако, что он произвел над текстом «Слова...» грандиозную вивисекцию. Читая его исследование, можно видеть, как разумные мысли уживались с явной фантазией. «Слово...» составлялось заново, как детская мозаика. Неудивительно, что при подобном вторжении в древний текст «Слово...» становилось стройнее, понятнее, в нем исчезала внутренняя противоречивость. Вот почему, несмотря на неодобрительное отношение к подобным новациям, в 1916 году академик А. И. Соболевский предложил узаконить перестановку одного куска текста в самом начале древнерусской поэмы. Отрывок, начинающийся с обращения «Слова...» к Бояну: «О, Бояне, соловию старого времени!..» — и кончающийся словами о курянах, которые скачут в поле, «Ищучи себе чти, а князю славе», он предложил перенести вперед, поставив перед описанием того, как князь Игорь «възре на светлое солнце и виде от него тьмою вся своя воя прикрыты».

Соболевский обосновал такую перестановку не только логикой повествования, но и палеографически. По его подсчетам количество знаков в отрывке было кратным для текста «Слова...» и соответствовало двум страницам древнего списка — одному листку, попавшему при очередной переписке не на свое место. Догадку Соболевского поддержали впоследствии П. Л. Маштаков, В. Н. Перетц и П. В. Булычев. В 1948 году В. П. Адрианова-Перетц подтвердила догадку Соболевского новыми наблюдениями над последовательностью сходных мест в «Слове...» и «Задонщине». Во всех известных списках «Задонщины» за описанием храбрости князя Дмитрия Ивановича, что соответствует в «Слове...» описанию храбрости Игоря («поостри сердца своего мужеством, наплънвився ратнаго духа»), идет обращение к жаворонку (в «Слове...» — к «соловью» Бояну) и описание сборов в поход. Это означало, что автор «Задонщины» имел перед глазами текст «Слова о полку Игореве», в котором последовательность эпизодов была именно такой, какую предложил когда-то Соболевский.

Столь блестящее подтверждение теоретического расчета вызвало попытки других правок текста, предложенных академиком Б. А. Рыбаковым, но встреченных резко отрицательно со стороны литературоведов. Не потому, что они противоречили логике или палеографическим наблюдениям, с этой стороны все было в порядке. Но они, так же как широко утверждавшаяся в 40-х и 50-х годах нашего века фольклоровед, то есть зависимость «Слова...» от устной народной традиции, по мнению филологов, открывали возможность скептикам вновь поставить под сомнение его древность и даже заподозрить в таком же фальсификате, как песни Оссиана и чешские рукописи. Действительно, скептики не заставили себя ждать. На этот раз против «Слова...» и его издателей выступил иностранный член Академии наук СССР известный французский славист профессор Андре Мазон.

4

А. Мазон полагал, что источником «Слова...» послужила «История» В. Н. Татищева, что автора надо искать в кругу друзей и сотрудников А. И. Мусина-Пушкина, что не «Задонщина» подражает «Слову...», а, наоборот, «Слово...» основано на «Задонщине», что приписка к псковскому Апостолу 1307 года — всего лишь общее место, что все это было сделано в угоду «империализму» Екатерины II, а в самом тексте чувствуется язык конца XVIII века не только с галлицизмами, но даже с американизмами... Сомнение французского ученого распространялось на множество мелочей, но как по мелочам, так и по основным вопросам его оппоненты привели достаточно серьезные доводы, рассеивающие сомнения.

В сущности, полемики не было. Был серьезный смотр достижений науки, приуроченный к ответу Мазону, в котором участвовали не только советские, но и зарубежные исследователи. Результатом его было несколько сборников статей, посвященных изучению различных сторон древнего памятника, и обширный филологический, исторический и даже археологический комментарий. С доводами Мазона практически было покончено, во всяком случае так считали все. И вот тогда совершенно неожиданно в поддержку ряда положений французского исследователя выступил крупнейший специалист по истории русского средневековья, великолепный знаток документов, доктор исторических наук А. А. Зимин.

С Зиминым я был знаком и раньше — не только по его трудам, посвященным XVI веку, но и лично, встречая его в коридорах Института истории. За несколько лет до того в Отделении истории Академии наук состоялось обсуждение его концепции «Слова...». Напечатанная на ротапринтере работа подверглась резкой критике. Упоминали ее, как правило, с эпитетами, прилагавшимися в зависимости от характера говорившего то к этой работе, то к самому Зимину, что было, на мой взгляд, несправедливо. В чем заключалась концепция А. А. Зимина, я не знал, а спрашивать у него самого считал неудобным.

Теперь я стоял на распутии. Попытка собственного прочтения «Слова...» не удалась, и я понимал Белинского, сожалевшего, что читать «Слово...» можно только отрывками, потому что многие места в нем искажены писцами до бессмысленности, а другие для нас темны и непонятны. Обращение к работам предшественников открыло мне многое, но жажды не утолило. Чем увереннее я чувствовал себя в мире литературных, философских, исторических и эстетических представлений домонгольской Руси, тем меньше доверия вызывали у меня исправления и перестановки в тексте «Слова...». Между тем и в исправлениях и в перестановках у каждого исследователя была своя логика. Полемика с Мазоном, а потом и с А. А. Зиминим вызвала к жизни фундаментальные труды Б. А. Рыбакова, В. П. Адриановой-Перетц, Д. С. Лихачева, А. Н. Робинсона и многих других ученых, резко двинувших вперед не только «слововедение», но и соответствующие отрасли науки. Я читал их, соглашался с их аргументами, с их системами доказательств, пытающимся сгладить, примирить противоречия, содержащиеся в тексте «Слова...», но видел, что все не так бесспорно, как хотелось бы.

Невольно возникал вопрос: может быть, скептики в чем-то правы? Надо было попытаться встать на их позицию, проникнуться их идеями, чтобы их глазами увидеть текст древнерусского памятника. А для этого нужно было идти к Зимину. И — беречь его раны?

Но все оказалось проще, чем я полагал. Вопреки уверениям «хорошо информированных людей», что напечатано только обсуждение концепции, к моменту нашего разговора опубликованными в разных журналах оказались все основные положения Зимина, а итоговая работа была напечатана в одном из номеров «Вопросов литературы» за 1967 год. Были напечатаны статьи о взаимоотношениях «Слова...» с летописями, о месте приписки к псковскому Апостолу 1307 года и «Слове...», об отношении «Слова...» к «Задонщине» и о самой «Задонщине»; была опубликована реконструкция Зимина протографа «Задонщины» и его статья о связях «Слова...» с фольклором, а также о тюркизмах, встречающихся в древнерусской поэме.

С трепетом неопита я приступил к изучению итоговой работы человека, знания и опыт которого не мог не уважать. Но чем дальше читал, тем больше ощущал чувство досады. То ли здесь было далеко не все сказано, что хотел сказать автор, то ли я чего-то недопонимал. А между тем в разговоре Зимин подтвердил, что статью напечатали «буква в букву», как он дал ее в редакцию.

В основу его гипотезы была положена мысль А. Мазона, что не «Слово...» оказало влияние на «Задонщину», а наоборот, по образцу «Задонщины» было создано «Слово...». Роковую роль при этом сыграло страстное стремление многих исследователей во что бы то ни стало доказать, что «Слово...» народно, стало быть, фольклорно, исполнялось и передавалось от певца к певцу, из уст в уста. Таким был еще недавно «этикет эпохи», хотя уже в 1948 году И. П. Еремин подчеркивал ложность мысли, что только фольклорное народно. В самом деле, при таком допущении вся наша разнообразная и богатая литература оказывалась не народной, а вместе с ней Пушкин, Некрасов, Тургенев, Лев Николаевич Толстой и вплоть до сегодняшнего дня!

Но, повторяю, такова была тогда мода, а с точки зрения моды Краткая редакция «Задонщины» представлялась наиболее фольклорной. Отсюда Зимин делал естественный вывод: Краткая редакция — источник «Сказания о Мамаевом побоище», а «Сказание...» — источник Пространной редакции «Задонщины». Поскольку же устное происхождение «Задонщины» делает невозможным считать «Слово...» ее источником, то, полагал Зимин, автор «Слова о полку Игореве» имел в своем распоряжении «Задонщину» Пространной редакции...

Текстологические доказательства оказывались весьма убедительны. Всех исследователей «Слова...» поражало, что Ярославна, оплакивая плен Игоря, забывает о

сыновьях. Объяснить это пытались тем, что Владимир Игоревич для Ярославны — пасынок. Но такой серьезный историк, как А. В. Соловьев, в одной из своих работ довольно убедительно показал, что Ефросиния (?) Ярославна, дочь Ярослава Владимировича галицкого, была первой и единственной женой Игоря Святославича, так что забвение матерью сына ничем не оправдано. Зимин нашел этому объяснение. По его мнению, образцом для плача Ярославны послужил плач вдов по мужьям в «Задонщине», где отсутствие упоминания сыновей вполне уместно. Здесь присутствовала логика, против которой было трудно что-либо возразить.

Столь же естественно в «Задонщине» звучит обращение Пересвета к князю Дмитрию: «Лутчи бы нам потятым быть, нежели полоненым от поганых татар», что может быть понято как «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Действительно, иного выбора у героев Куликовской битвы не было. Наоборот, подобная дилемма в устах Игоря, которого гнала в степь алчность, а не чувство свободы, вызывает только удивление.

Не менее острыми были наблюдения Зимина над взаимоотношением «Слова...» с ранними списками летописей — Ипатьевской и Кенигсбергской. В Ипатьевской летописи и в «Слове...» совпадает не только вся фактическая основа рассказа, но даже композиция с ее неожиданными переходами от Игоря к Святославу киевскому, затем в Переяславль и наконец снова к Игорю. По наблюдениям Зимина, с Ипатьевской летописью совпадает весь комплекс исторических сведений автора «Слова...». В ней мы находим сказание о Редее и Мстиславе, а упоминание под 1185 годом о шуринах Игоря Владимире Ярославиче галицком объясняет именование Ярославны по одному отчеству, без имени. И плачет она на стенах Путивля только потому, что под 1183 годом летопись сообщает о приезде Владимира галицкого к своему зятю Игорю именно в Путивль.

Зимин доказывал, что автор «Слова...» ничего не знал о действительности XII века, он назвал Святослава Всеволодовича великим и грозным, хотя тот был просто князем киевским, а великим князем был в то время Рюрик Ростиславич. В этом он мог сослаться на Б. А. Рыбакова, указавшего в свое время, что «великий грозный Святослав «Слова о полку Игореве» и соправитель великого князя Рюрика... это как бы два разных человека». И уж совершенно был невозможен, по мнению Зимина, призыв Святослава к беспощадной борьбе с половцами, поскольку сам он всю свою жизнь использовал половецкие войска в междоусобных бранях.

Из Ипатьевской летописи автор «Слова...», по мнению Зимина, почерпнул сведения о Всеславе полоцком, крайне редкий для русских князей титул каган, упомянутый именно в рассказе о событиях 1185 года, и ряд других фактов. Но, может быть, «Слово...» повлияло на летопись? — спрашивал он и сам же уверенно отвечал, что «Слово...» не могло быть источником летописного рассказа, так как в нем начисто отсутствуют места, общие для «Слова...» и «Задонщины», а в Краткой редакции «Задонщины» нет образов и выражений, общих для «Слова...» и Ипатьевской летописи.

Из Кенигсбергской летописи в текст «Слова...» взят мотив страшной жары во время битвы с половцами, детали рассказа о Мстиславе, который «зарезал Редедю», сообщение о «Ярославовых внуках» и о победе Игоря из плена. Самое интересное наблюдение Зимина касалось затмения, вызвавшего, как мы помним, даже перестановку части текста в начале поэмы. Действительно, затмение в «Слове...» упоминалось дважды — перед выходом Игоря в поход (так в Кенигсбергской летописи) и во время похода (так в Ипатьевской). Наличие обоих вариантов в тексте поэмы, по его мнению, особенно ярко доказывает сведение автором воедино двух равноценных версий. Поэтому он считал, что «Слово...» было написано после 1767 года, когда были опубликованы Никоновская и Кенигсбергская летописи, то есть его предполагаемые исторические источники.

Источниками для автора «Слова...», по мнению Зимина, были не только летописцы. Опираясь на сообщение Ф. Буслаева о находке в одном списке «Моления Даниила Заточника» припевы Бояна о «хитре и горазде», в «Повести об Акире» — упоминания «сокола трех мытей», а в Никоновской летописи — разбойника Могуты, откуда якобы появились могуты в «Слове...», он помещает все эти сочинения в рабочую библиотеку автора древнерусской поэмы, добавляя, что самым важным источником «Слова...» является русский, украинский и белорусский фольклор.

Группируя факты и наблюдения, Зимин замыкал читателя в круг своих аргументов и, сужая его, подводил к решению вопроса об авторе «Слова...». Он вспоминал, например, что шерешеры — это метательные копия для стрельбы из самострельных луков владимирских князей (Всеволод владимирский в «Слове...» может «живыми шерешеры стреляти»). «В 1697 году в Успенском Владимирском соборе,— писал Зимин,— были обнаружены пять железных копий... Одно из них отправили в Спасо-Ярославский монастырь, где меньше чем через столетие жил предполагаемый автор „Слова...“. Кто же? Несколько ниже он дает наводящие данные об авторе, так сказать, «сетку координат», по которым его можно вычислить: «Это был человек, начитанный в древнерусской литературе, наделенный несомненным поэтическим талантом. В его языке обнаруживаются следы украинской, белорусской и польской лексики и морфологии, а в произведении чувствуется живой интерес к Полоцку и Чернигову. Судя по хорошему знанию древнеславянского языка и библейских образов, по манере использования книжных источников и дару стилизации, он скорее всего принадлежал к духовенству». По его мнению, это был... Иоиль Быковский, отставной архимандрит Спасо-Ярославского монастыря, о котором упоминал в письме Калайдовичу граф А. И. Мусин-Пушкин!

Пока речь шла о фактических аргументах, с Зиминим можно было соглашаться или спорить. Многие казались неверным, отдельные наблюдения были остроумны и интересны. Наиболее слабой выглядела специальная работа о связи «Слова...» с фольклором: приведенные в ней примеры показались на редкость неубедительными. Совсем иначе выглядела текстологическая работа по «Задонщине». Здесь были интересные наблюдения, которые можно было обсуждать вне зависимости от авторской концепции, достаточно плодотворные мысли. И конечно же, самым любопытным мне представлялся исторический комментарий, поскольку тут выступал профессиональный историк, обладавший достаточным опытом и знаниями предмета. Каждый выделенный им факт приобретал весомость аргумента, хотя некоторые из них, как мне казалось, свидетельствовали против концепции Зимина.

Не удалось ему утвердить свой взгляд и на ориентализмы «Слова...». По мнению историка, большая часть восточных слов, встречающихся в тексте, восходит к турецкому языку или заимствована русским языком в период монгольского ига. Что же до перечня повластных черниговскому князю Ярославу «былей, могутов, татранов, шельбири, топчак, ревугов и ольберов», которые «бес шитовь с засапожники кликом плькы побеждают. звонячя в прадедню славу», то Зимин предлагал их рассматривать как мнимые тюркизмы. Другими словами, видеть в них не названия тюркских племен и родов, а иронические прозвища, вроде «могут» — от разбойника Могуты, отмеченного в рассказе Никоновской летописи под 1008 годом. А. А. Зимин обращал внимание своих читателей и оппонентов на ироничность перечисления этих загадочных персонажей «Слова...». «Ведь оказывается,— писал он,— они только «кликм полкы побеждают», сражаясь одними «засапожники...» — и, ссылаясь на резонное замечание И. А. Новикова, что никак невозможно представить себе городскую знать или бояр, выходящих в бой с засапожными ножами, переводил «ревугы» как крикуны, «шельбиры» — шатуны, бездельники, «топчаки» — бродяги, топтуны, «ольберы» — атаманы, «татраны» — уроженцы Татр. В целом, по его мнению, то был крикливый и разбойный сброд с ножами за голенищами сапог.

Объяснение было хорошо само по себе. Почему не могло быть иронии в отдельных частях «Слова...»? Не тюркизмы? А где доказательство, что это не прозвища, а перечень тюркских племен, нигде больше не упомянутых?

Но вот когда Зимин переходил от истолкования отдельных черточек и фактов к реконструкции творческого процесса автора «Слова...», к реконструкции истории его появления, я отказывался принимать его построения.

Ошибка, на мой взгляд, было несколько, в том числе начальная посылка фольклорности, созданная руками тех, против кого направлял Зимин их же оружие. Нельзя было принять и другое. Литературное, тем более поэтическое произведение никогда не может быть составлено из разновеликих кусочков мозаики, дробной до отдельных слов, которые автору предстоит выискивать в самых различных книгах. Или, привыкнув к анализу текста, к его расчленению на мельчайшие части, Зимин автоматически перенес этот принцип на обратный процесс, забыв, что если разрушать удобнее сверху, то строить приходится обязательно снизу?

Неудачей представлялась и гипотеза об Иоиле. Бедный архимандрит Спасо-Ярославского монастыря, покоившийся в полном забвении и мире более полутора столетий, помянутый с тех пор лишь единожды в письме Мусина-Пушкина Калайдовичу, вдруг оказался никому не известным гением, чье творение мы с благоговением читали и проходили в школе!

По Зимину получалось, что около 1791 года «Слово...» было передано Быковским Мусину-Пушкину, который решил выдать «Песнь Игоревых воинов» за древнерусское сочинение, вставив в текст якобы обнаруженную им приписку к псковскому Апостолу 1307 года, следы которой отсутствуют в «Задонщине», замечание о «чаге» и «кощее», нарушающее ритмику «Слова...», и обращение к «тмутараканскому болвану», который, по мнению Зимина, представлял собой известный тмутараканский камень с надписью князя Глеба 1068 года, найденный в 1792 году на Тамани.

После этого текст был переписан полууставом и включен в сборник, составленный из «Хронографа» редакции 1617 года, «Девгениева деяния», похищенных листов Новгородской Первой летописи и двух статей из сборника с «Задонщиной» — «Повести об Акире» и «Сказания об Индийской земле», представлявшего не что иное, как переработанное на русский лад «послание пресвитера Иоанна». До смерти Иоила Быковского Мусин-Пушкин якобы не решался публиковать это произведение, а в узком кругу показывал только свой перевод «Слова...». Далее по Зимину выходило, что А. И. Мусин-Пушкин сознательно самоустранился при издании «Слова...», чтобы в случае разоблачения мистификации представить все дело как результат заблуждения А. Ф. Малиновского. И в качестве особо веского аргумента напоминал, что в автобиографической записке, перечисляя свои заслуги перед отечественной наукой, граф не считал нужным даже упомянуть ни о находке, ни об издании «Слова...».

Работа не убеждала. Надо было искать другой путь, который, как мне представлялось, должен был начинаться с установления правил, коими руководствовались при публикации древнего текста первые издатели «Слова о полку Игореве».

Зимин был далеко не первым, кто ставил под сомнение точность первого издания «Слова о полку Игореве». Разность в написании отдельных букв и слогов в тексте печатного издания, в копиях, в примечаниях Карамзина к «Истории государства Российского» и в бумагах А. Ф. Малиновского оставяла в неведении: то ли ошибки печатного текста принадлежат издателям, поправлявшим древний памятник, то ли они находились в оригинале рукописи. Великолепная монография Л. А. Дмитриева, специально посвященная истории первого издания «Слова...», оставила в стороне принципы издания текста, на что в первую очередь указывали скептики. Между тем интерес к Мусину-Пушкину требовал ответа и на этот вопрос. Он должен был исходить не из уст причастных к изданию лиц, а из фактического положения дел. При уровне тогдашней науки с точностью могли быть названы вполне сознательные поправки, на взгляд издателей проясняющие и исправляющие огрехи предшествующих переписчиков.

Чтобы быть уверенным в результатах, требовалось сверить какой-либо оригинал и его печатный текст, изданный при участии Мусина-Пушкина. «Слово...» погубило. Но «Слово...» не было первым изданием. В списке печатных трудов графа «Ироическая песнь о походе на половцев...» стоит на пятом месте. До нее были изданы: «Правда русская», «Духовная великаго князя Владимира Всеволодовича Мономаха детям своим», названная в летописи Суздальской «Поученье», «Историческое исследование о местоположении древнего российского Тмутараканского княжения» и «Карта... с описанием границ древней России». Два последних издания для моих целей не годились. Можно было взять для сравнения печатного текста с оригиналом «Духовную...», или, как ее теперь именуют, «Поучение». Но о «Поучении» противники графа почему-то молчали, тогда как «Правда русская» упоминалась ими вместе со «Словом...». И если ее оригинал сохранился, именно с него следовало начинать сравнение.

5

Зимин, к которому я обратился с вопросом, где находится оригинал «Правды русской», изданной в 1792 году И. Н. Болтиным вместе с А. И. Мусиным-Пушкиным, только развел руками. По его словам, это издание являло собой не воспроизведение

какого-либо текста, а было компиляцией из шести списков, о чем можно было прочесть в обстоятельной статье С. Н. Валка, напечатанной в «Археографическом ежегоднике за 1958 год».

И я отправился в библиотеку.

По мере чтения первоначальное чувство растерянности сменялось возмущением. И это считается наукой? Раньше работ Валка мне не приходилось читать, и я мог допустить, что именно здесь автора постигла роковая неудача. Я ничего не мог сказать об изданиях Татищева или Штрубе де Пирмонта; не читал я «Правды русской» ни А. Шлецера, ни С. Я. Румовского. Но издание 1792 года не просто читал, а слышал со списками «Правды...» трехтомного академического издания. Специалистом по этому памятнику древнего русского права я себя не считал, но то, в чем автор пытался уверить меня как читателя, не укладывалось в голове. Нет, никак не укладывалось!

С. Н. Валк не критиковал. С. Н. Валк не сомневался. С. Н. Валк утверждал, что «любители отечественной истории» — А. И. Мусин-Пушкин, тогда еще не граф, член военной коллегии генерал-майор И. Н. Болтин и сенатор, обер-гофмейстер двора, поэт и писатель И. П. Елагин, — обещавшие в предисловии, что древний текст рукописи на пергамене «точно так напечатан, как он в рукописи находился, без всякие перемены, не только в словах, ниже в одной букве», не только обещанного не выполнили, но и вообще распорядились текстом по своему разумению. Они выправляли, дополняли его из других рукописей отдельными словами и статьями, выбрасывали, на их взгляд, лишнее, не делая примечаний и оговорок. Больше того. Вместо древнего пергаменного списка «Правды русской» они издали бумажный Воскресенский, да и то с ошибками! Поскольку же, как утверждал И. П. Елагин, вся научная часть издания 1792 года была осуществлена И. Н. Болтиным — А. И. Мусин-Пушкин только финансировал печатание и предоставил синодальную типографию, — ответственность за точность падала на него.

Показав расхождение текста болтинского издания 1792 года с соответствующим местом текста Воскресенского списка, археограф делал вывод, который я выписал тогда же целиком. «Болтин не только по своему разумению соединяет в одно целое разнородные по своему происхождению части текста, — писал С. Н. Валк, — но и то, что дошло в исправном, казалось бы, виде, подвергает критике с точки зрения своего понимания и соответственно этому правит текст». И дальше: «При таких условиях нельзя удивляться обвинениям Карамзина, что в издании Болтина находятся неистинности, большею частию умышленные, то есть мнимые поправки».

Как это могло произойти? Валк объяснял такой парадокс взглядами И. Н. Болтина на «Правду русскую», общими с Татищевым, и без всякого перехода или обоснования делал вывод: «Мы видим Болтина националистом, апологетом и крепостного права, и русского абсолютизма».

Как, что, почему, откуда? Я ничего не мог понять. Да и как понять? Валку почему-то не понравилась общность взглядов Болтина и Татищева. Допустим. Он иронизирует, что вслед за Татищевым Болтин утверждает существование у русских законов «ранее времен Ярослава». Что здесь неверного? Или Валк считает более справедливым вслед за Леклерком, Штрубе и Байером утверждать заимствование этих законов от варягов-норманнов? Мысль Болтина, что варяги «не просвещеннее были русских, они, живучи в соседстве с ними, общие и одинакие имели с ними познания», по мнению Валка, «прямо открывает нам путь к изучению взглядов Болтина на Русскую Правду». Каким образом? Что здесь плохого?

Пробегаю глазами строчки, снова и снова перечитывая фразы, я видел неприязнь Валка к Болтину и его идеям, которые тот щедро черпал из всех его сочинений.

В самом деле, почему из утверждения Болтина, что «русские славяне не были ни варварами, какими их изображает Леклерк, ни кочевым народом, каким их видит Щербатов. Русский народ был искони свободным народом», вытекает мысль, что Болтин был «националистом»? Что же касается утверждения Валка о Болтине как «апологете крепостного права и русского абсолютизма», то оставалось напомнить ему слова самого И. Н. Болтина, что демократический образ правления неизменно почитался им свидетельством наивысшей степени развития народов. «...все государства, — писал Болтин на одной из первых страниц своей книги, вышедшей в 1793 году, — начались правлением монархическим или самодержавным... Многие века потребны были к тому, чтоб достигнуть новгородцам до правления народного». Написано это

было в разгар Французской революции, в то время, когда за схожие утверждения был сослан в Сибирь А. Н. Радищев и содержался в крепости И. А. Новиков, которых мой неожиданный оппонент вряд ли решился бы причислить к монархистам.

Ну а что плохого, когда «Болтин, действуя своим излюбленным приемом сравнительно-исторических сопоставлений, доказывал тождество древнерусского общественного строя с древнегерманским и древнеримским»? Правильно доказывал, опередив чуть ли не на столетие других историков своего времени!

Дойдя до конца, я принимался читать сначала. И постепенно начал понимать. Статья метила не только и не столько в Болтина: археограф преследовал те же цели, что и я, только «с обратным знаком». «Склейка» разных текстов, выборка слов, правка, перенесение разделов из одного списка в другой — все это было уже знакомо. Именно так конструировал А. А. Зимин методы работы Мусина-Пушкина по «созданию» древнерусской поэмы. Чего стоят заверения предисловия, когда не только перевран текст, но вместо пергаменного списка издается бумажный? Известное дело, царедворцы — жулики, лицемеры, фальсификаторы, похитители рукописей... Голословно? Простите, вот свидетели: Карамзин, отмечающий «умышленные неисправности» издания 1792 года в «Истории государства Российского», опять же К. Ф. Калайдович, который «указал и даже доказал, что пергаменный список, который был в руках у Болтина и который, по словам Болтина, положен был в основу его издания, был списком, теперь хорошо известным под названием Пушкинского списка Правды».

Что вы на это скажете?

Нечего было сказать. Надо было смотреть, сличать, читать Елагина и Болтина, ломать голову над позицией Карамзина, который уже не первый раз оказывался в стане врагов графа Мусина-Пушкина и его друзей. А вместе с тем надо было попытаться провести самый тщательный анализ напечатанного в 1792 году текста, чтобы проверить: а так ли уж прав Карамзин в своем категорическом заключении об издании Болтиним «Правды русской»?

Интуиция подсказывала, что все здесь не так просто, как попытался представить С. Н. Валк.

Убеждали меня в этом не только собственные впечатления от работ Болтина, которые к тому времени я почти все собрал и изучил, включая его знаменитую полемику с князем М. М. Щербатовым, творцом первой многотомной истории России. Сказались результаты походов по букинистическим магазинам, где за эти годы мне удалось собрать большую часть сочинений Болтина, в том числе и критику Леклерка, с которой началась его полемика с князем Щербатовым. Poleмика была заключена в солидные тома и на своих страницах хранила удивительные для того времени мысли об истории, исторической науке, ее отношении к жизни и быту народов, о месте в истории человека, о правах и обязанностях монархов... Да, не случайно при жизни и долгое время после смерти Болтина считали одним из наиболее прогрессивных и знающих историков России! В такой оценке меня поддерживала и статья А. Т. Николаевой, посвященная Болтину-археографу, по иронии судьбы напечатанная в том же «Археографическом ежегоднике...», что и статья Валка.

Шаг за шагом исследовательница раскрывала методику работы Болтина, его взгляды, критическое отношение к другим историкам, примерами показывая светлый ум и беспристрастное суждений этого выдающегося деятеля отечественной науки, требовавшего от издания точной передачи как смысла, так и каждой буквы издаваемого текста. Для меня особенно интересен был тот факт, что с таким же пиететом относились к Болтину и крупнейшие историки России в XIX веке — С. М. Соловьев, М. И. Сухомлинов, писавший историю Российской Академии и посвятивший Болтину большую часть одного из выпусков своего труда, В. О. Ключевский, В. С. Иконников и многие другие. Все они ставили Болтина и его отношение к историческому документу примером, достойным подражания.

Даже Шлецер, первоисследователь русских летописей, заложивший основы научного подхода к изучению истории России, талантливый, широко образованный, но вместе с тем желчный и ядовитый Август Шлецер, мало о ком отзывавшийся хорошо, о Болтине всегда говорил с большим уважением. Он называл его «величайшим русским знатоком отечественной истории» и указывал, что еще ни один россиянин не писал истории своего отечества «с такими познаниями, острою и вкусом». Это была величайшая похвала, особенно если учесть, что Шлецер был согласен далеко не со всем, что утверждал Болтин.

Так что же произошло в 1792 году? Каким образом внимательный и скрупулезный исследователь под конец жизни так резко изменил своим принципам? А может быть, он им не изменял? И в том, что существуют взаимоисключающие оценки, виноваты не столько люди, сколь роковое стечение обстоятельств? Например, тот же пожар Москвы и война 1812 года, разорение дома Мусина-Пушкина на Разгуляе, где вместе с библиотекой графа погиб и весь болтинский архив, все его записи, сочинения, выписки из документов, многие из которых нам уже никогда не суждено увидеть.

Все это тоже следовало проверить. Начинать приходилось с Пушкинского списка «Правды русской». Пергаменный сборник XIV века, в котором он был открыт, хранится теперь в Центральном Государственном архиве древних актов в Москве и — буква в букву — был воспроизведен вместе с другими списками в академическом издании «Правды русской». Кроме текста «Правды...», в сборнике находились «Закон судный людем», выписки из книг Моисеевых, договор смоленского князя Мстислава с Ригию и Готским берегом, Устав Ярослава о мостах, а в заключение, почерком уже XVI века, начало церковного устава Владимира.

«Сборник этот,— писал автор вступления в академическом издании «Правды русской»,— в начале 40-х годов Мусин-Пушкин передал Обществу Истории и Древностей Российских при Московском университете, а общество Истории и Древностей передало его впоследствии на хранение в Архив Министерства иностранных дел в Москве...» Там он и осел. Все было понятно за исключением одного: каким образом Мусин-Пушкин, скончавшийся 1 февраля 1817 года, мог передать в 40-х годах этот сборник в Обществу?! Из «Биографических сведений о жизни, ученых трудах и собраниях российских древностей графа А. И. Мусина-Пушкина», составленных К. Ф. Калайдовичем и опубликованных в 1824 году, можно видеть, что этот сборник был в Обществе уже в 1812 году. Он избежал участи библиотеки Общества, погибшей в пожаре, только потому, что находился в доме П. П. Бекетова, председателя Общества.

Просмотр журнала заседаний Общества истории и древностей российских после 1812 года убеждал, что сборник никуда из Общества не выходил, поскольку готовилось его издание. И К. Ф. Калайдович лучше чем кто-либо мог ознакомиться со сборником в целом и со списком «Правды русской» хотя бы потому, что именно он первоначально должен был осуществить это издание, которое выполнил в конце концов Д. Дубенский.

К каким выводам пришел Калайдович?

Вопреки заверениям С. Н. Валка Калайдович в примечаниях к очерку о Мусине-Пушкине указывал, что «по сличению пергаменного списка Правды Русской, сохраненного г. Председателем нашего Общества, можно утвердительно сказать, что издателя (речь идет об издании 1792 года.— А. Н.) имели основанием не сей, но другой список (разрядка моя.— А. Н.) и даже неизвестно, почему не приводили из первого вариантов, хотя оный, как известно, в 1792 году находился в руках графа Мусина-Пушкина». Свидетельство достаточно категорическое, в том числе и оговорка «как известно». Разгадку оговорки Калайдовича я нашел несколькими страницами выше, где, тоже в примечании, сказано, что сборник был в руках Мусина-Пушкина, «как видно из объяснения слова «изгой» в «Правде Русской», в коем издатели упоминают о росписании городском или Уставе о мостниках князя Ярослава».

Итак, сведения о знакомстве Болтина с этой рукописью оказались всего лишь догадкой Калайдовича, отнюдь не подтвержденной Мусиным-Пушкиным. Если же учесть, что в руках издателей, как явствует из предисловия, был только один пергаменный список, который даже Калайдович не считал списком Пушкинским, то говорить практически не о чем. Разве что о Калайдовиче. Открыв Воскресенский список и найдя в нем сходство с изданием 1792 года, он поспешил объявить, что именно с этого списка ввиду текстуальной близости и было сделано упомянутое издание.

Но у Валка был еще один, может быть, самый серьезный свидетель — Н. М. Карамзин.

«Правде русской» Н. М. Карамзин посвятил целую главу во втором томе «Истории государства Российского» и многочисленные к ней примечания. Читая их, я не мог не согласиться с Валком, что для Карамзина в отличие от Болтина не существовало разницы между списками одного и того же исторического памятника, кроме как их исправность и древность. В руках у Карамзина были, как он сам пи-

шет, печатные списки, среди которых он выделяет «новый», то есть болтинское издание 1792 года, и два пергаменных — Синодальный, древнейший, и другой, «также харатейный, имеющийся в библиотеке графа А. И. Мусина-Пушкина». Можно видеть, как удивляется и даже раздражается на издателей 1792 года историограф, отмечая почти в каждой статье если не прямую ошибку, то разночтение. И он абсолютно прав: ведь списки-то разные! Только вот почему же Карамзин, упрекая издателей в умышленных исправлениях, не обратился за разъяснением к Мусину-Пушкину, в библиотеке которого находился список «Правды русской» и откуда он его, по-видимому, брал для сверки?

Впрочем, из какой библиотеки? Которая существовала до пожара? Тогда необъяснима путаница со списками у Калайдовича. После? Но в том-то и дело, что после 1812 года никакой библиотеки графа не было. Рукопись хранилась или у П. П. Бекетова, или в новой библиотеке Общества истории и древностей российских. Только оттуда и мог ее получить Карамзин. Из Общества, а не от Мусина-Пушкина, который уже не участвовал в заседаниях, возобновившихся 9 февраля 1815 года, ровно за год до отъезда Карамзина в Петербург.

Путаница с пергаменными экземплярами «Правды русской», один из которых был в руках графа в 1791 году, а второй — в 1812 году, после чего он попал к П. П. Бекетову, произошла, по-видимому, оттого, что все причастные к этому делу лица довольствовались исключительно внешними признаками для идентификации списков. Никто не обращался за разъяснениями к самому Мусину-Пушкину — ни Карамзин, ни Калайдович. Последний только отметил непричастность Пушкинского списка к изданию 1792 года, да и то после яркого и внешне аргументированного выступления Карамзина. Но к этому времени в правоте Карамзина, «Историей...» которого зачитывались во всех кругах образованного российского общества, уже никто не сомневался. Д. Дубенский, первый издатели Пушкинского списка «Правды русской», сменивший Калайдовича, на мнение своего предшественника не обратил внимания и с восторгом писал в предисловии к изданию: «...кто усумнится, что таинственный пергаменный список... писанный весьма древним почерком, полнейший, им (Болтиным.— А. Н.) изданный, есть этот самый, ныне издаваемый, принадлежащий Императорскому Обществу истории и древностей Российских?!»

Мнение Дубенского стало окончательным суждением.

Новое издание было осуществлено на достаточно высоком научном уровне. Оно показывало все отличия публикуемого списка от текста болтинского издания. И когда позднее Н. В. Калачов обнаружил, что наиболее специфические варианты текста 1792 года отвечают вариантам одного только бумажного Воскресенского списка, это никого уже не интересовало: если издатели не сдержали своего обещания и поправляли текст, как утверждал Карамзин, то могли напечатать и не с пергаменного, а с бумажного... Ослепление оказалось столь сильным, что, продолжая цитировать Карамзина, упрекавшего издателей 1792 года в несоответствии текста издания Пушкинскому списку, упреки эти подтверждали... списком Воскресенским! Сопоставляя, сравнивая отдельные части текста, отыскивая «выброшенные» или «вставленные» куски, я видел, что исследователи распоряжались текстом 1792 года с удивительной бесцеремонностью, в то время как сами обвиняли издателей в антиисторизме.

Но как соотносятся между собой — и соотносятся ли вообще — два пергаменных списка «Правды русской»? Тот, что был у Болтина, и тот, что оказался у Бекетова. Сравнивая все известные списки «Правды русской», я не находил ни одного, который мог быть оригиналом издания Болтина. Из предисловия к изданию можно было вычитать, что все шесть списков поступили в синод осенью 1792 года из монастырских архивов. Вероятнее всего, рукописи туда и вернулись, хотя список «Правды русской», тем более на пергамене, мог — допустим! — попасть в библиотеку Мусина-Пушкина или быть поднесен им императрице.

А известный нам Пушкинский список? Судя по содержанию всего сборника, он должен был попасть к Мусину-Пушкину незадолго до 1812 года. Почему? Да потому, что вместе с «Правдой русской» в сборнике находился важный документ XIII века — договор Смоленска с Ригю и Готским берегом. Он принадлежал к тому же разряду первостепенных памятников, что «Правда русская» и «Духовная...» Владимира Мономаха. Мусин-Пушкин не мог бы пройти мимо него. Недаром договор возбудил такой интерес у Карамзина, который издал его в примечаниях к «Истории государства Российского», а равным образом и у членов Общества истории и древностей российских,

неоднократно поднимавших вопрос о его издании, начиная с первых заседаний в феврале 1815 года. До войны 1812 года вопрос этот вроде бы не поднимался. Больше того. В заседании от 4 января 1812 года при планировании первого выпуска «Достопримечательностей русских» сразу, после Луки Жидяты, была названа «Правда Русская» XIII века «по Синодальному списку», открытому Карамзиным и подготовленному к изданию К. Ф. Калайдовичем. Если вспомнить, с каким энтузиазмом, еще не издав первый выпуск «Достопамятностей...», Калайдович приветствовал Пушкинский список «Правды...» и договор Мстислава с Ригой, то остается думать, что до 1813 года он о них не слышал.

Так ли это? Насколько справедливы были эти сомнения и догадки?

Одно дело — быть уверенным в чем-то, но совсем другое — располагать еще и неопровержимыми доказательствами. А их у меня не было довольно долго, пока, просматривая по какой-то причине «Археографический ежегодник за 1969 год», я не обнаружил статью А. И. Аксенова, посвященную обзору эпистолярного наследия А. И. Мусина-Пушкина.

При огромном интересе к деятельности графа и его современников, множестве спорных вопросов о событиях тех лет, в том числе связанных с собирательской деятельностью А. И. Мусина-Пушкина, письма его, представляющие ценнейшие документы истории нашей культуры, лежат до сих пор разрозненными и в большинстве своем неизданными. Статья Аксенова отчасти восполняла этот пробел, знакомя специалистов с местонахождением писем и с их содержанием. Среди писем И. И. Лепехину, Я. И. Булгакову, К. Ф. Калайдовичу, А. А. Самборскому, А. А. Беклешеву особенный интерес представляла переписка Мусина-Пушкина с А. Н. Олениным, членом Российской Академии, директором Императорской публичной библиотеки и президентом Академии художеств. Оленин первым обосновал палеографически древность надписи на тмуроканском камне, посвятив этому специальное сочинение, и с тех пор дружеские узы связывали этих людей, одушевленных одинаковым интересом к истории России и к ее рукописным сокровищам.

Письма Мусина-Пушкина Оленину, как указывал А. И. Аксенов, находились в разных местах. Часть их хранилась в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки в Ленинграде, часть — в архиве Академии наук СССР, а два письма — в отделе рукописей Библиотеки имени В. И. Ленина в Москве. Подтверждение выводов, к которым я пришел в результате долгого расследования, нашлось в письме от 25 марта 1812 года, целиком напечатанном историком. А. И. Мусин-Пушкин писал Оленину: «В прошедшем январе, будучи в Ярославле, удалось мне отыскать и достать Русскую Правду, весьма древнюю, писанную на пергамене, и к оной присовокуплен торговый договор Смоленского князя с Ригой XII века, весьма любопытный. Вы скоро оный увидите напечатанный в Обществе истории и древностей Российских».

Собственно ручное письмо графа, раскрывающее тайну происхождения Пушкинского списка, ставило все на свои места. А тут подоспела еще одна находка.

А. И. Мусин-Пушкин имел основания надеяться, что А. Н. Оленин сможет вскоре увидеть его новое исследование и публикацию документа. Когда мои розыски были завершены и уже была написана статья об издании 1792 года, в № 26 «Московских ведомостей» от 30 марта 1812 года я обнаружил «Дневную записку заседания Общества истории и древностей Российских», происходившего 13 марта того же года. В ней сообщалось, что «действительный член Общества, граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин доставил Обществу из своего богатого собрания древних рукописей старинный манускрипт, писанный на пергамене в 4 долю листа и, по замечанию его сиятельства, относящийся к XIII веку, содержащий в себе: Правду Русскую, Договор Смоленского князя Ростислава Давыдовича с Ригой, XIII века, и Устав Ярослава о мостниках; и позволил сделать с сего манускрипта список для издания в Достопамятностях Русских, что Общество приняло с особенным удовольствием и признательностью. Его же сиятельство представил Обществу список Ростиславова договора с собственными объяснениями, который и будет напечатан».

Вот он, официальный акт передачи сборника в Общество! О времени и обстоятельствах его приобретения граф, как обычно, не распространялся. И о том, что рукопись была только что приобретена, знал лишь Оленин.

Исчерпывающий ответ на одну половину загадки был получен.

Вскоре я получил ответ и на другую ее половину.

Сличение текста болтинского издания «Правды русской» 1792 года со всеми известными списками Пространной редакции заняло несколько месяцев. Но результат, как говорят, превзошел ожидания. Теперь я мог с полным основанием утверждать, что Болтин ни в чем не покривил против обязательств, которые возлагал на себя предисловием. Напомню этот знаменательный документ, с такой легкостью перечеркнутый позднейшими критиками:

«Самый текст законов разсудили мы напечатать в пол страницы церковными буквами ради лучшего изображения древних слов и правописания, а против текста, в другом столбце, поставить преложение на нынешнее наречие гражданскими буквами; под каждую же статью внизу приложить объяснение и толкование слов, вышедших из употребления, дабы Читатель мог удобно смысл текста, по толкованию слов, понимать и видеть, сходно ли с ним сделано нами преложение; и так все то, что напечатано церковными буквами, есть находящееся в древнем рукописном списке издаваемых законов, а напечатанное гражданскими буквами есть сочиненное нами.— Текст законов точно так напечатан, как он в рукописи находится, без всякия перемены, не только в словах, ниже в одной букве; равно и статьи разделены также как и там, но прибавлены токмо числа главам и статьям для удобнейшего приискания мест, в случае ссылки на них.— Где нашлись в списке, которому мы следовали, упущения в словах, небрежением писца учиненныя, а в других списках оныя слова находятся, те мы внесли в текст без всякого усумнения; находящиеся же в других списках отмены в словах и целых, речах показали токмо в примечаниях.— Хотя ж в некоторых статьях закона Ярославова и ясно видели мы, что слова или речи перемешаны, то есть задняя поставлены на переди, а передие назад, яко в § 1-м название Руси н, долженствующее быть на конце речи с прочими находящимися там отечественными названиями, поставлено напереди весьма не к стати; но мы не осмелилися перенести его в приличное ему место, но оставили тут, где оно стоит в подлиннике. Приметили мы также, что инде целые статьи или переставлены с места на другое не по приличию, или одна статья разделена на две и последняя половина приставлена ко другой, что Читатель сам удобно усмотрит; другия ж так повреждены от переписок, что о подлинном их смысле должно было доходить догадкою, и с великим трудом, однако ж ни тех, ни других отнюдь мы не поправляли».

Все так и оказалось. Сравнив структуру текста, последовательность статей и глав, порядок слов, сами слова и те ошибки, которые могли быть исправлены без ущерба для памятника, но не исправлены, вплоть до таких мелочей, как возникшее в одном случае выносное «т» — для него в оригинале, по-видимому, не хватило места у края страницы, — я мог с уверенностью сказать, что в руках Болтина был неизвестный нам список «Правды русской», который он воспроизвел со всей тщательностью. Больше того, как я писал в 1973 году в «Вопросах истории» в статье, посвященной этим разысканиям, на руках у Болтина, кроме печатного Татищевского списка Краткой редакции, были рукописные списки еще двух видов Пространной редакции — вид Оболенско-Карамзинский и вид Музейский, к которому оказался близок текст, изданный в 1792 году. Наоборот, Музейский II список и список Воскресенский, который позднейшие критики пытались сопоставить с текстом болтинского издания, остались Болтину неизвестны. Связь Болтинского списка с Воскресенским списком была, но она была иной, чем то пытались представить.

Увлечшись возможностями текстологического анализа списков, я провел их сличение и мог с большой долей уверенности утверждать, что именно пергаменный список «Правды русской», использованный Болтиным, послужил некогда основой для возникновения Воскресенского списка, дополненного по некоторым другим: Воскресенский список сохранял ошибки Болтинского, но добавил к ним еще и свои.

На загадке издания «Правды русской» 1792 года можно было поставить точку, возвратив И. Н. Болтину его доброе имя.

А как же Карамзин и его дружба с Мусиным-Пушкиным? Чем объяснить молчание графа на обвинения Карамзина, помещенные в примечаниях ко второму тому его «Истории...»? Мифы, мифы! Чтобы их развеять, не потребовалось ни специальных архивных разысканий, ни долгой работы. Надо было только перелистать уже изданное в XIX веке эпистолярное наследие историографа, чтобы обнаружить причины ошибок.

Не мог граф А. И. Мусин-Пушкин при жизни своей получить ни одного тома «Истории государства Российского»! Из писем Н. М. Карамзина А. Ф. Малиновскому, начальнику Московского архива коллегии иностранных дел, сотруднику Мусина-Пушки-

на по изданию «Слова...», можно видеть, что второй том не был начат печатанием еще и в ноябре 1816 года. Объявление о подписке на «Историю...» публиковалось в конце 1817 года, то есть после смерти графа, а рассылали ее и продавали в магазинах только в феврале 1818 года — через год после смерти Мусина-Пушкина. Ну а дружба? И ее не было. Не было между ними вообще никаких «тесных» отношений. За все время переписки с Малиновским Карамзин ни разу не поинтересовался графом, не вспомнил о нем. Единственным упоминанием был отклик на его смерть в письме от 12 февраля 1817 года, и заключался он в следующих словах: «Смерть графа А. И. Пушкина нас очень тронула. Бедная графиня! Двадцать лет он изъявлял нам приязнь».

Остальное оказывалось досужим вымыслом людей, которые любят ставить рядом громкие имена, не подумав, что при жизни своей их владельцы могли ни разу друг к другу не подойти и не обменяться ни единым словом. Приязнь? Это означало, что при встречах они раскланивались, могли вступить друг с другом в беседу. Сказывалась разница во всем: происхождении, возрасте, симпатиях и антипатиях, причастности к разным московским кругам и так далее. Карамзин не любил Екатерину II и ее век; Мусин-Пушкин преклонялся перед императрицей. Карамзин был представителем и знаменем «молодой России»; граф принадлежал ушедшему XVIII веку...

Вот почему, получив из рук П. П. Бекетова между 1813 и 1816 годами Пушкинский список (ни Мусин-Пушкин, ни Карамзин после 1812 года уже не посещали заседаний Общества истории и древностей российских), историограф отметил только, что он «из библиотеки графа А. И. Мусина-Пушкина».

За справками о происхождении списка ни Бекетов, ни Калайдович, ни тем более сам Карамзин к графу не обратились.

Конечно, историю поисков и заблуждений историков прошлого века можно было бы сократить, но она удивительным образом совпадает с теми спорами, которые именно тогда вызвало «Слово о полку Игореве» и косвенным отражением которых она явилась. Можно утверждать, что после трагического 1812 года судьба двух этих изданий оказывается неразрывно связанной, а та или иная точка зрения на один текст так или иначе отражалась на отношении к другому.

Если И.-В. Гёте, поэт и государственный человек, начало нового времени для Европы усмотрел в отблесках бивачных костров после битвы при Вальми, то для России таким рубежом оказался 1812 год. Последующее за ним время стало эпохой острой критики, которой подпало все, начиная от идеи монархии и самодержавия до мелочей быта. Именно тогда поднялось сомнение в достоверности «Слова о полку Игореве», и скептикам на руку было выставить через Болтина невеждой и фальсификатором самого А. И. Мусина-Пушкина. Насколько таковой расчет был точен, показывают колебания К. Ф. Калайдовича, собиравшего «по горячим следам» все возможные сведения о рукописи «Слова...». Одним из первых — и до и после Карамзина — он смог использовать Пушкинский список для сравнения с изданием 1792 года и пришел к выводу об ошибке историографа. Но инерция уже сложившегося общественного мнения оказалась настолько велика, что полное изменение признаков искомого оригинала (замена Пушкинского списка Воскресенским, пергаменного — бумажным, древнего — поздним) не разрушило, а лишь укрепило привычную точку зрения, которая дожила вплоть до наших дней, а еще точнее — здравствует и поныне.

В этом я мог убедиться не так давно, наткнувшись на очередную статью научного сотрудника Пушкинского Дома, где автор заверял читателей, что, проведя работу по сопоставлению издания «Правды русской» 1792 года с «рукописным текстом ее источника — юридического сборника XIV века», он обнаружил именно те погрешности, на которые указывал С. Н. Валк. Написано это было через девять лет после публикации А. И. Аксенова и через пять лет после выхода моей статьи о Болтинском издании «Правды русской».

Что ж, каждому, как говорится, свое...

(Продолжение следует)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕЙФУЛЛА АСАДУЛЛАЕВ,
доктор филологических наук

★

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ: «МЫ РОДИЛИСЬ НЕ ДЛЯ ВОЙНЫ...»

—]П[усть каждый станет верным солдатом мира, если не хочет стать солдатом или жертвою новой войны,— говорил Леонид Леонов с трибуны Всемирного конгресса деятелей культуры в защиту мира во Вроцлаве. В этих словах — гуманистический и интернациональный пафос литературы социалистического реализма. Леонов — видный ее представитель. Это еще отчетливей сознаешь сегодня, в день 85-летия художника.

В публицистике писателя отчетливо проявились философский склад его художественного мышления, ассоциативная образность суждений, масштабность видения мира, диалектика преемственности культур и цивилизации, острое и емкое слово. Публицистика Леонова многогранна, однако не будет преувеличением сказать, что центральное место в ней занимает тема войны и мира, тема борьбы за жизнь и свободу на земле. за общечеловеческий прогресс. В этом смысле писатель является фигурой, характернейшей для всей советской литературы.

Леонов-публицист гневно осуждает войну как самое трагическое и позорное явление в жизни народов, активно выступает в защиту общечеловеческой культуры и цивилизации. Страстно утверждать мир, вести бой за счастье людей, за будущее человечества — вот главное назначение каждого честного художника, литературы в целом.

В наш сложный и противоречивый XX век роль литературы в обществе значительно повысилась, активизировалась. Она стала революционной силой, мощным идеологическим фактором в борьбе за социальное преобразование и духовное обновление общества, за мир, гуманизм и прогресс.

Леонов одним из первых советских писателей, вслед за М. Горьким, глубоко понял историческую миссию мастеров культуры в век «великого столкновения идей», противоборствующих социальных сил, когда на карту поставлена судьба цивилизации и человечества.

Леонов назвал наш век «самым героическим периодом мировой истории», «самым емким историческим периодом из всех, через которые проходило человечество», когда «художественная литература перестает быть только беллетристикой. Она становится одним из самых важных орудий в деле ваения нового человека». Эти слова были произнесены в 1934 году, на Первом Всесоюзном съезде писателей. Именно здесь Леонов впервые так прямо и концептуально заявил о собственном творческом кредо, определив в то же время одну из важнейших задач советской литературы — «разработать... принципы новой морали и запечатлеть рождение еще неслыханного мира». Леонов утверждал на съезде, что «поэт сегодня обязан быть философом», и, проецируя мысли своих гениальных предшественников на нашу эпоху, добавлял: «...а философ не может не быть солдатом, готовым ежесекундно защищать свою идею». Поэт, философ, солдат — таким видит Леонов художника наших дней, таким является и он сам.

К вопросу о назначении писателя в современном мире Леонов в последующие годы неоднократно будет возвращаться и сообразно возрастанию идеологической функции художественного слова, а также собственного писательского опыта и мудрости он будет развивать важнейший методологический принцип марксистско-ле-

ниской эстетики, говорящий об органической связи литературы с революционной действительностью, с практикой коммунистического строительства. Он скажет о герое современности: «Сегодня героем советской литературы является работник, своей профессией, как приводным ремнем, связанный с эпохой, в которой он творит».

Об этом же он говорил в своем выступлении на совещании молодых писателей, по-горьковски наставляя молодых собратьев по перу на нелегкий писательский труд: «Разумеется, не меньше таланта писателю положено иметь ум, совесть и душу», без чего в наш век громадных открытий и социальных преобразований не может состояться настоящий, большой писатель.

В более широком масштабе эти категории писатель распространяет на весь современный мир, призывая к благоразумию тех, кому сегодня доверена судьба людей на планете, напоминает о необходимости в своих решениях согласовать высочайшие веления ума с прозрением сердца. Именно с такой гуманистической позиции, с таким пониманием роли литературы, места и назначения художника в современном обществе Леонов-публицист вступает в бой за человека, за труд и счастье, против войны, «атомной истерии».

Тему войны и мира, жизни и смерти Леонов ставит и решает в глобальном, общечеловеческом масштабе, в контексте современных мировых проблем, с позиции социалистического гуманизма. При всей неповторимой оригинальности индивидуальной творческой манеры и видения мира Леонов-художник в решении поставленных проблем опирается на историко-культурные прецеденты, на опыт всей прогрессивной мировой литературы. При этом Леонов как бы ни углублялся в дебри мировой истории, в недра общечеловеческой мысли, он всегда остается на позициях современности, писателя социалистического реализма и в то же время всеми своими помыслами обращен в будущее, к Грядущему с большой буквы. «Всю нашу действительность мы равняем по будущему», — пишет Леонов, «приноравливая» и подчиняя самое литературу «величайшему разбегу к Грядущему».

Широко известно определение социалистического реализма, данное Горьким в докладе на Первом Всесоюзном съезде писателей. Характеризуя метод советской литературы, Горький подчеркнул его гуманистически-утверждающий пафос, вывинул на первый план благо человека, кото-

рый хочет видеть землю как прекрасное жилище человечества, объединенного в одну семью, говорил о его интернациональной направленности.

Советская литература началась с темы борьбы за мир и социальную справедливость. Вся история советской литературы — это история активного участия ее в созидании и утверждении нового мира и нового человека, история борьбы за мир и революционный социалистический гуманизм. Формирование и рост человека новой общественной формации в огне революции и гражданской войны — вот главная проблема, которую решала литература 20-х годов. Тема социалистического строительства характеризует главную линию развития литературы 30-х годов, но с приходом фашизма к власти в Германии, когда нагнетается грозная атмосфера войны на Западе, с началом второй мировой войны тема защиты родины, завоеваний революции, тема борьбы за мир и социализм преобладает и в этот период. Знамя этой борьбы высоко нес Горький, выступая с острыми антивоенными публицистическими статьями, такими, как «Если враг не сдается, — его уничтожают», «С кем вы, «мастера культуры»?». Горький осудил фашизм и его претензии на мировое господство, показал опасность для планеты новых военных приготовлений, призывал честных людей мира сказать свое суровое и решительное «нет» войне, определить свою классовую позицию и отношение к создавшейся обстановке в мире.

Литература 40-х годов, посвященная теме войны, вся пронизана идеей защиты первого в мире социалистического общества, советского патриотизма, а в силу этого — чувством ненависти к врагу, выступает с резким осуждением античеловеческой сущности захватнической войны, разоблачает перед лицом всего мира наглые претензии фашистских варваров. И в послевоенные годы, в эпоху «холодной войны», и в наши дни, когда над человечеством висит дамоклов меч всеобщей ракетно-ядерной смерти, советская литература внесла и вносит свой вклад в рядку международной обстановки. Осуждая политику военного превосходства и гонки вооружений современных агрессивных сил, она сегодня идет в самых первых рядах борцов за мир и разоружение, за жизнь и счастье людей на земле, за социализм и прогресс.

Внося серьезный вклад в эту большую патриотическую, воистине самоотверженную работу, Леонид Леонов тему войны

и мира решает не локально, не как частную тему, а глобально, как широкую, важнейшую проблему современности. В свою очередь вопросы войны и мира освещаются писателем в организационной связи с категориями нравственности, социалистического гуманизма, в контексте достижений общечеловеческой культуры, в свете которых объективно осуждается война, обнажается ее античеловеческая сущность, а мир возводится в идеал, утверждается, поэтизируется. Более того, и тогда, когда он пишет о созидательном гряде многонационального советского народа, о его творческих исканиях и мирных устремлениях, он позитивно, самым ходом описываемых событий отвергает войну как явление, чуждое интересам и мироощущению народа-труженика. Таковы, в частности, статьи Леонова «Озеро Счастья» и «У колыбели Большого Ангрена». Образ озера счастья, созданного советскими людьми в Средней Азии «на благо свое и своих потомков», прямо переключается с образом Океана из романа «Дорога на океан» — Океана-города, столицы будущего коммунистического общества.

Продолжая горьковские традиции, Леонов в суровые военные годы выступил с двумя письмами «Неизвестному американскому другу». Эти статьи-письма были обращены к американскому народу. Они пронизаны тревогой за судьбу мира и жизни на земле, где вместо знаменитых садов (описанных, кстати, Леоновым в пьесе «Половчанские сады») лежат «руко-творные» пустыни, тревогой за судьбу цивилизации и человечества. «Кто бы ты ни был — врач, инженер, ученый, литератор, как я,— мы вместе крутим могучее колесо прогресса. Сам Геракл не сдвинет его в одиночку», — пишет Леонов, призывая американский народ, своих современников не оставаться равнодушными к трагедии, которая творится на земле. Писатель конкретен и убедителен в своих суждениях. Кровоточащими словами он рисует ужасающую и дикую картину войны, приглашает американского друга посмотреть, как фашистские дикари «вешают гирляндой молодых и славных русских парней, которые дрались и за тебя, мой добрый друг». С болью в сердце говорит писатель, как разбиваются «очаги цивилизации», что жизнь человечества поставлена на карту. Писатель осуждает выжидательную политику Запада, людей, которые полагают, что «если они местожительство далеко от вулкана, то до них не доползет беда. В стремлении изолироваться от всеобщего

горя они подвергают риску не только жизнь свою, но и репутацию», призывает к благоразумию, «беречь своих детей», послушать плач детей в Европе, ибо «все дети мира плачут на одном языке», предлагает американскому народу объединиться с советским народом в один фронт перед лицом фашистского нашествия, стать попутчиками, друзьями, сообщниками в борьбе против врага человечества, ибо нельзя пересидеть в своих убежищах и уцелеть от войны, которая взойдет и к нему и возьмет его за горло, выволочет из щели за волосы жену его и детей его передумит у него на глазах. «Гитлер вступит в твою страну, как громадный универсам, где можно не платить и даже получать подать за произведенную им погромную работу!»

Голос писателя становится тревожным и требовательным, в нем преобладают жесткие и суровые нотки. Леонов-публицист выступает в качестве исследователя, пытаясь разобраться в первопричине войны, приглашает «заглянуть в самый корень этого основного недуга Земли» — войны. Автор предлагает «клинически проследить кровавую родословную последних войн и найти их первую праматерь, имя которой Несправедливость», требует «убить ее в ее гнездовье». Писатель обращается к американскому народу, народам всего мира с требованием начинать победу над врагом немедленно и с главного: убивать убийц, поднявших руку на священные права Человека. Но это только ближайшая задача — «потом нужно истребить и самый микроб войны». Так «частное» письмо неизвестному американскому другу, опущенное «в почтовый ящик мира», становится документом общечеловеческого характера, большого политического и нравственного содержания, в котором автор приглашает простых и честных людей мира «подумать о происходящем вокруг», активно вмешаться в ход мировых событий, поднять свой голос против войны, ибо «друг познается по любви, по нраву, по лицу, по делу».

Проходит год, война вступает в разгар, фашисты продолжают бесчинствовать на оккупированной советской земле, прибегают к изощренным приемам массового убийства мирного населения, в фургонах-душгубках, этих цинковых коробках, травят окисью углерода детей, женщин и стариков... А обещанный западными державами второй фронт все еще не открыт, «союзники» хладнокровно наблюдают за ходом событий на русском фронте, выжидают... Неужели письмо не дошло до аме-

риканского друга? И вот вновь раздаётся страстный голос Леонова-публициста, появляется второе письмо «Неизвестному американскому другу», где он кровью сердца пишет о новых злодеяниях немецких карателей на русской земле. Накал публицистического слова писателя достигает предела, его гневное слово звучит как набатный колокол. «Скорбную мою повесть надо писать на меди: бумагу прожигали бы слова об этих двух безвестных женщинах» — матери и ее пятилетней дочери, которых в числе семи тысяч других обречённых на мучительную смерть каратели вталкивают в специально оборудованный фургон-душегубку. С содроганием сердца пишет он о страшном крике матери, которая бросилась вырвать своего ребенка из рук фашиста-карателя: «...и это очень удивительно, если не был слышен в Америке этот несказанный вопль». И уже обращаясь ко всей Америке, Леонов говорит: «Вашей актрисе... трудно будет воспроизвести смертный крик матери, да и вряд ли пленка выдержит его».

Леонов взывает к разуму и совести американского народа и, прибегая к широким обобщениям, говорит об ответственности каждого человека на планете за беспрецедентные по масштабам злодеяния, творимые фашистскими головорезами, о преступности спокойно наблюдать, как убивают детей, убивают способами и приемами, которым позавидовали бы первобытные дикари. Ибо «каждый отец есть отец всех детей земли, и наоборот. Ты отвечаешь за ребенка, живущего на чужом материке... Вот правда, без усвоения которой никогда не выздороветь нашей планете. Остановить в размахе быстрю и решительную руку убийцы — вот неотложный долг всех отцов на земле». Поэтому, утверждает писатель, злодей, отравляющий в газовой камере пятилетнюю девочку, «заслуживает немедленного удара не в пятку, а в грудь и лицо». Да ведь и «русский солдат... сквозь смерть и грохот, в одиночку и по Эвклидовой прямой, движется на Запад — за всех маленьких в мире!» — пишет Леонов, напоминая неизвестному другу, что Красная Армия, освобождая советскую родину, преграждает собственным телом путь фашизму в другие страны, в Америку в том числе. Не ради ли этого советский народ проявляет на фронтах беспримерный подвиг, мужество и стойкость духа? Леонов с полным правом на то утверждал: «...сегодня Родина моя становится духовной родиной всех, кто верит в торжество правды на земле». Великая честь идти в одном строю

с таким народом, плечом к плечу с русским солдатом на общего врага. Вот та реальная почва, утверждает писатель, на которой должна строиться «честная дружба, которую отныне будет жить планета» и которая «создается сегодня — на полях совместного боя».

Как бы подводя итоги прошедшей войны и характеризуя природу двух социальных систем, двух идеологий, двух способов ведения войны, Леонов скажет: «Мы родились не для войны, и когда мы беремся за меч, то не для упражнения в чело-векоубийстве, не ради веселой игры в Аттилу, какую сделали войну германские фашисты», «мы защитили не только наши жизни и достоинство, но и само звание человека, которое хотел отнять у нас фашизм».

В качестве корреспондента газеты «Правда» Леонов участвовал на Нюрнбергском процессе над фашистскими главарями, опубликовал статью «Нюрнбергский змий». Писатель понимает, что хотя война и окончена, но предстоит еще долгий бой права и произвола, разума и скотства, правды и лжи, призывает народы к бдительности — «пошарить в пасти змия, нет ли там и второго ядовитого зуба, который угадывается нами по непрерывному истечению лжи».

Публицистика Леонова, как чуткий барометр международной политической атмосферы, улавливает и регистрирует происходящие в мире изменения, переключается в сферу идеологической борьбы, в свете которой отныне писатель определяет и решает проблемы и задачи также, соответственно, литературного творчества. «Отныне пушки стреляют не столько по законам механики пороховых газов и пристрельных таблиц, сколько силою основных, главнейших идей, какими начинены их снаряды. При равной технической оснащенности побеждает тот, чьи идеи прогрессивнее, потому что в них-то и заключены все надежды и будущее человечества».

Политике «холодной войны» писатель противопоставляет мирный созидательный труд советских людей: «Милая моя страна, еще жарче продолжай святой труд послевоенной пятилетки...» В созидании и творчестве видит писатель залог мира и прогресса, основа которого, по его словам, — преемственность. Преемственность поколений, творчества, революционных, гуманистических идей. Отсюда мирная программа писателя: «Освободите труженика от пут, от все убыстряющейся мертвой зыби

войн и передышек... пусть он без ненужных передаточных шестерен, поглощающих его творческую энергию, станет истинным хозяином планеты, и вы увидите, что все накопленное человечеством донине есть только детская проба пера в ученической тетрадке!» Эти слова обращены ко всему миру, с ними же писатель связывает понятие родины и патриотизма, гуманизма и залог будущего. «...чувство родины в каждом гражданине соразмерно его личному творческому вкладу в общенародное дело», — пишет он, справедливо утверждая, что «детская улыбка становится высочайшей целью нашего государства».

Тема защиты детей и тема Грядущего, и до этого занимавшие одно из центральных мест в леоновской публицистике, отныне становятся в ней главными и ведущими, ее лейтмотивом. Мощным аккордом зазвучала она в речи писателя на Всемирном конгрессе деятелей культуры в защиту мира во Вроцлаве. Дети и будущее — так сформулировал Леонов задачу конгресса. Это главная цель и критерий оценки программ и деятельности всякой партии, всякого государства. Представитель страны, пережившей ужасы и трагедию недавней войны, Леонов, обращаясь с трибуны конгресса ко всем народам и партиям, с полным на то правом и во весь голос сказал: «Мы пришли сюда защищать наше будущее — и не храмы или обсерватории в нем, не госпитали или университеты, которые имеют обыкновение восставать из праха еще величественнее и краше, — а детей... Итак, речь идет о самом главном, о детях».

Леонов-публицист всегда полемичен. Его полемический талант всегда служит делу борьбы за мир и прогресс, и душевная тревога и сердечный непокой писателя связаны с этой ключевой проблемой. Леонов восхищается силой человеческого разума, «открытие атомной энергии и использование ее в мирных целях, — по его словам, — знаменует собой новый период в истории человечества». «На мой взгляд, — утверждает писатель, — открытие атомной энергии равносильно изобретению огня». Но нет гарантии, что это открытие, тот огонь, всегда находится в добросовестных руках, что прогресс не будет направлен против человека. За великое преступление перед человечеством считает писатель-гуманист использование его в качестве средства массового уничтожения людей. С болью в сердце он пишет, что «нашлись люди с дальним и недобрым прицелом», которые употребили этот дар разума во

зло и в глазах многих простых людей опорочили эту несомненную удачу прогресса».

В связи с этим, обращаясь к памяти человечества, он призывает народы не допустить повторения Хиросимы, Освенцима, бельзенских печей, в которых «атлетического вида мужчины сжигали малютки не дозволенной расы». Писатель призывает людей разных политических убеждений и вероисповеданий быть реалистами, трезво подходить к решению современных мировых проблем, помнить уроки истории. «Тот же здравый смысл и совесть говорят нам, что война — величайшее горе, в особенности в условиях современной военной техники, — предупреждает он, выносит суровый, бескомпромиссный моральный приговор: — ...а превознесение войны как аргумента для разрешения застарелых споров грешно для верующего, преступно для обладающего даже посредственной памятью, низко для мыслящего существа» (разрядка моя. — С. А.).

И совсем уж по-сегодняшнему звучат гневные слова публициста, произнесенные в середине 50-х годов и содержащие в себе оценку современной картины мира. Прослеживая опасный маршрут «микроба военного психоза», благополучно перебравшегося через океан, чтобы язгать зубами исключительно в направлении на восток, Леонов писал: «Тем горше видеть, как иные правители соглашаются впустить на постой к себе войну, а формулы мировой цивилизации отдать внаем для танковых эволюций, каменных смерчей, радиоактивных фейерверков». «Призыв к здравому смыслу» (1955) — так называется статья, из которой приведены эти слова. Эти слова, этот призыв являются предупреждением и для сегодняшних недальновидных правителей Западной Европы, территория которой предоставлена в распоряжение американских ракетных баз. К ним обращены мудрые слова Леопова, написанные три десятилетия назад: «Сегодня еще не поздно, и завтра настойчивые гости могут уже пригласить их на ту роковую прогулку в ад, вполне по-джентльменски уступив им право идти впереди». А что это такое за прогулка в ад современной ракетной войны, Леонов рассказал во фрагменте из нового романа «Последняя прогулка» («Москва», 1979, № 4). А чтобы прогулка была не последней и не в ад, Леонов, как и прежде, предлагает «некоторым участникам дипломатических дебатов» быть благоразумными, помнить о своих и «чужих» детях.

Дети, «наши внуки», выступают у Лео-

нова важнейшим аргументом в пользу защиты цивилизации, мира и жизни на планете, судьба которой вызывает у писателя особую тревогу. Человечество поставило себя на грани жизни и смерти, надо, чтобы чашу весов перетянуло не в сторону смерти, чтобы человечество не уничтожало самое себя. «...на вооружение современных армий поступило оружие с еще не изведенным убойным свойством — дальностью действия в веках. Так в этот губительный водоворот вовлекаются завтрашний день мира, наши внуки, лужайки», — с тревогой за судьбу мира пишет Леонов, отмечая, что «на всей планете не осталось больше ни укромных пещер, ни благословенных захолустий, куда не смогли бы добраться сегодня ужасы войны». Поэтому «бесмыслица дальнейших ядерных испытаний понятна сегодня каждому разумному человеку». Напоминая забывчивым агрессивным кругам Запада горестный опыт минувшей войны и уроки истории. Леонов-полемист спрашивает: «...какая же новая вершина солдатского и материнского страдания должна быть достигнута в этих непрекращающихся поисках бомбы-чудовища с рекордным радиусом поражения?» Голос писателя становится голосом совести мира, требующим остановить преступление, которое готовится на наших глазах, предупреждая, что «масштабы и последствия» его «грозят превзойти все то, что доселе было известно человечеству». Говоря о страхе перед возможной катастрофой, Леонов отмечает, что «это не трусость за собственную жизнь, а естественная тревога за близких, за маленьких, чья жизнь и будущее целиком зависят от нас, взрослых, — за бесконечно сложный механизм цивилизации, за накопленные веками ценности человеческого творчества».

Так тема войны и мира у Леонова из статьи в статью углубляется и расширяется, вовлекая в свою орбиту весь исторический путь человечества и всю современную цивилизацию, которая «целиком построена на чудесной, но бесконечно хрупкой возможности нажатием кнопки вызвать каскады воды или ослепительного света... Однако точно таким же нажатием соседней кнопки можно легко поднять в воздух весь этот набор чудес». Поэтому долг каждого человека на земле беречь, сохранить и приумножить этот набор чудес — общечеловеческую цивилизацию, сложный механизм которой так глубоко освещен и исследован писателем. На эту хрупкую материю цивилизации и на не менее хрупкую материю жизни на планете, жизни

детей в особенности, направлено отравленное жало современной войны. Вот почему Леонов-публицист настойчиво и последовательно ставит вопрос об уничтожении атомно-водородной дубинки, требует «обезвредить жало войны», ибо нет желаннее картины, когда «загнанная в тупик гадина, подобно скорпиону, жалит самое себя!».

Однако художник, пишущий об ужасах и трагедии прошедшей войны и глобальных размерах возможной нейтронно-ракетной катастрофы, не впадает в черный пессимизм; не растерянность и отчаяние характеризуют его мироощущение, а вера в торжество разума и справедливости, в добрую волю борцов за мир, простых и честных людей, которые способны остановить агрессивные силы империализма. Он верит в прочность мира на земле. «Я не верю в войну, она означала бы конечную степень отчаянья и безволия к жизни, биологическую обреченность людской породы...», «верю в неистребимый инстинкт жизни; он и на этот раз, подобно автопилоту, выведет человечество из самого крутого и опасного виража его истории», так как, считает писатель, «истинная история человечества... целиком покамест впереди!». Во имя этой великой цели писатель требует постоянно помнить о прошлом, о тех, кто положил свой труд, вдохновение и жизнь «в фундамент завтрашнего дня», взыскательно, по большому счету упрекает современников в том, что они недостаточно осмысливают уже происходящее и поразительно мало глядят в будущее, в которое уже ступили. А между тем, пишет он, «никогда с такой остротой не было у нас потребности думать, искать, осмысливать свой путь в завтра», осуждая в то же время ревнителей так называемой западной свободы в «пренебрежении к будущему».

Говоря о современном тревожном состоянии в мире, Леонов пишет: «...море истории беспокойно как никогда, человечество держит завершительный, самый что ни есть гамлетический свой экзамен на аттестат высшей зрелости, а по существу — целостности». В этих словах — широкое обобщение, выражающее вековое стремление народов к единению и братству. Век научно-технической революции ускорил процесс сближения людей на планете, и Леонов, философски осмысливающий опыт и уроки нашей эпохи, назвал современное человечество единой плотной семьей — «до такой степени плотной, что народы слышат за не в меру утончившейся стенкой голоса и самое дыхание своих соседей. Человеке-

ство поставлено в необходимость очень интенсивно, объединенно обсудить создавшиеся условия, выработать наилучшие способы человеческого общежития». В таком сплочении и единении народов писатель видит залог мира, спасения жизни на планете, цивилизации. К этому он зовет всех людей доброй воли на земле — встать на защиту мира и будущего. Уход от этой проблемы, от современности ведет только в небытие, в смерть, от которой не спасут даже подземные бункеры, если даже купить себе за дорогую цену железобетонную квартиру — гроб в подземном райском царстве, где тебе обещают долгую жизнь и предоставляют возможность благополучно переждать атомную катастрофу на поверхности земли, как это убедительно показал писатель на примере мистера Мак-Кинли.

Дважды, в статьях «О природе начистоту» и «О большой щепе», Леонов скажет о себе, о работе писателя: «Не грозна, к сожалению, наша сила — пузырек чернил да квадратный метр письменного стола: не велик плацдарм для наступления на прелестно оборудованную ведомственную твердыню с мощным гарнизоном». Однако этот невеликий плацдарм оказался настолько широким, что он вместил в себя весь мир со всеми его современными злободневными проблемами, его длинную историю и большое будущее. Более того, этот плацдарм оказался еще и неприступной

крепостью разума и справедливости, правды и честности, такой крепостью, из которой писатель успешно ведет бой одновременно на двух фронтах. На фронте экологическом — за сохранение окружающей среды, родной природы и бережное отношение к лесному богатству страны, и на фронте идеологическом — за сохранение мира и жизни на земле, за правду и справедливость, за свободу народов и высокое звание человека, бой против современных буржуазных идеологов войны и агрессивных сил империализма, бой против войны, деспотизма и насилия — против смерти. И в том и в другом случае, на обоих фронтах, писатель выступает как представитель великой Советской страны, но говорит от имени человечества и истории.

От квадратного метра письменного стола до необозримого плацдарма современной международной жизни — таков диапазон публицистической философской мысли Леонова — художника и гражданина, в чьем облаке как бы воплощены наши основные представления о советском писателе, активном и последовательном борце за жизнь и прочный, желанный мир на земле, за прогресс и будущее человечества. Таково назначение художника в современном мире. Этим во многом определяется место писателя в современной литературе, его вклад в общечеловеческую культуру.

Баку.



СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ — 50

Год 1934-й... Немногим больше десятилетия мирной жизни на советской земле. И считанные годы до второй мировой... В стране вдохновенно разворачивалось ударничество, поднимались новые города, тучнели колхозные нивы, все счастливее жили люди. В такой обстановке собрался тогда Первый Всесоюзный съезд советских писателей, и свет этой социалистической нови, естественно, находил отражение во многих выступлениях, во всем, что происходило в те дни в Колонном зале, особенно же когда на трибуну поднимались представители от колхозников, метростроителей, пионеров, летчиков, ткачих... Неудивительно, что А. М. Горький в какой-то момент своей заключительной речи заговорил стихами, приведя здесь же, между заседаниями, сложившиеся строчки о славных гостях съезда: «Прерывая наши беседы, блеском невиданных дел слепя, они приносили свои победы — хлеб, самолеты, металл — себя,— себя они приносили как тему...»

Мирный труд нашего народа, его непримиримая и неустанная борьба против сил зла, войны, человеконенавистничества — эта тема действительно была и остается одной из заветных в советской литературе. Все пятьдесят лет существования всесоюзной писательской организации тому достоверное свидетельство.

Настоящей подборкой «Новый мир» начинается публикацию материалов, посвященных знаменательному 50-летию.

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ



СОБЫТИЕ НЕБЫВАЛОЕ

Прошло пятьдесят лет, то есть полвека. Шутка сказать!

Однако постараюсь кое-что вспомнить.

Прежде всего вспомнился августовский московский вечер. Солнце еще стояло довольно высоко, но рабочий день уже окончился и на улицах было полно прохожих.

В эти часы Москва особенно прекрасна: уже не лето, но еще не осень. Только яркие астры в цветочных магазинах и желтые груши на лотках уличных продавцов говорят, что сентябрь не за горами.

В Охотном ряду на фасаде Дома союзов громадный плакат, возвещающий, что здесь состоится Первый Всесоюзный съезд советских писателей.

Событие небывалое, быть может, даже мирового значения.

Причастность к этому событию заставляет меня испытывать волнение и на некоторое время оттесняет все прочие волнения, связанные с моим душевным настроением.

Вхожу в парадные двери Дома союзов. Хорошо знакомая белая лестница, в два марша уставленная корзинами цветов, которые придают ей особенно торжественный вид.

По лестнице поднимается множество людей. Почти все они хорошо мне знакомы. А иные даже друзья. Это все писатели. То и дело раскланиваюсь, обмениваюсь дружескими рукопожатиями, а иных даже похлопываю по плечу: вот, дескать, где бог призвел встретиться! при каких необыкновенных обстоятельствах!

Большинство уже то, что называются «известные писатели», а некоторые даже «выдающиеся».

До сих пор мы все, советские литераторы, встречались от случая к случаю, в редакциях журналов и газет, в так называемых

литературных салонах вроде «никитинских субботников», на дружеских вечеринках и т. д.

Теперь же все здесь, в Доме союзов, налицо.

Знаменитый Колонный зал уже переполнен. Внизу, в партере,— делегаты с решающими и совещательными голосами, наиболее почетные гости, а наверху, по-театральному «на галерке»,— гости съезда попроще: красные женотдельские платочки, ковбойки комсомольцев, даже галстуки пионеров.

Между белоснежных колонн как-то особенно по-праздничному горят хорошо знакомые люстры в форме рождественских елочек, унизанных огоньками.

Не без труда пробираюсь в гудящей толпе и каким-то чудом занимаю свободное место не слишком далеко от сцены, где уже величественно рассаживается президиум.

Вокруг знакомые лица, но много и незнакомых: это главным образом представители отдаленных областей и автономных республик нашей великой родины.

То там, то здесь мелькают национальные костюмы: черкески, полосатые среднеазиатские халаты, тюбетейки, вышитые белорусские и украинские рубашки, папахи.

Здесь представители всех народностей.

Зрелище незабываемое. Триумф национальной политики.

Кое-где попадаются европейские клетчатые пиджаки, шерстяные гетры, грубые туристские башмаки. Это гости из разных стран — Германии, Дании, Англии, Франции, Америки. Иные из них с решающими голосами. Иные просто почетные гости. Иные наблюдатели, приехавшие собственными глазами взглянуть на небывалое зрелище объединения советских писателей в

одну дружную семью первого в мире пролетарского государства.

...Шум, гул голосов, восклицания, шарканье ног пробирающихся к своим местам...

Помнится, как вдруг все смолкло и наступила напряженная тишина. В президиуме возникла высокая фигура Максима Горького. Хорошо знакомый облик: волосы коротким ежиком, несколько скуластое лицо, усы, опущенные вниз, и между ними полсолдатски выбритый подбородок, напряженно сдвинутые брови.

На Горьком элегантно темный костюм, тот самый, что Горький надевал в торжественных случаях. Он очень уважал этот костюм, сшитый еще в Италии, и шуточно называл его «гранитовый» — и по цвету, и по фактуре, и по прочности...

Голубая сорочка. Гладкий ультрамариновый галстук. Высоко поднятые плечи...

Он обвел переполненный зал острым взглядом, и все встали как один человек. Разразилась продолжительная овация. Горький несколько сконфуженно поморщился и, наконец дождавшись тишины, начал свое вступительное слово следующим образом.

— Уважаемые товарищи,— говорил он негромким глуховатым голосом, по-волжски окая.— Прежде чем открыть первый за всю многовековую историю литературы съезд литераторов Советских Социалистических Республик, я — по праву председателя Оргкомитета Союза писателей — разрешаю себе сказать несколько слов о смысле и значении нашего союза. Значение это — в том, что разноплеменная, разноязычная литература всех наших республик выступает как единое целое перед лицом пролетариата Страны Советов, перед лицом революционного пролетариата всех стран и перед лицом дружественных нам литераторов всего мира.

Колонный зал замер, вслушиваясь в каждое слово, произносимое Горьким.

— Мы выступаем,— продолжал Алексей Максимович пророческим тоном,— в эпоху всеобщего одичания, озверения и отчаяния буржуазии,— отчаяния, вызванного ощущением ее идеологического бессилия, ее социального банкротства, в эпоху ее кровавых попыток возвратиться, путем фашизма, к изуверству феодального средневековья...

Туча фоторепортеров со своими «ФЭДами», лейками, зеркалками надвинулась на Горького. Защелкали затворы фотоаппаратов, мелькнули, как молнии, вспышки магния, застрекотали камеры кинематографистов, озарились белые колонны. Почти вплотную к лицу Горького придвинулся прожектор киношного юпитера, и ослепительный свет заставил Горького сильно зажмуриться. Он замотал головой, и лицо его стало раздраженным. Он протянул руку к прожектору и сердито, совсем не ораторски, а по-домашнему, по-стариковски произнес:

— Уберите эту чертову свечку!

И погрозил пальцем.

«Чертова свечка», зашипев, погасла.

Таким в моей памяти запечатлелось начало съезда, который продолжался более двух недель, по 1 сентября.

Запомнилось несколько крылатых выражений, рожденных ораторами съезда.

Сразу же понравился постоянно повторяющийся афоризм:

«Писатели — инженеры человеческих душ».

Это крылатое выражение впоследствии приписывалось разным лицам, но на самом деле его автором был Юрий Олеша, который за несколько дней до открытия съезда употребил его в своей статье, напечатанной, если мне не изменяет память, в «Известиях».

Другая крылатая фраза родилась уже на самом съезде, и ее автором был ленинградский писатель Соболев, произнесший с трибуны съезда:

— Партия и правительство дали писателю все, отняв у него только одно — право писать плохо.

Прочитывая этот афоризм в одном из своих выступлений, Горький заметил:

— Отлично сказано!

Помолчав, Горький добавил строго и задательно:

— К этому следует прибавить, что партия и правительство отнимают у нас и право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. Учить — значит взаимно делиться опытом. Только это. Только это, и не больше этого.

Произнеся слова «только это», Горький сделал паузу и наизидательно поднял вверх указательный палец.

Только это!

Запомнились мне также слова, произнесенные с высокой трибуны съезда, и до сих пор они не потеряли силы и значения.

— ...Мне кажется,— сказал тогда Горький,— что здесь чрезмерно часто произносятся имя Горького с добавлением измерительных эпитетов: великий, высокий, длинный и так далее.

Эти слова вызвали смех в зале, но, по моему, и через пятьдесят лет они весьма поучительны. С ними надо считаться и сейчас.

/Запомнилось мне также выдающееся по силе выступление Юрия Олеши, которое заканчивалось следующими словами:

— Все свое ощущение красоты, изящества, благородства, все свое видение мира — от видения одуванчика, руки, перил, прыжка до самых сложных психологических концепций — я постараюсь воплотить в этих вещах в том смысле, чтобы доказать, что новое, социалистическое отношение к миру есть в чистейшем смысле человеческое отношение. Таково возвращение молодости. Я не стал нищим. Богатство, которым я обладал, осталось; богатство, выражающееся в знании, что мир с его травами, зорями, красками прекрасен и что делала его плохим власть денег, власть человека над человеком. Этот мир при власти денег был фантастическим и превратным. Теперь, впервые в истории культуры, он стал реальным и справедливым.

Эти заключительные слова Олеши вызвали бурные аплодисменты.

Впечатление от выступления Олеши было так велико, что взявшая после него слово Сейфуллина начала свою речь так:

— Товарищи, очень трудно говорить после Юрия Олеши, после такой сильной писательской речи, после такого искреннего рассказа писателя о себе.

Многие считали речь Олеши лучшим выступлением на съезде. С этого началась всесоюзная — если не сказать всемирная — слава Юрия Олеши.

Двадцать шесть заседаний. Более трехсот делегатов с решающим голосом и более двухсот с совещательным.

Конечно, все они не имели возможности выступить на съезде, но значение съезда заключалось в том, что все это громадное количество литераторов, представлявших нашу многонациональную литературу, дышало одним и тем же: преданностью великим идеям Октябрьской революции, верностью партии, заветам Ленина.

Вот почему при закрытии съезда все делегаты и гости поднялись как один человек со своих мест, и под сводами Колонного зала загредел «Интернационал».

Когда делегаты съезда расходились, на улице толпа москвичей встречала их аплодисментами, многих писателей узнавали в лицо и пожимали им руки.

Съезд был всенародным событием и закончился банкетом все в том же Колонном зале, с импровизированными шутивными речами, танцами, музыкой, хоровым пением, чтением стихов и пародий.

Горький был центром этого праздника.

Присутствовало множество почетных гостей, представителей других видов советского искусства.

Помнится, что за нашим столом в фойе вместе с нами сидели и пировали знаменитые мхатовцы — Москвин, Тарасова, Еланская, Борис Ливанов, приехавшие сюда для того, чтобы позать руку своему старому, верному автору Алексею Максимовичу Горькому, отныне единогласно избранному съездом председателем Союза советских писателей, всей многонациональной советской литературы.

Передолжино.

МИРСАИД МИРШАКАР,
народный поэт Таджикистана



ИДЕИ ПЕРВОГО СЪЕЗДА ЖИВУТ И РАБОТАЮТ

Летом 1983 года в Доме творчества имени Серафимовича я неожиданно встретился с поэтом Александром Филатовым. Крепко мы с ним обнялись, да и слез не могли сдержать.

Кто-то из отдыхающих полюбопытствовал:

— Что, однополчане? С какого фронта? Александр Федорович гордо ответил:

— Да, солдаты одного фронта. Фронт этот — Первый съезд писателей.

Он ответил правильно. Мы были солдатами, а теперь вот — ветераны Первого съезда, положившего начало нашему писательскому союзу, открывшего новую эпоху в истории советской многонациональной литературы.

Когда я говорю «мы», то имею в виду поэтов и прозаиков моего поколения и наше тогда еще совсем скромное творчество... Хотя по своему запалу, по стремлениям оно не было скромным в буквальном смысле этого слова. Мы верили, что мы — новое поколение, что мы призваны служить родине стихами и прозой и должны сказать свое слово! Такая уверенность иногда переходила в браваду, некоторым казалось, что старшие наши товарищи по перу пишут не о том и не так, что мы, молодые, должны писать совсем иначе.

Мы увлеклись Маяковским, это, конечно, было хорошо, но должен признаться, что многих из нас привлекала главным образом броская и необычная форма его стихов и не всегда мы могли по достоинству оценить глубоко идейное существо творчества Маяковского. Короче говоря, пролеткультовские тенденции бродили в нас, несмотря на известное постановление ЦК партии от

1932 года. Съезд, развивший идеи постановления, словно бы открыл нам глаза, объяснил многое из того, что мы и сами инстинктивно чувствовали, но не всегда и не во всем могли разобраться. Съезд положил начало объединению писателей, преданных идеалам коммунизма. Устами Горького съезд во весь голос заявил о советской литературе как о литературе многонациональной и всесоюзной, как о явлении принципиально новом в истории мировой культуры...

Вспоминаю нашу таджикскую делегацию. Айни, Лахути, мастера признанные, почтаемые. Учителя. Писатели следующего поколения: Рахим Джалил, Улуг-зода, Рахим Хашим, Гани Абдулло... Я самый молодой. Меня даже милиционер у входа в зал заседаний останавливал и просил показать паспорт, не ткнул я внешне на участника съезда. Я был тогда секретарем комсомольской организации на Вахшстрое и редактором многотиражки. Писал стихи. Хорошо помню, как с гордостью осознавал я, что вместе с известными мастерами присутствую при истинно историческом событии в жизни литературы. Хотя настоящее понимание роли и значения Первого съезда писателей раскрылось позже, с течением времени.

Кое у кого из нас, молодых, в то время замечалось своего рода кокетство, поза, скорее всего вызванная неуверенностью в собственных силах: мы, мол, писатели из республик, к нам нужен особый подход, не помешает и скидка... И когда Горький в своем выступлении сказал, что национальные писатели в скидках не нуждаются, что они вместе с русскими художниками создают единую всесоюзную литературу и в

одинаковой мере ответственны перед историей, мы почувствовали, как поднялась в нас новая волна уважения к себе, большая мера требовательности и ответственности.

В речи Горького содержалась высокая оценка общественной и социальной роли писателя. Он говорил о том, что в эпоху активизации фашизма литература выступает как судья истории. Это заставляло каждого серьезно задуматься о своей работе, а молодых еще раз самокритично перечитать собственные, не очень многочисленные страницы. Мудрые слова Горького не потеряли своей актуальности и сегодня, когда в результате авантюристической агрессивной политики правящих кругов США и стран, выступающих заодно с ними, продолжается гонка ядерного вооружения и так серьезно нависла опасность возникновения ядерной войны. Да, в необычайно хрупком мире живет сейчас человечество...

Мы собрались на Первый съезд писателей — тогда в здание многонациональной советской литературы закладывались первые кирпичики. Известно, что к тому времени некоторые литературы уже имели свои традиции, славную историю и богатое фольклорное наследие, но много ли можно было пятьдесят лет назад назвать произведений, имеющих в е с о ю з н о е значение? Во всех ли литературах были тогда известные мастера? Да нет, не во всех. Например, казахская и киргизская литературы не имели еще общесоюзного резонанса. А сегодня без М. Ауэзова, Ч. Айтматова и некоторых других писателей мы представить себе не можем советскую литературу. Неизмеримо возрос и международный авторитет нашей литературы. Далеко за пределами страны известны имена М. Турсун-заде, Гафура Гуляма, Р. Гамзатова, К. Кулиева, Мустая Карима, А. Нурпейсова... И даже самые молодые литературы выдвинули таких писателей, как Ю. Рытхэу, Ю. Шесталов, Г. Ходжер. Народ, овладевающий вершинами культуры, рождает таланты. Многие приехавшие на съезд не имели даже среднего образования. В нашей республике в то время не было ни одного высшего учебного заведения, а теперь — и университет и Академия наук. Надо ли говорить о том, как расширился с тех пор кругозор литературы, как приблизилась она к сокровищнице знаний, добытых человечеством.

Вспоминая наше прошлое, видишь, что не быстро и не просто набирала силу многонациональная советская литература. На съезде впервые были произнесены слова о том, что партия дала нам все права, кроме права писать плохо. Но, к сожалению, и до

сих пор появляются неинтересные, скороспелые и неталантливые произведения, и сейчас не всегда мы бываем достаточно самокритичны. А о необходимости самокритики много говорилось на Первом съезде.

Оглядываясь назад, приходится признать, что нелегко, не сразу изживали мы в своем творчестве и догматическую приверженность к лозунгу, плакату, и боязнь острой постановки наиболее болезненных проблем жизни, и отношение к фольклору как к чему-то упрощенному, примитивному... Некоторые из этих грехов не изжиты окончательно до сих пор. А ведь как хорошо когда-то сказал Джон Голсуорси: «Писать должен лишь тот, кого волнуют большие, общечеловеческие и социальные проблемы».

Первый писательский съезд прошел в рабочей обстановке, по-деловому. Рабочим руководством к действию был признан на нем метод социалистического реализма, который потом вызвал столько споров. Да, иногда мы впадаем в необоснованные упрощения, иногда — в другую крайность: тоном в хитро-сплетениях излишне усложненных формулировок, теряем простую и ясную истину. Я понимаю социалистический реализм как умение увидеть перспективу развития реальности, как утверждение активности личности и народа, как утверждение новых, революционных идеалов. Социалистический реализм — не набор правил, как н а д о п и с а т ь, а мироощущение, видение действительности, точка зрения. Партия «бережно, уважительно относится к талантам, к творческому поиску художника, не вмешиваясь в формы и стиль его работы. Но партия не может быть безразличной к идейному содержанию искусства», — говорил Ю. В. Андропов.

Становление нового творческого метода в таджикской литературе, конечно же, было связано с учебой у русских писателей. Айни называл своим учителем Горького. Пайрава вдохновляли строки Маяковского. Но учеба учебе рознь. Например, в 30-е годы многие молодые поэты слишком буквально «наследовали» Маяковского, а прозаики начали писать под Шолохова. Естественно, это не дало плодотворных результатов, так как подражание всегда есть только подражание, а не учеба.

Надо понять, что золотой кишлак, о котором я рассказал в одноименной поэме, — это твой кишлак, тот, где ты живешь, и от тебя зависит, каким ты его сделаешь, сколько в него вложишь сил и труда.

Когда я писал эту поэму, я, конечно, не думал ни о каких формулировках, ни о ка-

ких теориях. Я старался жить жизнью своих героев, проникать в их чувства и мысли, видеть мир их глазами, и они, простые люди, как бы повели меня за собой, подсказали и идею, и композицию, и сюжет, и образы, и слова...

Известно, что советологи постоянно твердят о том, что социалистический реализм ведет к нивелировке и национальных литератур и отдельных творческих индивидуальностей. Это явные наветы! Заметьте себе, что талантливые писатели пишут по-разному хорошо, а не талантливые — однообразно плохо. «Творчество» последних часто напоминает мне стенографический отчет или доклад с пространным перечислением действующих лиц и тусклым изложением внешней канвы событий. А живую жизнь и живого человека не втиснешь ни в отчет, ни в доклад. Показать их во всей полноте и неповторимости может по-настоящему только художественная литература. Наши идейные противники часто спекулируют и популярным в последнее время термином «выравнивание», как бы не понимая того, что подтягивание творческого уровня национальных литератур не имеет ничего общего с унификацией.

К сожалению, по поводу унификации и нивелировки порой выражают беспокойство и наши друзья за рубежом, не всегда достаточно полно осведомленные о процессах развития советской литературы. Например, некоторые писатели Востока спрашивали нас: традиционно в таджикской литературе никогда не было ни драматургии, ни романа, а сейчас они есть — не европеизация ли это?

Нет, конечно. Мы учимся мастерству не только у своих классиков и фольклора, но и у русской литературы, братских литератур и у всей прогрессивной мировой литературы. Это одно. Другое то, что традицию нельзя понимать как нечто застывшее, раз и навсегда данное. Традиции развиваются и обновляются, обогащаясь живым творческим методом — социалистическим реализмом. Социалистический реализм предполагает и национальное своеобразие. В какой бы манере, в каком бы жанре мы ни работали, мы пишем о жизни своего народа, своей республики, и, если образ героя удался автору, он обязательно будет отмечен чертами национального характера. А в случае неудачи герои писателя любой национальности окажутся схематичными, пишет ли он пьесу, роман, поэму, в традиционном или новом жанре работает. Так что дело — в мере таланта, в мастерстве, в степени знания жизни.

Вопрос о повседневном, пристальном изучении жизни не сходит с нашей повестки дня начиная с года Первого съезда. Он не утратил своей актуальности и сегодня. Я понимаю изучение жизни не только как накопление фактов и впечатлений. Я понимаю это как приобщение к духовной жизни народа, к его психологическому складу. Ведь не выведешь на сцене и в книге, не изобразишь человека довоенного, скажем, уровня под видом нашего молодого современника — зритель и читатель это сразу почувствуют. Люди стали другими — по стилю мышления, поведения, даже и говорят теперь иначе; люди все время меняются. Чтобы это понимать, нужно постоянное живое общение с людьми разных профессий и возрастов.

Я уже писал, что работал в те далекие годы на Вахшстрое, был в самой гуще жизни своего коллектива. Я хорошо знал, чем тогда были довольны или недовольны рабочие, чему радовались, что их заботило, о чем они мечтали, из-за чего страдали. Они и до сих пор как бы живут во мне, все осталось в памяти. И это по сей день помогает общаться и понимать людей другого поколения. Пусть далеко не обо всем и не обо всех я написал, но всё и не все вошла в мои книги, но это была первая и главная школа, школа человековедения. Самая верная школа. Жаль, что теперь иные писатели не стремятся ее пройти. И даже если она не даст непосредственной творческой отдачи (повести, поэмы, романа именно об этой стройке, заводе, колхозе), все равно расширится кругозор, обогатится опыт.

Совершенно убежден, что истоки моего творчества — на полях Гиссарской долины, где мы, комсомольцы, помогали дехканам в преобразовании жизни на колхозных началах; в полях Куляба и Больджуана, когда я вместе с краснопочниками очищал землю от остатков империалистических наемников — басмачей; в бывшем кишлаке Душанбе, где ежедневно после лекций в совпартшколе я работал по благоустройству города, на строительстве; на плодородных землях Вахшской долины, возвращенных к жизни после сооружения грандиозной ирригационной системы.

Молодой таджикский прозаик Мухиддин Ходжаев работал в Нуреке бетонщиком. Кое-кто сомневался: стоило ли писателю жить и работать в Нуреке? Конечно же стоило! Я уверен, что люди, с которыми он общался, останутся навсегда в его душе и памяти. И представления о человеческой психологии расширятся. И язык обогатится. Такой добрый посев обязательно даст

свои плоды. Так я понимаю постоянную писательскую обязанность и потребность изучать жизнь.

Чем больше я думаю о Первом съезде советских писателей (мысленно сравнивая то время с нынешним), тем больше понимаю всю великую значимость происшедших перемен. Да, неизмеримо возрос международный авторитет советской многонациональной литературы. Тогда, на съезде, некоторые зарубежные гости смотрели на писателей из республик как на нечто экзотическое. Теперь нас знают, читают, с нами считаются. В социалистических странах издаются наши произведения. Я убедился, что и во Франции и в Западном Берлине знают таджикскую литературу. Не говорю уж о писателях зарубежного Востока, связи с которыми у нас особенно близкие. Нередко там относятся к нам как к учителям.

Мне не раз приходилось встречаться с литераторами Востока, и я снова и снова с удовлетворением отмечал, какой у них огромный интерес к нашей поэзии. Особенно к публицистическим стихам, гражданской лирике. В Индии, например, ценят выразительную отточенность стихотворной формы, любят оттенки слова, своеобразием лирического образа, но с захватывающим интересом слушают и гражданские стихи. Я спрашивал у индийских и афганских поэтов: почему? И они объясняли, что именно гражданские стихи помогают им бороться за новую жизнь. Такие стихи нужны, чтобы защищать и улучшать ее.

Интерес на Востоке к поэзии публицистической огромный, особенно к советской. Это нас ко многому обязывает. Прежде

всего нельзя создавать под видом гражданской лирики агитки-однодневки, которые лишь компрометируют подлинную поэзию. Нужна именно гражданская лирика — поэзия, проникнутая живым чувством, освещенная большой мыслью, насыщенная проблемами сегодняшнего дня. Наша таджикская поэзия насчитывает больше тысячи лет, и хотя традиции поэзии публицистической в ней совсем молодые, но уже есть и свои значительные достижения. Однако, мне кажется, мы постоянно должны думать о достойном продолжении этих традиций. Чтобы в гражданской лирике ощущался именно сегодняшний день. Мне, например, близка поэма Мумина Қаноата «Голоса Сталинграда». Она о войне, но пронизана как раз нынешним ощущением войны, памятью об ушедших. Хочется, чтобы так же горячо писали и о том, что происходит в мире сегодня, о том, что волнует все прогрессивное человечество.

Идеи Первого писательского съезда, идеи Горького живут и работают. Они продолжают питать и обогащать советскую литературу, сами обогащаются и развиваются вместе с ней. Они будут жить и работать дальше, составляя неиссякаемый творческий потенциал нашей многонациональной литературы.

Партия учит, что по мере роста культурного уровня народа усиливается воздействие искусства на умы людей. Тем самым растет и возможность его активного вмешательства в общественную жизнь. А значит, в огромной мере увеличивается ответственность деятелей искусства за то, чтобы находящееся в их руках мощное оружие служило делу народа.

Душанбе.

В. ЛИТВИНОВ



ШОЛОХОВСКИЕ УРОКИ

Над страницами «Донских рассказов»

1

В «Донских рассказах» своеобразный юбилей: шестьдесят лет назад, 14 декабря 1924 года, в московской газете «Молодой ленинец» был напечатан первый рассказ Шолохова — «Родинка». (До этого он выступил с несколькими фельетонами, тоже в комсомольской печати.)

Те двадцать пять рассказов, что последуют за «Родинкой» и в конце концов составят известный донской цикл, будут им написаны, можно сказать, в считанные месяцы. Один за другим они появлялись на страницах газет и журналов, и уже в начале 1926 года вышел сборник «Донские рассказы», а в конце года — другой, «Лазоревая степь». Замечу, что это был тот самый год, когда двадцатилетний Шолохов приступил к своему «Тихому Дону»...

«Донские рассказы» всегда будут читаться глазами великого романа, он всегда будет довлеть над этими первыми шолоховскими опытами. Здесь уж ничего не поделаешь, такова их непреложная литературная участь.

Это как с родственниками классиков — кто бы они ни были, внуки-правнуки, все равно любой из них интересен нам, пытливо вглядываются люди в лица, характеры, их манеру говорить, словно надеясь уловить там ответы чего-то сокровенно-непреходящего.

Понятно, почему первые, весьма слабые стихи Гоголя или летучие газетные фельетоны Ильфа и Петрова пользуются таким почтительным вниманием серьезного литературоведения, — написано ведь той самой рукой!

Шолоховские «Донские рассказы» словно приоткрывают дверь в святая святых писателя — его творческую лабораторию. Войдя в мир этих рассказов, получаешь возмож-

ность реально представить: вот так он пробовав перо, так искал художественные решения. Когда писал этого хуторянина, эту жалмерку — солдатскую жену, в глубине сознания уже держал образы Аксиньи, Григория Мелехова... Видишь: завершится этот цикл рассказов, напишутся эти вот строки — и вслед за ними, буквально с этого места, пойдет знаменитое: «Мелеховский двор — на самом краю хутора»...

Не потому ли в рассказах так задевают задним числом всем нам знакомые фамилии: Кошевой, Коршунов...

И сестренку пастуха Григория зовут так же, как и сестру Григория Мелехова, — Дуняткой, такая же она верткая, полная молодой жизни: «Смеются у нее щеки загоревшие, веснушчатые, глаза, губы, вся смеется...»

Мелькнула рыжая борода того самого Якова Фомина, предводителя банды, о котором мы потом много чего узнаем из последних глав мелеховской одиссеи. Кажется, голос самого Прошки Зыкова, верного спутника Мелехова, послышался в забавной истории о том, как пытался было казак, прозванный Колчаком, добыть молока от своей собственной буренки: «Утром снаряжаюсь корову доить, а она, проклятушная, на меня и глядеть не желает. Я к ней и так, и сяк, — нет, не признает за родню... Господи-милостивец, хотел приступить с молитвой, а как она меня стеганула, а я, грешник, — ее матом, и такую родителю субботу устроил, чистые поминки!»

Все это лежит на поверхности и доступно любому невооруженному читательскому глазу. Но есть еще наука, шолоховедение, и, как всякая наука, она не может удовлетвориться поверхностным, ищет обобщений — глубинных и глобальных. За прошедшие годы моменты сходства «Донских рас-

сказов» с «Тихим Доном» были прослежены буквально по всем линиям: сюжеты, пейзажи, речевые характеристики, своеобразные шолоховские концовки...

Дальше больше, со временем уже стали квалифицировать «Донские рассказы» как некий генетический код будущего романа, как желудь, в котором заключен и завтрашний могучий размах ветвей, и вся крона до последнего листка. Один из критиков написал, что «читатели, которые уже знакомы с «Тихим Доном», на страницах «Донских рассказов» найдут почти все мотивы, в будущем, после переработки и углубления, включенные автором в большую эпопею», а другой, беря октавой выше, нашел, что «в первой своей книге Шолохов дал, собственно говоря, полный конспект всего своего творчества»¹.

Неизвестно, как развивалось бы это крещендо дальше, если бы горячность комментаторов не охладил сам автор, Михаил Шолохов. Он по этому поводу заметил: «Некоторые литературоведы вырывают из текста слова, сходные места, выражения, ищут совпадения. Однако все, что они приводят в доказательство, на самом деле не имеет никакого значения в творческой истории создания «Тихого Дона»...»

Все, кто сталкивался с Михаилом Александровичем в жизни, знают эту резкую черту шолоховского характера: без околичностей, прямо говорить людям правду в глаза — и не только тем, с кем споришь, но и тем, кто, кажется, души в тебе не чаает. С какой влюбленностью в каждое шолоховское слово выстраивали в свое время критики концепцию «отщепенчества» Григория Мелехова, его катастрофического разрыва с народом. Сам автор в свете этой концепции изображался как принципиальный, непримиримый борец с подобными Мелеховыми... И то-то было замешательство, когда однажды Шолохов сказал о Григории Мелехове: нет, я вовсе не собирался «заклеймить», напротив, хотел показать в нем очарование человека...

Среди торжественных речей о наших творческих успехах он мог сказать с тревогой о другом — о том, что нашу литературу захлестывает волна серости, даже лучшие из писателей работают далеко не в полную силу отпущенного им таланта...

Так и здесь. Казалось бы, что худого, если в результате всех литературоведческих стараний да станет рядом с уже прославленными шолоховскими произведениями

еще одно, тоже по-своему замечательное, — книга ранних рассказов? Однако Шолохов неуступчиво отвел такой подарок: «...безусловно, «Донские рассказы» были пробой пера, пробой литературных сил... нельзя видеть предысторию там, где ее нет...» И уточнил при этом: «Кто-то из литературоведов вывел сюжетную линию «Тихого Дона» из рассказов «Кривая стежка», «Двухмужняя», «Лазоревая степь», потом снова «Двухмужняя» и снова «Кривая стежка». Это крошка какая-то получается, а не творчество! Если бы я так писал «Тихий Дон», с помощью ножниц и клея, то дальше «Кривой стежки» — одного из слабейших моих рассказов — я бы так и не пошел»².

2

Слова насчет крошки как нельзя лучше подходят для той ситуации, какая ныне наблюдается в обращении с жанрами, в понимании жанра.

Есть авторы, главная творческая задача которых словно в том и состоит, чтобы непременно «не попасть в жанр», сказать нечто вопреки жанру: подборку разнокалиберных стихотворений выдать за поэму, отрывки из писем и статей — за драму, рецензию приспособить под самоисповедь... «Смерть Тарелкина» теперь играют с танцами и куллетами, а «Барона Мюнхгаузена» изображают в лирическом ключе.

Скажут: на то они и догматы, чтобы было что нарушать.

Но ведь зачем-то искусство долгими веками все пестовало эти самые жанры, совершенствуя и оттачивая (подобно тому как природа стоически держится за свои отряды и виды, не соглашаясь даже на «козлотуров»)... И над проблемой «деления поэзии на роды и виды» мучился великий Белинский (как до него над этим мучились великие Аристотель и Гегель). И уже в наши дни Краткая литературная энциклопедия с запальчивостью, несвойственной этому роду изданий, старается убедить, что жанр есть «образование исторически устойчивое, твердое, проходящее через века. Жанр — это существенная закономерность, активно воздействующая на литературный процесс» (КЛЭ, т. 2).

Да, конечно, диалектика здесь необходима более чем где-либо. Надо ясно различать те случаи, когда небывало новое содержание, не спрашиваясь ни у каких энциклопедий,

¹ «Творчество Михаила Шолохова. Статьи, сообщения, библиография». Л. 1975, стр. 155, 156.

² Цит. по: К. Прийма, «Шолохов в Вешках» («Советский Казахстан», 1955, № 5, стр. 76).

самовластно разрывает старую жанровую оболочку, знаменуя возникновение новых, более сложных и тонких отношений между человеком и миром, между формой и содержанием этих отношений. За жанр никто не спросит, если автор действительно добивается идейно-эстетической победы!

Но иное дело, когда «жанроломкой» занимаются только потому, что это модно, что «писать в жанре» сегодня значит расписаться в собственной старомодности, в отставании от века...

И совсем плохо, когда это всего лишь лукавство бедного пера, которое «просто роман», возможно, и не осилит, а вот если какой-нибудь бытовой пустячок да подать в виде притчи, как говорят на Украине, преподнести читателю караса под видом пороса, то на такое непременно кто-то да оглянется, скажет: а что, тут что-то есть...

Однако жанр, бывает, больно мстит за себя. Особенно хорошо это знают в кино: сколько их прогорело, фильмов, где детектив рядили в нравоучительно-сентиментальные одежды, где трагическое ставили как буффонаду...

Не проходит даром пренебрежение жанром и для литературоведов (которые, казалось бы, должны понимать природу жанра лучше всех других, теоретически оберегать его). Известны многие и различные протори, возникшие на этой почве, я ограничусь только тем, что затронуто по ходу разговора, — случаем, когда «Тихий Дон» стали объяснять как проекцию ранних шолоховских рассказов. Это ли не забвение жанрового закона!

Раньше смутно представляли, чем отличается повесть от романа. Сегодня потерялась демаркация и между романом — рассказом.

Если вчера какому-либо маститому автору говорилось: «Ваш рассказ — совершеннейший роман в миниатюре», то все понимали, что это не больше как светский комплимент. Сегодня такое пишется с полной теоретической серьезностью (едва ли не в адрес каждой более или менее приличной новеллы).

Можно посмеяться над темным человеком, который думает, что писатель только потому пишет рассказ (а не роман), что у него материала маловато или недосуг писать длинно. Однако никто и не улыбнулся, читая ученые рассуждения о том, что автор записал «Тихий Дон» сначала в виде десятистраничных рассказов, а потом из них возвел роман-эпопею. Но ведь это азбучно, что у рассказа и романа не только цели

разные, разный материал, — сам генетический код иной!

Одного только Шолохова это рассмешило: какал-то крошка получается.

Но вообще-то Шолохов к проблеме жанра относится достаточно серьезно. Свою «Судьбу человека» он назвал рассказом (хотя почему бы этому замечательному произведению не объявиться «маленьким романом» или, на худой конец, «конспектом романа»?!). И первые свои фельетоны никогда не присовокуплял к первым своим рассказам, хотя подобная авторская вольность легко прощается всем, от классиков до самых сегодняшних авторов.

Не забыть, с какой твердостью прозвучал голос Шолохова на известной международной встрече советских и зарубежных литераторов в Ленинграде в 1963 году (встрече, посвященной как раз проблеме жанра, существованию романа как жанра). Как рьяно хоронили тогда роман на Западе, утверждая, что в наш динамический, сумасшедший век роман исчерпал себя: кому нужна его пристальность к человеческой личности как таковой, если человек стал песчинкой в кибернетически-космическато-атомной буре! Но Шолохов на той встрече так сказал: «Лично для меня вопрос о том, «быть или не быть роману», не стоит, так же как перед крестьянином не может стать вопрос — сеять или не сеять хлеб»...

3

После отрезвляющих шолоховских слов насчет взаимоотношений между ранним циклом и романом все в истории «Донских рассказов» как-то стало на свои места. Интерес литературной науки к ним стал более деловым, без того налета сенсационности, за которую было заплачено недешево — ведь поиски «сходства» отнимали у шолоховедения время, тормозили осмысление действительных достоинств ранней новеллистики Шолохова — в ее самоценности, независимо от «родственных связей».

А достоинства эти бесспорны.

Прежде всего здесь неповторимый шолоховский Дон. Стихия казачьего быта, казачьего говора. Донское в каждой малости, будь то детали быта или пейзаж. Но всего выразительней — характеры, каких, наверно, нигде больше и не встретишь. Удивительно спелось в них разновеликое: дух степной вольницы с истоиво «служилой» жилкой, трудный хлебопашеский опыт с лихой повадкой вечных конников, воителей, крутой нрав с простодушием, охотно откликающимся на шутку, на меткое слово...

Одним словом, казаки! Люди, которых Шолохов так хорошо знал сызмальства. («...Среди них я живу всю свою жизнь, с ними бок о бок работаю уже, надо признаться, много десятилетий. Они любимые герои и моих ранних рассказов, и моих романов, и более поздних очерков и статей» — это строки из недавнего, последнего шолоховского выступления в печати. Их принесла январская «Правда» в тот самый момент, когда писалась эта страница, и я завершил ими начатую фразу о шолоховских героях. Что касается самой статьи, то она представляет собой вступительное слово к шеститомной библиотеке «Родные нивы», выпуск которой начинает издательство «Художественная литература»³.)

Всегда жалко расставаться с полюбившейся книгой — перевернутая последняя страница словно отсекает от тебя тот мир где ты столько пережил, перестрадал вместе с героями, где кажется, знаком каждый хуторской двор и все тропинки, сбегающие к реке... «Донские рассказы» дают читателю Шолохова благую возможность снова вернуться в края где живут Григорий Мелехов и Кошевой, еще не убитый Макар Нагульнов...

Есть у этой книги и свое определенное место в той большой художественной летописи революции, которую советская литература ведет с первых дней своего существования. И если мы обратимся к ней за свидетельством о том как в реальности выглядел послереволюционный казачий Дон, что там творилось в напряженнейшую пору, когда гражданская война завихрялась действиями разрозненных банд, а колхозная новь еще только брезжила впереди, — конечно же среди первых объективно должна быть названа шолоховская книга. Потому что ту действительность она запечатлела во всем многообразии реальности, со знанием происходившего и з н у т р и.

В этом смысле донской цикл следовало бы назвать не столько предтечей «Тихого Дона», сколько его продолжением, цикл во времени точно ложится между событиями, заставившими Григория Мелехова утопить последние патроны в проруби, и реалиями «Поднятой целины».

Провидчески сказано на этот счет: «Книга «Донские рассказы» займет далеко не последнее место в литературе, посвященной воспроизведению эпохи гражданской войны».

Когда это сказано? В 1926 году.

³ Михаил Шолохов, «Человек на земле» («Правда», 20 января 1984 года).

Где сказано? На страницах журнала «Новый мир». Кстати, в пятом номере. В рецензии Виктора Якерина.

Журнал и сам был «начинающим» — выходил всего второй год. Но чутье к настоящей прозе имел — рядом с рецензиями на повесть Ивана Вольнова роман З. Бунинной, книгу исследований Виктора Шкловского был напечатан отзыв на первый сборник никому не ведомого провинциала Шолохова. Притом с такими похвалами, каких не удостоились все другие рядом стоящие. Будто чувствовал журнал, что привлекает автора, который, придет срок, за добро оплатит ему и «Тихим Доном» и «Поднятой целиной»...

Это теперь словосочетание «Тихий Дон» у всех на слуху, бесчисленно раз повторенное не только на книжных обложках, но и в названиях фирменного поезда и теплохода, колхозов и пионерлагерей, опер, фильмов, шоколадных наборов... Но уже тогда, в 1926-м, словно читая в мыслях молодого рассказчика, журнал написал многозначительно: «Эти рассказы ценны еще и тем, что все они посвящены Тихому Дону и, несмотря на это не повторяются и от каждого в отдельности веет своим, особым».

Т и х и й Д о н — слово произнесено!

Впрочем, теперь чего ни коснись в ретроспекции, все кажется вещим, все окрашено в магические цвета предчувствия.

Однако предположение, что книга «Донские рассказы» «займет далеко не последнее место», — оно действительно верно это реальность без какой-либо мистики. Поскольку любая настоящая книга знает такую службу — в большой литературной панораме «отвечать» за те или иные конкретные моменты истории. Совершенно определена эта роль и у «Донских рассказов».

4

У нас хорошо поставлено воспитание молодых писателей, разумно разработана его методика: семинары руководимые маститыми творческое наставничество вообще, слеты и конференции, зеленая улица молодым в писательский союз специальные номера журналов, даже специальная критика («Молодые о молодых»)...

Наряду с шадящей диетой есть и другие рецепты, один из которых однажды, на съезде казахских писателей, выразительно сформулировал Шолохов: «Мне рассказы вали как беркут воспитывает своих птенцов когда они начинают летать. Подняв их на крыло, он не дает им опускаться, а

заставляет набирать высоту и гоняет их так до полного изнеможения заставляя подниматься все выше и выше. Только при таком способе воспитания повзрослевший беркут научится парить в поднебесье».

Словом, о том как воспитывать, сомнений не существует.

Работу с молодыми несколько лимитирует другое: неясно, кого считать молодыми. Как угадать и теоретически обозначить.

Речь здесь даже не о тех парадоксах, когда молодыми именуют сорокалетних (и ничего не возражишь — чтобы написать, скажем, серьезную прозу или драму, человек должен обладать серьезнейшим жизненным опытом!). Еще более затейлива задачка, когда выступает с первым своим произведением автор пенсионного возраста — молодой он или какой?

Но такого рода затруднения при желании разрешаются просто, а мы имеем в виду нечто более сложное, как при теперешнем высоком уровне общего «версификаторства» и, следовательно при высокой усредненности всех начинающих как выбрать среди многих именно тех с кем собственно, и надо работать, не жалея сил и средств.— ведь ничего нет бесчеловечней, как гонять под облака молодого петушка, принятого за беркута...

В будущем такую научную методику непременно разработают но пока надо действовать эмпирически. Надо терпеливо вглядеться в то первое, что некогда возникло под пером молодого Пушкина, начинающего Льва Толстого... Что в них общего, или вернее, не общего содержащего гениальность уже на молекулярном уровне? Может из таких многих и разных наблюдений в конечном счете и удастся сложить некий свод критериев, этакий тест на гениальность?

Не последнее среди достоинств «Донских рассказов» — в них содержащийся богатый материал для наблюдений как происходит становление настоящего галанта чем он уже в своей молодости, с ранних проб отличается от ординарности, бескрылости, не-таланта.

С чего начинается писатель? Надо думать с вопроса элементарного — как и о чем ему писать. Рисовать ли самим пережитое или положиться на художественное воображение на волю фантазии?

И вопрос этот не такой уж наивный, как может показаться на первый взгляд.— за его простодушием встают если угодно все вечные дилеммы искусства объективное и субъективное, рациональное и интуитивно-чувственное, документальное и беллетри-

стическое, правда жизни и правда искусства... И к проблеме теории отражения это имеет отношение и к пониманию искусства как особой формы познания. Не надо думать что только высокогорным георетикам положено решать эти материи.— каждый художник так или иначе сталкивается с ними пусть и не прибегая именно к таким формулировкам, возможно, даже не подозревая об их существовании. И тем не менее эти вопросы решает — для себя и посвоему в процессе самого творчества, что называется, сама рука ищет и необходимо выбирает!

Но зачем каждому искать, когда за века уже накоплен какой опыт? Да обратиться за советом к старшим и умудренным собратьям, к теории, чего проще! Но на взывающего обрушивается обычно такая лавина разноречивых советов, что иному слабому и на ногах не устоять.

Конечно же, говорят ему одни, рисовать надо действительность, только то, что сам пережил, в искусстве все из первых рук! Это стало железной формулой непрекаемым законом для молодых: идите в люди, пишите правду! Поглядыте на классиков: биографами найдены отправные реалии буквально для каждой ими написанной строки всему оказывается, были свои прототипы, протофакты, проточувства...

Но если послушать другую сторону, то и ее аргументы не менее убедительны. Нет, говорят молодому писателю, искусство вовсе не для того существует чтобы копировать жизнь «удваивать» окружающее. Его миссия — открывать свою особую, художественную правду о человеке и мире. И оно отнюдь не гребует «признания его произведений за действительность», как нам объяснили классики философии.— в мире нет ничего правдивей художественного вымысла здесь высшая магия искусства, и перед ней отступает самая дотошная фактография! «Над вымыслом слезами обильюсь» — пушкинские бессмертные слова.

Так сталкивается несовместимое и иному писателю нужна целая жизнь, чтобы в конце концов прийти к пониманию, что никакая здесь не дилемма, не противостояние антимиров, а слагаемые все одной и той же сущности. Но до такой диалектики как говорится надо еще дожить добыть ее собственными мозолями и ушибами.

5

Что касается «Донских рассказов», то в свете вышесказанного они скорее являют пример книги, которая целиком обязана

непосредственной действительности. Сквозь рассказы явственно просматривается вся жизненная история молодого Шолохова.

Впечатления детства — в «Нахаленке»: точно так же маленький Миша рос в водовороте военных событий как же целыми днями увлеченно гарцевал со своими сверстниками по пыльным улочкам хутора Кружилина, где родился (и где до сих дней сохраняется дом Шолоховых, небогатая казачья хата, крытая камышом-чаканом).

Революция гражданская война, особо грозная на Дону, наступления и отступления, смена властей, немецкая оккупация, вешенский мятеж, бесчинства банд, смерти и пожары — все это рано вынуждало мальчишек становиться мужчинами. Пятнадцатилетний Михаил Шолохов, не закончив школьной учебы, уже принимает участие в общественной жизни станицы Каргинской, куда со временем перебралась семья. Он работает статистиком учителем по ликвидации неграмотности среди взрослых пашет землю, служит в станичном ревкоме в заготконторе Донпродкома...

Этот Донпродком даст потом сюжет для рассказа о трагикомических приключениях замкомиссара говарища Птицына. О жизни станичной молодежи писатель расскажет в «Батраках», а о делах первых комсомольцев — в «Пастухе» и «Червоточине».

Парни и девчата в Каргинской выпускали ежедневную (!) рукописную газету под названием «Новый мир». Организовали станичный драматический кружок. Маленький клуб каждый вечер набит битком — люди стояли в дверях висели на подоконниках. Спектакли драмкружка — единственное развлечение станичников после грудного дня. В первые советские годы для донского села это было взамен сегодняшних кино, радио телевизора лектора газеты...

А Миша Шолохов — душа кружка, без него не обходился ни один спектакль. На подмостках парень был как рыба в воде — ходил колесом мог и созорничать и отселятину понести но публиче это как раз и нравилось, хохот стоял оглушительный, «Мишку! Мишку! Шолохова! — гремел в ладони и топтал ногами зал перед поднятием занавеса. — Шолохова давай обязательно, без него дело не пойдет, не так интересно!»

И это почти каждый вечер. Когда же драмкружок переиграл все пьесы, какие только можно было добыть по тому времени — и комедии Островского из купеческой жизни, и забавные водевили Чехова, — нависла угроза репертуарного голода. Без

новых текстов клуб хоть на замок закрывай.

И опять выручил Шолохов. Сказал, что знает, где можно добыть новую пьесу — очень злободневную, о событиях гражданской войны. Обещание свое сдержал и к назначенному дню принес аккуратно переписанную в школьную тетрадь драму под названием «Генерал Победоносцев» — о том как красные казаки разгромили чванливого генерала вместе со всем его воинством, как пришла на Дон свобода...

Драмкружковцы и желать не могли ничего лучшего: это ведь была пьеса про них самих! Конечно же, герою дня Мише Шолохову с общего согласия была поручена самая боевая роль — чем еще могли они отблагодарить своего товарища!

Через некоторое время Шолохов изыскал и другую пьесу тоже из казачьей жизни. Текст все так же был переписан — неведомо откуда — в новую школьную тетрадь. Потом еще и еще...

Когда однажды в Каргинской на мельничном подворье расположился боевой комсомольский продотряд, добывавший по хуторам хлеб для молодой Советской республики и сражавшийся с кулачем и бандами Михаил не раздумывая записался в продотрядчики. Началась для него новая полоса жизни. Как много она значила в его судьбе, можно судить уже по одному тому что продотрядчики станут потом героями чуть ли не каждого второго его рассказа — «Шибалково семья», «Продкомиссар», «Жеребенок», «Чужая кровь»...

В шолоховской автобиографии (1931) сказано так: «С 1920 года служил и мыкался по Донской земле, долго был продработником Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года, и банды гонялись за нами. Все шло как положено. Приходилось бывать в разных перелетах...»

Был момент когда из глубин Украины в донскую степь вторглась банда батьки Махно — полоскались по ветру черные знамена анархии гремели пулеметные танчанки, конный отряд в тысячу сабель начисто разграбил Каргинскую, запалил хаты в разных концах.

Под хутором Коньковом были схвачены продотрядчики, один из них — совсем еще мальчишка. Бандиты прикладами втолкнули его в хату где правил суд не кто-либо, а сам Нестор Махно. Знаменитый бандит отличался таким капризом: любил иногда самозабвенно побеседовать с теми, кто через несколько минут будет повешен или поставлен к стенке.

На вопрос об имени, фамилии юный продотрядчик ответил:

— Шолохов, Михаил Шолохов...

— Ах, Шолохов, значит! — притворно обрадовался батька, ломая комедию перед своими молодцами. — А повертись-ка, дай побачу, шо это за Шолохов такой... Хоть знать будем, кого вешаем..

И тут совершенно неожиданно в диалог вмешался новый персонаж.

— «Вешаем»? Да ты что задумал, ирод окаянный! — бесстрашно бросилась на защиту паренька старая казачка, в хате которой обосновался Махно. — Он же дите еще, хлопец малый! Его же мать дома ждет... Или у тебя самого матери никогда не было?

— Была, была... — раздумчиво отвечал Махно. — Только не твое это, тетка, собачье дело...

Не повесил Махно молодого продотрядчика Михаила Шолохова в тот раз. Отпустил. «Беги к мамке, — сказал. — Но попадешься снова, тогда уж не обижайся вздерну на первом суку, не посмотрю, что ты Шолохов»...

Так он шутил, батька Махно, имя которого наводило ужас от Днестра до Волги. Изволил посмеяться над безвестным парнишкой.

Никому из товарищей в станице он не стал рассказывать, что пережил при той встрече с Нестором, на все расспросы только посмеивался (такой уж характер) — дескать, все как положено. Но в повести «Путь-дороженька» глазами юного Петьки Кремнева будет как бы восстановлена подробность за подробностью. Как ахнул, увидев бесконечную колонну всадников, над передним, будто подшибленное крыло птицы, грепыхающееся черное знамя, словно промчался мимо сам предводитель орды: «Под мышкой костыль, морщит губы — то ли от раны, то ли от улыбки. С задка тачанки ковер до земли свесился, пыль растрепанными космами виснет на задних колесах»; как страшны эти бандиты — враги всему живому, нет в них ничего общего с тем литературным фольклором, что умиляется лихим махновцам, — нет, это живодеры, убийцы, для которых чужая жизнь медной копейки дешевле: «Очнулся Петька и застонал от страшной боли, пронизывающей глаза. Тронул рукой лицо, с ужасом почувствовал, как из-под века ползет на щеку густая студенистая масса. Один глаз вытек, другой опух, слезился»...

Думаешь сегодня: а ведь тогда в руках Нестора Махно, очумевшего от самогона и пролитой крови, на какой-то миг оказалась

сама жизнь Шолохова, а значит, и судьба всего того, что должно было произойти потом! Слово по прихоти истории свел тот безымянный хутор две фигуры, по-особому меченные временем.

Уж кто-кто, а Махно не сомневался, что имя его останется в веках, что страшные рассказы про его Гуляй-поле будут шепотом передаваться из поколения в поколение. Однако история капризна и по-своему справедлива — минет совсем немного, и люди все реже станут вспоминать, что был такой Махно, и кем он был, и почему...

А другой, паренек, тот, что бесстрашно встал перед бандитом, он — придет время — напишет об этой эпохе книгу, которая станет известной целой планете.

Так и видишь: буравит Махно свирепым взглядом стоящего перед ним красного продотрядчика.

У парня по-казачьи крутой русский чуб над высоким лбом, синие умные глаза, невысокая коренастая фигура

— Значит, Шолохов, говоришь? Интересно, что ты за Шолохов такой...

Знал бы — как о й. Какой он, этот самый Шолохов.

6

Среди первых шолоховских фельетонов, датированных 1923 годом, есть аллегорическая историйка «Три» — о том, как на подоконнике в дворянской случай свел три разные пуговицы: одна когда-то была «приближена» к аристократической жизни, другая красовалась на буденовке, а третья — со штанов комсомольца-рабфаковца. бедового парня, мыкающего по общежитиям.

Даже эта сказочка содержит свой автобиографический момент — в том месте, где третья пуговица рассказывает о молодом хозяине, «вихрастом, с упрямым лбом и веселыми глазами», который с таким упорством овладевает науками, а в перерыве между занятиями подрабатывает грузчиком на вокзале. Унынья парень никогда не знает, всегда у него на губах: «Мы — молодая гвардия рабочих и крестьян»...

Это о собственной жизни в Москве. В 1922 году Шолохов приезжает в столицу с намерением поступить учиться на рабфак. На бирже труда на вопрос о специальности не без гордости ответил: «Продовольственный комиссар». Но такие по тому времени уже не требовались, отсюда, как сказано в автобиографии, «несколько месяцев, будучи безработным, жил на скудные средства, добытые временным трудом чернора-

бочего. Все время усиленно занимался самообразованием».

Лицо молодой литературной Москвы тогда являла «Молодая гвардия» — самая боевая из многочисленных гворческих групп начала 20-х годов: Юрий Либединский, Валерия Герасимова, Михаил Светлов, Артем Веселый, Михаил Голодный, Мэрк Колосов... Многие из них даже жили общежитием — всей Москве известный дом на Покровке. Тут споры, стихи, обсуждения, поэтические декларации — до глубокой ночи. Как к себе домой приходят рабочие парни с московских заводов, тоже начинающие литераторы.

Вспоминают: «Однажды на Покровке появился застенчивый, мало чем приметный внешне молодой человек. Принес он нам на суд свои первые рассказы. Это был Михаил Шолохов». Еще вспоминают, как успешно парень с Дона занимался в группе молодых прозаиков, которым тут же, на Покровке, читал основы художественного мастерства Виктор Шкловский.

С утра Шолохов мостил московские мостовые (его взяли каменщики в рабочую артель), вечера проводил у «молодогвардейцев», а по ночам писал свое. Это и были «Донские рассказы».

Когда писатель становится великим, даже первые его шаги представляются биографам как нечто монументальное, многозначительное в любой своей детали. Отмечая недавно шестидесятилетие с начала творческой деятельности Шолохова (в сентябре 1923 года первая публикация — фельетон «Испытание»), некоторые авторы писали об этом в духе торжественной увертюры «Князю Игорю»: вот сейчас распахнется бархатный занавес и начнется триумфальное шествие художника..

На самом же деле все выглядело куда проще — и жизненной. Не ведая о своем будущем, жили ребята «в буче молодой, кипучей». И голодно бывало и огорчений хватало. Сохранилось фото тех лет: стоят три паренька, совсем мальчишки, о чем-то жарко спорят. Тот, что посредине одетый в какую-то немислимую доху, — Александр Афиногенов, будущий известный драматург. Справа — Иван Молчанов, будущий известный поэт. А слева — Шолохов в зубах трубка непомерной величины, нечто вроде запорожской люльки, знай напичканные которые из казачьих мест! На плечах шинелишка, тоже удостоившаяся упоминания в мемуарах: «В редакцию пришел паренек в захватанной и порыжелой шапке-кубанке, свинутый на затылок, в каком-то полувоенном «лапсердаке», тоже изрядно поношенном и заштопанном»...

У этого, с трубкой, литературные дела в столице начинались совсем не триумфально. И чтение рассказов перед кружковцами не сопровождалось аплодисментами (комсомольская среда тех лет вообще была скупа на восторги). Вспоминают: «Был Шолохов крайне застенчив. Читал невыразительно, монотонно, неясно выговаривая слова. Нельзя сказать, чтобы рассказ произвел особенно сильное впечатление»⁴.

Как водится, прежде чем увидеть свое имя в печати, молодому прозаику все довелось испытать — придирки редакторов, хождения из редакции в редакцию, горечь отказов. Обычно все такое в творческой истории оставляет мало следов — никому не интересно коллекционировать свои неудачи. Но в шолоховском «досье» благодаря чистой случайности сохранились некоторые косвенные отголоски — то в архиве Д. Фурманова обнаружилась запись: «Слабый рассказ Минаева был принят из целей тактических... Хороший рассказ Шолохова из гражданской войны был отвергнут («Нам этот материал надоел!»); то в подшивке газеты «Молодой ленинец» сохранился номер с «почтовым ящиком», где редакция обычно сообщала неудачливым авторам причины отказа. И вот Шолохову: «Это еще не рассказ, а только очерк. Не спеши, поработай над ним, очень стоит. Введи в него больше действия, больше живых людей и не слишком перегружай образами»..

Еще сохранилось личное письмо — во время одной из отлучек в Вешенскую Шолохов писал товарищу, от которого зависела публикация рассказа: «Ты не понял сущности рассказа. Я хотел им показать, что человек, во имя революции убивший отца и считавшийся «зверем» (конечно, в глазах слюнявой интеллигенции), умер через то, что спас ребенка (ребенок-то, мальчишка, ускакал). Вот что я хотел показать, но у меня, может быть, это не вышло. Все же я горячо протестую против твоего выражения «ни нашим, ни вашим». Рассказ определенно стреляет в цель. Прочти его целиком редколлегии...»

Впереди все будет — и в редакциях признают рассказы, густо пойдут публикации, и не за горами первый сборник (тут же сразу и второй), сердечное предисловие А. Серафимовича.. Однако пока, на первых порах все-таки задержимся на неудачах, попробуем представить, что же в рассказах не устраивало редакторов, откуда такая откровенно кислотная реакция?

⁴ И. Лежнев. Путь Шолохова. М. 1958, стр. 42.

Жизнь своего родного казачьего края Шолохов знал в такой подробности и многообразии, что первый его сборник мог быть чем угодно — книжкой юмористических бывальщин, или бытописанием, или историческим повествованием. Ему по силам было рассказать о прошлом донцов (что он вскоре и докажет «Тихим Доном»), о царской службе, империалистической войне, революции...

Шолохов взял для своего первого цикла, по сути дела, всего одну тему — классовая борьба в послереволюционной донской станице. (Наверно, это тоже критерий для молодого таланта, — умение удержать себя от бесконечности соблазнов, от растекания по древу.)

Он взял одну тему, зато самую горячую, тревожившую в те годы всех и каждого. Кто кого? — этот вопрос тогда словно висел над всей страной, а значит, и над литературой.

Кто кого — это и схватка в открытую (на Дону особенно долго свирепствовали вооруженные банды), это и трещина, прошедшая между еще вчера мирными соседями. через семью, а то и через саму душу человеческую. Подспудное, неслышное — оно порой бывает еще острее, чем сабельная атака.

И эту свою задачу Шолохов-новеллист старался решить на полную глубину. Рассказы значительны не только многообразием подробностей и аспектов этой схватки старого и нового — в них есть подлинное осознание происходящего как решительного перелома во всей судьбе народной. Такой борьбы история народа еще не знала никогда! И Шолохов рисует ее на крайнем пределе, едва ли не каждый сюжет — смерти, чудовищные муки. Зная, что собой представляла эта борьба в условиях казачьего края, Шолохов — можно сказать, без жалости к эстетическому чувству читателя — рассказывал, как сыновья убивают отца, брат преследует брата, муж ведет «на распыл» жену, только что родившую ему первенца. Как из ночной тьмы стреляют через окно в упор, как продотрядчику набивают зерном распоротый живот, и по трупу потом безбоязненно прыгают степные пичуги, из глазных впадин поклевывая черноусый ячмень...

«Вы спрашивали о том, почему стал писателем или как стал писателем, — вспомнит об этих временах Михаил Александрович, беседуя в 1975 году со съёмочной группой Центрального телевидения. — Надо иметь в виду, что формировался я и отро-

ческие годы мои прошли в разгар гражданской войны. Тема была на глазах, тема для рассказов, очерков. Трагедийная эпоха была. Требовалось писать, больно много было интересного, что властно требовало отражения. Так создавались «Донские рассказы»...»

Все в этих рассказах на грани — откровенность подробностей и натуральность описаний, накал смертных страстей. Подумать голько, что можно сделать с человеком, какие грозные обличья могут принимать социальные бои! Шолохов словно стремился крикнуть своими рассказами: так было в жизни, это правда, от которой нельзя отводить глаза! И для дилеммы «кто кого» не существует компромиссов, люди бьются насмерть, до последнего.

Мне даже кажется, что «крикнул» он своими «Донскими рассказами» не только современникам, но и на годы вперед, до самых нынешних дней. Этот цикл непременно должны держать в памяти те, кому за давностью лет послереволюционная деревня видится этаким пейзажной лужайкой, на которой в завидном согласии живут-поживают не богатые и не бедные, а просто сельчане... (Другая крайность: там все были гадами, одна косная крестьянская среда, всем им — на Дону в особенности — новая власть вставала поперек горла.)

Нет, даже самый придиричивый редактор первых шолоховских рассказов не мог упрекнуть их в поверхностности решений или приглушенности тона. И если о «Донских рассказах» хотя бы сказать одной фразой, то она именно об этом говорит. Она выразительная картина классовой схватки.

В таком случае откуда же все эти экивоки: «не слишком перегружай», «ни нашим, ни вашим»? То была смущенность редакторов не перед недостаточностью, скорее перед избыточностью Редакторов, которые лучше всякого писателя знали, как надо строить рассказ о борьбе в деревне, какими подробностями его наполнять.

Уже в первой из опубликованных новелл, в «Родинке», Шолохов «не по правилам» огружал сюжет всякими приходящими моментами — у него героический командир эскадрона, проявляющий великую отвагу в борьбе с бандой в какой-то момент вдруг испытывает непонятную слабость («Опять кровь, а я уж уморился так жить... Опостыдело все...»); его противник, волчьего обличья вожак банды, узнав в убитом родного сына, целует стынущие руки Николки и стреляет себе в рога (за что «Ро-

динка» и удостоилась от критики сурового упрека в сентиментальности⁵).

Но появлялись новые рассказы из донского цикла, и подобные «контaminaции» в них продолжали множиться на глазах А вещи, заключающие цикл, такие, как «Лазоревая степь» или «Чужая кровь», и вовсе представляли собой психологически сложные, в чем-то даже неожиданные решения темы классовой борьбы

Белоофицер-каратель, творящий свой страшный суд над непокорным селом, готов сделать послабление для внуков старого Захара, пусть только попросят его как следует. Но нечто необратимое произошло в крестьянских душах, и младший, Аникей, на такое предложение отвечает поистине сакраментальными словами: «Поди к своему пану и скажи ему: мол, дед Захар на коленях всю жисть полозил и сын его полозил, а внуки уже не хотят. Так и передай!»

Но картина героической гибели братьев оказывается явно смазанной из-за мгновенного эпизода — старший, Семен, когда увидел жену с дитем на руках, дрогнул, сказал все-таки: «Попрошу...» Однако теперь их палач проявляет капризность права: «Ну, попроси, только у бога... опоздал у меня просить!»

Всех других разительней, пожалуй, зигзаг в поведении деда Захара: этот простой мужик, которому положено быть воплощением народной нравственности, присущей трудовому человеку сердобольности (вошь не убьет, отпустит на травку, ползи с миром, — есть такая сценка в рассказе), этот Захар, когда понял, что парней уже не спасти, вдруг выказал большую хозяйственную сметку — попросил у офицера отдать одежду и обувь с внуков («Нам по бедности стодятся»). И раздевает, не удручаясь, что тем самым продлевает их муку, тряпье ему все застило.

Отважный Аникей чудом избежал смерти, только ноги потерял нагой экзекуции. Он доживает до счастливых дней, но и здесь настигает его своя трагедия: невозможно хлеборобу быть безногим. «Гляжу, полозит мой Аникей по пахоте.. руками гладит, целует... Двадцать пятый год ему, а землю сроду не придется пахать... Вот он и тоскует...»

Такая сложная психологическая структура в рассказе «Лазоревая степь», полном алогических противоречий

Причудливо поведение, непредвиденно раскрываются характеры и героев расска-

⁵ См. В. В. Гура, Ф. А. Абрамов. М. А. Шолохов. Семинарий. Л. 1962, стр. 9.

за «Чужая кровь». Тот, кому волей всех обстоятельств, казалось бы, положено ходить в ярых врагах новой власти, оказывается спасителем командира продотрядчиков, больше того, становится ему вместо отца родного; продотрядчик же, хоть и слово верное дал, не в силах перебороть зов своей заводской родины в один из дней все-таки покидает старика со старухой поскольку считает — только так должен поступать, если «по совести»...

Неудивительно, что именно вокруг этих рассказов вырос за годы добрый штабель полемических статей. — такое никак не объясняется однослодно и однозначно.

Конечно, встречаются в шолоховском цикле рассказы куда более «линейные», где герои и поступки четко расставлены на противоположных полюсах. Но и в таких авторский интерес к человеку все равно шире сюжетной задачи, простое построение только отчетливой оттеняет неизменную пристрастность Шолохова к человеческим «подробностям».

8

Что же такое он хочет разглядеть в своих героях? Душевную неисчерпаемость? Особость человеческой индивидуальности? Вечную тайну духа?

Несомненно. Это для всякого настоящего художника обязательно и органично, без такого интереса какой же он художник?

Но за шолоховским человековедением еще что-то стоит довлеет еще какое-то невременное условие.

О человеке — как о народе! Любой из героев есть частица народной жизни, по-своему носитель народной психологии. Нет ни единого, пусть даже самого ничтожного, через судьбу которого не проходила бы большая история. Знание всей подноготной о нем, в том числе и зигзагов, и причуд, и тяжких недостатков, — это еще один штрих в облике народа, формировавшемся в веках, народного бытия, кардинальные черты которого еще ярче высветило пламя жестокой классовой борьбы.

Так бы я сформулировал шолоховский феномен.

В этом смысле даже в ранних своих вещах он был уже Шолоховым. Искал свое главное. За конкретными событиями и судьбами хотел разглядеть широкий жизненный поток. Уже писал жизнь народа.

Шестьдесят лет спустя появится статья «Человек на земле», помеченная 1984 го-

дом, пронзительно сердечная, она каждой своей строкой будет говорить: «Поклон вам низкий, люди земли..» Ища одну емкую фразу, которая охватила бы все, что великие художники прошлого прозревали в облике народа, в людях старой деревни, Шолохов скажет: современный читатель должен по заслугам оценить в их произведениях «как проникновенную их веру в трудовой талант крестьянства, силу разума и высокие нравственные его качества, восхищенное отношение к стойкости своего народа, боль за его скованную помещиками и царизмом мощь, так и стремление служить своим творчеством человеку-труженику...».

Это слова не только о других писателях, они и о себе. О том, к чему стремился на своей писательской стезе с первых шагов.

Всякий талант стоит на диалектических противоречиях, как хорошая речка на студеных ключах. Неудивительно, что многое из того, чего мы коснулись в связи с «Донскими рассказами», на первый взгляд кажется парадоксальным: всем понятно, что как большой писатель он начинался именно в этом цикле, и вместе с тем такая резкая граница между «Донскими рассказами» и «Тихим Доном», где он как бы уже другой писатель — романист, эпик, с другой системой художественного мышления... Или донской цикл — яркое изображение классовой борьбы, но три этом как никто другой Шолохов привнес в тему столько «побочного!» (Могли ли думать его критики пятидесятилетней давности, что как раз эта досадная «побочность» со временем станет предметом особого литературоведческого интереса, ибо в ней-то «всего отчетливей и прозвучали первые признаки художественной самобытности».)

Свое диалектическое противоречие есть и в нашем утверждении о том, что намеренно локальными донскими рассказами молодой прозаик уже стремился писать широкую народную жизнь. Тем более что даже самая что ни есть философская, глобальная мысль под пером Шолохова непременно обретет земное воплощение, отыщет свой житейский эквивалент.

Чтобы сказать, к примеру, о свободомыслии, неистребимом в казачьей психологии, Шолохов едва ли станет прибегать к публицистической речи, вспоминать Запорожскую Сечь или Стеньку Разина, — он просто расскажет, как некий казачина заявляется на станичный сход, объявляет целому обществу: что там ваш Александр Третий, если я и сам Александр, — «и плевать мне

на вашего царя!». Казака свирепо высекут за неуважение к высочайшему имени, а прозвище Александр Четвертый так и останется за ним до самой смерти («Путь-дороженька»).

И мысль о том, что ощущение большого мира всегда присуще простому люду, как бы тяжкий труд ни пригибал голову к земле, ни зауживал кругозор, он опять-таки скорее всего воплотит в живом явлении: «Лежа на спине, смотрел Григорий на бугор, задернутый тающей просинью, и казалось ему, что степь живая и трудно ей под тяжестью неизмеримой поселков, станиц, городов. Казалось, что в прерывистом дыханье колышется почва, а где-то внизу, под толстыми пластами пород, бьется и мечется иная, неведомая жизнь» («Пастух»).

Понятно, чтобы так рассказывать о народе, утверждать такой земной ракурс, молодому писателю необходим был особый инструментарий — свое слово, свой стиль. «Донские рассказы» с молодой откровенностью раскрывают перед читателем нелегкий этот поиск, в котором можно почувствовать и недовольство найденным и неудовлетворенность собой — это словно нерв иных рассказов.

Поиск стиля — как поиск себя.

Был соблазн лукавого ерничества, которого некоторым хватало на целую творческую судьбу; и у Шолохова получалось недурно: «А в Проваторовской на одних со мной чинах хлеб качал дружок мой, тесный товарищ Гольдин. Сам он из еврейскова классу. Парень был не парень, а огонь с порохом и хитер выше возможностей. Я — человек прямой, у меня без дуростев, я хлеб с нахрапом качал» («О Донпродкоме и злоключениях заместителя Донпродкомиссара товарища Птицына»).

Где-то рядом вставала и проблема сказа со всеми его выгодами. В сказе, повествовании от лица героя, избирательность взгляда освобождает автора от многих подробностей, сказ сообщает оригинальную характерность буквально всему, что попадает в поле зрения, а главное — дает выход голосу простого человека, ставшего центральным героем целой литературы: «На пробесне ворочаюсь я к ролным куреням из армии товарища Буденного, и выбирают меня граждане в председатели хутора за то, что имею два ордена Красных Знамени за свою доблестную храбрость под Врангелем, которые товарищ Буденный лично мне навешал и руку очень почтенно жал» («Председатель реввоенсовета республики»).

Однако оружие не по руке легко. Ни

сказом или аллегорией (испробованной в фельетоне «Три»), ни народной бывальщиной или шутейным бурлеском не поднять было той ноши, которую положил себе молодой Шолохов. Все это не пропадет для него бесследно, останется на творческой палитре, чтобы отозваться потом то Щукарем, а то и Андреем Соколовым (ведь знаменитая «Судьба человека» дана как раз в форме сказа). Но проблема стиля с этим пока еще не решалась.

Тем более не могла решить ее модная в те годы стилистика, которую называли прозой метельной, орнаментальной, рубленой, ритмизированной... Народному поиску Шолохова просто чужды были все эти красоты инверсий, эта многозначительная точка после каждого слова. Хотя, ничего не скажешь, и остался некий след в «Донских рассказах». Ибо стиль — это не только человек, стиль еще и время. Потому где-нибудь в «Коловерти» и можешь встретить: «Хорунжий. Погоны новенькие. Пробритый рядок негустых волос. Свой: плоть от плоти, а стесняется Пахомыч, как чужого».

Но верно сказал кто-то из шолоховедов: иному года требовались, чтобы превозмочь модные соблазны, а он в одном-двух рассказах «переболел», как детской корью, и на всю жизнь приобрел иммунитет против инородного.

Вот с модой другого рода у него и в самом деле стычка была резкая. Ни до, ни после он не вмешивался в чужую творческую лабораторию, не сравнивал стили, но тут по молодости лет не сдержался, гневно написал во вступлении к одному из своих рассказов (к «Лазоревой степи») о тех, кто позволяет себе спекулировать на серьезности темы, заниматься этаким литературной демагогией по поводу очень большого и горького для народа.

«В Москве на Воздвиженке в Пролеткульте на литературном вечере МАППа можно совершенно неожиданно узнать о том, что степной ковыль (и не просто ковыль, а «седой ковыль») имеет свой особый запах. Помимо этого, можно услышать о том, как в степях донских и кубанских умирали, захлебываясь напышенными словами, красные бойцы.

Какой-нибудь, не нюхавший пороха, писатель очень трогательно рассказывает о гражданской войне, красноармейцах, — непременно — «братишках», о пахучем седом ковыле, а потрясенная аудитория, преимущественно — милые девушки из школ второй ступени, щедро вознаграждают читающего восторженными аплодисментами.

На самом деле ковыль — поганая белобрысая трава. Вредная трава, без всякого запаха. По ней не гоняют гурты овец потому, что овцы гибнут от ковыльных остей, проникающих под кожу. Порошкие подорожником и лебедой окопы (их можно видеть на прогоне за каждой станицей), молчаливые свидетели недавних боев, могли бы порассказать о том, как безобразно просто умирали в них люди...»

Написал в горячах, видимо имея перед глазами конкретную ситуацию, когда его на московских литкружках учили, как надо было писать о войне на Дону. Потом остыл, в следующем издании снял вступление к рассказу, никогда больше его не печатал. Но говорится же: слово не воробей. Текст стал достоянием литературоведения, его много и разнообразно толковали, порой с прямо противоположных позиций⁶.

Мне же думается, что эта филиппика тем знаменательна в писательской судьбе, что ею словно был прочерчен окончательный рубеж между различными формальными поисками и тем принципиально реалистическим, жизнеподобным стилем, к которому все очевиднее склонялось перо. Даже не то что склонялось — во многом рождало его, открывало впервые в литературе этот неповторимо шолоховский стиль.

Жизнеподобен он в том смысле, что способен охватить все, что человеческой жизни присуще, — от вечного, от социально значимого до бытовой малости и тонкого интимного движения. Жизнеподобный еще и потому, что это ничем привходящим не деформированный способ просто видеть и просто рассказывать о жизни — как есть...

(Представляю недовольство понятиями «простота», «жизнеподобие» тех, в чьих глазах они как бы скомпрометированы современным умением литературы видеть действительность сквозь призму мифа и притчи, подтекста и параболического времени... И горе было бы всему этому «простому», если бы, кроме Шолохова, за ним не стояли еще имена, скажем Рублева и Чайковского, Чехова и Толстого, Твардовского и Валентина Распутина. К тому же никто пока не сумел фактически доказать, что писать «жизнеподобно» легче, чем писать в формах притчеобразных или ассоциативно-психологических, не говоря уж о той патетической мелодекламации, которая так раздражала молодого Шолохова. Кто не умеет как Дос Пассос или Джойс, тому

⁶ См. А. И. Мацай, «Эскиз творческой программы («Лазоревая степь»)» (в сборнике «Творчество Михаила Шолохова»).

одно остается — писать просто. (Как в «Тихом Доне» или «Василии Теркине».)

9

Есть отличная тема для кандидатской диссертации: о глубине шолоховского слова, его полноте и многозначности, соответствующей той сложности мира, как она раскрывалась Шолохову. Под внешним пластом оказывается другой пласт, а то и еще один, более глубинный.

Первым обратил на это внимание мудрый старик Серафимович. В своем предисловии к «Донским рассказам» он заметил, что за лаконичностью их сюжетов таится большое, плотно спрессованное знание всех сторон донской действительности: «Эта сжатость полна жизни, напряжения и правды».

Спустя много лет к подобному пониманию придут своим путем и кинематографисты. Старые, полузабытые рассказы о старых уже делах вдруг заинтересуют своей созвучностью с нашими сегодняшними раздумьями о назначении человека на земле, неиссякаемых в нем запасах добра, о гуманистической основе революции. И тогда пойдут экранизации одна за другой с какой-то даже триумфальностью: «Пастух», «Жеребенок», «Нахаленок», «Донская повесть», «Когда казаки плачут», «Непрошенная любовь»...

«В прекрасном и яростном мире живут герои шолоховских книг — скажет артист Иван Лапиков, участник двух фильмов по Шолохову, — одни из них достигают своего счастья в борьбе, другим не удается найти его, но общий смысл, суть творчества Шолохова сводится к тому, что есть во имя чего принимать муку и переживать беду. Есть правда на земле и есть люди, способные и всегда готовые отстаять эту правду. Сознание этой истины пронизывает все, что создано Шолоховым, оно позволяет писателю оказывать столь глубокое влияние на все новые и новые поколения читателей».

Но, пожалуй, самая примечательная сторона киновоскрешения «Донских рассказов» — это активное высвобождение нравственной темы, странным образом не замечавшейся критикой раньше (не потому ли и приходилось автору самому растолковывать: «Я хотел этим показать, что человек погиб, спасая ребенка»; не потому ли «Жеребенка» долгое время не брали в сборники, а «Алешкино сердце» после одного тщательного редактирования приобрело концовку, диковинно противоречащую

всему замыслу рассказа: парень никого не спасал, но зато сам оставался цел и невредим, поскольку не успевал сорвать кольцо с гранаты).

Оказывается, жестокие эти рассказы, полные мук и крови, могли учить нравственному отношению к человеку рядом, сердечной участливости. И если устроить донскому циклу поверку на этот счет, откликнется едва ли не каждый рассказ «Семейный человек» — это строгий моральный суд над казаком Микишарой, который считал, что ради доброго дела можно пойти на любую подлость. Из-за своей сердобольности гибнут герои и «Жеребенка» и «Продкомиссара». Жалость к бабе, растерзанной на дороге бандитами становится причиной всех дальнейших злоключений красного пулеметчика Шибалка. Нравственная коллизия целиком определяет такие рассказы, как «Чужая кровь» или «Двухмужняя»...

Заметим, что все это написано во времена особого ожесточения классовой борьбы, не признававшей, казалось бы, никаких сантиментов и частных случаев, ничего кроме сакраментального кто кого!

Сегодня мы по праву гордимся высотой нравственной темы, которая определяет уровень целой литературы, всего лучшего, что написано Шукшиным, Федором Абрамовым, Бондаревым, Айтматовым, Беловым, Матвеевым... Но взглянем в «Донские рассказы» — они уже тогда воспринимали многие нравственные постулаты с нынешней ясностью: любой социальный конфликт невозможно решать без учета душевного состояния людей. Новая эпоха необычайно подняла цену человеческой личности, ее индивидуальности и особенности... Духовные принципы и критерии, выстраданные поколениями, получили от революции поистине государственный статус, ибо сама революция была во имя человека, народа...

«Донские рассказы» дают богатый материал для размышлений об активности нравственной позиции автора, о моральном выборе героя, о том, что масштабность личности — не только удел великих мира сего. Но особо важно обратить внимание вот на что: при таком неизменном доверии к нравственному опыту народа — всегда трезвое к нему отношение, никакой фетишизации. Любое проявление народной психологии всякий раз понимается конкретно: конкретно-исторически, в диалектике развития.

Можно высоко ставить иные черты типично казачьей натуры, собирательного ха-

рактера, которому в большой степени присущи и трудолюбие, и отвага в ратном деле, и чувство товарищества, и чувство юмора...

Однако ведь и махновцы были на редкость веселыми людьми, и летучие банды под командой белогвардейцев порой отличались бесстрашием удивительным. В рассказе «Смертный враг» мы видим отличную кулацкую спайку, этакое товарищество на крови, а казацкую «честь смолоду», оказывается, можно блюсти и таким образом, как Михаил Крамсков в «Коловерти», донесший карателям на родного отца и братьев...

Кому как не Михаилу Шолохову с хутора Кружилина было знать, как иные добрые души бывают способны на компромисс со злом, как мораль народную по своему воспринимали, кроме всего прочего, еще и голод, и непосильный труд, и нищенский расчет: как угодно, только бы выжить.

И снимает одежду с внуков перед расстрелом старый Захар, и пластается перед богатеем хороший человек Прохор (в «Червоточине»), а Федор в «Батраках» в какой-то момент отворачивается даже от матери-побирушки: одна чернота перед глазами.

Во всем шолоховском цикле рассказ «Обида», может быть, один из самых пронзительных (хотя его долго не печатали и обнаружили в литературном архиве уже после войны, в 60-е годы). В нем трагедия тем более остра, что несчастного убивает несчастный же: один бедняк ограбил другого, а когда уличен, почти не сопротивляется занесенным над ним карающим вилам — так уж положено, такая тут нравственная установка.

И это все не от неверия в народ и его нравственность — скорее от непринятия тех концепций народности, которые под знаком «вековой народной крепости» рисуют трудовой люд как нечто духовно застывшее, нравственно недвижимое при любых катаклизмах

В «Донских рассказах» молодой писатель хочет быть беспощадно честным перед вопросом, поставленным самой эпохой: что же оно, казачество, в момент столкновения двух миров?

Тут оскорбительной была бы та риторика, что «в МАППе на Воздвиженке». В самой жизни — бесконечно сложнее. Кулачье ненавистно, это выродки из народа — но из народа! Крестьяне-красные идут в атаку на крестьян-белых. Нет никаких человеческих законов над махновцами, но когда у них там встает вопрос о

сотнике Долбышеве, особо лютом до человеческой крови, они решают его по-божески — за шумом атаки пристреливают сотника своими силами («Путь-дороженька»).

Так же неоднозначно воспринимается Шолоховым и то новое в народной психологии, о котором вся предыдущая «вечность» понятия не имела. Нарождается это новое в страшных муках, на первых порах в нем и не признать воплощенных идеалов, не принять за «положительных героев» (по нашим нынешним высоким этическим меркам) иных корявых заскорузлых носителей этого нового, хотя сам автор допустит такими героями всего больше, видит в них действительно людей новой жизни.

А с ними все бывало: внук старого Захара не удерживается на героической высоте перед смертью, и отчаянный «комсомолист» Стелка вынужден крестить лоб, чтобы быть допущенным в семье к обеденному столу, и до глупого простодушен Шибалок, а Арсений Ключевин, первый среди коллективистов, в отношениях со своей «двухмужней» выглядит этаким роклей и страстотерпцем!

Смотрите, говорит Шолохов читателю, вот возникает небывалое единство хуторян: не просто участвовать в складчине — сознательно биться за новую власть не на жизнь, а на смерть. Но начинается это единство совсем не идиллически — с того, как рассказывает боевой «председатель реввоенсовета», что «старички, находясь позаду людей, сначала сопротивлялись, но я матерно их агитировал, и все со мной согласились, что советская власть есть мать наша кормилица и за ейный подол должны мы все категорически держаться». Матерно агитировал — приглашение к коллективному счастью совсем по-нагульновски!

Читателя не может не взять за живое крылатая фраза насчет того, что все бедняки — «кровная родня», ее в рассказе «Батраки» не однажды повторяет в разных ситуациях Федька Бойцов, нашедший в единении с себе подобными спасение для всей своей незадавшейся жизни. Но кто надумил батрака, открыл ему глаза на правду? Фрол-зубарь, которого грезвым и не увидишь, запойный человек, — хоть и побывал в Красной Армии и кловь за новую жизнь проливал, но вот оказался слаб насчет водки, валяется под забором. Как тут определить на «положительность» такого провидца и пропойцу, чье вещее слово чистым светом пронизало насквозь все произведение?..

По литературе мы знаем о тех, кто ставил советскую власть на землю, командуя

партизанскими отрядами, сооружая узкоколейку силами тысячной комсомольской братвы, несясь краснознаменной лавой в атаку на басмачей... Но ведь и так она ставилась: один на целый хутор, где едва ли не каждое окошко смотрит тебе в спину ненавидяще, и глухой волчьей ночью кто-то травит последнюю коровенку и стреляет в окно. Ефим Озеров в рассказе с таким намекающим названием — «Смертный враг» — живет словно в кольце, которое все плотней день ото дня. И чувствуя скорую развязку, один из товарищей таким вот образом утешает храбрца: «Попомни, Ефим, убьют тебя — двадцать новых Ефимов будет... Знаешь, как в сказке про богатей?»

Его убивают ночью на реке, и последнее, что горячечно всплывает в сознании, — слова: «Попомни, Ефим, убьют тебя — двадцать новых Ефимов будет...» И уже не почувствовал, «как в рот ему, ломая зубы, выворачивая десны, глубоко всадили кол; не чувствовал, как вилы пронзили ему грудь и выгнулись, воткнувшись в позвоночник»...

Пройдут годы — и жизнь упорядочит, упорочит это новое, чем при социализме обогатилась народная психология, народный образ бытия. Даст ему имя и формулу, прославит звонким стихом. Но сейчас, под взглядом молодого Шолохова, все это еще полно смутного брожения, в невидимой глубине разные корни крепко переплелись, и не просто старый уклад ломают, бывает, ломают хребет человеку, как вот героическому Ефиму на реке. Все прежние представления условны, все нужно заново пощупать собственными руками, во всех случаях жизни быть трезвым реалистом.

Это и есть он самый, конкретно-исторический подход, о котором мы так много говорим сегодня в связи с актуальными проблемами народности в искусстве и все еще неотчетливо представляем, как же его, этот подход, осуществлять всякий раз на деле, в конкретной ситуации. А между тем книги, подобные «Донским рассказам» (и такая не одна в богатом арсенале нашей советской литературы), весьма наглядно демонстрируют, как это делается, как бывает.

Что ж, скажем мы в этом месте, есть повод для очередного открытия еще одной грани старых шолоховских рассказов (им словно на роду написано постоянно быть открытыми)

Тут и еще одна примета, чем отличается молодой талант от молодого не-таланта.

Чувство завтрашнего, несомненно, есть важнейшая черта, по которой угадывается гений. Обратите внимание: всем великим она присуща без исключения. До сих пор остро современное находят у Пушкина и Шекспира, о Достоевском говорят как о художнике, который знал, что именно будет волновать искусство в конце XX столетия.

Жаль только, что все это в книгах гениев мы обнаруживаем только тогда, когда оно становится сбывшимся фактом. А что бы какому-нибудь из критиков 20-х годов открыть все это в «Донских рассказах» тогда, разглядеть темы будущего в этих внешне непритязательных новеллах о конкретных событиях на Дону — вот бы пользовался этот критик заслуженным почетом у шолоховедов наших дней...

10

Можно указать еще на одну характерность «Донских рассказов»: в них много детворы, «детвы». И не просто той, что вечно путается под ногами. — здесь детва сюжеты гнет и развязывает конфликты, часто является самой душой рассказов. Гибнет герой, спасая ребенка, жизнь другого круто меняется с появлением первенца, гретий становится убийцей из-за того, что дома «семеро по лавкам». Рассказ «Нахаленок» есть пример классического решения художественной задачи: революция глазами мальчишки.

У этой темы в донском цикле свойства напряженного метала — так разнонаправленно действует она. С одной стороны, кажется чудовищным присутствие ребенка среди этих мук и крови, но другая сторона — без детвы все происходящее потеряло бы всякий человеческий смысл. Ею словно заслоняется от безысходности смертных решений все нравственное, гуманистическое в народной психологии. В ней герои видят реальность своих надежд.

В «Донских рассказах» не только детей, вообще много молодых лиц, парней и девочек, словно сам мир еще удивительно молод, — эскадром командует восемнадцатилетний Николка Кошевой, в «Чужой крови» читаем: «Нагнулся Гаврила над белокурым, вглядываясь в почерневшее лицо, и дрогнул от жалости: лежал перед ним мальчишка лет девятнадцати, а не сердитый, с колючими глазами продкомиссар». И эта молодость даже трагическим обстоятельствам придает свою грозную свежесть, рождает чувство открытости жизненных картин в какие-то иные, более со-

вершенные времена. Это самой революции молодость, такими были на первых ее поворотах те, кого мы обстоятельно узнаем в «Поднятой целине», в «Они сражались за Родину».

«Донские рассказы» чем-то похожи на самого автора тех лет, когда он из Станицы писал по-своейски приятелю в Москву, не полагая, что когда-то эти его письма будут воспроизводиться в толстых академических фолиантах: «Подумываю о том, как бы махнуть в Москву, но это «махание» стоит в прямой зависимости от денег», а «денег у меня — черт-ма!». Таким он был тогда.

Мир молодой, писатель молодой, все в книге выдает эту молодость — и слог, и авторский взгляд, и огрехи, они в рассказе местами настолько очевидны, будто и не Шолохов писал! Никто из критически разбиравших «Донские рассказы» не мог удержаться, чтобы не пощипать вещи откровенно слабые, такие, как «Калоши» или «Кривая стежка». Тем более, что раньше всех это проделал сам автор говоря: «От большинства этих рассказов, если бы можно было, я с удовольствием бы сейчас „отмежевался!“»

Но хорошо резюмировал один критик, писавший о первом романе Николая Островского: недостатки его похожи на недостатки всех начинающих писателей, а вот достоинства — какие встречаются лишь у одного на тысячу. Молодой автор «Донских рассказов» мог бы вполне разделить подобную характеристику с Николаем Островским (которого по-братски любил, писал ему: «И вот я снова за столом, допоздна «перекрываю нормы», а наутро прочитаю и за голову хватаюсь... Сии писательские чувства тебе самому известны, а потому и расписывать их нечего»).

В главном он был серьезен не по годам. На трудные мировоззренческие вопросы отвечал без школярской робости, как бы переводя их в сферу больших проблем большого искусства. В какой мере донские рассказы обязаны писательскому воображению? Было бы наивно вести речь о том, что кирицу не надо жарить вместе с перьями и что любая художественная строка — всегда от воображения. И это при всем том, что исследователи за полвека сумели «документировать» многое и многое в шолоховских рассказах: имел место случай, так точно воссозданный в финале «Алешкиного сердца», натурально описаны похождения местных банд, хорошо угадывается Каргинский продком

и т. д.; а один из шолоховедов, И. Лежнев, тот и вовсе, называя эти рассказы «хрониками», писал: «Перед нами «хроники» — записи увиденного, услышанного, познанного Шолоховым в 1918—1926 годах. Это как бы сюжетно закругленные зарисовки с натуры».

Не в том дело, насколько вообразены те или иные герои и ситуации, здесь дорого писательское воображение иного порядка — умение Шолохова ощутить судьбы своих героев вписанными в широкий исторический процесс, понять человека как носителя народного сознания, всех и каждого испытать гребовательной гуманистической идеей.

Или относительно антитезы: жизненная правда и правда искусства. Ответ «Донских рассказов» и здесь отличается той нелицеприятной прямоотой, какая свойственна их автору: как бы мудро ни объясняла литературная теория отличие одной правды от другой, на свете не могут существовать две паритетно равноправных правды, два разных ответа на один вопрос. Правда одна, одна-единственная, и обиталище ее — всегда в жизни, в людях, в истории народа. Конечно, можно и помимо нее построить средствами искусства некую приближенную модель, так, чтобы все тут было выверено и отлажено — гармонизировано. И выглядело бы несравненно совершенней с эстетической точки зрения, чем это есть в самой действительности с ее диким нагромождением взаимоисключающих фактов, шелухой, неразберихой причин и следствий. Словом, всем тем, что и в самом деле так свойственно живой жизни.

Однако есть другой путь: прежде всего попробовать разобраться во всем этом нагромождении, самому распутать узлы, что намертво затянута, и разглядеть все переплетения корней, в конце концов познать ту решающую логику действительности, без которой невозможна речь ни о какой правде, будь она и самая что ни есть художественная.

«Донские рассказы» возникали на этом пути. Они по-своему крупно отвечали на трудные вопросы времени.

Ничего, что это был голос еще очень молодой, ломкий. Главное, что он принадлежал таланту истинному. Художнику, который завтра напишет «Тихий Дон».

Когда писались эти страницы, он был жив. Верстался номер журнала, выверялись цитаты... Вдруг эта невообразимо горькая весть из Вешенской: 21 февраля в 1 час 40 минут ночи...

И вот самая последняя, самая свежая цитата, касающаяся донских рассказов, которые, едва выйдя в свет, «сразу привлекли к себе широкое внимание читателей. Молодым орленком, широко раскрывающим крылья своего таланта, назвал М. Шолохова один из старейших советских писателей, А. С. Серафимович».

Цитата — уже из некролога

«Новый мир» ждал от него воспоминания о Первом съезде писателей, надеялся увидеть в августовской Москве среди ветеранов писательского союза.

Шолохов умер, оставив нам богатство своих книг, бесценные уроки мужества и таланта, свою большую мысль о народе.

«Произведения Михаила Шолохова, поряжающие силой художественной правды, повествующие о революционном обновлении мира, оказали огромное влияние на судьбы всей прогрессивной культуры человечества».

Оказали и еще столько окажут эти навсегда живые книги.



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Дм. Молдавский. Люди, жаждущие мира — Лев Озеров. Время. Жизнь. Песня. — Виктор Шилловский. По следам Льва Толстого. — В. И. Кулешов. Над пушкинскими страницами

ПОЛИТИКА И НАУКА

С. Десятнов. Правда истории — В. Буров. Патриот и интернационалист. — А. Кондратович. Когда прошлое оживает. — А. Грунт. Последние месяцы Временного правительства.

Литература и искусство

ЛЮДИ, ЖАЖДУЩИЕ МИРА

Клыч Кулиев. Махтумкули. Роман. «Ашхабад», 1983, №№ 5, 6.

Ходжанепес Меляев. Юность царевича. Ашхабад. «Магарыф». 1982. 244 стр.

Группа литераторов ехала на 250-летие Махтумкули великого туркменского поэта и просветителя. Поезд привез нас в Кизыл-Аrvat, в небольшой город, от которого, собственно, и началось наше путешествие. Мы двинулись через горы в Кара-Калу, удивительный край туркменских субтропиков. Мы проезжали местность, называемую «Лунными горами», — туго спрессованные конусы и шары песчаных холмов с вылепленными ветрами причудливыми рисунками. Они напоминали то колоссальный окаменевший мозг, то фантастических зверей, иногда поражали геометрической точностью. Мы пересекли пустыню, будто бы увиденную на какой-то другой планете. Впрочем ощущение это довольно скоро ушло — со стороны скал понеслась конница — то были мальчишки на великолепных, прославленных во всем мире ахалтекинских скакунах. А потом начались встречи. Парни в меховых бараньих шапках, девушки в платьях красных, зеленых и синих под аккомпанемент народных музыкантов и певцов встречали гостей танцами. Эти удивительно красивые лица с тонкими чертами, огромные глаза, эти движения, напоминающие то полет птицы, то напряжение всадника, то саму песню... Это не было ни инсценировкой,

ни игрой. Это был один из тех обычаев, который чудом сохранился до наших дней.

Поистине всенародный праздник! В честь него были построены дворцы культуры и музеи, воздвигнуты памятники. Человек середины XVIII века входил в нашу современность как друг, близкий и понятный нам. Мы были на открытии памятника Махтумкули в Кара-Кале; на высоком постаменте скульптор Байраммурад Эсенгельдиев воздвиг статую великого поэта. Открывали музей на родине поэта, где сохранились передаваемый из поколения в поколение его чайничек, вещи его эпохи. На стене висела карта путешествий Махтумкули: Хива — Лахор — Герат — Бухара — Самарканд — нынешнее Закавказье — нынешняя Астрахань. Это были маршруты скитальца и мастера человека, который подобно западноевропейским средневековым подмастерьям обошел десятки стран, встречался с сотнями людей.

...Как раз в эти дни я читал только что полученный номер журнала с новым романом Клыча Кулиева «Махтумкули».

Юность поэта. Вместе с автором мы идем вслед за ним по горам, по дорогам, отделенным от нас не только сотнями верст, но и двумя с половиной столетиями. Рас-

стояние огромное, восполнить многочисленными пропусками и лакунами в биографии поэта и в бытге его эпохи нелегко. Если о многих современниках Махтумкули существует целая литература, то исторические сведения о классике туркменской поэзии весьма ограничены. И воссоздание его реальной биографии так же сложно, как попытка по нескольким нитям восстановить рисунок огромного ковра. Но эрудиция Клыча Кулиева, его превосходное знание Востока вообще и в частности жизни и быта туркменских племен и родов, а главное, умение найти реальную подоснову стихов, дошедших до нас, помогает ему

Клыч Кулиев хорошо ощущает связь социальных, точнее социально-психологических, процессов времени с поэтическими мотивами, определяющими это время. Юноша из села Геркез, студент из медресе Ширгази в Хиве шаг за шагом превращается в замечательного поэта. Удалось главное: показать становление художника, его жизнь на фоне трагических десятилетий истории народа, ведь для Туркмении вторая половина XVIII века — набеги иноземных поработителей, кровь, смерть, грозящее полное уничтожение.

Роман Клыча Кулиева по-своему актуален — он о ненависти к войне, к насилию, к угнетению.

Междоусобицы туркменских племен, набеги хивинцев и бухарцев, кровавые походы шахского Ирана... И не только это. Один из героев романа напоминает слова купца, который побывал в далекой Индии, где вопреки всем легендам и сказкам также правят «корыстолюбивые деспоты». «Он рассказывал, что англичане прибирают страну к рукам с помощью оружия. Сейчас время сильных. А у простого народа откуда сила? Потому к народу и относятся пренебрежительно»

Писатель открывает для читателя не только те или иные черты уже забытой эпохи, но и нечто большее — восстанавливает систему отношений уже забытых, уже исчезнувших.

Но это лишь одна сторона образа времени. Есть и другая — груд, творчество, любовь, поэтическое прозрение Махтумкули. Умело используя немногие исторические источники описания, сделанные путешественниками и главным образом творчество самого великого поэта Клыч Кулиев создает рельефный, многогранный его образ. Мы видим поэта любящим и гневным, страдающим и счастливым, мы видим его на коне, в ювелирной мастерской, в поле и в пустыне. Он предстает перед нами как

возлюбленный, как путник, как ученик и учитель. Но всегда — поэт. И в этом большое достоинство произведения. Клыч Кулиев неназойливо, органично вносит в роман черты литературоведческого, стиховедческого анализа.

На конференции, посвященной изучению творчества Махтумкули, в Ашхабаде в конце прошлого года выступили многие писатели из разных краев и республик страны — Максим Танк, Ташли Курбанов, Ованес Гукасян, Мумин Каноат, Егор Исаев, Клыч Кулиев и многие другие. В числе затронутых проблем была проблема — поэт и современная ему мировая культура. Не буду пересказывать выступления товарищей и свое тоже. Сейчас, перечитывая роман Клыча Кулиева, в частности историю создания стихотворения «Откровение», я подумал о масштабах видения поэта, об его одержимости прозорливца и мыслителя:

И отвести меня в родимый дом
Пророк велел халифам четырем.
Помчались мы, и ночь была кругом.
Мы спешили, и мне «Ступай!» —
сказали.

Открыл глаза и встал Махтумкули.
Какие думы чередой шли!
Потоки пены с губ моих текли.
«Теперь блуждай из края в край!» —
сказали.

(Перевел А. Тарковский)

Это стихотворение не раз было объектом исследования. Еще Е. Бертельс сравнил его со стихотворением Пушкина «Пророк». Именно в этом стихотворении Махтумкули вышел к одной из мировых тем в поэзии — о роли художника в обществе его даре особого проникновения в мир и душу. И здесь Клыч Кулиев подсказал мне параллель, которая раскрывает еще одну черту образа великого туркменского поэта: читая роман я вспомнил протопота Аввакума с его страстной нетерпимостью, с его грозной убежденностью, с верой в величие его предназначения.

Было бы ошибкой «выравнивать» современный роман, возникающий в разных республиках нашей страны. За каждым народом — своя история, свои культурные традиции, свои и перемежающиеся влияния. Клыч Кулиев отнюдь не стремится создать роман «вообще». Конечно, он хорошо знает современную (и не только современную) русскую историческую прозу. Знакомы ему и классические своды национальной поэзии, и героический ее эпос, и поэтика народных обрядов. Все это входит в роман — порой реалистически-повествовательный, порой патетический, но никогда не погру-

жающийся в бытописание, в регистрацию старинных обычаев.

Роман, отмеченный высокой романтикой, сама его поэтика — это поэтика высокой стиглевой волны, накала, напряженности. Мы вступаем в мир, где романтизм отнюдь не приводит ни к идеализации истории, ни к упрощению ее.

Я очень давно хотел побывать в Куны-Ургенче, славном городе, расположенном на севере Туркмении, сравнительно недалеко от Нукуса и Хивы. И был рад, когда вдруг такая возможность возникла... Мы приехали на то место, где в далекие времена красовалась столица Хорезма, легендарный город, разрушенный монголами. То, что не сделали завоеватели, доделали ветры, время, пустыня. И все же даже сегодня, когда мы подходим к остаткам мавзолея Текеша, островерхому, напоминающему юрту, или осматриваем чудом сохранившийся орнамент купола мавзолея Тюрабек-ханым, мы не можем сдержать своего восхищения.

Минарет Кутлуг-Тимура... Мы обходили со всех сторон его высокий ствол, напоминающий ствол какого-то гигантского дерева с обрубленными ветвями, чуть погнувшегося от ветра. Его узорная кирпичная кладка и расположенные лентой надписи не отяжелили его стремительный полет ввысь, его устремленность в неведомые миры. Легкий его наклон заставил появиться не одну версию легенд — говорили о золотом куполе, сорванном захватчиками, испортившими точность плавных линий. Говорили и о нарочитом приеме архитекторов — уклон будто специально учитывал направление ветра. Говорили и о землетрясении... Но, может быть, древние зодчие, великолепно рассчитавшие и впечатление от храма и эффект его размещения среди многих сотен, а может быть, тысяч небольших домов, специально придали ему этот пугающий наклон, чтобы люди там, внизу, за своими повседневными делами, горестями и радостями не забывали о том, что все они «ходят под небесами» и тысячи напастей могут в любой момент обрушиться на их мирную землю, не забывали, как у нас говорят, о душе!

Впечатления этого дня снова пришли ко мне, когда я читал книгу Ходжанепеса Меляева «Юность царевича», куда вошли две его повести «Юность царевича» и «Звезды падают вверх». Обе адресованы детям.

Первая повесть о Джелал-ад-дине, наследнике Хорезм-шаха, полководце, который противостоял войскам Чингисхана.

Повесть эта показалась мне занимательной и особенно волнующей не только потому, что я читал ее вскоре после того, как посетил славные древности Куны-Ургенча (а действие ее происходит именно здесь), это было остросюжетное, опирающееся на легенды историко-романтическое повествование. Уже в предисловии автор стремится настроить нас на легендарность и патетику: «Каракумы, Каракумы... Люди называют твои чистые пески священным чудом природы, сравнивают их с материнским молоком, и ты, пустыня, действительно вскормила нас. Но поделись же и тем, что ты знаешь...»

Автору принадлежит несколько книг для детей и юношества — «Утренняя звезда», «Пламя», «Влюбленные». И в них и в повестях, включенных в книгу, мы как бы идем от одной легенды к другой, от одной притчи к новой. Герой повести Джелал-ад-дин и его младший брат предстают перед нами во время состязания по стрельбе из лука. Есть в этой сцене что-то от старой миниатюры. Крепка и уверенна рука юного героя. Благороден его лик и его душа. Мы невольно попадаем в условную стилистику традиционной легенды. Но автор, очень умело расставивший акценты в своей вещи, отнюдь не стремится упростить себе задачу — заявленный характер героя не камнеет, не застывает, далее он получит развитие и движение. Ни в коей мере не поступаясь законами романтического сюжета, автор умело подводит нас к главной мысли этой вещи: война — вот величайшее несчастье, рушащее не только человеческие судьбы и жизни, но и саму идею человечности.

Тот мнимый «сладостный покой», в который умело погружает себя шах Мухаммед, — это лишь временное бегство от реальности. Уйти от мысли об опасности можно только обманув себя и других. И этому мнимому спокойствию противопоставит та тревожность, которая заложена в характерах ведущих героев повести.

Патетичность, романтичность повести подчеркивают напряженность событий. Не забудем того, что действие повести происходит накануне страшнейшего нашествия завоевателей. И тезис — быть войне или быть жизни — уже нависает над мирной, но отнюдь не безмятежной страной. Автор правильно поступил, не навязывая своему повествованию мажорного финала, хотя бы потому, что дети — читатели повести — уже узнали из своих учебников о трагическом вторжении захватчиков.

Повесть Ходжанепеса Меляева по-хоро-

шуму педагогична. Познавательны описания, благородны мысли, вложенные в уста персонажей. Мне чрезвычайно понравилась сцена с чабаном, вносящая в повествование необходимый мотив социальности.

Отнюдь не смугили меня даже такие непривычные для русского читателя сравнения, как «теплая кошка радости ластилась в сердце». Другое дело, конечно, когда читаю: «Никогда в жизни такой вкуснятины не пробовал,— признался принц»— или: «„А ну давай, дружок, давай!“ — И он „давал“». Это выдается за речь XIII века! Вторая повесть Ходжанепеса Меляева «Звезды падают вверх» рассказывает о туркменских мальчиках и девочках в годы Великой Отечественной войны, о юности, павшей на самые тяжелые годы нашей жизни.

То чувство тревоги, которое так определенно прозвучало в первой повести, не оставляет нас и здесь: снова нависает реальный и страшный призрак войны, обнажающей в людях самое хорошее и самое дурное, несущее горе, обиды, смерть.

Ходжанепес Меляев с пониманием детского характера рассказывает о судьбе благородного, честного, умного парня по

имени Алмаз, о том подвиге, который он совершает в годы войны, став поперек пути вора и проходимцам.

Но это лишь одна из линий сюжета. Есть в нем и романтическая история Алмаза и девушки Айбиби. Подчеркнуто романтична концовка повести — рассказ о журналисте, который попал в глубинный район для того, чтобы побеседовать с председателем колхоза. И вот видит он посреди обширного цветника перед школой памятник из красного гранита. На полированном постаменте выбито имя юного Алмаза Гуламова, погибшего в бою...

Романтические повести Ходжанепеса Меляева безусловно заслуживают внимания и читателя и критики — перед нами живая страница современной туркменской литературы для детей.

Книги двух туркменских писателей отчетливо отражают особенность всей национальной литературы — люди, жаждущие мирной, созидательной жизни, всегда остаются ее героями, к ним всегда приковано особо пристальное внимание современных художников.

ДМ. МОЛДАВСКИЙ.

Ленинград.



ВРЕМЯ. ЖИЗНЬ. ПЕСНЯ

Михаил Матусовский. Избранные произведения в 2-х томах. М. «Художественная литература». 1982. Т. 1. Стихотворения. Поэмы. Песни. 639 стр. Т. 2. Семейный альбом. 559 стр.

Михаил Матусовский. Семейный альбом, М. «Советский писатель». 1983. 432 стр.

Степное раздолье юга, шахтерские городки, терриконы, Донецк, степные ветры, Млечный путь, курганы, орлы, дыхание древности — все это в стихах Михаила Матусовского сливается воедино. И степная его космогония убеждает в своей реальности.

Степь разверста, вовсю синяя.
Так сильна этой бездны власть,
Что стою, замерев, пред нею,
Опасаясь в нее упасть.

В лирике поэта как ее прямое продолжение рождается эпос. Он соединяет реальность степи, шахтерских городков, узкоколеек, сигнальных огней на путях с безмерностью ночи, бездны, полной звезд, вселенной.

Здесь мы с мирами говорим иными,
Здесь в ходе суток свой порядок есть.
Ночь провести под звездами степными,
Как будто «Илиаду» перечесть.

Степь шахтерская. Она стала в годы 1941—1945 ратной землей. Михаил Матусовский был в эти годы в войсках, воевавших далеко отсюда — на Северо-Западном фронте, где и нашел своих героев, вошедших в книги «Фронт», «Когда шумит Ильмень-озеро», «Слушая Москву» и другие. И даже тогда, во время войны, в четкости тонов и полутонов северного пейзажа он видел краски, «какие только есть у Феофана Грека»...

До ухода на войну Михаил Матусовский успел выпустить одну книгу стихов — «Моя родословная», и в ней уже достаточно вынятно проявилась манера этого поэта.

Рисунок ранних стихов Матусовского четок. Поэт упрямо работает над контуром, иногда двойной линией подчеркивает этот контур. Никакой размытости, неопределенности, невнятицы. Его натюрморты и жанровые картины, его интерьеры и пейзажи тяготеют к фламандцам. Каждый лист ка-

пусты, каждый баклажан, каждый персик выписан аппетитно. Каждый арбуз то позванивает, то покрывает при пробе. Сочность — вот словцо, необходимое для характеристики словесной живописи Матусовского. В прозе своей он такой же. Написанная в позднюю пору, она повторяет колорит ранних стихов, стараясь восстановить его на новом витке жизни, заставить слово служить зрению и слуху, осязанию и вкусу. Плотность словесной ткани, добротное выписанные детали быта, эпикурейское смакование житейских щедрот, полнокровие и полногласие — вот к чему с первых же удавшихся стихов стремится поэт. Его учителя — фламандцы и барбизонцы, если же говорить о русской поэзии, то это Багрицкий и Заболоцкий, Антокольский и Сельвинский, Луговской и Волошин. Столь разные, они заодно с Уитменом и Киплингом, особенно популярными в 30-е годы, были изучаемы и почитаемы Матусовским.

Лирика Матусовского не чужда и юмора, и легкой усмешки, и сатирической нотки. Муза его весела: «Поезда уходят из Ростова, а Ростов остался на Дону...», о фотографии: «Рядовых снимайте в профиль, а начальников анфас...»

Смена образных, интонационных регистров — лирики и эпоса, драмы (подчас и трагедии) и юмора, слез и смеха — очень оживляет стихи и поэмы М. Матусовского, делает их подвижными и выразительными.

Рано определившаяся, прошла через всю жизнь поэта внятности и четкости реалистической достоверности и романтического полета. Матусовский всегда заботился (хотя и не всегда ему в этом сопутствовала удача), чтобы у стихотворения был свой рисунок, свой колорит, своя тональность. (Для его поэтики характерно разворачивание образа от малого до большого, от круга по земле до витка в небе.) Матусовский стремился, чтобы стихотворение производило впечатление живого организма, а не лоскутного одеяла. В его стихах и поэмах есть внутреннее движение, несмотря на встречающиеся длинноты. Это качество вместе с чувством словесного мелоса привело Матусовского к созданию многих очень популярных песен: «На Безымянной высоте», «Вернулся я на родину», «С чего начинается родина», «Летите, голуби», «Вечер вальса», «Школьный вальс» и, наконец, «Подмосковные вечера», песня, ставшая спутницей людей разных поколений, превратившаяся в символ и позывные.

У песен, как и у людей, свои судьбы. Одни недолго просуществовали, другие, по всему видно, отнюдь не спешат уходить

из жизни. Даже простое чтение песен М. Матусовского «глазами» на страницах книги говорит, сколько в них напевного, складного и воистину лирического. Мы знаем поэтический мелос М. Исаковского и А. Фатьянова. У Матусовского своя стезя в песне, и эта стезя легко узнаваема.

Каждой строчкой и каждой фразой,
Всем, что в сердце у нас живет,
Мы тебе одному обязаны,
Лучший песенник — наш народ.

Песня — то лирика, то эпос, то сказание. Особенно убедительно и внятно она прозвучала у Матусовского в годы войны.

«Нигде я не видел такого бескорыстного братства, такой человечности и доброты, как на войне. Словно сознавая, что каждый может в любую минуту встретиться лицом к лицу со своей гибелью, люди спешили отдать все душевное тепло, на какое они способны», — пишет Матусовский в «Семейном альбоме». Бескорыстная отдача теплоты — это ли не косвенное определение поэзии!

В послевоенные годы поэт не покидает военная муза, ставшая его судьбой. «И опять — о войне, о войне — о другом пусть напишут другие»... Однако и сам он успел написать о многом другом.

В зрелые годы Матусовский изъездил много стран и свои впечатления выразил в разных стихотворных циклах. Италия и Индия, Франция и Греция, Турция и африканские страны, Япония и Англия... Не все стихи удачны, есть здесь и беглые мимолетные дневниковые записи. Остановляют внимание те стихи, где жизнь поэта подключается к новому материалу, а давнее входит в сложную ассоциативную связь с только что пережитым.

Такова поэма «Голоса Равенсбрюка»: фашистские застенки, судьбы узниц разных наций. Поэма воюет против поджигателей новой, атомной, войны. Историческая правда века — в пафосе отстаивания мира на планете.

Всего более, на мой взгляд, удался Матусовскому японский цикл. Едва ли не лучшее его стихотворение — «Баллада о хиросимской любви». Он и она. Молодые, влюбленные, Ромео и Джульетта из Хиросимы. Они навеки останутся и запечатлены на стене в виде вечных теней:

Разделены и все ж неразделимы,
Винновны без какой-либо вины,
Они уходят в сумрак Хиросимы,
Облучены, облучены, обречены...

Мастерство стиха в том и состоит, что заставляет читателя сопереживать поэту, понять все то, что родилось в его сердце,

сквозь которое проходят скорбные тени Хиросимы.

Как от долгой болезни освобождаясь,
я сдавал эту книгу стихов в печать.
Если счетчик Гейгера поднести к этим
стронам,
он, вероятно, начнет стучать!

Время ставит перед каждым художником задачи глобального порядка. Время хочет выразить себя в каждом из художников. Это право времени — внушать и требовать. Но долг каждого художника — соразмерять эти непомерные запросы времени со своими силами, с характером своего дарования. Многие крушения происходят оттого, что художник самонадеянно берется за непостоянное...

Хиросимский массив стихов Матусовского — безусловная удача поэта потому, что тут веление времени совпало с потребностью души самого автора, с потребностью именно такого художественного осмысления. Свои изобразительные средства поэт сочетал с теми традиционными формами стиха, которые подсказаны японской литературой (см. «Девять стихотворений в стиле танка»).

Пейзажи Матусовского многочисленны. Как я уже говорил, он любит живописать маслом. Его мазок дается широкой кистью, он плотен, если можно так сказать — плотояден. Вместе с пейзажами в прямом смысле слова мы находим у него пейзажи улиц, городов, стран, времени. Но он и портретист. В двухтомнике обращают на себя внимание стихи-портреты, в которые автору удалось вдохнуть лирическое тепло. Это Назым Хикмет, Соловьев-Седой, Роман Кармен, Дунаевский, Леонид Коган... Стихотворение «Берзаринштрассе», написанное в 1957 году, посвящено первому советскому военному коменданту в Берлине. Автор помнит его по годам войны: «Вся жизнь его похожа на былинку. И мог ли я представить в том году, что лет через пятнадцать по Берлину я улицей Берзарина пройду?!»

Всех больше из созданных Матусовским портретов впечатляет портрет его безвременно скончавшейся дочери. Это портрет-реквием, портрет-исповедь. Десять стихотворений, входящих в цикл «Лена», — десятистворчатый складень, изображающий уход близкого человека. «Все, какие знаю я, слова мне сейчас беспомощными кажутся».

Просто на минуту бы припасть,
Просто хоть частичку горя выплакать,
Причитая по-крестьянски всласть:

«На кого ты нас бросаешь, дитяtko?»

Слово произнесено — причитание, закливание. «Заклинаю я тебя: приснись — только так мы можем повстречаться». Строки этого цикла принадлежат к числу самых пронзительных. И такова уж природа лирического высказывания: оно не только выражает, но и изображает. Поэт говорит сквозь слезы, и я сквозь слезы вижу ту, которую он оплакивает, хотя в жизни не привелось с ней встречаться. Вижу ее лицо, слышу ее голос, листаю книгу, оставшуюся недочитанной на ее столе. Последние строки цикла «Лена»:

Судьба меня ничем не обделила,
Но если подводить итоги дня,
Два дерева над кунцевской могилой —
Все, что теперь осталось у меня.

Пройдя сквозь испытания бедами, наши чувства обостряются, и нам открывается то, что прежде, в дни безмятежные и беспечные, было от нас сокрыто. Так, Матусовский, видевший в юности природу как фон для своих стихов, восторгался красотой овощей и фруктов, в годы почтенные глубже стал постигать, что «растения — живые существа», что «они тайком испытывают стыд за наши прегрешения и проступки».

Стихи и поэмы словно находят свое продолжение в прозе поэта, в «Семейном альбоме».

С семейным альбомом мы встречались и раньше в его стихах:

В глухом переплете, в чехле голубом
Лежит в гардеробе семейный альбом, —
Там все представители нашего рода
Едва уместились на снимке рябом.

Дата — 1939. Название — «Семейный альбом». Годом раньше эта же тема в «Моей родословной», о том, как отец поэта, известный в Луганске фотограф, снимал горожан, рабочих, партизан с крестами «тяжелых пулеметных лент». Двумя годами раньше — «Случай с фотографом». Тридцатью пятью годами позже — «Уличный фотограф»... Сквозной образ поэзии Матусовского — еще одно подтверждение вариационной системы поэзии Матусовского. Этот образ прошел через все стихи поэта и родил его прозу.

Фото — остановленное мгновение. Вспышка памяти. Мы перелистываем семейный альбом, книгу мемуарную, выстроенную хронологически, и кадр за кадром, эпизод за эпизодом встают события жизни поэта и людей, встреченных на дорогах жизни. «„Семейный альбом“, — пишет автор, — это летопись в лицах, это попытка хоть на не-

сколько минут вернуть время, это вечно неостывающая память».

Стихи вырывали из памяти образ часто вне его связи с другими образами. В прозе мы многое узнаем во временной и причинной последовательности.

Будто несколько книг соединил Матусовский в одной. Воспоминания о протекшей юности и зрелости, серия новелл из жизни современников, записная книжка, история песен, созданных автором в содружестве с композиторами, заметки о стихе, об исполнителях. Все это — книги в книге. Они уживаются в силу того, что их объединяет личность автора. Матусовский в восторге от совета Пушкина Бестужеву: «...да возьми-ка за целый роман — и пиши его со всею свободой разговора или письма...» Этот именно принцип лег в основу «Семейного альбома», где автор не связывает себя композиционными и иными рамками и целиком отдается своевольной стихии па-

мяти, позволяя себе «забалтываться до нельзя» (слова Пушкина в связи с работой над «Онегиным»).

Альбом перерос рамки семейного, он все не семейный. Старое понятие семьи расширилось до понятия страны. В семейный круг вошли школьные товарищи, учителя, однополчане, соседи, спутники по дорогам жизни, коллеги, поэты и композиторы и многие, многие другие. Так в круг семьи вошли (без фамильярного заигрывания, а как наставники и образцы) Пушкин и Лермонтов. Завидная семья!

Двухтомник, являясь своего рода отчетом Михаила Матусовского о полувековом участии в советской литературе, вместе с тем как бы открывает новые возможности для новых его работ. Насколько сумеет автор реализовать эти возможности, покажет время.

Лев ОЗЕРОВ.



ПО СЛЕДАМ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Литературное наследство. Том. 94. Первая завершенная редакция романа «Война и мир». Подготовка к печати и вступительная статья Э. Е. Зайденшнур. М. «Наука». 1983. 789 стр.

В русских сказках герой часто оказывается на перепутье. Дорога ветвится, расходитя в разные стороны, и герой не знает, куда ему идти. Он выбирает один (из многих) путь и находит там то, что и было ему обещано, — коня, жену или смерть.

Бесконечны дороги, которыми ходил Лев Николаевич Толстой. Толстой ходил быстро, широко, и спутники часто не поспевали за ним.

Знаю это и я, потому что сам какое-то время пытался идти рядом с ним.

Современники сравнивали Толстого с Гулливером. И Толстой не уставал двигаться и изменяться. Он часто менял свой путь, поворачивался и шел в другую сторону, возвращался и опять шел вперед. И никогда не знал, что ждет его в будущем.

В Москве, на Кропоткинской улице, в Музее Толстого хранится сокровище, равного которому в мире нет. Это архив писателя. Архив огромен — Толстой несравнимо больше писал, чем печатал. Один архив «Войны и мира» составляет более 5 тысяч листов. Это, наверное, в два (или три) раза превосходит объем знакомого нам романа, романа не маленького.

Рукописи Толстого рассказывают о трудностях пути, о множестве дорог, которыми прошел гений к никем не обещанному ему счастью.

О трудностях пути Толстого рассказывает нам новая публикация «Литературного наследства».

Многие годы кропотливого труда, труда историка и археолога литературы, понадобились крупнейшему знатоку рукописного наследия Толстого Эвелине Ефимовне Зайденшнур, чтобы доказать: «Войне и миру» предшествовала неизвестная нам ранее целостная и завершенная редакция романа.

Издание ее — большое событие в нашей науке. Многое теперь становится ясным в работе писателя над «Войной и миром».

Есть странная вещь, остроумно названная академиком Д. Лихачевым «гипнозом «последнего текста». Д. Лихачев пишет о силе влияния на наше восприятие уже известного, знакомого, как бы предсуществующего. Но чтобы представить «реальный творческий процесс», отмечает он, нужно «освободиться из-под гипноза «авторской воли» и восстановить историю текста из-

под навязываемого... автором его последнего результата».

Под властью этого гипноза долгое время находились исследователи Толстого. Они смотрели на его рукописи «сверху вниз», они смотрели на рукописи через уже знакомый роман. Они выбирали наиболее непохожие на окончательный текст варианты и публиковали их «по ходу романа».

«По ходу романа», который еще не существовал.

Такая работа словно сужает возможности самого Толстого. Перед ним словно закрывали все дороги и указывали одну — ту, идя по которой он и пришел бы к «Воине и миру». Как в сказке. Возможности движения, изменения, развития были ограничены.

Каждое настоящее научное открытие расширяет мир. Работу, сделанную Э. Е. Зайденшнур, я назвал бы настоящим открытием. Она расширила то, чему, казалось, нет предела. — роман «Война и мир».

Есть такая наука — текстология. Текстолог работает с рукописями писателя. Сотни, тысячи листов, густо исписанных, испещренных пометками, разрозненные заметки, планы неосуществленных произведений, записи для себя, наброски... Умение читать рукописи, видеть за частным общим, умение нащупать замысел приобретает долгим опытом.

Так по оставшейся кладке, по рассыпавшимся кирпичам восстанавливают археологи контуры погибших дворцов и храмов и — дворца, разрушенного всеильным Самсоном.

Кажется, по установленным правилам заниматься архивом писателя можно, только получив на это его разрешение.

Я думаю, Лев Николаевич Толстой не сомневаясь согласился бы, чтобы его рукописями занималась Э. Е. Зайденшнур. Шестьдесят лет (!) работает она в Архиве Толстого. Несколько десятилетий изучает и расшифровывает она рукописи «Войны и мира». Она поистине хранитель великих слов. Много лет Э. Е. Зайденшнур работает над уяснением замысла Толстого. Она не устает заново открывать для нас великого писателя.

В неоткрытую Америку нельзя отправиться, не зная, что такое паурус, что такое руль, как движется ветер над океаном.

Долгие годы считалось, что «Война и мир» не имеет законченных редакций. Поэтому существовало много различных мнений о первоначальных планах Толстого, о том, что же, все-таки намеревался напи-

сать Толстой. Спорили, не спрашивая у самого писателя. Э. Е. Зайденшнур вступила в этот спор только после многолетнего изучения рукописей романа. Ее точка зрения подкреплена самим Толстым. Открытая ею первая редакция романа свидетельствует о широте замысла писателя.

Но для чего нам нужно читать (и публиковать) рукописи уже известных произведений?

Для того, чтобы увидеть знакомое произведение в движении. Нам кажется, что написанное не изменяется. Книги — кристаллы мысли, что-то остановившееся, остекленевшее.

Так яркий ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

Б. В. Томашевский сравнил книгу с ментальным снимком непрерывно движущегося предмета.

Это так и не так. Не будем углубляться в спор. Нужно «видеть», — как пишет сам Б. В. Томашевский, — в отдельном произведении не только его статическую форму... не только замкнутую в себе законченную систему», нужно «угадывать в произведении следы движения», нужно увидеть «в самих статических объектах... элементы динамики и кинематики. История создания и работы над произведением именно и дает этот материал. При изучении истории текста вскрывается уже не статическое явление, а литературный процесс его выработки и становления... Таким образом, история текста (в широком смысле этого слова) дает историку литературы материал движения, который не лежит на поверхности литературы, а скрыт в лаборатории автора».

Теперь, когда вслед за публикацией вариантов начала «Войны и мира» (том 69, кн. I «Литературного наследства») опубликована и первая завершенная редакция романа, мы можем видеть, как выросла роман, как изменялся замысел его, как рос сам Толстой вместе со своим произведением, видеть множественность возможных решений Толстого и понять, почему он выбрал именно это одно. Мы можем пройти след в след за Толстым, повторяя его путь, ход его работы. За семимильными шагами писателя нам, может быть, не поспеть. Но мы идем дорогой Толстого, пытаемся понять его и его роман, понять изнутри, в движении, в борьбе, в самоотрицании. Новое издание позволяет нам посмотреть на «Вой-

ну и мир» новыми глазами, как бы глазами самого Толстого.

Стою на перепутье, не зная куда пойти. Дороги разбегаются в разные стороны и скрываются за горизонтом.

Начну сначала.

В первой редакции романа три части: «Тысяча восемьсот пятый год», «От Аустерлица до Тильзита» и «От внутренних преобразований» Сперанского до конца войны 1812 года».

Первая часть, посвященная событиям в Москве, Петербурге, в деревне Лысье Горы и за границей, во время первых войн русских с Наполеоном, была опубликована в 1865 году в журнале «Русский вестник». Салон Анны Павловны Шерер, Безухов и Болконский, спор о Наполеоне; кутеж у Долохова; Ростовы в Москве: влюбленные Наташа и Борис, Соня и Николай; смерть старого Безухова, борьба за «мозаиковый портфель»; князь Андрей в Лысьих Горах, его отъезд в армию; русские войска за границей: Ростов, Денисов, Шенграбенское сражение — все это почти без изменений (с некоторыми сокращениями) вошло в окончательный текст «Войны и мира». Это крыльцо романа. Основное же его здание подверглось очень сильному перестройкам.

Толстой умел ссориться с самим собой. Он умел отказываться от сделанного, не боялся противоречий. Он бесконечно переделывал себя.

Как шла работа Толстого над уже созданной первой редакцией романа? Толстой в основном придерживался взятого в первых главах направления. Те же герои (что и в окончательном тексте) те же конфликты. И все-таки это какой-то новый, незнакомый Толстой.

Я кладу рядом две книги — одну, которую читаю уже лет семьдесят пять, знакомую, исхоженную вдоль и поперек, и новую книгу. Недоверчиво, ревниво сравниваю, как фотографии в альбоме, двух Толстых.

Прежде всего, Толстой работает над характерами. Данные эскизно в рукописи Николай Ростов, Борис Друбецкой, граф Илья Андреевич, Долохов приобретают в романе большую определенность. Так под резцом скульптора из камня рождаются лица.

Толстой отсекает все лишнее. Убирает развернутый авторский комментарий к поступкам героев, убирает рассказы об их переживаниях, оставляя в тексте две-три характерные детали. Многие подробности внутренней жизни героев опускаются, они уходят в подтекст.

Сравнение с айсбергом слишком избито, чтобы можно было его привести.

Толстой словно — с ходом работы над романом — все определеннее осознает изобразительную силу своего таланта. Многие знакомые по роману сцены в рукописи даны еще в пересказе. Толстой передает слово самой действительности, старательно убирая себя из текста.

Характеры оплотневают, утяжеляются.

Князь Андрей в этой редакции читает Канта. Он менее честолюбив («хочу славы, хочу быть известным людям») и не мечтает о своем Тулоне. Перед Аустерлицем он спокойно спит. А в бою? Он поднимает знамя только после того, как сам Кутузов пытается неудачно остановить бегущих. Дрожащим голосом Кутузов кричит «ура» и беспомощно машет шпагой.

А Пьер? Его увлечение масонством кратковременно. Масоны сами приходят к нему в дом. Это не Пьер находит их, а они выжирают его. Нет в первой редакции подробного рассказа о принятии Пьера в ложу, о ритуалах, клятвах, меньше разговоров и споров Пьера с братьями-каменщиками.

Вообще многие эпизоды, без которых, казалось бы, невозможен роман, дописывались на последнем этапе работы Толстого — работы над окончательным вариантом «Войны и мира». Это касается прежде всего глав, связанных с семьей Ростовых. В первой редакции, например, нет еще бала у Иогеля, на котором, как мячик, танцует Денисов, нет сцены объяснения Николая и Сони, нет признания Денисова Наташе. И знакомство князя Андрея с Наташей описано совсем по-другому. Болконский не слышит ночного разговора девушек. И расцветший на обратном пути князь Андрей дуб еще не ассоциируется с началом новой жизни для Болконского.

Я уверен — будь у Толстого возможность и дальше переписывать «Войну и мир», он бы переделывал роман бесконечно. И каждый раз появлялось бы новое произведение. Семь лет работал Толстой над «Войной и миром». Но посмотрите его корректуры — на их полях рождается новое произведение.

Думаю, что «последнего» текста не существует.

«Каждая стадия поэтического творчества есть сам по себе поэтический факт, — пишет Б. В. Томашевский. — Каждая редакция стихотворения отражает творческий замысел поэта. Наличие различных, разновременных «исправлений» (вернее — «изменений») свидетельствует об художествен-

ной изменчивости поэта... Для науки нужны все редакции и все стадии творчества».

Роман рождается как будто на наших глазах. История работы Толстого над рукописью — это история постепенного и неизбежного расширения масштабов повествования, углубления исторической перспективы, изменения угла зрения.

Но первая редакция романа, опубликованная «Литературным наследством», важна для нас не только в связи с «Войной и миром». Это, по сути дела, свой мир, со своими законами, отношениями, своим движением. Это новый роман Толстого, не известный нам ранее. Два романа — как дружественные державы. Они соседствуют и мирно сосуществуют, не отменяя друг друга.

Прежде всего это относится к третьей части, озаглавленной «От внутренних преобразований» Сперанского до конца войны 1812 года». Эта рукопись подверглась, пожалуй, наибольшей переработке.

Сохраняется основной принцип повествования — принцип одновременного параллельного рассказа о нескольких семьях. Но все решительнее вводится в роман новый герой. Это История.

Существует (почти уже век) легенда о первоначальном замысле «Войны и мира». Утверждают, что Толстой задумывал «хронику дворянской жизни», «дворянский роман» (в духе забытого ныне Д. Бегичева, автора «Семейства Холмских»). И только на последнем этапе работы перенес центр повествования с дворянских семей на историю народов.

Конечно, это не точно. Еще в ранней рукописи романа Толстой говорит: «...я старался писать историю народа».

Публикация первой редакции позволяет многое уточнить в споре о замысле романа. Но она рассказывает и о том, как менялись взгляды Толстого на «историю народа», менялись очень значительно. Толстой периода первой редакции еще не создал своей философии истории, того, что мы называем фатализмом Толстого. Точнее, он этого еще не осознал. Хотя отдельные мысли, напоминающие позднего Толстого, в тексте рукописи есть, они еще не объединены в систему.

За несколько лет до начала работы над романом, на 50-летний юбилей 1812 года, молодой Толстой устроил для детей в Ясной Поляне представление. В кабинете писателя был организован домашний спектакль. О нем рассказывает один из его участников: «Одни из нас были наряжены

русскими солдатами, а другие французскими. Из сахарной бумаги сделали мы себе кивера и кепки. За дверью падали из настоящих ружей, а на виду мы стояли друг против друга и наставляли палками. Французы падали, а русские кричали: «Ура-а-а!» (цитирую по вступительной статье Э. Е. Зайденшур).

Конечно, не таким представлял себе 1812 год Толстой. К тому времени он уже сам воевал и был в осажденном Севастополе. Но вспомним, что под Севастополем мы войну проиграли Наполеону, хоть и Третьему.

Молодой Толстой еще учил истории крестьянских детей, про которых он потом напишет, что это они его должны были учить.

Конечно, Толстой задумывал роман широко. Границы повествования постепенно отодвигались от 1812 года все дальше в прошлое, к 1805 году. Впереди был 1825 год.

Но роман получился еще шире, чем задумывался. Толстой вообще был из тех писателей, которые, начиная, уходят все дальше и дальше от первоначального задания, импульса. В работе они перерастают себя. И — свое время. История «Войны и мира» — это история преодоления себя. Это история сложного движения мысли, это рассказ о том, как История осознает себя.

Достаточно сравнить, как кончаются первая редакция романа и окончательная.

В первом варианте все должно кончиться так: французы выдворены из России. Большой смотр. Все кричат «ура-а-аа!». Кугузов плачет. Кричит и плачет Петя Ростов. Он жив. Жив и Андрей Болконский. Он стоит рядом с Николаем Ростовым, они радуются окончанию войны. О Наташе раньше Андрей говорит так: «Мы дружны и навсегда останемся дружны, но никогда она не будет для меня ничем, кроме младшей сестрой». Жив и граф Илья Андреевич.

Потом Толстой продолжает: «Обе свадьбы сыграны были в один день в Отрадном, которое вновь оживилось и зацвело». Это свадьбы княжны Марьи с Николаем Ростовым и Пьера с Наташей. Все Болконские и Ростовы живут, соединившись в Отрадном. Все счастливы.

На последней странице рукописи размашистым толстовским почерком написано: «Конец».

«Конец — делу венец». Почти сказочный, счастливый конец: «И я там был, мед-пиво пил...».

Толстой и хотел назвать эту рукопись

по-каратаевски: «Все хорошо, что хорошо кончается».

Впрочем, Каратаева в этой редакции нет, и нет прозрения Пьера, его сна о «живом, колеблющемся шаре», состоявшем из плотных сжатых, переливающихся капель.

Все действительно хорошо, и хорошо кончается. Но как кончается «Война и мир»?

Умер старик Болконский. Умер граф Илья Андреевич. Умер князь Андрей. Погиб мальчик Петя. Подробно описано, как живут княжна Марья с Николаем, Пьер с Наташей. Их жизнь не кончилась со свадьбой.

Роман Толстого «Война и мир» не имеет конца. У него нет крыши с коньком, которая бы прикрыла счастливые семьи. Роман к эпилогу расширяется, чтобы подняться вверх — к предвидению будущего.

«Война и мир» кончается сном Николеньки. В древности сны играли роль предсказаний. Увиденное расшифровывалось, переводилось на язык обыденности, и люди узнавали будущее.

Николенька видит себя и дядю Пьера в римских одеждах. Они стоят впереди большого войска на площади. Их ждет слава. Рядом с Николенькой стоит его отец, Андрей Болконский.

«Да, я сделаю то, чем бы даже он был доволен»... Так думает Николенька.

Это сон о декабристах, это сон о 1825 году. Мы видим, как, покидая роман, герои Толстого входят в Историю.

1812 год — важный рубеж для героев «Войны и мира». Он переворачивает их жизнь и расставляет все по-новому. Много лет исследователи спорят, как нужно понимать слово «мир» в названии романа. Но никто не сомневался в значении слова «война».

В первой редакции романа война еще не стала тем, чем она стала позднее для героев Толстого. Почти не сказано ничего о партизанских отрядах, об отряде Денисова, в котором и погибает Петя Ростов. Нет предсмертного сна Пети, «торжественно сладкого» гимна, который он слышит. Переписано все, что относится к Лысым Горам в 1812 году, смерти старого князя. Нет самой смерти Болконского-старшего с его бессмертным: «душа болит»...

Я не хочу расчертить журнальный лист пополам, чтобы подсчитать «убитки» и «прибыль». Толстой и его роман «Война и мир» ничего не приобретут и не потеряют от этих операций. Я хочу показать, как изменялся замысел Толстого, как создавался бессмертный роман.

Посмотрите, к примеру, как изменилось описание боя в Бородине. Как усугублен Толстым принцип разнovidения, как гениально он воплотился в окончательной редакции. Видение Кутузова, видение Наполеона, видение «постороннего» — Пьера Безухова. Как безбоязненно вводит Толстой в художественное повествование военно-стратегические отступления. даже — карты, свидетельства французских историков.

Толстой знал силу монтажа, силу сцепления эпизодов и эффект неожиданного соседства.

«Все соединить? — сказал себе Пьер. — Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли, вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо!»

«Сопряженные» эпизоды включаются в систему отношений текста и начинают работать, как поршни в моторе.

Спор об использовании Толстым документов и других источников в «Войне и мире» — давний спор. Не надо уравнивать Толстого с его источниками. Включенные в роман, документы утрачивают свою первоначальную функцию, они изменяются, словно переводятся на другой язык.

Опубликованная первая редакция романа — это и история преодоления документов. В некоторых эпизодах Толстой еще слишком зависим от них. Он пишет словно с оглядкой, инсценирует и психологизирует предоставленный ему материал. Постепенно он отходит от него, начинает обращаться более свободно, начинает спорить.

Что можно сказать еще о работе Толстого над первой редакцией?

Старое правило срафметики гласит: от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Не так в художественной литературе. Работая над первой редакцией, Толстой очень много переставлял местами. Он изымал готовые эпизоды из текста и ставил их в другое место. Так перестраиваются вагоны поезда. Монтаж многих эпизодов построен на со- и противопоставлении. Например, свадьба у Бергов и любовь князя Андрея к Наташе; Пьер на Бородинском поле и Элен в Петербурге; болезнь Николеньки и письмо из прошлого — Билибина Андрею.

Толстой вообще противился линейной логике развития событий. Он переклеивает эпизоды, меняет их местами, часто нарушая строго хронологическую последовательность. И часто, выстроив сначала события, словно в шеренге на плацу, он по-

том перемешивает события. В этом помог ему Стерн.

Вот как сам Толстой пишет незадолго до начала работы над романом. Он говорит, что романы пишутся так: «Сначала описание действующих лиц, даже их биографии, потом описание местности и среды, и потом уже начинается действие. И странное дело,— все эти описания, иногда на десятках страниц, меньше знакомят читателя с лицами, чем небрежно брошенная художественная черта во время уже начатого действия между вовсе неописанными лицами».

Работа над окончательным вариантом «Войны и мира» идет словно по пути «запутывания», усложнения повествования. Толстой намеренно затрудняет восприятие своего романа, «нагромождая эпизоды», часто прерывая нить повествования.

Вот как воспринималось это его современниками: «Рассматривая беспристрастно роман графа Л. Н. Толстого, мы находим его далеко несовершенным». Он «напоминает не столько художественные романы Вальтера Скотта или Диккенса, также обильные сценами и лицами, но правильные и гармонически скомпонованные, сколько те средневековые мистерии и романтические повести, где бесчисленные эпизоды громоздятся один на другой и лица сменяются, как в волшебном фонаре, являясь иногда неизвестно зачем и исчезая незнаемо куда».

Современники писали об алогичности построения романа. Но это была другая, им еще неведомая логика.

Приведу еще одну цитату из Толстого, в которой он, забегая вперед, отвечает своим критикам.

«Да не упрекнут меня,— пишет Толстой,— в подборании тривиальных [комических] подробностей для описания действия людей, признанных великими, как этот казак (Лаврушка.— В. Ш.), как Аркольский мост и т. п. Ежели бы не было описаний, старающихся выказать великими самые пошлые подробности, не было бы и моих описаний. В описании жизни Ньютона подробности о его пище и о том, как он спотыкнулся, не могут иметь никакого влияния на значение его как великого человека — они посторонни; но здесь, наоборот, бог знает, что осталось от великих людей, правителей и воинов, ежели бы перевести на обыденный язык всю их деятельность».

Но разве это не попытка дать новое восприятие известных событий, представить их как новые, никем еще не описанные?

Признание это характерно для Толстого. Быть может, поэтому оно и не попало в окончательный текст «Войны и мира».

Толстой постоянно стремился сделать все сам. Начиная от педагогики и кончая собственным способом доказательства теории Пифагора.

Так и в литературе. Толстой дает новые имена предметам. Он переименовывает действительное. Историческое, великое (как казалось современникам) он представляет в сниженном виде. Обыденное, бытовое поднимает до общечеловечески значимого.

Критика после выхода «Войны и мира» как раз и заметила эту особенность романа.

Гений — это всегда революция. Толстой преобразовал форму старого европейского романа. Он расширил его до границ безграничного — до эпоса. Сам Толстой сравнивал свои произведения с гомеровскими поэмами.

Толстой не перестает удивлять нас. Казалось бы, мы уже привыкли и знаем «Войну и мир». Но вот знакомый роман повернулся другой стороной.

Мне рассказывали, что разгневанные покупатели «Первой завершенной редакции романа „Война и мир“» приходили в магазин и требовали, чтобы им вернули деньги. Они говорили, что их обманули, подсунули вместо Толстого «невесть что», а их детям нужно сдавать экзамены по «Войне и миру».

Толстой сам постоянно устраивает нам экзамены.

Новое с трудом входит в настоящее. Оно движется, как ледокол через торосы.

«Литературное наследство» предоставило свои страницы для этой публикации. Вот уже 50 лет это вполне академическое издание не устает будоражить литературную науку. Редакция «Литературного наследства» — неутомимый проводник нового. Особенно хочется отметить многолетнюю работу И. С. Зильберштейна и С. А. Макашина.

Наше наследство не убывает, оно постоянно пополняется.

Когда «Война и мир» был напечатан, Тургенев рассылал эту книгу французским писателям как пригласительный билет в будущее.

Надо разослать нашим писателям, и зарубежным, и писателям будущим, первую завершенную редакцию «Войны и мира». Эта книга многому учит. С ней можно податься на Эверест.

Будем благодарны всем, работавшим над этой публикацией. Мы можем теперь почувствовать воздух Толстого, увидеть доро-

ги, которыми он проходил. И, быть может, выбрать свой путь.

Виктор ЦКЛОВСКИЙ.



НАД ПУШКИНСКИМИ СТРАНИЦАМИ

Г. П. Макогоненко. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1833—1836). Л. «Художественная литература». 1982. 463 стр.

Рецензируемая книга состоит из двух частей. О первой мы уже писали в «Новом мире»¹. Здесь, во второй части, получили свое полное завершение выдвинутые проблемы. По яркости и талантливости, продуктивной полемичности монографию Г. П. Макогоненко можно сравнить только с книгой Г. А. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического стиля», изданной посмертно в 1957 году, которая взволновала тогда научную общественность и явилась этапным событием в пушкиноведении.

Монография Г. П. Макогоненко посвящена изучению творчества Пушкина 30-х годов, которые до сих пор не пользовались должным вниманием ученых.

Этот период разделяется пополам (отсюда и деление монографии на две части), рубежом между которыми является 1833 год, вторая Болдинская осень. В эту осень Пушкин не только написал много прекрасных произведений, но и завершил «Историю Пугачева». Пушкин занялся Пугачевым, уже работая над «Историей Петра», а с какого-то момента даже перестал спешить с историей царя-преобразователя и целиком ушел в изучение великого крестьянского восстания и его предводителя. К официальным документам о Пугачеве, которые Пушкин изучал, ему захотелось добавить «мнения народные», еще жившие в Нижнем Поволжье и на Южном Урале, для собирания которых он и посетил эти места.

В отличие от предшественников принципиально важным у Г. П. Макогоненко является специальное сосредоточение внимания на том новом политическом и социологическом кредо, которое сложилось у Пушкина именно в работе над «Историей Пугачева». Автору удалось четко обрисовать все стороны нового подхода Пушкина к истории и вывести главные следствия для объяснения большой группы самых поздних его произведений, которые не получали связанного и правильного истолкования, ибо не хватало для этого интегрирующей мысли. Произведения казались «случайными», «загадочными» или лежали, как мертвые заготовки какого-то целого зда-

ния, очертания которого не угадывались. Эту общую мысль автор монографии нашел.

Г. П. Макогоненко утверждает, что вдумчивое изучение предпосылок восстания, воззваний Пугачева, кровавых жестокостей царской администрации, с одной стороны, и ответных мер мятежников, с другой, возвело на новую высоту политическое и социологическое мышление Пушкина. При этом важно было смещение его внимания от политических критериев к социологическим. Он изучал глубинные процессы, задевавшие интересы сословий. Вот в какую емкую формулу облекалось новое кредо Пушкина, которое он развивал в «Истории Пугачева» и очень кратко сформулировал в специальных «Замечаниях о бунте»: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства. Пугачев и его сообщники хотели сперва и дворян склонить на свою сторону, но выгоды их были слишком противоположны». Чрезвычайно важно это положение о выгодах противоположных! А затем у Пушкина следует: «Разбирая меры, предпринятые Пугачевым и его сообщниками, должно признаться, что мятежники избрали средства самые надежные и действительные к достижению своей цели. Правительство с своей стороны действовало слабо, медленно, ошибочно». Народная смекалка и бюрократическая рутинность, талантливость и бездарность, свободная импровизация и муштра — вот что замечает Пушкин, вникая в схватку борющихся сторон. Замечательно подытоживает Пушкин свои размышления: «Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемены»...

Широкие выводы делает Г. П. Макогоненко из этих положений.

Пушкин видит в русской истории борьбу социальных интересов, но в то же время и отсутствие в России «третьего сословия»; борьбу ведет сам народ, крестьянство. Следовательно, осмысление русской истории требует совсем «другой мысли, другой формулы», чем те, которые выведены для Европы «господином Гизотом» и другими историками

¹ См. рецензию «Книга живых идей и споров» («Новый мир», 1976, № 7).

эпохи Реставрации (замечания на «Историю русского народа» Н. А. Полевого). В России борьба идет между единоверными, русскими, а не между потомками франков и галлов, как во Франции, норманнов и англосаксов — как в Англии, то есть между «поработителями» и «побежденными», согласно мнениям вышеуказанных историков. Тогда откуда же на Руси зло? Какую роль в борьбе за народ могут сыграть дворяне, которые как целое чужды народу, которые, кроме того, сами расколоты на родовитых и служилых? Сколь важно такое деление? Карамзин считал, что звание дворянское священо, что все помещики — наставники крестьян; Фонвизин признавал, что дворянство — совесть нации. Пушкин до «Истории Пугачева» полагал, что «благосостояние» помещиков и крестьян взаимно связаны и что родовитое дворянство — защитник народных интересов перед престолом; из этого дворянства выросла декабристская оппозиция, из него же — наша «литературная аристократия». Но Пугачев одинаково вешал и родовитых и служилых, невежественных и просвещенных дворян. Тогда еще раз — что же такое декабристы? Ведь они послужили народу, хотя и боялись опереться на него. Как часто могут повторяться такие ситуации, на чем они произрастают, возможен ли в будущем декабризм, могут ли выходцы из дворян возглавлять народный мятеж? О чем на этот счет говорит история мятежей у других народов? Кто были их предводители? Как соотносится стихийный бунт угнетенных с общим развитием цивилизации? Откуда и куда идея «просвещенного» абсолютизма — реальность, с какого момента и в каком ракурсе она иллюзия? Николай I явно «пращуру» не подобен, но и сам «пращур» не безгрешен: многие указы Петра, кажется, «писаны кнутом».

Вот какие вопросы обступали Пушкина. И их верно, точно обозначил и взаимно связал Г. П. Макогоненко. Петр, каким он воспет в «Полтаве», уже невозможен для Пушкина. В «Медном всаднике», написанном во вторую Болдинскую осень, цивилизаторская деятельность монарха выглядит двойственной: он выстроил северную столицу, «в Европу прорубил окно», но жизней тысяч верноподанных не берет. Россия им вздыблена «уздой железной» — но не над пропастью ли? Стихийный протест назревает против властелина, и «кумир» в корне пресекает неповиновение. Пушкин различает масштабы исторических личностей: Петр I, Екатерина II, Александр I, Николай I, — но всех их объединяет разительная общность — деспотизм.

Г. П. Макогоненко решительно оспаривает традиционное рассмотрение «Стансов»,

«Друзьям», «Полтавы», «Пира Петра Первого» как произведений одной линии. В их ряд включают иногда и «Медного всадника» те пушкинисты, которые остаются «государственниками» в интерпретации поэмы и считают «Ужо тебе!», бросаемое в лицо истукану Евгением «частностью», которая не перевешивает «общее». Особенно интересна у Г. П. Макогоненко интерпретация «Пира Петра Первого», написанного после «Медного всадника». Тут важна трактовка сущности великодушия, которым одаривает Петр своих подданных, отпуская «виноватому вину». Суть не в царских «милостях» (Ю. М. Лотман), которые сами всегда плод произвола и случая: их царь может дать и может отнять, — а в том, что Петр при всем своем деспотизме мог «с подданным мириться», мог бывать «светел сердцем и лицом»:

И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Петр умел отпускать клапаны в государственном механизме, чтобы общество могло вздохнуть свободной грудью, поверить в свои собственные силы, органически развиваться по новому пути. Интересны и хронологические выкладки Г. П. Макогоненко, по которым устанавливается, что в «Пире Петра Первого» Пушкин вовсе не выпрашивает у Николая I милости декабристам в связи с предстоящей десятой годовщиной восшествия его на трон (снова спор с Ю. М. Лотманом). Указ о ничтожном смягчении участи «преступников» был издан и весьма разочаровал общество. Стихотворение было написано после указа и являлось укором Николаю I, который «мириться» с декабристами не хотел, нет, Николай I не умел быть «памятью незлобен».

Автор монографии прекрасно показывает, как Пушкин стремится в этот период морально дискредитировать самодержавие, которое неизбежно порождает лицемерие. Вдруг приобретает важнейшее значение написанная в ту же вторую Болдинскую осень поэма «Анджело», которую сам Белинский считал падением таланта Пушкина, тогда как Пушкин называл ее лучшим своим творением. Пушкин по-своему переделал драму Шекспира «Мера за меру», выдвинув на первую линию испытание Анджело властью, и получается, что власть развращает человека, монарх не может быть отцом народа. Поэма важна для понимания пушкинского отношения к Николаю I и исканий истинных воплощений народных чаяний.

В монографии прослеживается эволюция взглядов Пушкина на дворянскую революционность. Декабристов он и теперь чтит, «пес-

ни прежние» пел, и все же пел иначе. Пушкин считал историческую роль их сыгранной. Тонко улавливает Г. П. Макогоненко в «Путешествии в Арзрум» (1836) защиту сосланных на Кавказ декабристов, которые оказывались и здесь, на Кавказе, достойнейшими храбрцами, борющимися с еще одной формой деспотизма, турецкого.

Выступая в защиту декабристов, Пушкин, однако, не мыслил их лидерами новых борцов за свободу. Не догадываясь о будущей авангардной роли разночинцев в революции, Пушкин в конце жизни скептически смотрел на новые возможности участия в ней дворянства. Тут он далеко опережал свое время.

Н. В. Измайлов ошибочно утверждал, что в 30-х годах Пушкин ждал новой дворянской революции. Соблазнительной казалась и Б. В. Томашевскому мысль, что Пушкин ждал от дворян руководства крестьянским движением, от дворян-изгоев, покидавших ряды своего класса (Дубровский и Швабрин). Г. П. Макогоненко обращает внимание на то, что у Пушкина скоро пропал интерес к «Дубровскому». Роман оказался недописанным. Герой бросил свою шайку и скрылся за границу. А. Швабрин в «Капитанской дочке» — персонаж отрицательный. Его и сам Пугачев не уважает. Проблема дворянина-пугачевца как союзника восставших была снята Пушкиным.

В середине 30-х годов поэт старался осознать истоки и характер сопротивления деспотизму в истории разных народов. Поиски ответа на вопрос о том, кто же может возглавить народ, видны во многих произведениях Пушкина этого времени. И они предстают как лаборатория поэта, постигающего секреты народных возмущений. Не поисками пресловутого национального колорита (это проблема побочная), а углублением в смысл исторических катаклизмов отмечены «Песни западных славян» (1834), «Кирджали» (1834), «Сцены из рыцарских времен» (1835). В их ряду оказывается и «Капитанская дочка» (1836). Открывает же всю эту цепь произведений «История Пугачева».

Пушкин разглядел в песнях народов Далмации, Боснии, Герцеговины зерна настоящего эпоса. Сборник Мериме «Гузла» Пушкин знал уже в 1828 году, но за свои песни западных славян, с опорой еще и на Вука Караджича и свои кишиневские впечатления от сербского эпоса, он принял только в 1834 году, то есть опять же после «Истории Пугачева». Теперь Пушкина интересуют творческие и духовные потенции народа, формы его политической и социальной активности. Поэт настолько проникается «дикой красотой» и вдохновением этого эпоса, что три сочинен-

ные им самим песни: о Георгии Черном, о воеводе Милоше и о Януше-королевиче — мы до сих пор не можем отличить от остальных одиннадцати, взятых из «Гузлы» Мериме, и от подлинных песен, записанных Караджичем. Гордое отстаивание чести, дух солидарности, непримиримости к туркам-поработителям — вот чем пронизаны все пушкинские песни. Они вскоре получили отклик в русской традиции: «Бонапарт и черногорцы» подготавливает мотивы лермонтовского «Бородино», песня о Георгии Черном — ситуацию «Тараса Бульбы». Что дворяне-аристократы не могут быть вождями этерии, Пушкин понял еще в Кишиневе. Александр Ипсиланти, предводитель войска местных греков и валахов, бросил сподвижников при первых неудачах. Половинчатым предводителем был и Георгий Кантакузен, в отряде которого сражался легендарный сподвижник этерии Кирджали, удалец, месть которого богатым носила последовательно социальный характер. Пушкин вспомнил о Кирджали в 1834 году и написал о нем повесть, где нетрудно уловить мысль об обреченности слепого бунтарства героя.

В 30-е годы Пушкина интересует вопрос о степени сознательности народного восстания. Критерий идейной вооруженности он применяет и в оценке вождей повстанцев. Главное у Пушкина, как указывает Г. П. Макогоненко, — восхищение силой народного сопротивления, личной храбростью мстителей-бунтарей: его симпатии на стороне восставших. Но почему народы снова и снова терпят поражения?

Плодом такого рода размышлений явились «Сцены из рыцарских времен», а толчком к размышлениям служила все та же «История Пугачева». «Сцены...» остались незаконченными. Название придумано издателями. Но сохранился план, из которого следует, что народ должен был победить рыцарей, и победить потому, что восстание возглавил человек светлого ума и поэт, и еще потому, что в схватке с рыцарями пригодилось величайшее научное открытие, изобретение пороха. Народная победа оказалась возможной благодаря использованию новейшего завоевания человеческого гения, к которому враждебно относились феодалы и рыцари. Осмысляя диалектику исторического перехода от феодализма к новейшему времени, Пушкин усматривает связь между народным движением и поступательным ходом человеческой мысли.

Интересно истолкован Г. П. Макогоненко такой «загадочный» текст, как «Путешествие из Москвы в Петербург» (название редакторское). По убеждению ученого, это не полемика с Радищевым, а попытка включить «за-

бытого» революционного мыслителя, который был «хуже Пугачева» (Екатерина II), в свою концепцию русской истории. Работа с чужим, да еще запретным текстом, то есть с радикальным «Путешествием из Петербурга в Москву», у Пушкина весьма оригинальна. Он создает образ Повествователя, подобный Гриневу в «Капитанской дочке», человека искреннего, не догматика, но убежденного в своих правах помещика. Повествователь спорит с Радищевым, но, как хорошо показывает Г. П. Макогоненко, каждый раз натывается на такие сцены — рекрутчина, продажа людей, месть крестьян помещикам, с которыми ему приходится соглашаться «поневоле». Сам Пушкин с Радищевым не спорит, расходясь с ним только в одном пункте: у Пушкина нет радикальной веры в победу и разумность народного мятежа. И тут у Г. П. Макогоненко есть некоторая неясность в освещении позиции Пушкина.

Много раз исследователь подчеркивает, что «трагизм русского бунта» порождает «трагизм убеждений Пушкина». Но общая логика рассуждений такова, что Пушкин якобы «не дотягивал» до Радищева. Можно ли с этим согласиться? Думается, вопрос — дискуссионный.

Пушкин в своем произведении не касается оды «Вольность», которая вошла в состав радикального «Путешествия...». А она была радикальнее по мысли, чем собственная пушкинская «Вольность». Пушкина 30-х годов уже не удовлетворяет восторженно-одическое словоупотребление вольности.

У Пушкина больший исторический опыт, чем был у Радищева, он реальнее оценивает возможности крестьянской революционности, усматривая в русском мужике не только готовность восстать под давлением «самой тяжести порабощения», но и вековую его отсталость, темноту, забитость.

Разрушительная сила бунта приводила Пушкина в смятение. Даруя вольность и землю, Пугачев призывал к истреблению дворянского рода. Заняв Саратов, он повесил всех дворян, попавшихся в его руки. Пугачев повесил астронома Ловица, чтобы был «поближе к звездам»; повесил, да еще и пошутит. Такова и судьба молодой Харловой, его наложницы, которую он в угоду сподвижникам велел расстрелять вместе с ее семилетним сыном. Пушкин видел неизбежность в России новых народных мятежей. Но его тревожил вопрос о силах, способных обуздать стихийность. Скептицизм Пушкина на том историческом этапе был в целом выше радикального оптимизма.

Кому принадлежат в «Капитанской дочке» слова: «Избави бог видеть русский бунт,

бессмысленный и беспощадный»? Среди ученых на этот счет существуют разные мнения. По тексту говорит эти слова Гринева. Но взгляды Пушкина не совпадают с гриневскими. Гринева не выходит за рамки личного опыта. У Пушкина — тревога за будущие неизбежные потрясения, которые «не дай бог» видеть, если они ни в чем не будут отличаться от «пугачевщины». Таков ход рассуждений Г. П. Макогоненко.

После неудачных опытов вульгарных социологов 20—30-х годов пушкинисты надолго уклонились от широкого исторического и философского изучения мировоззрения Пушкина, довольствуясь общими словами о его «народности» или узким биографизмом в подходе к этим вопросам, выработав для их решения еще и мерку «декабризма». Показав, откуда и куда мерка «декабризма» годится в применении к Пушкину, Г. П. Макогоненко сосредоточился на малоизученных 30-х годах и нашел новый, более высокий критерий — «пугачевщину», который дает возможность объемнее и точнее определить масштаб позднего Пушкина. Автор монографии показал, как мысль поэта неуклонно двигалась вперед, опережая свой век.

И все же, думается, автору монографии следовало бы полнее и определеннее осветить «трагизм убеждений Пушкина», выйдя на простор более широких ассоциаций, связанных с учением о трех этапах русского освободительного движения и роли в нем революционной теории.

В монографии есть, конечно, и спорные моменты. Несколько не вяжутся размышления Г. П. Макогоненко о «возрожденном» к новой жизни Онегине «через любовь» к Татьяне с тем, что исследователь сам же говорит о «декабризме» Онегина. Нельзя некритически присоединяться к словам Пушкина о русском феодализме, которого в России, по понятиям поэта, не было («и тем хуже»): тут он сам оказывался в плену «мыслей и формул» господина Гизота.

Свои рассуждения о том, что народное восстание пробуждает, просвещает, нравственно воспитывает народ и его вождей, автор книги пытается подкрепить цитатой из В. Ф. Раевского: «Не человек созревает до свободы, но свобода делает его человеком». Думается, здесь стерта самим же Г. П. Макогоненко тщательно проводимая грань между Пушкиным и декабристами в сходных, казалось бы, решениях одних и тех же вопросов. Декабрист Раевский говорит о человеке вообще и о свободе вообще. Эта формула у него чисто просветительская, подразумевающая свободу духа. Пушкин же говорил о сво-

боде от рабства, от крепостничества, от самодержавия, о восстании, о свободе целого народа.

Возражения наши, однако, носят также дискуссионный характер.

Фундаментальная работа Г. П. Макогонен-

ко имеет принципиальное значение, ибо она подымает на новую ступень изучение позднего этапа творчества Пушкина. Этапа, наиболее сложного и наименее освещенного в пушкиноведении.

В. И. КУЛЕШОВ,



Политика и наука

ПРАВДА ИСТОРИИ

Е. Н. Кульков, О. А. Ржешевский, И. А. Чельшев.

Правда и ложь о второй мировой войне. М. Воениздат. 1983. 334 стр.

В условиях обострившейся по вине американского империализма международной обстановки, когда планете грозит третья мировая война, естественно то повышенное внимание, которое историки разных стран, да и не только они, уделяют причинам возникновения и истории второй мировой войны. Проводятся многочисленные конференции и симпозиумы на эту тему, не спадает поток научной и мемуарной литературы, выпускаются десятки кинофильмов. Причем как в странах социалистического содружества, и прежде всего в Советском Союзе, так и на Западе. В Англии, например, сравнительно недавно прошел 26-серийный телефильм «Мир в огне». Издательство «Парнелл» выпустило массовым тиражом иллюстрированную историю второй мировой войны в 96 журналах, которая затем была переиздана во многих западных странах.

Неудивительно также, что история войны стала полем острой идеологической борьбы, которая не только не утихает, но приобретает все новые формы и направления. Проблемам этой борьбы и посвящена книга «Правда и ложь о второй мировой войне».

Авторы книги начинают свое исследование с вопроса, казалось бы, чисто теоретического — с общих учений о войнах. Анализируя основные тезисы различных школ и направлений, особое внимание Е. Кульков, О. Ржешевский и И. Чельшев обращают на весьма популярную сейчас на Западе науку о войне, так называемую полемологию. Институты полемологии во Франции, ФРГ, Италии и ряде других капиталистических стран ставят на первый взгляд благородную цель: поиски путей устранения войн из жизни человечества. Однако выводы, к которым полемологи приходят в своих исследованиях, настолько

далеки от оптимизма, что скорее убеждают читателей, что война — неизбежный атрибут человеческой истории. Так, французский полемолог Г. Бутуль в работе «Социальная биология» утверждает: «Войны неотделимы от всех видов цивилизаций. Они возникают как спазмы и сталкивают людей в целях уничтожения».

Подлинные источники войны, считают полемологи, в нарушении равновесия различных возрастных групп. Если в какой-либо стране наметился рост молодых возрастов и нельзя обеспечить полную занятость молодых людей, то возникает особая демографическая ситуация: «взрывная структура» или «воинственная демографическая структура». Она, по мнению полемологов, и создает предпосылки к социальным потрясениям и в конце концов к ликвидации наиболее активной части населения в войнах. «В истории, — утверждают полемологи, — все крупные империалистические агрессии были не чем иным, как демографическими извержениями. Каждое соответствовало пику внутренней неустойчивости, вызванной избытком молодых людей».

В итоге полемология, справедливо указывают авторы рецензируемой книги, выдвигая на первое место социально-биологические причины войны, отделяя войну от экономики и политики, снимает ответственность за развязывание войн с господствующих классов и правительств империалистических государств и фактически оправдывает любую агрессию.

Следуя за Мальтусом, полемологи так или иначе связывают причины войны с ростом народонаселения: «Мирное урегулирование нарушений экономического и демографического равновесия с материальной точки зрения невозможно. Мы обречены на использование уже проверенных

средств — геноцида и детоубийства». Выводы у этой «передовой» буржуазной школы, как видим, прямо-таки людоедские.

В западной историографии сохраняется также междисциплинарный (комплексный) подход к объяснению феномена войны, ведущее место в котором отводится политическому фактору в том виде, как он был сформулирован Клаузевицем. Как известно, этот немецкий военный теоретик в начале XIX века утверждал, что «война есть не что иное, как продолжение государственной политики иными средствами». Вне политики, считал он, война невозможна.

Ленин, рассматривая формулировку Клаузевица, указывал, что война есть не просто продолжение политики другими, насильственными средствами, но что это «продолжение политики данных, заинтересованных держав — и разных классов внутри них — в данное время». Таким образом, Ленин выделял классовые факторы — то главное, без чего нельзя выявить причины и характер любой войны и войн в целом. Классовая природа войн — четкое и аргументированное определение, данное в трудах классиков марксизма-ленинизма. Даже некоторые буржуазные историки (например К. Нельсон и С. Олин в своей книге «Почему война? Идеология, теория и история») вынуждены признать, что «марксизм-ленинизм владеет наиболее полно разработанной теорией войны».

В целом все западные школы, подчеркивают авторы рецензируемой книги, стремятся любыми путями скрыть, замаскировать ответственность империализма как главного виновника мировых войн.

Так, в книге «Американский подход к внешней политике» профессор Д. Петкинс задается вопросом: «Существует ли американский империализм?» И пытается убедить читателей, что понятие «империализм» создано советской пропагандой, что США никогда не были и не являются империалистической страной. А коли так, нет оснований обвинять это государство в причастности к развязыванию войны.

Но хорошо известно, что США на протяжении всей своей истории вели захватнические войны. «С любой исторической точки зрения, — пишет один из представителей американской школы «новых левых», Р. Барнет, — США являются империей. С рождения республики в 1776 году до начала второй мировой войны территория владений Соединенных Штатов увеличилась с 400 тыс. кв. миль до 3738 393 кв. миль... Во второй мировой войне Соединенные Штаты юридически не аннексировали но-

вых территорий, но они взяли под свой полный контроль «стратегически опасные территории» и другие базы, увеличив таким образом свои мировые владения». Империализм есть империализм.

Характерная его черта — закоренелый антикоммунизм и антисоветизм. Авторы рецензируемой книги подчеркивают, что возникла своего рода «мифология» антисоветизма и самым живучим мифом стал миф о советской угрозе. Даже основополагающий принцип советской внешней политики — мирное сосуществование — вызывает истерию у реакционных историков, подобных американцу Р. Хоббсу, который панически восклицает: «Мирное сосуществование это война... Это современная версия империалистической войны».

И вот появляются десятки книг о советской военной угрозе, где утверждается, что Советский Союз якобы сделал свой вывод из горького урока 22 июня 1941 года и готов теперь начать превентивную войну. Названия этих книг говорят сами за себя: «Красное знамя над Бонном», «Они придут», «Европа без обороны», «Советская армия высадилась в Японии» и т. д.

Что касается собственно истории второй мировой войны, то, как отмечают авторы, ведущая роль в фальсификации ее событий принадлежит сложившемуся за много лет своеобразному картелю политиков и историков из крупнейших капиталистических стран, включающему военно-исторические службы и специально созданные государственные организации. В Пентагоне подготовлен целый комплекс уставочных трудов о войне 1939—1945 годов — свыше 100 томов. В Англии основным изданием подобного рода является 80-томная «Официальная история второй мировой войны», подготовленная исторической секцией при кабинете министров Великобритании. В ФРГ издается 10-томная публикация «Германский рейх и вторая мировая война», осуществляемая военно-исторической службой бундесвера. В Японии вышла в свет 96-томная «Официальная история войны в великой Восточной Азии», составленная управлением национальной обороны Японии, и т. д. «Концепции, — пишут Кульков, Ржешевский и Чельшев, — содержащиеся в этих и других официальных трудах, дополняются, подновляются, но в конечном итоге в различных вариантах повторяются в публикациях большинства буржуазных историков».

Первое место здесь занимает общая буржуазная концепция о причинах возникновения второй мировой войны. Еще на Рим-

ском международном конгрессе историков в 1956 году известный итальянский историк Марио Тоскано отмечал, что «контрастом с противоречиями, которые бушуют вокруг происхождения первой мировой войны, является общее согласие, которое воцарилось среди историков всех наций относительно причин происхождения и ответственности за развязывание второй мировой войны». Это «согласие», в сущности, выразилось в том, что вторая мировая война дружно была объявлена буржуазной историографией «войной Гитлера». Гитлер, утверждал, например, западногерманский философ и историк Ф. Мейнеке, являл собой «один из самых поразительных, не поддающихся учету примеров мощи личности и ее влияния на историю». Вот эта «демоническая личность» якобы и несет целиком ответственность за войну.

Подобная точка зрения была удобна тем, что полностью снимала ответственность за войну и с правящих классов фашистской Германии, и с правящих классов других империалистических держав.

В последние годы, впрочем, делается попытка оправдать и самого фюрера. Например, западногерманский историк В. Мазер пришел, отмечают авторы, к выводу, что Гитлер не маньяк, не тиран, а не лишенный привлекательности человек, который не хотел войны. Еще дальше в своей реабилитации фюрера идут такие органы массовой пропаганды, как газета «Дойче националь-дайтунг». В опубликованной недавно серии статей «Жизнь и смерть Адольфа Гитлера» утверждается, что нацизм был благом для немецкого народа, а Гитлер — борцом против коммунизма. Роковая ошибка Рузвельта и Черчилля, доказывала газета, и то, что они недооценили Гитлера, который боролся с «азиатским большевизмом» во имя спасения Европы.

Предпринята и массированная кампания по реабилитации мюнхенской политики западных держав. Авторы книги «Правда и ложь о второй мировой войне» приводят, как пример, высказывание западногерманского историка К. Юбенка о том, что «слишком долго Англия и Франция несут на себе всю тяжесть позора» (за Мюнхен. — С. Д.). В Англии в 70-е годы сложилась даже целая историческая школа, которая занялась «ревизией» Мюнхена. К сожалению, в книге Е. Кулькова, О. Ржешевского и И. Челышева воззрения этой школы не анализируются.

На кого же возлагают буржуазные историки ответственность за возникновение второй мировой войны? На Советский Со-

юз! Авторы монографии отмечают, что на проходившей в декабре 1979 года международной научной конференции в Кельне «в ходе одного из заседаний приват-доцент из ФРГ А. Дюлфер безапелляционно заявил, что причиной войны явился советско-германский договор о ненападении, заключенный 23 августа 1939 года». Е. Кульков, О. Ржешевский и И. Челышев разоблачают эту ложь, показывая, что подписание пакта было вынужденным шагом со стороны Советского правительства в обстановке, когда правящие круги Англии и Франции в августе 1939 года сорвали московские переговоры (Англия в это время вела тайные переговоры с гитлеровской Германией), а на Дальнем Востоке локальный конфликт на Халхин-Голе грозил перерасти в войну СССР с Японией. «В грозной для СССР обстановке, — отмечают авторы, — Советское правительство решило принять предложение Германии заключить договор о взаимном ненападении». Это был именно пакт о ненападении, позволивший Советскому Союзу «отвести от себя на время военную угрозу с запада, выиграть... почти два года для укрепления обороны страны, расколоть складывавшийся антисоветский фронт империалистических держав».

Однако некоторые западные историки пытаются представить этот пакт чуть ли не как союзный договор между СССР и Германией. Западногерманская монография «Германский рейх и вторая мировая война» прямо говорит не о германском, а о германо-советском нападении на Польшу в сентябре 1939 года. «В 1979 году, — указывают советские авторы, — эти злостные домыслы подхватили идейные вдохновители польской контрреволюции, агентура империалистических разведок, засевавшая в КОС — КОР и руководстве пресловутой «Солидарности». Освобождение Западной Белоруссии и Западной Украины трактуется ими как «советская аннексия». Они ставят знак равенства между разбойничьим нападением Германии на Польшу, приведшим к ликвидации национальной независимости этой страны, и освободительным походом Советской Армии на территорию, насильственно отторгнутую от советской России и оказавшуюся к этому времени уже под неотвратимой угрозой гитлеровской оккупации».

Разоблачая сочиненную буржуазными фальсификаторами истории легенду о мнимом союзе СССР и Германии в 1939—1941 годах, авторы рецензируемой книги приводят, в частности, указание, которое Сталин еще в ноябре 1940 года дал известно-

му советскому авиаконструктору Яковлеву: «Организуем изучение нашими людьми немецких самолетов. Сравните их с новыми нашими. Научитесь их бить».

В заключение книги ее авторы приходят к справедливому выводу о том, что «история второй мировой войны является фронтом острой научной и идеологической борьбы между марксизмом-ленинизмом и буржуазными системами философских, экономических и социально-политических взглядов». Современный империализм стремится использовать историю в своих интересах. И появляются книги, подобные «Труду» американского историка Д. Палмера «Восьмая дорога на Москву», разбирающего все неудачные походы на Россию

с запада начиная с времен викингов и советуя атаковать теперь с востока, или историка Л. Купера «Много дорог на Москву», предпочитающего нападение на нашу столицу с воздуха. Словом, некоторые западные историки дают ныне прямые советы натовским генералам.

«Правда и ложь о второй мировой войне» разоблачает самые изощренные концепции буржуазных фальсификаторов истории, противопоставляет домыслам факты, легендам — правду, в этом сила новой книги и залог ее успеха у читателей.

С. ДЕСЯТСКОВ,

кандидат исторических наук.

Новгород.



ПАТРИОТ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ

Хо Ши Мин. Размышления об Африке. М. «Прогресс». 1983. 160 стр.
Евгений Кобелев. Хо Ши Мин. («Жизнь замечательных людей») М. «Молодая гвардия». 1983. 351 стр.

В центре Ханоя, на площади Бадинь, есть место, священное для каждого вьетнамца. Здесь находится мавзолей Хо Ши Мина. Непрерывно поток людей, желающих снова и снова оживить в своей памяти дорогой их сердцу образ человека, известного всему миру. За мавзолеем расположен дом, в котором Хо Ши Мин жил после освобождения Северного Вьетнама. Это всего несколько комнат, обставленных простой недорогой мебелью. Поражает несоответствие скромного убранства дома высочайшему официальному статусу Хо Ши Мина. Но то была не показная скромность, к которой обращаются иные буржуазные деятели для завоевания дешевой популярности, то был неизменный стиль жизни. Требовательный к себе, Хо Ши Мин предъявлял самые строгие требования ко всем руководителям партии, рядовым коммунистам, считая, что в нравственном облике каждого из них должны сочетаться высокие моральные качества — гуманность, справедливость, мудрость, мужество, честность, скромность...

Хо Ши Мин. В глазах советских людей это имя неразрывно связано с трудолюбивым и мужественным вьетнамским народом. Хо Ши Мин и Вьетнам слились в нашем сознании воедино. Сам внешний облик Хо Ши Мина неизменно вызывал симпатию и уважение. Можно без преувеличения сказать, что худощавый **пожилой** человек

с остроконечной седой бородкой, умным прищуром глаз стал в нашей стране символом народного Вьетнама.

Его история в новейшее время — это история борьбы за свободу и национальную независимость. Нынешнее поколение советских людей хорошо помнит героическое сопротивление вьетнамского народа французским колонизаторам и, кажется, совсем уж недавно мы каждый день с волнением ожидали сообщений из далекого Вьетнама, боровшегося против агрессии Соединенных Штатов. Неоценимый вклад в победу вьетнамского народа над французскими колонизаторами и американскими империалистами внес Хо Ши Мин — руководитель вьетнамского государства и Коммунистической партии Вьетнама, пламенный интернационалист, верный и испытанный друг Советского Союза.

Хо Ши Мин неоднократно бывал в нашей стране. Здесь он учился революционной теории в Коммунистическом университете трудящихся Востока и Международной Ленинской школе, здесь он работал в штабе мирового коммунистического движения — Коминтерне. Страна Ленина, где Хо Ши Мин провел в общей сложности более шести лет, стала для него второй родиной. «Я жил в советской России в ленинской атмосфере», — вспоминал он впоследствии.

В Советском Союзе проявляют глубокий интерес к жизни и деятельности Хо Ши Мина, каждая новая публикация о нем,

каждое новое издание его произведений встречается с живым, неподдельным вниманием. Например, содержательная, насыщенная фактами книга Е. Кобелева «Хо Ши Мин» из серии «Жизнь замечательных людей».

Большое место в книге занимает описание революционного и коммунистического движения во Вьетнаме, выдающейся роли Хо Ши Мина в создании компартии Вьетнама. Читатель знакомится с революционерами старой школы — Фан Бой Тяу и Фан Тю Чинем, с первыми вьетнамскими коммунистами, боевыми друзьями и соратниками Хо Ши Мина — Ле Хонг Фонгом и Минь Кхай, отдавшими жизни за свободу и независимость своей родины. Это о них написал потом проникновенные строки известный вьетнамский поэт То Хыу:

В застенках, восходя на эшафоты,
под пулями отравленными падая,
бесстрашно восклицают патриоты:
«Да здравствуют СССР и Партия!»

Таким же негибимым был и характер самого Хо Ши Мина.

Е. Кобелев знакомит читателя с поистине героической жизнью. Участник антифранцузской демонстрации во время учебы в Национальном колледже в городе Хюэ, матрос, рабочий-поденщик в период скитаний по странам Африки, Азии, Америки и Европы, член социалистической, а затем Французской коммунистической партии, пропагандист антиколониальных идей, профессиональный революционер ленинской школы, наконец, основатель и руководитель Коммунистической партии Вьетнама — таковы лишь некоторые вехи биографии Хо Ши Мина и узловые точки повествования Кобелева. «Меня,— пишет он о Хо Ши Мине,— как и всех тех, кто имел счастье с ним встречаться, поражало совершенно естественное, органическое сочетание в нем редкостной простоты и человечности с железной волей и несокрушимым мужеством революционера-борца».

Автор ряд лет работал журналистом во Вьетнаме, не раз видел и слышал Хо Ши Мина; помимо личных впечатлений, в основу книги легли архивные материалы, документы Коминтерна, воспоминания деятелей международного коммунистического движения, научные публикации и, конечно, работы самого вождя вьетнамской революции, неоднократно издававшиеся в разных странах, в том числе в Советском Союзе. Одна из этих работ, «Размышления об Африке», недавно вышла в свет в «Прогрессе».

В предисловии к книге, принадлежащем перу Е. Глазунова, специалиста по экономике и новейшей истории Вьетнама, справедливо отмечается, что Хо Ши Мин был великолепным пропагандистом марксизма-ленинизма, блестяще умел «довести свои мысли до сознания даже самых отсталых слушателей или читателей. Его статьи, очерки, яркие памфлеты будили сознание угнетенных народов, заставляли их еще и еще раз оглянуться на свою жизнь и подняться на решительную борьбу за ее коренное улучшение».

«История европейского проникновения в Африку, как и вся история колонизации, написана с первой до последней страницы кровью туземцев,— отмечал, в частности, Хо Ши Мин.— Вслед за резней идут изнурительный труд, переноска непосильных тяжестей, принудительные работы, алкоголь, сифилис, которые завершают разрушительную работу «цивилизации». Неизбежный результат этой чудовищной системы — истребление черной расы».

Читая сегодня статьи Хо Ши Мина первой половины 20-х годов, нельзя не поражаться его умению проникать в самую суть животрепещущих проблем колониальных стран, не восхищаться его поистине энциклопедической осведомленностью о различных сторонах жизни угнетенных народов черного континента. Своими статьями, активной организационной деятельностью Хо Ши Мин, несомненно, сыграл заметную роль в пробуждении революционного движения в африканских колониях Франции. В созданном в Париже по его инициативе и при его участии Межколониальном союзе многие молодые африканцы получали первые знания марксистской теории. Недавние исследования советских ученых-африканистов свидетельствуют, например, что знакомство с ранними произведениями Хо Ши Мина, публиковавшимися в органе Союза — газете «Пария», в «Юманите», а также личное общение с вьетнамским революционером оказали духовное воздействие на формирование мировоззрения первого сенегальского марксиста Ламина Сенгора.

Надежным ориентиром во всей теоретической и практической деятельности Хо Ши Мина служили идеи Ленина, к работам которого он неоднократно обращался, зная, что в них содержится глубокий анализ проблем, актуальных для коммунистов всего мира, в том числе коммунистов Востока.

По справедливому замечанию Е. Глазунова, Хо Ши Мину принадлежит значитель-

ный вклад в развитие ленинского учения о революции в колониальных странах, неразрывно связывающего национально-освободительные революции в колониях и пролетарские революции в метрополиях. Действительно, Хо Ши Мин никогда не рассматривал национально-освободительное движение как автономное, был глубоко убежден в том, что успех борьбы народов в колониях в решающей мере зависит от поддержки ее рабочим движением развитых капиталистических стран: «Нужно, чтобы черные и желтые рабочие поняли также, что их единственный враг кроется в самом режиме, который приводит к рабству, еще более изощренному, чем в прошлом, более тяжелому, более бесчеловечному. И только с помощью своих угнетенных братьев в странах Европы они смогут освободить себя».

При этом Хо Ши Мин отчетливо сознавал, что бедность — отнюдь не расовая, а социальная категория. В его очерке «Париж», написанном в форме письма к двоюродной сестре, — поражающие душу описания социальных контрастов, характерных для этого внешне богатого и процветающего города. Так, наблюдая жизнь парижского рабочего квартала Эпинет, Хо Ши Мин заключает: «Это квартал тружеников, тех, кто приносит прибыль и кто умирает от голода. Это квартал рабочего люда, квартал бедноты, квартал отверженных». Они есть в любой капиталистической стране. Поэтому: «...несмотря на разный цвет кожи, в мире существуют только две расы: эксплуататоры и эксплуатируемые. И лишь одно братство истинно: братство пролетариата».

Решительно отстаивая принцип пролетарского интернационализма, Хо Ши Мин подчеркивал, что в общем антиимпериалистическом фронте абсолютно необходимо активное участие пролетариата как развитых стран, так и угнетенных народов колоний. Борьба против империализма рассматривалась им как единый мировой революционный процесс, в авангарде которого идет международный рабочий класс и советская Россия. Будучи членом Французской коммунистической партии, Хо Ши Мин немало сделал для привлечения внимания ее партийных активистов и партийной прессы к проблемам колоний. Его газетные статьи, в том числе в «Юманите», способствовали уяснению французскими коммунистами неразрывной связи национального и колониального вопросов.

Одновременно Хо Ши Мин был решительным противником всякого рода иллюзорных, идеалистических представлений об

уровне политической сознательности и классового сознания народов колониальных стран, в частности крестьянства. Не случайно уроженцы колоний нередко использовались как штрейкбрехеры во время забастовок, к чему всеми силами и стремился международный капитал, главным принципом колониальной политики которого был принцип «разделяй и властвуй». Характеризуя эту политику, Хо Ши Мин писал: «Современный империализм, если можно так выразиться, «совершенствуется на научных основах». Он использует белых пролетариев для покoreния пролетариата колоний. Затем он натравливает пролетариев одних колоний на пролетариев других колоний. Наконец, он стремится использовать пролетариат колоний, чтобы еще более подчинить себе белых пролетариев».

Именно расовые и национальные предрассудки и предубеждения, по мнению Хо Ши Мина, часто препятствовали распространению в колониях революционной идеологии, адекватному восприятию марксистских представлений. Хо Ши Мин приводил, в частности, такой факт в сознании жителей колониальных стран понятие «большевизм» воспринималось «либо как разрушение всего, либо как освобождение от иностранного угнетения. Первое значение, вложенное в это слово, отдаляет от нас темную и робкую массу, второе — ведет ее к национализму».

Данный тезис имел методологическое значение, ибо проявления национализма связывались с общим низким культурным уровнем трудящихся масс колоний, преимущественно крестьянских, «их глубокой невежественностью».

Конечно, Хо Ши Мин, как и классики марксизма-ленинизма, на которых он опирался, нисколько не приуменьшал значительных революционных потенциалов крестьянства, он лишь хотел подчеркнуть, что в силу места, занимаемого крестьянством в системе общественного производства, оно не может быть руководящей силой грядущих социальных революций. Такой силой мог стать только промышленный пролетариат. Свое признание исторической роли рабочего класса Хо Ши Мин выражал и в поэтической форме. Вот строки из его стихотворения «Рабочим»:

Кто кладку возводил
тех сказочных палат?
Кто этот уголь добывал?
Чьи руки судно смастерили?
Кто из глубин земли

извлек бесценный клад?
 Кто плавил это серебро
 и это золото в горниле?
 Во всем рабочих труд —
 какая мощь в руках!

Надо заметить, поэзия не была для Хо Ши Мина только способом для выражения политических идей. Выдающийся политический деятель, он одновременно серьезно занимался литературой: писал публицистику, стихи, художественную прозу.

Таким — разносторонне талантливым, страстным, энергичным, убежденным в правоте коммунистических идей — предстает перед нами Хо Ши Мин в рецензируемых

книгах. Разумеется, они лишь часть того, что можно сказать об этом незаурядном человеке и его родине — Вьетнаме. Но «Размышления об Африке» и «Хо Ши Мин», безусловно, расширяют наше представление о жизненном пути выдающегося вьетнамского революционера, патриота и интернационалиста, героической истории освободительной борьбы народа Вьетнама, процессе распространения марксистско-ленинских идей в этой стране.

В. БУРОВ,
кандидат философских наук.



КОГДА ПРОШЛОЕ ОЖИВАЕТ

Юрий Жуков. Крутые ступени. Записки журналиста. М. «Мысль». 1983. 382 стр.

Эта книга широко известного нашего журналиста-международника, политического обозревателя газеты «Правда» — о довоенных 30-х годах и первых месяцах Великой Отечественной. Работал тогда, в 30-е, Юрий Жуков в «Комсомольской правде», занимался, как принято говорить, делами внутренними, хотя, конечно, и то, что происходило за рубежом, не могло его не волновать: уже поднимал голову фашизм, уже всему миру стали слышны железный дребезг и истерические милитаристские угрозы, доносившиеся из гитлеровской Германии, и, как бы предчувствуя опасность, мы уже пели хоть и в сослагательном наклонении, но вкладывая в песню больше чем предположение: «Если завтра война, если завтра в поход...». Но пока было мирное сегодня, и молодой газетчик увлеченно занимался своим корреспондентским делом: ездил по стране, встречался с людьми, рассказывал о них — о московских метростроевцах, о тракторостроителях Сталинграда, о пограничниках, о творцах советской Колхиды, написал необычайно интересную книжку о советском летчике, воевавшем в Китае с японцами, — Сане Грисенко. Потом зажегся новой идеей — помочь капитану легендарного ледокола «Георгий Седов» Константину Бадигину создать книгу о трехлетнем ледовом дрейфе его судна; и она была написана, глава за главой печаталась в «Новом мире» еще до войны.

В общем, жизнь Жукова была до краев заполнена напряженным трудом. В сущности, именно он и определил высоту «кру-

тых ступеней», которые удалось одолеть. Я не берусь точно определить, каков жанр рецензируемой книги. В ней на равных соседствуют нынешние воспоминания и размышления о прошлом с дневниками тех лет, с выписками из газет, из публикаций самого автора чуть ли не пятидесятилетней давности. И это вовсе не рассыпающийся конгломерат, напротив: сказанное сегодня прочно спаяно с теми давними записями, которые автор поднял из своего архива. Прошлое несомненно становится от такого соединения стереоскопичнее.

Вот самая первая глава «Дерзкий замысел». В ней, в частности, рассказывается о том, как в 1929 году шахтеры Донбасса привезли в Москву первый «красный эшелон» угля, добытого сверх задания. Юрий Жуков сопровождал их как корреспондент. И следует дневниковая запись от 3 мая 1929 года о встрече шахтеров с Валерианом Владимировичем Куйбышевым, одним из главных «плановиков» пятилетки. Само слово «пятилетка» было тогда только что народившимся и звучало повсюду, как появившиеся вместе с ним «ударный труд», «встречный план», как знаменитые несколько позднее лозунги «Техника решает все!» или «Люди — наш самый ценный капитал!». Они сияли с кумачовых транспарантов, их бесчисленное количество раз произносили голосами наших первых дикторов черные тарелки репродукторов и тугие наушники детекторных приемников. Это были слова и лозунги не дня, а целой неповторимой эпохи. Эпохи индустриализации, приве-

шей нашу страну к тому промышленному могуществу, которое кажется нам теперь само собой разумеющимся.

А тогда... Юрий Жуков пишет: «Куйбышев называет цифры, которые нам кажутся невероятно большими: выплавка чугуна в конце пятилетки достигнет 10 млн. т., добыча нефти увеличится с 11 млн. до 22 млн. т. К концу пятилетки мы будем иметь в стране 150 тыс. тракторов...»

Я учился тогда в начальной школе, но до сих пор, как, возможно, многие люди моего поколения, помню открывающий эффект этих цифр. Мы знали их наизусть. Они были реальны и одновременно представлялись не менее невероятными, чем самые расфантастические романы, которыми мы в ту пору, как и положено в юном возрасте, увлекались. Подумать только: нефти будем добывать 22 миллиона тонн в год! А чугуна 10 миллионов тонн, а из этого чугуна — железо, сталь, сколько же у нас появится всяких машин! И к этой возможности, к этой реальности мы пришли за каких-нибудь десять лет! В середине третьей пятилетки разразилась война. Обе предыдущие были выполнены успешно.

Книга Юрия Жукова полна фактов, которые меня, читателя, то и дело возвращали в прошлое, в детство, в юность, и в то же время приводили к сравнению с настоящим. Наверно, разные поколения станут читать книгу по-разному. Мое — с гражданским сознанием, пробудившимся как раз в первую пятилетку, — с волнением особым. Другие, возможно, с удивлением и даже с изумлением: и такое было? Но одно несомненно: факт в книге не становится просто информационным сообщением, написана она вольно, размашисто, я бы даже сказал — величаво, как некий документальный эпос. Разве не эпичны, например, трогательно искренние слова, напечатанные газетами 18 сентября 1935 года? Крупно, помню, были напечатаны, на первых страницах:

«Всю свою жизнь я мечтал своими трудами хоть немного продвинуть человечество вперед. До революции моя мечта не могла осуществиться. Лишь Октябрь принес признание трудам самоучки, лишь Советская власть и партия оказали мне действительную помощь. Я почувствовал любовь народных масс, и это давало мне силы продолжать работу, уже будучи больным. Однако сейчас болезнь не дает мне закончить начатого дела.

Все свои труды по авиации, ракетостроению и межпланетным сообщениям пере-

даю партии большевиков и Советской власти — подлинным руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, что они успешно закончат эти труды».

Это, как вы легко догадались, Константин Эдуардович Циолковский. Написано за два дня до кончины. Прощальное письмо в ЦК ВКП(б). А в тот же самый день, когда оно появилось в печати, в «Комсомольской правде» тот же Циолковский все еще продолжал спорить со своими оппонентами. «Фантазия ли заатмосферные полеты?» — так называлась его последняя, боевая, по-молодому задорная статья. Автор книги подробно излагает ее содержание. И как вывод: «Редакция «Комсомольской правды» в ту пору стала своеобразным штабом борьбы за осуществление научно-технической революции».

Никакого преувеличения в этих словах нет. НТР начиналась уже тогда, хотя самого понятия НТР мы еще не знали. Сколько лет от завещания калужского провидца до полета Юрия Гагарина? Меньше тридцати? Для истории это почти миг. Такой темп был задан революционно настроенной страной. И она его выдержала. Не случайно же именно в годы первых пятилеток появились художественные произведения, само название которых говорило о повышенной скорости человеческого и общественного самосознания: погодинская пьеса «Темп», катаевский роман «Время, вперед!»...

Книга Юрия Жукова панорамна. Нет, он не описывает все подряд, а берет как бы отдельные, отпечатавшиеся в его памяти узлы времени. Тут и чкаловский полет в Америку, на старте которого автор присутствовал, и все, как было, записал. Здесь и события у озера Хасан. Посмотрели бы сейчас на эти места — ничего особенного. Озеро как озеро, сопки как сопки, каких в Приморье тысячи. Но именно у Заозерной произошла наша первая схватка с империализмом. В тех боях автор «Крутых ступеней» не участвовал, но вместе со спецпоездом «Комсомольской правды» был несколько раньше у пограничников и рассказал нам об этой поездке со свежестью дневника.

Да, думаю, что тогдашняя, должно быть, полустертая временем карандашная запись сегодня свежее и, конечно, достовернее памяти. Хороши эти дневники! И комментарий к ним хорош, а дневники все-таки лучше. Тут само время «гудит телеграфной струной».

И какое счастье для автора, а теперь и для нас, читателей, что дневников военных

лет сохранилось особенно много. Вторая часть книги, «Гроза», так и начнется: «Передо мной толстая тетрадь, на обложке которой размашисто начертано угольно-черным карандашом: „1941“».

Юрий Жуков к тому времени работал в «Новом мире», помещавшемся в двух комнатках на втором этаже здания «Известий». Подробно рассказывает автор о первом дне войны, встреченном им в редакции журнала. Так подробно, что диву даешься, сколько было сил у человека и какая воля, чтобы в такой день заставить себя сесть за стол и писать, писать, ничего не упуская. «Трудно собраться с мыслями, трудно писать, но когда-нибудь эти записи мне обязательно понадобятся — надо сохранить сегодняшний день в памяти во всех деталях».

Теперь мы знакомимся с ними, благодарные автору. Идем вместе с ним по всему сорок первому году, а потом и по началу сорок второго вплоть до весны. Видим Москву той поры, и видим ее, может быть, яснее, чем воочию. Сужу субъективно, но, думаю, верно: сам был в те месяцы в столице, но немало узнал от Жукова впервые...

Потрясает осенняя Москва (октябрь — ноябрь 1941 года). Многие предприятия эвакуированы, многие жители выехали из города на восток. Москва кажется почти пустой, но вдруг в критические дни, 15—20 октября, становится необычайно людной: в домах не сиделось, все высыпало на улицы, ждали новостей. Ждали и жаждали их. И с упорством, настойчивостью перекрашивали приметные здания (бомбежки!), создавали баррикады из мешков с песком, сквозь которые, будто по узким, готовым захлопнуться коридорам, проезжали трамваи, воздвигали противотанковые ежи. Москва готовилась к отпору врагу.

С волнением описан в книге и знаменитый парад 7 ноября 1941 года на Красной площади. У меня нет места для цитирования. Приведу лишь краткую дневниковую

запись: «И вот еще одна сенсация, которая до последнего мгновения держалась под самым большим секретом: утром!! На Красной площади!!! Военный парад!!! Ур-р-а!». Столько восклицательных знаков, пожалуй, у Жукова на целой странице не встретишь. Но как же они здесь понятны! Как полно характеризуют восприятие москвичами, да и всем нашим народом того исторического теперь события.

А далее Жуков опишет весь этот парад от Белорусского вокзала до Красной площади. Расскажет о битве под Москвой, которую видел своими глазами, и мы опять почерпнем много для себя нового, неизвестного. Но дело даже и не в этом новом, неизвестном — суть в писательском темпераменте, с которым все это говорится, покоряющем своей энергией и искренностью.

Очень жаль, что книга обрывается как бы на полуслове. Заключительная глава «Эпилог: как все это закончилось» — это уже май 1945 года. Опять дневниковые записи с небольшими комментариями. У меня и сомнений нет, что дневники велись всю войну, но в книге в них явный разрыв. Материал не вместился в одно издание? Или просто руки не дошли до тех, еще неизвестных нам записей? Скорее всего, и то и другое, а может, что-то и третье, четвертое.

Но вот как завершает автор свои «Крутые ступени»: «Давайте же сохраним навсегда усвоенные нами в трудную годину Великой Отечественной войны духовные и нравственные истины!». Однако чтобы сохранить, нужно знать все до самой малости. В частности, то, что, возможно, берегли другие жуковские тетради, на обложках которых, наверно, так же размашисто начертано: «1942», «1943», «1944», «1945»...

Доставайте-ка эти тетради, Юрий Александрович. И находите время для новой работы, хотя этого времени, увы, всегда в обрез.

А. КОНДРАТОВИЧ.



ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

В. И. Старцев. Крах керенщины. Л. «Наука». 271 стр.

Хмурым промозглым утром 25 октября 1917 года от здания штаба Петроградского военного округа на Дворцовой площади отъехали два автомобиля: закрытый «рено» под флагом американского во-

енного атташе, а за ним — с открытым верхом «пирс-эрроу», где сидел человек в широком драповом пальто, с бледным лицом и остановившимся взглядом. Это был Александр Федорович Керенский — послед-

ний премьер буржуазного Временного правительства, уходящего в историческое небытие под ударами восставших рабочих и солдат. Проехав Екатерининский канал, машины поменялись местами и на большой скорости понеслись в сторону Гатчины. Керенский спешил на Северный фронт, чтобы привести оттуда верные, как ему представлялось, правительству войска. Больше в Петроград он не вернулся. Незадачливый премьер и претендент в российские диктаторы закончил свои дни глубоким, почти девяностолетним стариком в Соединенных Штатах Америки, но политическая смерть настала его много раньше — в октябрьско-ноябрьские дни 1917 года, когда он был сброшен со счетов истории революционным народом.

Время, в течение которого Керенский занимал председательское кресло в правительстве, было названо современниками керенщиной и под этим названием вошло в историю. Последним двум месяцам правления Керенского — своеобразному и бурному периоду российской государственной и общественной жизни — и посвящена книга доктора исторических наук В. Старцева.

Было бы явным преувеличением сказать, что история последних месяцев существования Временного правительства не находила до сих пор отражения в литературе. Дело обстоит как раз наоборот. Существует множество книг и статей (в том числе самого В. Старцева), в которых рассматривается политика Временного правительства в целом или отдельные стороны его деятельности. Читая «Крах керенщины», то и дело сталкиваешься с сюжетами и фактами, уже давно введенными в научный обиход. Вместе с тем монография содержит немало нового. Во-первых, при всем обилии литературы керенщина, так сказать, изнутри еще не была предметом специального исследования. Автор видит одну из главных задач своей новой работы именно в анализе истории положения в правительственном лагере и его внутренней политики. Во-вторых, В. Старцев ставит и решает вопрос о роли субъективного фактора во вражеском стане. Обычно когда мы пишем о субъективном факторе в революции, то рассматриваем его применительно к революционным силам, ее руководящим деятелям. Но ведь революция — это не только поступательное движение масс, поднявшихся на штурм старого мира. Ленин не раз подчеркивал, что «революции без контрреволюции не бывает и быть не может». А в контрреволюционном движении, как и в ре-

волюционном, действуют объективные и субъективные факторы, действуют люди, оказывающие свое влияние на ход истории.

В свое время Герцен, наблюдая за драматическим развитием революции 1848 года во Франции, заметил: «Отдавая обстоятельствам то, что им принадлежит, мы не покромем, однако, ими людей — люди тоже факты и пусть несут ответственность за свои дела». Полвека спустя Ленин облек эту в высшей степени справедливую мысль в блестяще отточенную теоретическую формулировку: «Идея детерминизма, устанавливая необходимость человеческих поступков, отвергая вздорную лобасенку о свободе воли, нимало не уничтожает ни разума, ни совести человека, ни оценки его действий. Совсем напротив, только при детерминистическом взгляде и возможна строгая и правильная оценка, а не сваливание чего угодно на свободную волю. Равным образом и идея исторической необходимости ничуть не подрывает роли личности в истории: история вся слагается именно из действий личностей».

Вот почему характеристика и оценка личных качеств Керенского (как, впрочем, и других вождей контрреволюции) — его склонность к позе и интриганству, вероломство, трусость и непоследовательность в политике, — все то, что так обстоятельно раскрыто в книге, приобретает характер не просто занимательного рассказа, порой напоминающего детектив, а выводится на уровень решения сложной и малоизученной проблемы о роли личности «по ту сторону баррикад».

Довольно известный адвокат в дореволюционные времена и лидер фракции трудовиков в IV Государственной думе, Керенский снижал себе популярность участием в политических процессах, наигранным пафосом и радикализмом речей, волновавших и поражавших воображение мелкобуржуазной массы, склонной к восприятию иллюзорной псевдореволюционности, достаточно далекой от действительной революционной борьбы. Один из видных октябристов, С. И. Шидловский, вспоминал: «В своих речах, к которым у Керенского была большая склонность, он несомненно играл, как актер, может быть, сам того не сознавая, причем особенную слабость он имел к амплу трагика. Я не могу сказать, чтобы он был талантливым трагиком, мне приходилось видеть на сцене трагиков с европейской репутацией, которым он, конечно, в подметки не годился, но в провинции, во второстепенных труппах, таких

трагиков встретить можно... Личность Керенского в думе переоценивалась, и известная вера в него у других, лучше знавших его членов думы держалась вплоть до того момента, когда, попав в правительство государства, он показал всем свою истинную натуру, делающую его для мало-мальски крупной роли совершенно непригодным».

Вот этот-то «провинциальный трагик» и оказался вынесенным на гребень революционной волны в феврале 1917-го, проделав путь от «заложника демократии», как он сам любил себя называть, в октябристско-кадетском правительстве первого состава до военного министра в первой коалиции и премьера во второй и третьей.

Всего два месяца российской истории охватывает книга В. Старцева. Но как же плотно они были насыщены событиями, которые привели керенщину к неизбежному краху. Здесь и корниловский мятеж, разгромленный революционными массами, и распад второй коалиции соглашателей с буржуазией, и политические маневры Керенского, направленные на сколачивание нового альянса с кадетами при сохранении своей личной власти...

Один из признаков глубокого кризиса верхов — потеря ими достаточно надежной социальной опоры. Именно в таком положении оказались Николай II и его ближайшее окружение накануне февраля, когда от них отвернулись все, начиная от либералов и кончая крайне правыми. Нечто похожее произошло и с Керенским. Его бонапартистское лавирование между мелкобуржуазными партиями с их реформаторскими прожектами и реакционно-буржуазными кругами, действовавшими в направлении реставрации дореволюционных порядков, пусть даже в республиканском облачении, не устраивало ни тех, ни других. Первые упрекали Керенского за сдачу «демократических» позиций. Вторые же на всех углах поносили его за «нерешительность действий». Подобное положение усиливало грызню в правящей верхушке и отталкивало от нее те классы, интересы которых она представляла. «От недавнего еще восторга перед Керенским не осталось и следа, — свидетельствует кадет А. С. Изгоев. — И справа, и слева, и в центре его либо ненавидели, либо презирали... Режим погибал при всеобщем к нему отвращении».

Процесс растущей изоляции правительства Керенского показан в книге выпукло и убедительно. Последние дни буржуазной власти являли собой картину беспорядоч-

ных и бессильных метаний, точно обозначенную автором словом «агония».

Но не все тут одинаково бесспорно. Так, в кратком, скажу даже — слишком кратком, историографическом введении намеком дается понять, что Временное правительство не было непосредственно причастно к подготовке «второй корниловщины». К тому же на страницах книги вообще не нашлось места для характеристики этих контрреволюционных действий верхов. Тем самым «вторая корниловщина» как бы отдается на откуп исключительно неправительственным правым силам, военщине. Между тем история располагает множеством фактов, говорящих о прямом соучастии Временного правительства в подготовке нового контрреволюционного заговора. «И кто не хочет нарочно закрывать глаз, — писал в этой связи Ленин, — тот не может не видеть, что после корниловщины правительство Керенского все *оставляет по-старому*, что оно *на деле восстанавливает корниловщину*».

Узвизим в книге В. Старцева и другой конкретно-исторический аспект. Анализируя кризис верхов, автор ограничивает свое исследование не только проблемно, но и, так сказать, территориально — Петроградом. С этим трудно согласиться. Основной показатель и признак глубочайшего кризиса Временного правительства — выход из строя всех механизмов государственного управления. Правительство и его аппарат на местах оказались в настоящем параличе и были уже не в состоянии приостановить бурно нарастающее движение низов и хоть как-нибудь стабилизировать положение мирными средствами. Вооруженное столкновение классов стало объективным результатом хода событий не только в столице, но и на периферии. Иных решений историческая обстановка в России той поры не предоставляла ни эксплуататорам, ни эксплуатируемым. Без обращения к этим сюжетам едва ли возможно охарактеризовать керенщину всесторонне.

Кризис верхов — главная, но не единственная тема исследования В. Старцева. Ей сопутствует и как бы противостоит другая важная тема — политическая позиция большевиков, их практические действия в сентябрьско-октябрьские недели 1917 года. Особенно тщательно анализируются автором статьи и письма Ленина, в которых он предостерегает соратников по партии от увлечения конституционными иллюзиями ввиду участия в «Демократическом совещании» и особенно в «предпарламенте». Какой бы гнилой и исторически нежизнеспособ-

собной ни была буржуазная власть во главе с Керенским, просто «упасть» она не могла. Ее надо было «уронить». Подготовка большевиками вооруженного восстания в обстановке общенационального революционного кризиса вступила в решающую фазу. 7 октября, в день открытия «предпарламента», большевистская фракция объявила о выходе из этой, по словам Ленина, «церетелевско-булыгинской думы». «Мы, фракция социал-демократов — большевиков, — говорилось в декларации, — заявляем: с этим правительство народной измены и с этим советом контрреволюционного попустительства мы не имеем ничего общего!»

Большевики покинули Белый зал Марининского дворца. А через восемнадцать дней представители Военно-революционного комитета потребовали от членов «Предпарламента» оставить помещение. Пришел конец и керенщине.

Замечу все же, что не все в этой части книги выписано с достаточной тщатель-

ностью и исторической точностью. Так, скажем, едва ли правомерно проводить параллель между планом военного министра Верховского заключить сепаратный мир с немцами и ленинской тактикой в период Бреста. Сомнительным выглядит утверждение о том, что опора Керенского на Советы во время корниловского мятежа привела «к мощному массовому подъему в защиту революции». Надо ли доказывать, что подъем этот был вызван не Керенским и его заигрываниями с Советами, о чем, кстати, автор пишет несколькими страницами дальше. История последних месяцев керенщины, включает свое исследование В. Старцев, «показывает закономерность краха буржуазного Временного правительства и такую же закономерность перехода власти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, руководимых большевистской партией».

А. ГРУНТ,
доктор исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



ДО ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ... Лениздат. 1983. 286 стр.

Книга эта издана куда как скромно: в мягкой обложке, не на первосортной бумаге, без, что там говорить, просящегося в подобный сборник фотоальбома (портреты даны прямо в тексте)... Но есть в этой неброской скромности своя прелесть — прелесть полного соответствия тональности книги тону жизни тех, о ком она рассказывает.

Книга, как это сказано в подзаголовке, посвящена «ленинградским писателям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941—1945 г.г. и во время блокады». 28 имен — 28 погибших на фронте — и это не считая тех, кто умер в Ленинграде в дни блокады (их памяти, а также рассказу о всей жизни Ленинградской писательской организации в дни войны посвящена краткая, но очень дельная, насыщенная богатством фактическим материалом статья Владимира Бахтина, символично названная «Обязанности жизни»). Павших на фронтах и на флоте, под Невской Дубровкой и при переходе кораблей из Таллина в Кронштадт в августе сорок первого, умерших в госпитале от ран, истощения, болезни, перенесенной на ногах, не вернувшихся из похода на подлодке... Среди этих двадцати восьми есть имена более громкие, всем известные; есть и имена подзабывшиеся, а то и вовсе неизвестные сегодняшнему читателю, особенно молодому. И дело здесь не только в капризах памяти или перекцентировке, сделанной временем. Просто — будем объективны — эти имена и с самого начала были неравнозначны по своему художественному значению. Конечно, открывая этот сборник, мы прежде всего ищем: где Инге, где Лебедев, есть ли Суворов? Но прочитав этот небольшой сборник последовательно, от строки до строки, видишь: нет, круг был шире, богаче... К примеру: вы знали, что рядом с Инге — не только в книге, но и в жизненном строю — стоял кинодраматург Йоганн Зельцер, автор киносценариев «Искатели счастья», «Подводная лодка «Т-9»? Я не знал. Инге погиб 28 августа сорок первого на корабле «Валдемарас» при прорыве из Таллина в Кронштадт; Зельцер — 23 сентября сорок первого под Кронштадтом на линкоре «Марат» при налете вражеских бомбардировщиков... Рядом с молодым «юношей-наищем» (так называется очерк о нем Людмила Поповой и Геннадия Го-

ра), «зачинателем нанайской литературы», по определению Григория Ходжера, Акимом Самаром встречаем на страницах книги имена и произведения зачинателей пролетарской поэзии — Алексея Крайского, Ивана Логина. Евгений Панфилов и Сергей Семенов, Михаил Троицкий и Иван Федоров, Орест Цехновицер и Михаил Чумандрин... Писатели разного масштаба, разного жизненного пути, разных творческих пристрастий, они оказались едины в главном: на зов Родины они ответили одинаково. Встав в ряды защитников города-фронта, разделяя с ним до конца его нелегкую участь, они отдали победе собственную жизнь. И этим равно заслужили нашу благодарную память.

Но сборник этот не только о погибших за Родину. Он о погибших писателях. Как передать многообразие их творчества, размах сделанного ими в одной небольшой книжке?

Составитель сборника Захар Дичаров, возглавляемая им историко-мемориальная комиссия Ленинградской писательской организации нашли, как мне представляется, верный путь (отчасти он был намечен еще в московском аналогичном сборнике «Строка, оборванная пулей»). Каждому писателю посвящен отдельный, пусть маленький, раздел. Вначале — биографическая справка, затем — очерк или воспоминание о нем (иногда и то и другое вместе), наконец — отрывок из его произведений (к сожалению, подходящее удалось подобрать не всегда)... Можно было бы, пожалуй, поспорить относительно удачности подбора тех или иных стихотворений (мне, например, кажется, что Лебедев и Суворов могли быть представлены более яркими стихами), но это, в конце концов, субъективно... Можно пожалеть, что в конце каждого раздела нет библиографии произведений писателя, критических откликов о нем... Но мало ли что можно было бы еще, а говорить надо о том, что есть. И то, что есть, впечатляет.

В кратком предисловии «От составителя» говорится, что в книге наряду с новыми материалами использованы и воспоминания, написанные в первые послевоенные годы. Цифру «1947» мы встречаем под многими материалами сборника. Думается, составитель поступил правильно: за этими страницами, пусть не всегда гладко написанными, чувствуешь время, когда они писались, — живую, незастывшую боль об

ушедших товарищах. Точный настрой сборнику дают открывающие его — и тоже датированные 1947 годом — «Слово о друзьях-товарищах» Николая Тихонова и стихи Александра Прокофьева. Стоило, мне кажется, только указать, что писались некоторые датированные 1947 годом материалы еще для предыдущего сборника.

Историко-мемориальная комиссия Ленинградской писательской организации проделала большую и благородную работу. Можно повторить вслед за составителем: «Имена тех, кому посвящен сборник... это и сегодня живые для нас имена». Живые во многом и благодаря появлению этой книги, вышедшей из печати как раз к сорокалетию освобождения Ленинграда от блокады.

А. Коган.



АЛЕКСАНДР КОРЕНЕВ. Взморье. Стихи. М. «Советский писатель». 1983. 119 стр.

Стихам Александра Коренева свойственна драматичность, он не избегает, не страшится трагических ситуаций. Тема войны по-прежнему остается главной у поэта. Стихи о войне остры, конкретны, точны психологически. Множество зримых деталей и картин тогдашнего быта: солдаты, едущие на фронт в теплушке, и в санпоезде — назад. Тесная, забитая людьми ночная платформа, где «бабы — вдовы, солдатки» и молодой солдатик среди них в тесноте.

Не как синий к земле — звездопад.
Не Петрарковый зов — к Лауре,
К ней — родной, посторонней, дуре —
Жадной силой впотьмах прижат.

(Здесь этот эпитет «посторонней» дорого стоит.) И дальше — осветительная ракета над передним краем, атака, ночлег, варка на привале каши, прыжок из «дугласа» в чужую ночь, девочка, видимая раненому из засады. Все это — война. Все это — жизнь. Впрочем, и смерть тоже.

Мне бы хотелось привести целиком одно из стихотворений Коренева — «Покупка хлеба, 1977»:

В очереди стою за хлебом.
Вместе со всеми движусь к дверям,
Я, средних лет, с портфелем нелепым,
Я, зауряднейший из мирян.

Движусь. Разве в меня стреляли?
Крался в лесах? На бегу пробит
Пулей? Этот вот самый? Я ли?
В очереди который стоит.

Как (просто бред!) представить воочью
Что в белом вихре небесных тел
Я диверсантом куда-то ночью
Валился из «Дугласа», летел?

Очередь смиренно движется к двери
Улицей людной, в некоем роду,
Даже не верится, не застрелен,
С неба свалившийся, я иду.

Вот это удивление — одно из острейших ощущений поэта. Удивление, что боль не проходит.

И второй его главной темой (я имею в виду как бы музыкальную тему) встает сильный мотив потери любимой женщины, чувство неприкаянности, горя.

Наряды, редкости — родным и детям.
А боль свою, страданье — никому.
Не подарить, не поделиться этим!
И нежность к ней хранить мне одному.

Острые, печальные и радостные воспоминания о женщине, которой нет и уже не будет, пронизывают книгу. И тоже — боль не стихает.

Бесперывно гудят два этих главных колокола, а помимо них — шелестит в листьях дождь, блестит мокрая трава, потрескивает морозец, ревет прибой, звучат детские и снова женские голоса: идет жизнь.

В книге — стихи о Севере, океане, пустыне. Это не только странствия, это раздумья — о сути творчества, о костяке, ядре, нутре человека.

И снова глаз натывается на слова «стоит заплаканная память»...

Вот об этом книга Александра Коренева «Взморье» — книга выстраданная, глубоко человеческая. Ее отличает образность, метафоричность, ритмическая смелость, желание поэта раскрепоститься в стихе, продолжающийся поиск средств выражения. И, самое важное, нас по-настоящему трогают эти стихи — о суровом поколении, о цельности и высоких идеалах.

Константин Вайшекин.



ВАЛЕРИЙ ВИНУКUROV, БОРИС ШУРДЕЛИН. Наша с тобой «Звезда». Роман. М. «Советский писатель». 1983. 256 стр.

О футболе — феномене XX века написано немало. Нельзя сказать, что писатели, наша литература не замечали всеобщности интереса к этой игре. «Спорт — это максимум человека в минимум времени», — пишет в своей талантливой книге, недавно изданной в Грузии, «Танго Испании» (книга посвящена футбольному чемпионату мира-82) известный грузинский литератор Теймураз Мамаладзе. Это человек, страстно влюбленный в футбол и старающийся раскрыть для себя и для других психологические аспекты увлечения, магическая сила которого держит в плену миллионы людей. Когда, к примеру, начинались телевизионные репортажи с упомянутого чемпионата мира, то по самым грубым подсчетам у экранов телеприемников собралось примерно полтора миллиарда человек. Вряд ли есть еще другое зрелище, которое может похвастаться такой аудиторией своих приверженцев. В дни чемпионата в Бразилии на многих предприятиях вводились специальные графики работы, сверенные с программами телевизионных репортажей. Иначе производству мог быть нанесен значительный урон. Без преувеличения можно сказать, что имя, например, бразильского футболиста Пеле в буквальном смысле знает весь мир...

Все сказанное заставляет человека, не относящегося к числу футбольных болельщиков (к слову, у Бориса Слуцкого есть стихотворение, озаглавленное «Равнодушные к футболу», так что от футбольных бактерий бывает и врожденный иммунитет!), поверить нам на слово, что футбол не просто игра, но еще одна из сфер проявлений личности человека, его идеалов, характера. Футбол, вернее, люди футбола безусловно могут стать предметом и художественного исследования.

Вспомним романтически влюбленных в футбол, спорт вообще героев романа Льва Кассиля «Вратарь республики», утвердившего право на существование в нашей литературе спортивной темы. С той поры было, наверное, больше неудач, чем творческих успехов на этом литературном «поле», но на то были свои причины. Легковесность человеческих характеров и конфликтов, тщательно срезанные острые углы проблем, малая компетентность в спорте — все это слишком давало себя знать в книгах последних лет.

На этом фоне определенный интерес вызывает недавно появившийся роман Валерия Винокурова и Бориса Шурделина. Он посвящен большому футболу и его людям, для которых спорт — дело жизни. Книга о футболистах и тренерах — таких, которых по праву можно назвать наставниками, и таких, кого осторожно причислишь к «специалистам». И еще о становлении коллектива, о спорте как сфере столкновения характеров, человеческих самолюбий, жизненных устремлений.

История команды «Звезда», ее падений и закономерного взлета предстает перед нами не в выкладках на языке знатоков, а скорее в категориях нравственных, требующих во всех случаях жизни чистой игры, отвергающих установку: успех любой ценой, без оглядки на моральные издержки...

Есть в романе хорошие ребята — братья Катковы. Есть неоднократно заклеенные в печати футбольные «меценаты». Есть довольно сложная любовная интрига и драматическая развязка, связанная с трагической гибелью Сергея Каткова (гибель эта, кстати, выглядит скорее данью беллетристике, она слабо поддержана логикой повествования).

Немало страниц в романе посвящено и нелегкому труду спортивных журналистов — повествование частично ведется от имени молодого репортера из футбольного еженедельника. И это не случайно — Валерий Винокуров и Борис Шурделин немало лет отдали спортивной журналистике, и прежде всего футболу. Первый из них долгое время сам работал обозревателем еженедельника «Футбол — хоккей». Здесь, наверное, к месту вспомнить слова того же Льва Кассиля: «Нет такого журналиста, который бы не мечтал хоть раз в жизни написать роман». И этот роман появился. Хочется надеяться, что это не последняя встреча с интересными авторами.

Юрий Хромов.



В. И. БАРАНОВ, А. Г. БОЧАРОВ, Ю. И. СУРОВЦЕВ. Литературно-художественная критика. М. «Высшая школа». 1982. 207 стр.

Уже неоднократно отмечалось, что по сей день у нас нет цельного, систематического изложения теории критики... В какой-то мере восполнить этот пробел призвано пособие для высших учебных заведений «Литературно-художественная критика». Книга представляет собой коллективную монографию, написанную В. И. Барановым, А. Г. Бочаровым, Ю. И. Суровцевым

Критика — и особое общественное явление и особая творческая деятельность, пишет во «Введении» Суровцев, определяя место литературно-художественной критики среди других общественных и художественных институтов. Такой подход к предмету отвечает традиции марксистско-ленинской эстетики и искусствоведения, авторитетно подтвержденной июньским (1983) пленумом ЦК КПСС.

Книга состоит из трех разделов, где соответственно трактуются социология критики (критика как социальное явление), ее гносеология и наконец — поэтика.

Ю. Суровцев, автор первого раздела, рассматривает литературную критику как особую профессию журналистского плана, которая возникла вместе с массовой печатью. «Природа критической деятельности, — пишет он, — представляет собой сложное, специфически-оригинальное двуединство научности и публицистичности, эта природа научности и публицистичности». И тут же предостерегает от механистического, упрощенного понимания этого двуединства, когда отдается предпочтение либо публицистичности (привносимой в науку), либо научности (проникающей в публицистику).

Объективное и субъективное в критической деятельности — тема главы, написанной А. Бочаровым. По его мнению, существуют по крайней мере три причины, обуславливающие разногласия при истолковании критикой литературных произведений: общие закономерности всякого познания, раскрытые марксистско-ленинской гносеологией; особая природа художественного отражения действительности, воплощенной в произведении искусства; наконец, характер самой критической деятельности.

Иными словами, вряд ли следует удивляться несовпадению оценок при обсуждении новых романов, повестей, спектаклей. Но следует ждать (и требовать!) от критика профессионализма, гражданской зрелости, широты эстетического кругозора, точного и тонкого художественного вкуса.

«Анализируя, критик с субъективных позиций устанавливает объективные законы процесса, но подмена субъективного взгляда субъективистским ведет к тому, что обобщение, которое он делает из богатства явлений, оказывается узким, неполным или попросту ложным», — справедливо заключает А. Бочаров.

На долю Баранова выпала задача рассказать читателям о проблемах художественности и мастерства в применении к деятельности критика.

Отрадно отметить, что, трактуя проблемы критического мастерства, автор ни на минуту не упускает из виду идеологические ориентиры и умело показывает диалектику взаимосвязи между чисто литературными, «исполнительскими» навыками критика и четкостью его идейной позиции.

Книга В. Баранова, А. Бочарова, Ю. Суворцева, написанная с вызверенных методологических позиций, должна, как нам кажется, прояснить ряд дискуссионных вопросов, связанных с теорией критики, и способствовать профессиональному становлению молодых ее кадров.

М. Шаталин,

кандидат филологических наук.

Баку.



ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО. Война — это антикультура. М. «Советская Россия». 1983. 120 стр.

Поэт Евгений Евтушенко выпустил хорошую книгу публицистики. В ней — нерв, живой голос, четко очерченная гражданская позиция. «Войну может отменить не резолюция, а эволюция», — говорит автор, подразумевая такое изменение психологии людей, когда не только война, но и мысль о ней станут невозможной. Но как этого добиться? Вопрос вечный. Трудный вопрос, к которому подступались многие умы человечества. Пытается по-своему разрешить его и Евтушенко. Если коротко сформулировать тему рецензируемой книги, то это психология художника и его ответственность за судьбы мира.

Вместе с автором мы беседуем с Хулио Кортасаром и Грэмом Грином, с Натали Саррот и Аленом Боске, с Феллини и Бертолуччи, погружаемся в хитросплетения социальных конфликтов, сопереживаем, негодуем, задумываемся. И ни на минуту не забываем, что книга написана поэтом. У Евгения Евтушенко всегда ощущался выход из стихов в прозу. На мой взгляд, это придавало силу и самим его стремительным стихам. Она в рифмованной мысли, в ритмизованном мнении. Так называемая сложная поэзия, красиво шифрующая нечто, герметизирующая нигилизм, набила оскомину. И главное, считают некоторые «избранные», чем непонятнее (эзотеричнее) стихи, тем лучше, тем большее отношение они имеют к поэзии. В противовес этому мнению здесь уместно привести строки недавно умершего поэта Николая Ивановича Глазкова: «А чтобы, как деревья и трава, стихи поэта были хороши, умело надо подбирать слова, а не кичиться сложностью души».

Евгений Евтушенко слова подбирает умело. Будь то стихи, проза или публицистика. Он рабочий литературы, так сказать, многостаночник (а ведь в сфере его твор-

ческих интересов еще и кино и фотография). Писать можно все: стихи, прозу, критику, статьи... Было бы что сказать! Евтушенко, как репортер, не опасается лобовых определений. Как записной журналист, не пренебрегает бойкостью, лихостью стиля. Но независимо от жанра и формы произведения стремится к главному: к глубине мысли.

Н. Саррот сказала: «Необязательно любить только большие деревья». Евтушенко, развивая эту мысль, говорит, что во имя любви ко всему живому, будь оно большое или маленькое, и должны работать писатели, поскольку вопрос «с кем вы, мастера культуры?» вечен, как сама культура. «А кто мы сами — маленькие или большие?» спрашивает Евтушенко и отвечает: — Не надо тратить время на такие маленькие мысли. Если не всем нам суждено быть большими деревьями, то и маленькие честные растения дают людям свой кислород и составляют своим дыханием ту атмосферу, без которой невозможна жизнь. И кто-нибудь когда-нибудь оценит нас за эту честность, ибо „необязательно любить только большие деревья“».

Человек смертен, но бессмертна его душа, воплощенная в слове, завещанном последующим поколениям. Эта мысль отчетливо звучит в книге «Война — это антикультура». Автор не прячется от острых проблем времени. Писать для Евтушенко значит энергично участвовать в делах человеческих, проявлять инициативу (презрев присказку пассивных о том, что она нахватуема), жить в гуще событий. Вспомним, что плеяду молодых поэтов, среди которых был Евтушенко, в конце 50-х — начале 60-х годов прославил эстрада. О них заговорили. Заговорили, между прочим, по-разному, порой неместно. Но эстрадность была необходима как прорыв в массы. Как выход поэзии, литературы, вообще культуры на самую широкую аудиторию, что, в сущности, совершенно необходимо любому художнику, не признающему, подобно Евтушенко, теории «чистого искусства».

Книга Евтушенко невольно затрагивает проблему конформизма. Ибо не кто иной, как конформист творит антикультуру. Конформиста, дорвавшегося до кормушки власти, характеризует профессиональная неподготовленность, слабо развитые интеллектуальные способности, леность мысли, слепое преклонение перед авторитетами, подмена подлинной личной значимости ее внешними признаками. Конформист подозрителен и недружелюбен, видит в каждом конкурента или врага, не останавливаясь перед любыми методами удержания власти. Таков, к примеру, портрет бывшего диктатора Никарагуа Сомосы, которого с сарказмом клеймит Евгений Евтушенко. Он описывает бункер Сомосы (последняя неизбежная инстанция конформной личности, пожалуй, именно бункер), размещавшийся в сером казарменном здании без окон. Среди бетонированных комнат — маленький садик. Но все растения в нем — из пластика!

Так остойм живое! Это девиз книги Евтушенко.

Ю. А. Трифонов.

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ ФИЛИППОВНЫ ЕЛИСЕЕВОЙ

После непродолжительной, но тяжелой болезни скончалась Валентина Филипповна Елисеева. Из жизни ушел наш талантливый публицист, верный и требовательный товарищ, старший редактор отдела публицистики и науки «Нового мира».

Валентина Филипповна была журналистом широких интересов и неустойчивой энергии. Человеческие судьбы, живопись, театр, экономика, архитектура — все привлекало и волновало ее, становилось сутью ее многочисленных выступлений.

Четырнадцать лет проработала Валентина Филипповна старшим редактором отдела публицистики и науки нашего журнала. Придя в «Новый мир» с огромным литературным и жизненным опытом, она как человек, остро чувствующий пульс жизни, внесла много нового, яркого в публицистику журнала. Особенный, пристальный интерес Валентина Филипповна проявляла ко всему тому, что связано с нашей повседневной жизнью, с проблемами современного мира.

Свою журналистскую деятельность В. Ф. Елисеева начала в 1929 году литературным секретарем газеты «Труд». Спустя два года она уезжает в Новосибирск. Там работает заведующей отделом газеты «Советская Сибирь». Страстно и взволнованно рассказывает она в своих выступлениях о многих событиях тех лет. Валентина Филипповна интервьюировала легендарного летчика Валерия Чкалова, писала о новостройках, о людях Сибири.

В годы войны она работает ответственным секретарем газеты «Северный рабочий». Десять лет Валентина Филипповна проработала в Ярославле. Там за месяц до начала Великой Отечественной войны вступила в ряды КПСС. В эти годы она была бесценным рецензентом и театральным критиком Ярославского драматического театра имени Волкова. В становлении театральной труппы тех лет есть и ее лепта. В. Ф. Елисеева была корреспондентом Совинформбюро.

Двадцать лет отдала Валентина Филипповна Елисеева работе в «Литературной газете». Была собкором в Риге, заведующей отделом, а затем стала заместителем редактора по отделу коммунистического воспитания.

Где бы ни трудилась Валентина Филипповна, о чем бы ни писала, она являла собой образец партийной принципиальности, скромности, всегда отстаивала высокие нравственные принципы советского общества, боролась против бездуховности и равнодушия. Лучшим свидетельством тому служит печатавшаяся сначала в нашем журнале, затем вышедшая отдельной книгой ее повесть «Так оно было...».

Работавшие с В. Ф. Елисеевой авторы журнала неизменно ощущали ее добрую редакторскую руку и глубокую заинтересованность в их судьбах, в судьбах тех, о ком говорилось в статьях, очерках, мемуарах. Многие ныне известные журналисты, писатели благодарны за помощь и требовательную доброту, проявленную Валентиной Филипповной к ним в период их творческого становления.

Журналистский и литературный труд В. Ф. Елисеевой отмечен пятью медалями, премией имени Дзержинского, она была заслуженным работником культуры РСФСР, многократно избиралась членом партбюро и секретарем первичной партийной организации, была депутатом Дзержинского районного Совета народных депутатов Москвы.

Валентина Филипповна Елисеева навсегда останется в нашей памяти красивой, энергичной, неунывающей, до последнего дня на посту Журналиста с большой буквы вопреки и возрасту и недугам.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

М. Барышев. Особые полномочия. Повесть о В. Менжинском. («Пламенные революционеры») 413 стр. Цена 1 р. 40 к.

Е. Воробьев, Д. Кочетков. Я не боюсь не быть. Документальная повесть о Герое Советского Союза Поле Армане. Изд. 2-е, дополненное. 366 стр. Цена 60 к.

С. Калтахян. Марксистско-ленинская теория нации и современность. 367 стр. Цена 1 р. 70 к.

Хменес Нуньес. В походе с Фиделем. 1959. Перевод с испанского. 286 стр. Цена 1 р. 10 к.

Г. Свиридов, О. Саранташ. Наш путь и далекий долог... Повести о делах и людях партии. 254 стр. Цена 40 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

И. Бурков. «Я — должен!» Повесть о Н. Вирюкове. 272 стр. Цена 65 к.

А. Кузнецов. В синих цветах. Повесть. 158 стр. Цена 20 к.

З. Сафьян. Встречный свет. Повесть. Перевод с польского. 143 стр. Цена 80 к.

Н. Снатов. Козьцов. («Жизнь замечательных людей») 237 стр. Цена 1 р. 40 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Злобин. Книжки пути. Документальные повести. 350 стр. Цена 80 к.

М. Пришвин. Нащесева цель. Роман. 496 стр. Цена 2 р. 70 к.

Г. Федотов. Млечный путь. Повесть и рассказы. 207 стр. Цена 1 р. 10 к.

Г. Холопов. Иванов день. Повесть, рассказы, воспоминания. 478 стр. Цена 2 р. 20 к.

«РАДУГА»

Г. Аудерская. Варшавская Сирена. Роман. Перевод с польского. 560 стр. Цена 3 р. 90 к.

Ю. Борген. Избранные новеллы. Перевод с норвежского. 280 стр. Цена 2 р. 20 к.

Х. Пуиг. Ночной хлеб. Роман. Перевод с испанского. 404 стр. Цена 2 р. 60 к.

Сокровенное желание. Рассказы современных демократических писателей Японии. 1955—1980 гг. Перевод с японского. 519 стр. Цена 2 р. 20 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Г. Бакланов. Собрание сочинений. В 4-х тт. Т. 1. 494 стр. Цена 2 р. 30 к.

А. Доде. Письма с мельницы. Перевод с французского. 223 стр. Цена 2 р. 50 к.

Турецкая ашынская поэзия. Перевод с турецкого. 192 стр. Цена 55 к.

Г. Успенский. Нравы Растеряевой улицы. Рассказы. 302 стр. Цена 1 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Ахмедов. Зеленый театр. Роман. повести. Перевод с азербайджанского. 352 стр. Цена 1 р. 50 к.

Д. Данин. Избранное. 608 стр. Цена 3 р. 10 к.

В. Катаев. Юношеский роман. 255 стр. Цена 90 к.

А. Кушнер. Таврический сад. Стихи. 103 стр. Цена 40 к.

Г. Панджикидзе. Год активного солнца. Романы. Перевод с грузинского. 574 стр. Цена 2 р. 80 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Антология осетинской прозы. Составители Р. Х. Тогров, К. Х. Ходов. Орджоникидзе. «Ир», 600 стр. Цена 2 р. 50 к.

Н. Г. Гарин-Михайловский в воспоминаниях современников. Составитель И. М. Юдина. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 303 стр. Цена 65 к.

Маяковский и литература народов Советского Союза. Ереван. Издательство Ереванского университета. 414 стр. Цена 3 р. 90 к.

Сто серебряных коней. Коми-пермяцкие народные сказки и песенки, байки, потешки. Записал В. Климов. Пермь. Книжное издательство. 80 стр. Цена 60 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахиин**

Адрес редакции. 103806. ГСП. Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 28.02.84. Подписано к печати 04.05.84 г. А 02476.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл. п. л.)
27,05 уч.-изд. л. Тираж 377 000 экз. (1-й завод 1 — 197 000 экз.) Зак. 847.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6. Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1984, № 5, 1 — 272.